1 р. 80 к.

Индекс 73276



«Нева», 1991, № 2, 1—208

ISSN 0130—741X

2/1991

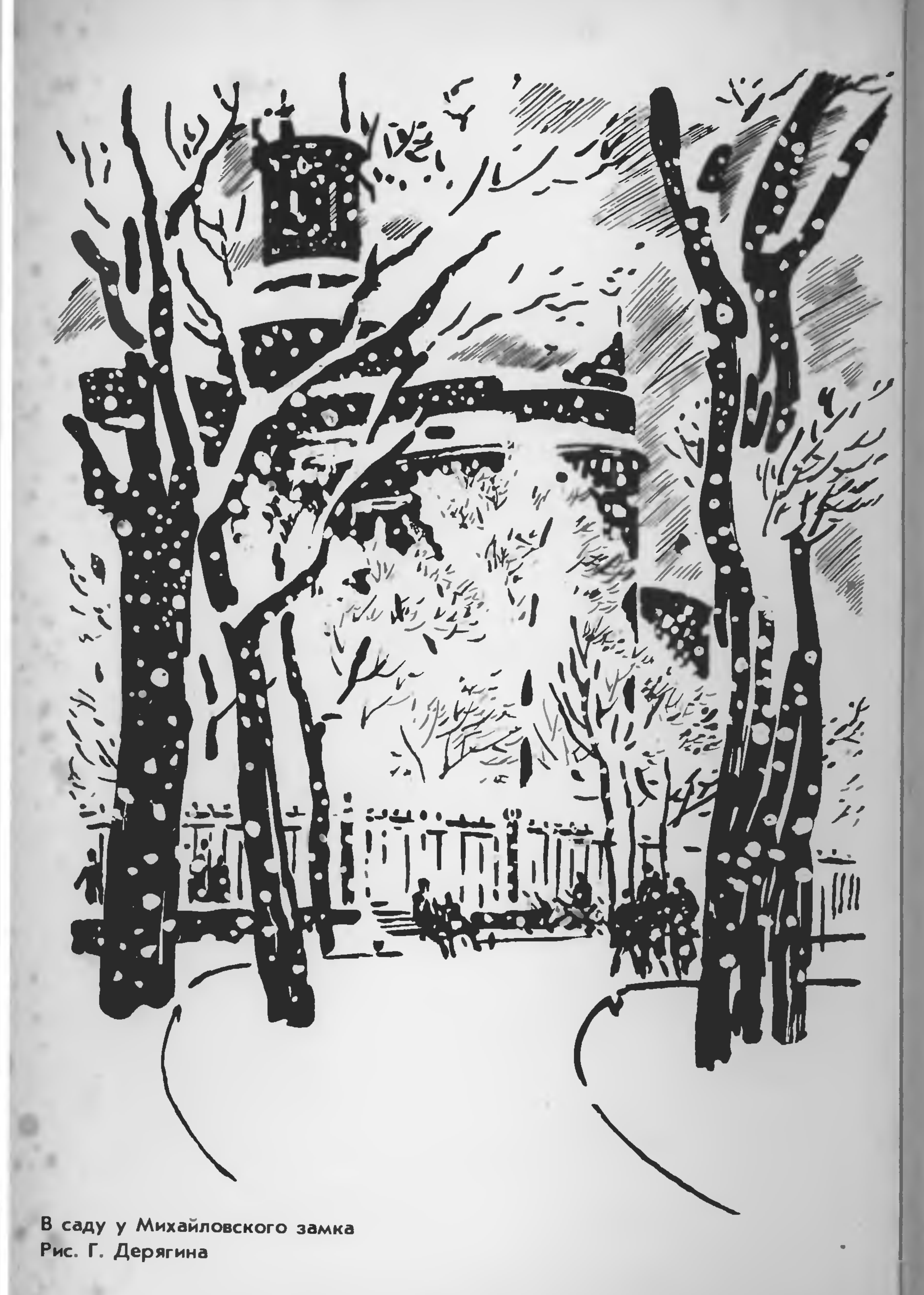
Ф. СВЕТОВ
Тюрьма
Роман

Б. УЛАНОВСКАЯ
Путешествие
в Кашгар



ПЕР ЛАГЕРКВИСТ
Смерть Агасфера

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Л. САМОЙЛОВ
Расправа
с помощью права



В саду у Михайловского замка
Рис. Г. Дерягина

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

2/1991

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Старший технический редактор Г. И. Огородиин
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

Сдано в набор 26.10.90. Подписано к печати 03.01.91. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага офс. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 25,28 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 758. Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Надежда
ПОЛЯКОВА

◆◆◆

Где ни вытряхнет поезд, ни выплюнет пыльный автобус
С чемоданом, баулом, с еще не открытой тетрадью,
Всюду чувствую землю, затертый, засаленный глобус
С паутинками рек и морской лакированной гладью.

В городах иль в степи, у реки иль трубы водосточной,
На асфальте разбитом иль в худеньком скверике с краю
Строю дом на фундаменте памяти ясной и прочной
И четыре стены из рифмованных строк воздвигаю.

Умирает земля, а в дому моем живы и здравы
Все, кого я любила, щебечут забытые птицы,
Рыбы плещутся в реках, склоняются мягкие травы
Без отравной росы, родничок без отравы струится.

Мне бы спрятать в мой дом этот маленький и беззащитный
Школьный глобус, который условно землей называем.
То ли склеенный плохо, то ли слабыми нитками сшитый,
Потому и ломается, если бездумно играем.

Жаль, что дом мой не виден из космоса иль с самолета.
И случайный прохожий раздавит его сапогами.
И останусь стоять, как супруга безгрешного Лота,
Безголосо кричать и тянуться к руинам руками.

◆◆◆

Корнями перекрученными сосны
Цепляются за мокрые пески.
Как тонкие озлобленные осы,
По комнате летают сквозняки.

Сплетают непонятную интригу,
Не растворяясь в призрачном тепле.
Листают недочитанную книгу
И рукопись на письменном столе.

15 декабря 1989 года

Вот и все. И затих ураган.
И морозная ночь онемела.
Дам работу ленивым ногам,
Распрямлю ослабевшее тело.

Пожелтела бумага, края
Замахрились, поблекли чернила.
Я опять ученица твоя,
Жизнь. Чему ты меня научила?

Сдам термометр Инессе в здравпункт,
Разорву два ненужных рецепта.
В избавленье от хворей-хапуг
Бедных сосен посильная лепта.

Перед вечною черной доской
Бесконечно решаю задачу:
Я — избранница или изгой?
Что могу? Что умею? Что значу?

Дня декабрьского благостен лик,
Перед ним ли молчать и лукавить?
Жаль, что прожитых лет черновик
Никогда не удастся исправить.

Что́ прожи́тые мною года,
Что́ моя эфемерная сила,
Если даже не сыщешь следа,
Где неделю назад проходила?

◆◆◆

Понять — и не принять.
Принять — и не понять.
И мучиться опять,
Пытаясь жизнь объять

Не сердцем, так умом,
Не жестом, так строкою,
В движенье ли шальном,
В застывшем ли покое,

В том, что лежит в руках,
Меж пальцев утекая,
В случайных черепках,
Зазубренных по краю,

В обрывках смутных снов,
В зеркальном отражсньe
Незыблемых основ,
Теряющих значеньe.

◆◆◆

Домой вернулась. Здравствуй, добрый дом!
К чему тебе ненужных знаний малость,
Какою ленью и каким трудом
Я весь декабрь жила и занималась,

Как густо перечеркана тетрадь,
Какие тени, вызванные мною,
Оделись плотью, стали оживать
И, как стена, стояли за спиною,

Как рядом с ними я сильна была,
Как голоса их милые звучали,
Как стала вдруг печаль моя светла
О всем, что мной оплакано вначале.

В чужом краю, в чужом снегу, в дому
С чужою лампой за столом казенным

Как трудно было сердцу моему —
Оно птенцом дрожало обожженным —

Воскреснуть, успокоиться, взлететь...
Зачем тебе? Ты непосильным бытом
С утра до ночи занят. Пить да петь —
Занятье отошло к давно забытым.

Из клетки в клетку — вот мой переезд,
Иль смысл его — как по-иному скажешь?
И нет на свете благодатных мест,
Где я могла бы сбросить эту тяжесть.

Пора впрягаться в лямку будних дел,
И жить, как ты. Ведь я — не исключенье.
Но все еще звучит в душе моей
Последнее в году стихотворенье.

◆◆◆

«Не ходите поздно ночью, вас разуют и разденут,
Разве не слышны вам вопли растревоженной молвы?
Подойдут, потом окружат, если нет в карманах денег,
Снимут шубку, свитер, юбку, туфли, шапку с голоаы.

И не пейте газировку у корявых автоматов,
Триппер, сифилис, чахотка и еще заморский спид
Спят во чреве автомата и бурлят, как пламень адов,
Речь не только о болезнях, но придут позор и стыд.

Не знакомьтесь с человеком ни в такси и ни в трамвае,
Ни в вагоне электрички, ни на танцах, ни в кино,
Если б знать вам, что задумал он, билетик отрывая,
Или место уступая, или глядючи в окно».

Потому и страшен город, что боимся мы друг друга,
И кричим «дурак!» друг другу, чтобы враг боялся нас.
Лица делаем страшнее и веревочкою туго
Перетягиваем куртки, босиком пускаясь в пляс.

Или жертвами прогресса, жмурясь, корчась и сутулясь,
И к летающим тарелкам руки жалобно воздев,
Пробираемся, как тени, вдоль глухих ослепших улиц,
Где лежат тела младенцев, изнасилованных дев.

Где убитые старушки, как поленья, киснут в лужах,
Где из каждой подворотни в спину целится кинжал,
Где и телепередачи на людей наводят ужас,
И последний ясный разум от сограждан убежал.

Феликс
СВЕТОВ

ТЮРЬМА

Роман

Глава третья

ОБЩАК

1

— Вы не можете, не можете, вы не можете так со мной... Вы не можете...— шепчет, бормочет он, замолкает и начинает снова: — Вы не можете так со мной...

Глаза у него закрыты, он натянул матрасовку на голову, но все видит, слышит — *ничего не видя, ничего не слыша.* Он напряжен до предела, все, что осталось, стучит в нем: зрение, слух, обоняние, осязание...— что еще?

— Вы не можете,— бормочет он,— не можете так со мной...

Он зажмурил глаза, натянул матрасовку на голову, но он *видит*! Залитое ярким мертвенным светом пространство безобразно загромождено черными железными шконками, длинный стол посередине, глухие окна в толстой решетке густо загорожены снаружи ржавыми полосами, огромная железная дверь с наваренным изнутри нелепым наростом — что это? В углу, под ним — *под ним*! — омерзительный трон ватерклозета... Если б только это — шконки, решетка, безобразная дверь, омерзительный ватерклозет... Толпа! *Толпа*!!! Кривляющаяся небритыми черными рожами, ощеривающая желтые зубы под красными, синими губами, в лохмотьях — перемещается, снует, по-обезьяньи прыгает со шконок, гримасничает, машет руками, крутится вокруг стола... Что они там делают?.. Очередь — *очередь*! — под ним, один за другим забираются на трон ватерклозета... И все в сизом дыму, слоящемся, подымающемся к потолку клубами...

Он *ничего не слышит*, пальцы в ушах, матрасовка, одеяло, сверху подушка... Стоны, кряхтенье, визг, жеребячий смех, брань... Разве он никогда не слышал брани? Нет, это не брань, что-то непостижимо-мерзкое, грубое, как удар дубиной, изощренное, как укол иглой, издевательское до смертной обиды, до невозможности простить... Что простить, кто не может простить — кто-то из них знает, что́ такое оскорбление, эти существа, изрыгающие брань, способны оскорбиться? Черный мат, извращающий смысл любого понятия, слова, мысли, образ человека... Сплошной гул, бессмысленная брань заполняет пространство, и он плывет в нем вместе со своей матрасовкой, одеялом, подушкой — куда его тащит?

Что может он *обонять*, зарывшись носом в ворох собственных тряпок?.. Смрад заполняет пространство, в котором он плывет, он ощутил его сразу, едва успев протиснуться в дверь со своим мешком, и до сих пор не поймет — почему тут же не задохнулся? Смрад источает матрасовка, одеяло, подушка, он расстегнул ворот рубашки, уткнулся носом в грудь — тело сочится смрадом, он проник внутрь и уже сам из себя...

Что у него есть еще?.. Осязание, вспоминает он. Руки он старается держать в карманах, когда они не в ушах, боится прикоснуться хоть к чему-то, только что почувствовал пальцами брызнувшую под ними кровь раздавленного насекомого...

Что это такое, думает он, я не могу понять и определить, потому что нельзя понять, оно не поддается определению — *неопределимо*. У меня нет языка, слов, меня им не научили или их нет вообще на человеческом языке — слов, способных *назвать*. Но у меня нет и чувства, готового откликнуться — я же не вижу, не слышу, не осязаю... Но, значит, и разум не может вместить, что я, тем не менее, обоняю, слышу, вижу... Но если этого нет, не потому что меня не научили, но вообще не существует на человеческом языке — нет слов, нет чувств, нет понятий, как же я, тем не менее... И откуда-то из глубины сознания приходят *слова*: когда-то, где-то, от кого-то он их услышал или прочитал, он не может вспомнить кто, где, когда, но он их знает, они ему почему-то известны, они для него тоже всего лишь слова, неспособные объяснить, но, быть может, они и вмещают своим странным смыслом, от которого он всегда отмахивался — с усмешкой, с раздражением, со злобой, вмещают то, что невозможно понять, определить,

---

Продолжение. Начало см.: Нева. 1991. № 1.

увидеть, услышать, выразить в словах па человеческом языке... Сейчас он цепляется за них — больше нячего нет в его готовом вот-вот померкнуть сознании...

«Там будут вопли и скрежет зубовный...» — слышит он в себе. Это говорит не ои, что-то в нем: «вопль и скрежет зубовный...» Да, думает он, все, что вокруг меня, во мне — это и есть...

— А-а!!,— кричнт он.— А-а!!!

Он сбрасывает одеяло, подушка летит вниз, он выпутывается из матрасовки, отпрыгивает к стене...

— Ты что орешь, падла?

Там, где только что были его ноги, торчит лохматая голова, рука с блеснувшей бритвой, дно матрасовки срезано, вторая рука с треском отдирает широкую полосу.

— Молчи, сука, пришью...

Исчезла голова, руки, матрасовка стала на треть меньше.

— Подкоротили, сосед,— слышит он рядом гнусавый смешок.— Начало, еще не то будет...

Он прижался спиной к корявой «шубе» стены, над головой трещат трубки «дневного света»; на шконках у противоположной стены пестрая куча голов, ног — каша из лохмотьев, иебритых существ; внизу урчит, пышет смрадом ватерклозет. Он на самом краю...

2

Как ни странно, только что пережитый ужас приводит его а чувство. Ему не хватало конкретности, услышанный им в себе «скрежет зубовный» был безысходен неопределимостью. Не надо закрывать глаза, думает он, не нужно затыкать уши. Если у них — он глядит в пеструю кашу напротив,— если у них есть языки — для брани, руки, чтоб держать бритву, ноги, чтоб... Отсюда не убежишь, не уйти, ноги тут не нужны, но они пригодятся потом... Значит, «потом» будет? А как же, думает он, мы еще побарахтаемся, отсюда можно выйти, но не ногами, не с помощью руки с бритвой. Нужна голова. Можно уйти на спец, на больничку, теперь я кое-что знаю. Это у них только поганый язык и рука с бритвой, а у меня голова...

— Ты давно здесь? — спрашивает он соседа, тот занят бессмысленным делом: распускает грязную шелковую майку, наматывает нитки на свернутую в жгут газету.

— Второй месяц,— отвечает гнусавый голос,— башлей нет, никак не подгонит моя сука, я до нее доберусь, думает, зарыла... У тебя табачка нет?

— Кто лежит внизу? — спрашивает он, про табачок он говорить не хочет.

— Кому положено. У кого язык длинный — лизать, кого кум кинет, у кого табачок, ларек-дачки... Покурим?

— А это кто такой — вон седая борода?

— Крыша течет, придурок, его уже учили.

Седая борода сидит на краю, ноги по-турецки, глянет туда-сюда, чертит на листочке, откладывает, берет новый.

— Рисует, что ли?

— Верещагин. Ждет экспертизы на Серпах.

Запахло жженым, в окно потянул синеватый дымок.

— Горим!..— говорит он соседу.

— Твои дрова — матрасовочка. На сегодня им хватит, завтра одеяло подкоротят.

— Как... одеяло?

— Молча,— говорит сосед: матрасовка едва прикрывает ему ноги, одеяло не шире полотенца.— Видал? Вот и у тебя так будет... череа неделю.

— Зачем... им?

— Чаек пьют. Волчата шуруют по хате, им по глотку́. Хрен с ним, заплатим, не здесь, так с зоны.

— За что? — спрашивает он.

— За одеяло, за матрасовку. С кого возьмут? Ты ж расписывался за казенное имущество... Давай покурим.

Он достает припрятанный в мешке табак.

— Это дело... Дай-ка скручу, у тебя увидят, полезут, ты, гляжу, полный лох, а тут шакалы...

Уши затыкать бессмысленно, глаза закрывать — без толку, не спрячешься. Матрасовку он саернул, сунул под голову, прикрылся одеялом... И матраса своего нет, отобрали, как вошел, зачем ему — наверху лежат вповалку, сейчас посвободней, попрыгали вниз, а когда залезут — только на боку...

Тянет дымком от окна, догорает его матрасовочка. А ведь прав был Андрей Николаич, кабы не больничка... Каким чудом он продержался даа месяца, больше? Нет, тут не чудо, посчитали, что выгодней, все он понял, а что не понял, растолковали: боялись, проболтается, ее прокол, Ольги, подвела ку́ма. Он и сейчас вздрагивает, вспоминая

белый сверкающий халат, шприц в руке, как иож... Почему сейчас выкинули? Хватит, сколько можно держать на больничке, здоров, да и вообще в порядке, отмок, отдышался, а кабы не больничка, если бы сразу сюда — не выдержал бы, он и сейчас не вытянет, но если б сразу, тут бы и размазали. Больше не могли держать на больничке, понятно, и на том спасибо, не в том дело, что здоров, плевать им, не нужен стал, перестали бояться, небось дальше потащили того артиста... Да какое мне дело, мое дело другое, надо головой ворочать, они кулаками, поганым языком, а я головой, сразу не могу, теряюсь, а чуть вздохнуть, собраться... Да тот же самый мир! Тут смрад, темнота, ужас, а там... Там свое и там харчат, но если я там выжил, выплыл... А что в институте — не волки, на кафедре — не шакалы, то же самое, везде — у кого больше, тот и пан! Но — выжил, пробился, не схарчили! Головв, голова нужна, и тут есть, не может быть, чтоб совсем не было выхода...— оя думает все быстрей, лихорадочней. Здесь я не смогу, не вытяну, здесь они меня задавят, надо придумать, сообразить сразу, сегодня, завтра может быть поздно...

И он с благодарностью вспоминает длинные дни в *тишине* больнички: *одноэтажные* шконки, две простыни, молоко, белый хлеб, *мясо*; ярость срывающегося в крик Андрея Николаича; замороченную деловитость Дмитрия Иваныча — а ведь расстреляют, да пусть пятнадцать лет, все равно не вытянет; распадающееся мертвое занудство Прокофия Михалыча — помрет, яе сегодня-завтра помрет; тихое отчаяние «спортсмена» Шуры — проговаривался, не спрячешь; беззащитную, бессмысленную — всегда себе во вред! — нелепую доброту Оси; и Генку — злобного, задерганного, но и в нем затравленное страдание... Неужто люди? А здесь, выходит, другие?.. Да какие они люди! — уже со злостью спохватывается он: Андрей Николаич — потомственный, с рождения вор, натянул маску интеллектуала, книгочея, доморощенного философа — как корове седло! Бога вспоминает, в тюрьме что не вспомнишь, учить вздумал, правду-матку режет, а попадись ему на воле — перешагнет, да как ему было пройти мимо тюрьмы, здесь ему и место: везло, ловок, связи, деньги, потому и дотянул до старости, но ведь не ушел, есть справедливость — залетел, подлечат и сюда, пусть он тут покуражится, подышит... Дмитрий Иваныч, вроде бы, ближе, понятней, нормальный человек, схватил лишнего, не переварить, но разве удержишься, пожадпичал, а если б держал себя в рамках, в разумных пределах — приличный человек, дача, машина, Бразилия-Мексика, могли бы и встретиться, да не могли — встречались, не с ним, так с моим *тестем* — разве не такой, помельче, потому и сидит дома, лишнего, что в глаза лезет, не схватит, хитер, трус, такие и живут, своей смертью поплывет в красном гробу за подушкой с орденами, небось, проклял его, отказался, пятно в анкете, по передачам видно, без отца собирала, все из магазина, из *заказов* ничего, нз спецбуфета не дал, разведет, как пить дать, разведет, ну и пес с ним, теперь другая жизнь, буду умней, не поймают, такой прокол раз в жизни, научусь, время есть, соображу, продумаю на всю оставшуюся жизнь до конца... А этот живой покойник — Прокофий Михалыч, тоже, что ль, человек? Тля! На такую вырулил идиллию — директор пляжа, во какие бывают должности, пляж в Химках, соорудили с женой шалаш, одних бутылок, говорит, на сотню в день, так и те собирать надоедало, можно больше, в праздники, другой раз, как войдут в азарт, в раж, на пятьсот рублей набирали — машина, кооперативная квартира, что еще надо — мало! — престижу захотелось, дяректор бань в самом центре; известно, как получить номер в тех банях, чтоб в любое время, в любом составе, по высшему разряду, с пивом и коньяком, хоть на всю ночь. Вот и подохнет собачьей смертью на больничной шконке... А Шура? Пустой малый, только кажется ближе, ровесники, школа — институт, танцы-манцы, одни и те же улицы — переулки, Крым — Кавказ, но думать надо, соображать, зачем голова человеку — за бабу сломать жизнь, хоть на два хода вперед как не считать, какая может быть любовь, какая жена, если сам рассказывал, а не рассказывал, проговаривался, как-то ночью Андрею Николаичу всхлипыаал, а тот учил уму-разуму: два года добивался, два года просил бабу, чтоб *дала*, она и показала, когда уговорил, сам хотел, сам уламывал, чего ж обижаться, выпросил, получил чего хотел, какие претензии, она и давала, небось, ие просили, кто просит, тому не дают, да не замечать надо было, коль нужна, а заметил, закрыл дверь и ушел, а лучше, закрыл дверь, не пустил, если дверь твоя, так ведь и убить не смог, какое убить, когда два года уламывал, он и убивал, а надеялся, с перепугу даст, а теперь в его квартире — подарил, прописал, на его деньги гуляет, кому захочет, радуется, спровадила дурака, не вернется — новый замок, как еще дураков учить, для того и тюрьма, научат... Это только Осю не научить, такому чем хуже, он только глупеет, его и посадили за глупость, за доброту — а что такое доброта, если не глупость, он всегда дурак был: ветеран, специалист, еврей — золотые руки, а послушать — ничего не нажил, друзья-приятели и все именитые, зубы он им вставлял, за то и приваживали, а когда упекли, сдали за чужие грехи, нажились на нем, списали, небось, и пальцем не шевельнул никто из тех именитых — зачем им, да и правильно, поделом! Генка и тот поумней, даром что свинья, валенок, за пачку чая вломит, стучит, за то и держат на больничке третий месяц, так ведь борется за жизнь, не сдается, зубами держится, вытянет, он

и вытянет — изо всех один, за что только не хватается, в больничную кормушку углядел бабу из хозобслуги, подержался — и уже поменялись адресами, ночами строчит письма, признания до гроба, планы на будущее, у нее квартира, а что ему еще — ни кола ни двора, хулиган с Таганки, а все может быть, оттянут по три-пять лет, встретятся, если она кого другого не захомутает,— и поехали, не как у страдальца Шуры, да чтоб такое осуществить, из такой ямы выбраться — да он кого хочешь сдаст!.. А может, оно того стóит?..

Какой университет, думает он, два месяца на больничке, а целая жизнь, еще б зацепиться, хоть на самом краю продержаться... Нет, совесть надо иметь... Да какую совесть, трезвость нужна, соображать надо, нет времени на раздумья, на слабость, больше не подадут, чудо, что подарили два месяца, такого и быть не могло, а теперь надо самому, не будет подарков, да и нелепо ждать, только самому, своими силами, зубами, мозгами, вырвать, успеть... И он опять, не понимая почему, цепляется, продолжает думать о Генке: самый неприятный из всех, самый чужой, чуждый — непонятный, откровенно злобный, опасный, а что-то их... связало с первого дня, как только его увидел: в коротком халате, голые голенастые ноги, хищный хрящеватый нос, большой жадный рот, сел на его шконку: «Ты и есть Тихомиров?..» И он вспоминает, как дрожали у него руки-ноги, как Андрей Николаич схватил костыль, как раскручивалась-разматывалась путаная история неведомого ему морячка — два месяца отлежал на его шконке, спасибо, освободил место, да при чем тут морячок, сошлось, кто-то химичил — кто? Совпало, помогло, случилось — но, значит, могло совпасть, бывает, и тут можно выскочить, если схимичить, организовать, устроить, смог же Генка, одна извилина, а смог, до сих пор не выбрасывают и сейчас лежит под простыней, жрет мясо, хлебает молоко... Не упустить, не упустить шанс, не может быть, чтоб и здесь не было выхода, думать надо, шевелить мозгами, нет у него права на ожидание, на ошибку, сразу не сообразил, не врубился, а здесь своя хитрость, как везде, система, механизм, паутина, вяжет ее паучок, крутит, сучит, плетет — разгадать, распутать, на то у него голова, сам начнет вязать, путать...

Значит, Генка, думает он, только Генка, вот где наука-университет, перспектива, остальные — отработанный номер, шлак навыброс, в Генке звено, то самое, за которое ухватиться, вытянешь, не зря учили уму-разуму, да не в этом университете, в том, прежнем, звено, за которое ухватишься,— и вот она, цепь, запашок, правда, не тот, ясное дело, но уж какой теперь запашок, за один день нанюхался, не до жиру, простой выбор: стать паучком, коли нет сил быть волком, коль не возьмут в шакалы, или... Один Генка и стóит хоть что-то на этом рынке, остальные болтуны, ничтожества, те самые интеллигенты, навидался в прежней жизни, и тут такие, знак другой, пусть обратный, а нет разницы, пустота, слякоть... «Плюсквамперфектум»,— вспоминает он, где он, кстати? Да уж, наверно, размазали, доплыл, если попал сюда, какие у него варианты, не было больнички-университета, кто ему схимичит, кому нужен, а где еще набрать ума-разума, встретились бы, подсказал... Да зачем мне, силы на него тратить, научат, пусть сам доплывает; фраер, вспоминает он, самоуверен, сентиментален, а такой же, как все,— болтун-умник, подлаживается, чтоб не остаться в стороне, вроде свой, разговоры-сигареты, вписаться ему надо, его тут впишут...

Нет, только Генка, думает он, вот где сермяга, если хочешь жить, если хочешь выжить, выбраться: не убеждать-уговарить-доказывать шесть лет, как Дмитрий Иваныч, тонна одних жалоб-оправданий, а прокурор все равно — вышку; не лбом об решку, как Андрей Николаич — тюрьма у него, видишь ли, возмездие-прозрение; не дожидаться, чтоб бирку на ногу — и потащили, как потащут Прокофия Михайлыча, директора пляжа, плохо ему там было, мало нахапал; не плутать в трех соснах, как недоделки-пустомели Шура с Осей, один от бабы не мог отлипнуть — не давала ему! другой совсем неведомо в чем заблудился, собственной добротой накушался, из ушей полезла, не зря оглох... А за что он влип — Генка?..— перебивает он себя. Шут его знает, темна вода, врет, путает, там не хулиганка, посерьезней, другой раз такая тоска в глазах... А может быть, и с ним не так просто, не разобрал, может, нет там никакой силы и он так же слаб, как все, и не вытянет, как все... Да и откуда — одна извилина, а туда же — переживания, сожаления, страдания,— как-то глянул на меня, а ведь явно было, только что стучал, как не понять, только успел вернуться с вызова, вроде, от врача, а Шура рассказывал, их вместе дернули, одного на процедуры, а Генку в ту самую дверь, где майор морячка заарканил,— что ж он на меня тогда глянул, неужто повиниться, стыдно?.. Такой же, как все, затопчут, употребят и вышвырнут — зачем он, кому? Кто ж тогда, если и не Генка? Как же жить, как *выжить*?.. А если единственную его извилину — жажду, ту самую звериную жажду выжить, ради которой ничего не жалко, если эту жажду приспособить, а переливы, страдания, слюнявые комплексы и переживания ему и оставить, пусть захлебывается — и на одной такой жажде...

Только так, думает он, никаких сентиментов, тюрьма — не гимназия, да он никогда дураком не был, а залетел не по своей вине, нелепость, вломила дура, ничего, свое

получит, а на нем нет вины, все у него всегда было четко, как у людей, не хуже, но если б знать, если б он был готов заранее... Есть и тут место, положение, ситуации, где можно жить, выжить, не боги горшки, сообразим. Отсюда надо уходить, думает он, пусть здесь тех держат, у кого голова не варит, а мы как-нибудь, научили — спасибо, пусть те плачут, кто учиться не способен, кого не научишь, а мы как-нибудь, хватит ума, силы, пусть они тут, а я...

Он лежит на спине, укрылся одеялом, матрасовка сложена под головой, глаза закрыты, а все видит, все слышит: пестрая куча тряпок, как в калейдоскопе; рычание, хохот, вой; и дым уже не движется, стоит, как туман,— дым или смрад?..

3

Уютно, думает он, славно, тепло, вытянуть ноги, плывешь, зачем спешить, не торопись, успеем, самое оно — потянуть, растянуть: удовольствие не в самом удовольствии, а в его ожидании, оно подороже, для того и предбанник, острота — это уже конец удовольствия, известно, что за ним, а вот его ожидание... Давай-давай, Жорик, Жоринька, милый, ну что ты тянешь... Лучше не глядеть, не слышать, а она перед глазами, стягивает джинсы, да не хочу я, не надо сразу, плывем, как славно... Быстрей, Жоринька, не тяни, там не ждут, опоздаешь, не один ты, потеряешь, я не могу больше, не хочу ждать... А я не хочу видеть, закрыл глаза, а она щекочет пятки, ты что, потом, успеем, погоди, а хороша стерва, живот, грудь, ноги, повернулась, зачем повернулась, уходит, спешит, неймется, экстерьер, вспоминает он, о ней сказали, а она, дура, обиделась, а верно, хороша, и верно, экстерьер, за то и цена, не жалко, повернулась, вот у кого походка, особенно когда ничто не мешает видеть, когда сняла, что мешает видеть, повернулась — и в дверь, ну и пусть, одному лучше, вытянуть ноги, успею, а из двери, как открыла,— тепло, жар, крики, шайки звенят, да разве там шайки, сауна, горячий пар, сухой, вон как пошло по ногам, стихло, закрыли дверь, ух ты, там, наверно не шайки — бокалы звенят, кто ж ее первый схватил, ничего, успею, когда они еще дойдут, разогреются, им подержаться, это он с полоборота, а если эта свинья, сволочь, тот может сразу, ждать не будет, надо бы удержать ее, так ведь сама лезет, тормошит, щекочет, невтерпеж ей, опять приоткрыла дверь, сверкнула, чем сверкнула, чем надо, тем и сверкнула, какой яркий свет, не разглядишь, слепит, шум, звон, визг, схватили ее, конечно, схватили, а ей того и надо, надо и мне, выходит, спешить, нельзя опоздать, пожалею, да и с какой стати, если договорились, деньги плачены, а дерут, подумать страшно, овсы, говорит, вздорожали, а что делать, хозяин — барин, не хочешь — никто не неволит, за ценой не постоим, не хуже людей, надо раздеться, не за предбанник цена, пожалею, за них, что ль, платил, чтоб им сладко, рубашку долой, брюки, ботинки, черт, как в детстве, узел не развязать, когда надо спешить, всегда, всегда так, рвать его, что ли, а шнурок новый, как назло, только купил, не порвешь, зажало ногу, пальцы давит, жжет, сбросить, скорей сбросить, а-а, черт, не скинешь, ладно, пусть в ботинках, засмеют, а пусть смеются, голый в ботинках, конечно, смешно, стыдно, а ничего не стыдно, какой стыд в бардаке, да и куда деться, все сильней жжет и не сбросишь, ладно, там не до того, все пьяные, не заметят, да хоть и заметят, больше нельзя тянуть, надо успеть, заиграют, потеряю бабу, да черт с ними, с ботинками, предбанник, мать вашу, а где дверь, не найти, нет, что ли, двери, она только что вышла в дверь, куда ж еще, не надо было выпускать, не надо было отпускать, пусть бы она раздела, если неймется, она б и шнурки развязала, как же она щекотала пятки, значит, сначала сняла ботинки, а потом снова надела, завязала нарочно узлы, чтоб не успел, а он прошляпил, кейфовал, провозился, конечно, схватили, сидит на коленях у того, кто первый схватил, смеется, стерва, и они потешаются, ждут его выхода, ага, кто-то хихикает, гнусаво, мерзко, через дверь, а слыхать, да где же дверь, бред какой-то, сам отдал, выпустил, надо б вместе, сразу в жар, в пар, в лучше в бассейн, за руки, не отпускать — и полетала бутербродами, а там сразу, в зеленой воде, а-а, черт, как жжет ноги, вот она, дверь, нашел, нащупал, ногой ее, ботинком, распахивается...

Яркий свет, грохот, вой, визг, сколько их, почему так много, а он голый, в ботинках, ноги, ноги...

— А-а!! — визжит он.— А-а-а!!!

Ноги в огне, полыхают, дым, он подтягивает ноги, ничего не может понять от боли, дуреет, огонь ползет по матрасу, тлеет, дым, как ножом режет пальцы, а вокруг разноцветный грохот, вой, хохот — это он кричит или кто-то рядом? — схватил руками ноги, жжет, горит между пальцами...

— А-а!!! — орет он.

Кто-то запрыгивает снизу, навалился на ноги, зажал.

— Скоты! — слышит он.— Мерзавцы!.. Как вы смеете так с человеком? Кто вы такие?.. Подонки!..

— А ты что лезешь, тебя трогали, сука?..

— У-у!! — воет он: ноги ножом, пальцы...— У-у...

— Он человек, а вы кто — нелюди, свиньи, скоты!..
— Тебе жить надоело, суке?..
— Мочи его!..
Стоит над ним на коленях, накрыл ноги одеялом, держит, седая борода дрожит, зубы оскалены:
— Мерзавцы, подонки...
— Сюда его, вниз его сбрось!..
Не человек, обезьяна бежит по шконкам от окна, перепрыгивает через лежащих, не выбирает — по ногам, по головам, ближе, ближе — и ногой, как футбольный мяч, седая борода валетела — и исчезла...
— Навались, разом, да прикрой ему башку, убьем!..
Вой, визг, скрежет, лязгает дверь...
— Встать! Всем встать!!!
Грохот сапог...
— Вниз! Всем вниз!!!
— Ты чего в крови, кто тебя?.. Что молчишь?
— Спалили человека, скоты!
— Где он?..
Дергают за ногу.
— Больно! Вы что?!
— Давай вниз... Фамилия?
— Я... Тихомиров фамилия. Я... не могу, больше тут не могу, куда хотите, что хотите — тут больше не могу!..

4

— Куда ты меня ведешь, Федя?
Молчит, он все время молчит, открыл первую дверь из *нашего* коридора, пропустил вперед, стучит сзади ключом по железным перилам: лестницы, переходы, туннели, опять лестницы и снова... Широкая, в два раза шире нашей, пролеты огромные, погрязней... С площадки прямо... Эх, не заметил, какой этаж! Коридор в три раза шире, потолок...
— Во кубатура!.. Куда ж ты меня привел, а, Федя?
Остановился, смотрит на меня: маленький, рыжий, веснушки на лице, на носу, глаза... Другие глаза! В тот раз помню — бешеный, вздрагивали, а сейчас другие — устал, что ли?
— Я тебя предупреждал, что ж ты уши развесил?
— А что я?
— Ты в тюрьме, здесь не ошибаются. Один раз ошибся... Шагай вперед.
— Это общак, что ли?
Не отвечает.
— Стой.
Стою у стены: коридор широченный, между дверями расстояние в пять раз больше, чем у нас, на спецу, что-то внушающее... уважение, скажем... мощь...
Подходит к вертухаю, тот болтается посреди коридора, говорят о чем-то, долго говорят, дает ему папку, мое дело; опять говорят — может, мест нет?
Опускаю на пол мешок, лоб вытереть, жарко... Подходит.
— Давай в тот конец.
Шагаю мимо двери, мертвая тишина, вторая, третья...
— Стой.
Остановился.
— Мандраж? — спрашивает.
— Может, обратно отведешь, тут, наверно, мест нет.
— Тебе радоваться надо, что перевели, там бы тебя, лопоухого, догрызли... А мест тут на всех хватит, увидишь.
Вертухай медленно идет к нам.
— Приходи, Федя, я тебя ждать буду. Ты у меня Вергилий.
— Чего, какой...
Вертухай подошел, отпирает дверь, открывает чуть-чуть.
— Давай,— говорит.
Не пролезть с мешком, нажимаю, а дверь не поддается, что-то держит.
— Как тут пролезть?
— Молча,— говорит Федя,— не такие пролезали...

Переизбыток воображения, думаю. Разошлось воображение, не остановить. Так ведь ошеломляет. Так-то оно так, думаю, но и перепутать можно, что иа самом деле, а что... Не совсем так было, когда он вел меня, то есть, все так и было — лестницы, туннели, переходы, коридор общака... Таким ли он был, или мне хочется, чтобы он был таким? Я не могу понять, что в его появлении — в тот раз, когда вели со сборки, и сейчас, почему именно он, рыжий — совпадение, случайность, в тюрьме не бывает случайностей, вот в чем странность, а ошибиться нельзя...

Наверно, я сейчас думаю о нем, чтоб не думать о том, что происходит вокруг: слишком много, с воображением надо бы погодить. Писатель, думаю я, вот она, зараза писательская...
Огромная камера, вот что ошеломляет, прав был Боря, когда говорил: «Ты еще тюрьмы не нюхал, браток...» «Вот это тюрьма!» — первое, что пришло в голову, когда и подумать не успел, пролез, протиснулся в дверь со своим мешком и сразу дошло: дверь заклинили намертво, нельзя открывать во всю ширь — толпа, рванутся, не остановить, куда вертухаям, пулеметы не остановят... Мрачная, зловещая, безобразная красота... Может быть красота безобразной? Может-не может, а вот она: высоченный потолок и все гораздо больше, значительней, весомей, шконки в полтора раза выше спецовских, головой не достать до верха, изразцы красивые, как в банях, окна под самым потолком сплошь затянуты «ресничками», три ступени ведут к сортиру, все в движении, а потому кажется — в дыму, в смраде плывет ватерклозет, парит над камерой... Но народу, народу!.. Толпа. Наверху пестрая куча, вроде глядят на меня, а вроде никакого внимания, чтоб пройти, надо протолкаться, как в троллейбусе,— да тут ничего не понять! Стол длинный — дубок, играют, то же домино, видать, покер, а вон и шахматы...
— Давай сюда!..
Оборачиваюсь, крайняя шконка, возле сортира, их там много, бурный разговор, не до меня. Кто ж позвал?.. Подхожу.
— Откуда... Так это ты?.. Не узнаешь, очки?
— Здорово,— не могу вспомнить.
— Забыл? На сборке вместе. Ты с длинным малым тусовался, и еще один с вами — туберкулез косил...
— Верно!..— Во память! Теперь и я вспомнил: татарчонок, шустрый, доброжелательный...— А ты как тут?
— Я с самого начала, присох. А тебя иуда потащили?
— На спец, два с половиной месяца прокантовался.
— А сюда почему?
— Кто их знает. Видать, для науки. Как тут у вас?
Рядом молчат, прислушиваются.
— Нормально,— говорит,— жить можно.
— Куда меня определят?..— вспоминаю я общаковские порядки.— Кто тут у вас шнырь?
— Я и есть шнырь,— говорит мой татарчонок,— только я не по этому делу. Чего ж они сюда, у тебя, вроде, статья...
Подходит кто-то, от мелькания лиц не разберешь, как в кино, если войдешь в середине сеанса, лезешь между рядами, не врубиться — кто, зачем, почему...
— Давай, шнырь, тебя зовут.
Татарчонок встает — и нырнул в толпу.
Сижу на его шконке, мешок рядом, всякое думал об общаке, но такого не ожидал. А чего ж ты ожидал, думаю, скучно стало, *слишком хорошо*, загордился, заважничал, распускаться начал, вот и сунули мордой куда следует. А может, на благо, вон как сказал рыжий Федя: тебе, мол, радоваться надо... Не хватает духу на радость. Значит, вон она какая — тюрьма, впечатляет... Эх, вспоминаю, летит мысль, не удержать, кто-то говорил: если у самой двери упрешься, у них права нет заталкивать, не пойду, мол, и весь разговор, а переступил порог — все, обратного хода нет... Надо было отказаться, может, и рыжий того от меня ждал, а сегодня пятница, они специально, суббота, воскресенье — мертвые дни, не дернешься, в тюрьме никакого начальства, не достучишься... Тут нет случайностей, накладок, задумано... Пятница, думаю я, а завтра... Завтра Лазарева суббота! Вон оно как, да, пожалуй, ничего случайного, все так и должно быть...
Подходит татарчонок, рожа кислая, как слизнуло доброжелательность.
— Давай,— говорит,— с тобой хотят поговорить.
— Кто? — спрашиваю.
— Давай к первой шконке...
Идти мне не хочется, ничего хорошего не светит, в лучшем случае нудные разговоры, два месяца назад тянуло послушать, поговорить, теперь накушался, хватит, а что делать, тут свои законы, чужой монастырь. Выходит, нельзя раскатать матрас, забраться под шконку, закрыть глаза и думать о том, что завтра Лазарева суббота, послезавтра воскресенье и Он войдет в Иерусалим: две тысячи лет Он год за годом входит в Иерусалим, хотя знает, что Его там ждет...

Я думаю об этом уже на ходу, пробираюсь в толпе, верно, как в троллейбусе, впору спросить: «Вы сейчас не выходите?..» Спроси, врежут: «У тебя что, сука, крыша течет?..»

Первая шконка у самого окна, одноэтажная, королевское место — воровское, поправил меня как-то Зиновий Львович... Вроде, татарин, лежит, подпер голову рукой, синий спортивный костюм, лет тридцать пять; рядом здоровый бугай, грузин, тоже в спортивном, пошикарней... А на соседней шконке молодые ребята, лет по двадцать пять, лица открытые, веселые...

— Здорово,— говорю,— звали?

— Садись,— говорит татарин,— откуда явился?

— Со спеца.

— Какая хата?

— Двести шестидесятая.

— Двести шестидесятая?..— он поворачивается к пареньку, чем-то похож на Лешу со сборки, нет, тот был поскромней, а этот наглый.— Твоя, Сева?

— Моя,— говорит.

— Где там у вас телевизор? — спрашивает меня татарин.

Ну, про эти наколки я наслушался.

— Между окнами,— говорю,— только Севы там не было, я без малого три месяца отлежал.

— Чего ж тебя выкинули?

— Есть над чем подумать,— говорю,— а я не просился.

— Какая статья? — спрашивает грузин.

— Вы не знаете,— говорю,— сто девяностая прим. Никто не знает.

— Недоносительство,— говорит Сева.

— Никто ни разу не угадал. Распространение клеветы на советский государственный и общественный строй.

— Так ты против коммуняков?..— вскидывается еще один, самый молодой среди них, чернявый, глаза блестят.— Ну, ребята, дождались человека!

— Правда, против? — спрашивает татарин, сощурил глаза.

— Нет,— говорю,— я человек мирный, книги писал. Верующий я, православный.

— Чего ж тебя не в Лефортово? — спрашивает татарин.

— Вы, мужики, меня о том спрашиваете, чего я сам не знаю — почему на общак, почему не в Лефортово? Еще спросите: зачем посадили? А я попрошу: отпусти, дяденька!..

— Ты и писателей знаешь? — спрашивает Сева.

— Знал, а за три месяца забыл. Мне б их никогда не знать.

Из толпы выныривает шнырь.

— Гарик, тебя на вызов...

Во как, здесь не услышишь, когда открывается кормушка.

— Адвокат, сука! — говорит татарин.— У меня суд в понедельник. Я с ним недолго, оглядись пока...— он кладет мне руку на плечо.— Поговорим, не робей. Хорошо, что тебя сюда, не пожалеешь.

Ушел.

— Слушай, Серый,— говорит самый молоденький,— расскажи про писателей, к примеру...

— А ты откуда знаешь?

— Что — знаю?

— Что у меня кликуха — «Серый»?

— А что тут знать — видно.

— Ловко,— говорю,— я б нипочем не догадался.

Грузин встает со шконки, ушел.

— Много за книги хапнул? — спрашивает Сева.

— Так еще суда не было, по моей статье, если не переквалифицируют, больше трех не дают.

— Я не про срок, про деньги. Или ты в валюте?

— Ничего я, ребята, не получил, кроме спеца, теперь общак понюхаю.

— Здесь нормально,— говорит молоденький,— лучше спеца, там с тоски подохнешь.

— А ты был? — спрашиваю.

— Не был, рассказывали, Сева две недели проскучал.

— В какой хате? — спрашиваю.

— В двести сорок второй.

— Зачем же лапшу вешал про двести шестидесятую?

— Пощупать, вчера одного привели, тоже интеллигент, маленько пощупали — и выломился.

— Не понял,— говорю,— а что случилось?

— Коммуняка,— встревает молоденький,— доцент из МАИ. На больничке, говорит, два месяца отлежал, путался, врал — с перепугу, загнали наверх, а там... Короче, выломился. Могут разогнать хату, настучит.

— Какой из себя,— спрашиваю,— я одного такого видел на сборке — высокий, худой?

— Высокий... На тебя похож. Нет, не худой. Может, не врал, на больничке отъелся? А может, и не коммуняка, много путал, потому и загнали наверх... Мы их всех туда, вон еще один...

Кивает наверх: сидит на краю, свесил ноги в сапогах, очки в роговой оправе, читает газету.

— Кто такой? — спрашиваю.

— Поговори, тебя к ним в семью — верно, Сева, куда его еще?.. Их пять человек в семье, хозяйственники.

— Мне бы полежать, наверх, что ль, забраться?

— Погоди,— говорит молоденький,— Гарик вернется, решит... Про чего ты книги писал?

— Потом, ребята, дайте сообразить, никак не врублюсь, такого не видел.

— Не нравится? Я восемь месяцев, дом родной...

Гляжу ему в глаза: ясные, никаких проблем... Да быть того не может — восемь месяцев в такой камере!

— Так тебя за веру, что ль, посадили,— не отстает молоденький,— у нас, вроде, попы разрешены?

— Он не в церковь ходит, а в эти, как их...— это Сева.

— Ты, получается,— герой, мученик или революционер? — спрашивает молоденький.

— Нет у меня такого чина. Ты восемь месяцев здесь и говоришь — нормально, а я первый день и у меня мандраж.

— Привыкнешь,— говорит молоденький,— первые дни все так, считай, повезло, человек шестьдесят, бывает, набьют до восьмидесяти, тогда караул...

Разговора не получается, приглядываются, осторожничают, без Гарика ничего решать не могут — единовластие.

— Пройдусь,— говорю,— надо привыкать...

«Коммуняка» спустился вниз, как только я к нему подошел. Пожилой, спокойный, манеры начальственные.

— К нам в семью? Какая статья?

Объясняю.

— Ну что ж, давайте вместе.

— Что за семья? — спрашиваю.

— Объединяются, чтоб есть вместе, обычно — по статьям, а за дубком камерная аристократия,— он поджал губы.— Вы... поаккуратней, сложный народ. Как они с вами?

— Никак. Поговорили и все.

— Место они вам не дадут, полезете наверх. Я здесь самый старший, а место не дали, месяц наверху. Щенки. Меня они из себя не выведут, главное — никакого внимания. Пропащие люди. Куражатся. В блатных играют.

— Вы один по делу? — спрашиваю.

— Нет, нас много. И на Бутырке сидят.

— Почему ж не на спец?

— Хотят сломать. Им нужны показания. Поставить в ситуацию, когда человек полезет на стенку. Я и наверху продержусь... Слыхали что-нибудь про амнистию?

— Что за амнистия?

— Я думал, вы человек мыслящий. Руководство новое?

— Какое руководство?

— Партийное, государственное.

— Для меня оно всегда одно.

— Надо уметь читать газеты. Приходит новое поколение. Мои ровесники. Первым делом нас всех отсюда...

— Отсюда — и куда?

— Я бы на вашем месте не иронизировал. Вас, кстати, непременно освободят. Хотя тут дело... не в справедливости, а в стратегии. Таких, как вы, выгодно освободить.

— А по справедливости, надо бы держать?

— По высшей справедливости, надо держать.

— А вы говорите — новое руководство. Старое ли, новое, оно всегда считает — лучше держать.

— Все будет по-другому, увидите. Те делали себе во вред, как нарочно, в любой

области, где ни возьми, непременно обгадятся, прямое вредительство, а сейчас приходят другие люди, слежу по газетам, всех знаю — трезвые, деловые, с образованием, неглупые, понимают, что выгодно, прагматики.

— Не вижу разницы. Если те и другие исходят не из закона, не из... нравственного чувства, а из сегодняшних представлений о выгоде, к тому же называют ее справедливостью, то есть лгут?.. Она у них, конечно, всегда высшая...

— Благо народа — высшая справедливость.

Во какая у меня будет семейка!.. Бред. А вокруг... даже не понять что: гул, крики, толкотня, дым, смрад...

— А ваши сожители,— я киваю на камеру,— не народ?

— Эти?..— он пожимает плечами.— Ну знаете... Социальное дно, отребье.

— И справедливости для них не должно быть?

— Разумеется. Только изоляция. И чем более радикальная, тем лучше и верней.

— Вы полагаете, это справедливо?

— В высшем смысле, конечно.

— Если б мне предложили и я б знал, что вы выражаете идеи нового руководства, я б проголосовал за старое. Оно симпатичней, во всяком случае, откровенней.

— Саша, подойдите-ка...— говорит мой собеседник.

Оборачиваюсь, из толпы выплыл еще один, верно, как в кино, когда крупный план, хоть что-то поймешь, а так — мелькание. Высокий, подтянутый, лицо худое, нервное, волосы падают на бледный лоб, глаза лихорадочные, лет сорок.

— Познакомьтесь, Саша, к нам в семью определяют. Из диссидентов, писатель, а взгляды самые реакционные... У Саши,— он поворачивается ко мне,— через неделю трибунал. Полковник. Та же статья, что и у меня. Не успеет до амнистии. Ничего, Саша, она вас догонит на пересылке.

— Мне она не нужна,— говорит полковник,— если суд состоится, мне ничего не нужно. Или оправдание или смерть.

— Вы давно здесь? — спрашиваю.

— Пять месяцев, у нас быстро.

— Взятка? — спрашиваю.

Лицо у него передергивается:

— Я хочу с вами поговорить,— глядит на меня, глаза горящие, меня не видит, в себя смотрит.

— Приходите на нашу семейную шконку,— говорит мой прогрессивный собеседник,— у нас из пятерых только один внизу... Да, я не представился: Владимир Николаевич Брюханов, начальник отдела кадров, меня называли «комиссаром».

— Вадим,— говорю.

— Давайте отойдем,— говорит полковник,— на ходу лучше.

Протискиваемся к двери, посвободней, ходят парами — от сортира к противоположной стене, разговаривают, смеются, двое возле кормушки — грибообразный нарост, наваренный изнутри; татарчонок-шнырь зашивает матрасовку, его плотно обсели, бурный разговор, машут руками, матерятся...

— Напряженная у вас жизнь,— говорю.— А что они все время обсуждают, тоже амнистию?

— Они?..— полковник не глядит по сторонам, кажется, он и меня не слышит.— Вы писатель?

— Вроде того.

— Очень хорошо! Мне важно проверить... последнее слово. Я виноват. Но не субъективно, не по совести... Понимаете?.. Я хочу начать этими словами... Вы помните их точно, буквально?

— Какие слова?

— Что?.. Ах, да... Островский: «Надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

— Так и есть, а что вам еще? — какая тоска: трибунал, смерть, субъективно не виноват — и Островский!..

— А дальше?.. «Чтоб не жег позором стыд, чтоб...»

— Вы же не экзамен сдаете, говорите своими словами. Тем более, знаете, субъективно не виноваты. Так бы и начали: по совести не виноват. Или бы кончили...

— Я читал заявление жены,— говорит полковник.— Она пишет, что проклинает день и час, когда меня увидела. У меня сын семи лет. Сережа. А ей двадцать шесть. Красавица.

— Она вам не верит?

— Чему она должна верить — ей нет дела до...

— Вы в Бога веруете?

— Я коммунист,— говорит полковник.— Они поставили меня в ситуацию, когда я вынужден был брать деньги. Я председатель дачного кооператива: строительство, дороги, газ... Брать и давать. Но это не те деньги, это...

— Кто поставил вас в вашу ситуацию?

— Кто?.. Вы думаете... Бог?

— В высшем смысле, как любит говорить ваш приятель по семье, может быть. Но в натуре, в реальности, в которой вы вынуждены брать и давать,— те самые коммунисты. Разве не так?

— Ну и что?

— Вы наверху? — спрашиваю я.

— В каком смысле?.. А, где я сплю? Наверху.

— Все пять месяцев?

— Пять месяцев.

— Ваш приятель все время толкует о высшей справедливости, но ведь они правы — те, кто загнал вас наверх и не дает место внизу? Именно вы, с их точки зрения... А может, она не так субъективна? Именно вы создали эти условия...— и я оборачиваюсь на камеру...

Она вся в движении: гудит, бурлит, смердит, живет невероятной, непостижимой мне жизнью, я без малого три месяца в тюрьме, но только сегодня, накануне Лазаревой субботы мне открывается ее истинный, скрытый до того, тайный смысл... Сегодня... нет завтра Он воскресит Лазаря, войдет в Иерусалим, начнется Страстная неделя, Его предадут, будут истязать, распнут, погребут и тогда Он... А я, а они, а мы...

— Вы и создали эти условия,— говорю я,— и здесь, в этой камере, и там, в дачном кооперативе... Создали условия, в которых нормальный человек жить не может. Или он должен воровать, убивать, лгать и брать взятки или...

— А разве есть какое-то «или»? — говорит полковник.

— Оно всегда есть. Я должен понять, что сам виноват в том, что происходит вокруг. С людьми, участвующими во лжи, и со мной, в ней существующим. А если вы, как и ваш приятель, считаете, что вокруг только социальное дно, отребье, с ними так и быть должно, то на что вам жаловаться? Или полезете наверх, или сами будете загонять наверх других. Или вас расстреляют за взятку, или сами будете за нее стрелять.

— Но это не взятка...— полковник останавливается и смотрит на меня,— я брал, чтобы... Это социальная необходимость.

— Вы участвовали во лжи и вас загнали наверх...— Что это я разговорился!..— Вы хотели бы загонять наверх других?

— Я бы хотел умереть,— говорит полковник,— я не могу жить, если Сережа будет считать меня вором.

— Вас надо было остановить,— говорю я,— вы могли дожить до старости, нянчить внуков и продолжать считать себя субъективно ни в чем не повинным. У вас был бы дом, красавица жена и вам было б наплевать, что делается с людьми за забором вашей дачи. Благодарите Бога за то, что с вами случилось. Ради Сережи. Он уже не будет таким, как вы, он с семи лет будет знать, что есть тюрьма, лагерь, что мир разделен хотя бы на тех, кто сидит, и на тех, кто сажает. Это не мало для первой мысли.

— Будет знать, что его отец вор.

— Будет знать, что жизнь — не дачный кооператив с хорошими дорогами и газом. В семь лет поймет, что должен выбирать между теми, кто загоняет наверх, и теми, кого...

— Что ж, по-вашему, ему следует выбрать?

— Это дело его совести, в вас она проснулась в сорок лет, а он услышит ее в себе в семь. Разве это не Божья милость, вы не думали о своем сыне, Бог решил за вас...

Полковник останавливается, закрыл руками лицо, а когда отнимает руки, оно в слезах.

— Это ужасно,— говорит он,— трибунал сейчас не дает расстрела, я знаю... я сам сидел в трибунале...

Наша семья почти вся в сборе, нет только одного, он «судовой», вот уже два месяца каждый день уходит на процесс: подмосковная ПМК, он главный инженер — взятки, хищения, служебные злоупотребления; их человек десять по разным камерам. Еще один семьянин — Виталий, рабочий мебельного магазина: длинный, нескладный, с больными ногами; когда я сел на шконку, он разматывал самодельные бинты, сшитые из старых рубах и полос матрасовки, настоящие бинты отобрали на шмоне, на больничку не берут, а на его вены смотреть страшно... «Деньги я не себе брал,— сказал он, когда я спросил про статью,— у нас такса — полсотни или стольник сверх, пожалеешь кого другой раз: бабка внуку гарнитур на свадьбу, другому — квартиру получил, а спать с женой не на чем, очередь на полгода. Отдаю заведующей, и у меня навар — да они благодарят, рады без памяти, какая полсотня-сотня, когда ни спать, ни есть не на чем! Заведующую прижали на Петровке, валит на меня, а я ничего не знаю, они говорят: сдавай заведующую, а то посадим. Зачем на человека? Всегда берут на испуг, а оно, видишь, как — заведующая гуляет, помогла раскрыть преступление а мне сидеть...»

Сидим на нашей *семейной* шконке: хозяин ее, узбек по имени Султан, пожилой, когда-то, видно, тучный, сейчас рыхлый, сырой, с отечным улыбающимся лицом. Темновато, глаза отдыхают от безумного «дневного» света, сидишь, как в зрительном зале — а на сцене, на сцене!.. Султан поджал ноги по-турецки, улыбается; полковник на самом краю, глядит в сторону; мебельщик наматывает бинты; а «комиссар» жует и жует свою жвачку:

— Вас не устраивает общественная справедливость социализма, для вас это естественно. Вы настаиваете на какой-то абстрактной, вечной, асоциальной, якобы абсолютной справедливости, будто она возможна, будто хоть когда-то где-то ее хоть кто-то мог осуществить. Нельзя жить в обществе и быть от него свободным...

Ну уж конечно, думаю, как он сразу не вспомнил!..

— Да вы мне новую статью шьете,— говорю,— я про социализм и не обмолвился, у нас речь об амнистии...

— Будет, будет?..— вскидывается Султан,— что слыхал, скажи, дорогой, какая будет амнистия?

— Вас, Султан, первым делом,— говорит комиссар,— ветеран, персональный пенсионер, инвалид — к юбилею победы.

— Спасибо, дорогой, хороший человек... Советский власть — хороший власть, только... очень долгий. Девятого объявят, да? А когда выходить?

— Сразу выходить,— говорит комиссар,— кто попадает под амнистию, они ни одного дня держать не будут, у них права нету.

— А права меня сажать у них были? Что я, фашист? Я директор совхоза, депутат, инвалид войны, у меня ордена... Я хлопок сдавал, мясо сдавал, шкуры сдавал?..

— В первый же день, Султан, не беспокойтесь, я в министерстве не один год, знаю, как делается, да и с какой стати вас тут кормить, тратить деньги, государству не выгодно, сейчас возьмутся, будут считать денежки...

— Ты что говоришь?! — Султан подпрыгивает на скрещенных ногах.— Меня кормят?.. Баландой кормят, глиной кормят, свиньи не станут есть...

— Конечно,— продолжает свое комиссар,— новому руководству для поднятия авторитета важно подойти диалектически, с одной стороны, продемонстрировать наш советский гуманизм, в с другой, утвердить высшую справедливость социализма. Это будет первый ошеломительный шаг новой политики. Такого рода амнистия — и чем она шире, тем для престижа лучше, убивает сразу двух, а может, я трех зайцев.

— Да у нас их давно перебили,— говорит мебельщик Виталий, он покончил с бинтами, опускает штанину,— поди купи.

— Кого перебили? — спрашивает комиссар.

— Зайцев,— говорит мебельщик.— Сколько себя помню, всю дорогу стрельба и обязательно дуплетом, чтоб не одного, а двух, а еще лучше сразу пять.

Полковник задергался, забулькал — и прорвался хохотом.

— Что с вами? — спрашивает комиссар.

Смех так же резко оборвался. Полковник встал и отошел.

— Переживает человек,— говорит Султан,— не подойдет под амнистию, не воевал.

— Не скажите,— говорит комиссар,— военных она, несомненно, коснется, пусть во вторую очередь. Новое руководство непременно будет заигрывать с армией — на кого опираться?

— А ты, дорогой,— обращается ко мне Султан,— не воевал?

— Нет,— говорю,— я после войны родился.

— Ай-яй-яй, как не повезло человеку, надо бы чуть раньше, сплоховали родители, придется ждать другую амнистию.

— Видите ли, Султан,— говорит комиссар,— у нашего писателя особые обстоятельства, оп...

К нам влезает шнырь.

— Давай, Серый, с тобой хотят поговорить...

Гарик вернулся с вызова, а я и не видал — как тут углядишь! Лежит на первой шконке, кулак под головой, рядом те же ребята, грузин — что-то он мне не нравится, еще один, в тот раз его не было: круглолицый, молчаливый.

— Давай, Серый, договорим, на самом интересном месте прервали — ты не в обиде? Тюрьма... Огляделся?

— Трудно понять,— говорю,— такой камеры не видал.

— Хочешь уходить?

— А куда мне уходить? Меня не спрашивали.

— Как жить будешь — писатель, интеллигент, а мы, знаешь, кто?

— Такие, как я.

— Слыхали, мужики? Мы грабители, убийцы, воры, насильники — как ты с нами будешь?

— Ты меня не пугай, Гарик, я третий месяц в тюрьме, навидался. Мы тут все зэки.

— Чего ж тебя со спеца выкинули, кому не угодил?

— История простая. Я здесь два с половиной месяца, а вчера первый раз дернули на допрос. Гляжу, та самая, что на обыске, я б на нее еще десять лет не глядел...

— Не соскучился по бабе? — Гарик смеется.

— Нет,— говорю,— я по воле соскучился.

— А она чего предложила?

— Один-другой вопрос, я говорю: я еще в КПЗ сказал, не буду участвовать в следствии. Так, может, мол, поумнели за два месяца. Я думал, вы поумнели... Про белого бычка. А сколько, мол, человек в камере — шестеро... И тут понял, не жить больше на спецу. Утром потащили.

— Сука,— говорит молоденький,— она, кто ж еще, тут гадать нечего, задавить им тебя надо.

— Помолчи, Костя,— говорит Гарик,— тебя не спрашивают... Шесть человек в камере?

— Шесть, я седьмой.

— А кто стучал?

— Кто их знает, у меня со всеми нормальные отношения, зачем на меня стучать?

— Хреновый ты писатель, если в людях не сечешь. На кого стучать, как не на тебя? Да еще на спецу! Был в камере кто не по первой ходке?

— Были. Мой кент третий раз. Еще один старик — сорок лет отмотал, его, правда, увели...

— Кент!.. Как фамилия? Какая статья?

— Посредничество во взятке. Бедарев. Непростой мужик, но у меня с ним все хорошо. У него доследование, суд был в январе, теперь летом...

— Неудобно говорить, Серый, человек ты, вроде, солидный, но таких лохов поискать. Да он осужденный, твой Бедарев, чего ему делать на спецу?

— Как ты можешь знать?..— мне становится не по себе.— Хотя есть странность... Доследование не больше трех месяцев — почему он так уверенно говорит о лете?.. У него подельник...

— Тормозится до лета, за то и стучит,— говорит Гарик.— Письма через него отправлял?

— Нет, мне не надо. Хотя...

— Эх, Серый, тебя учить и учить. Рассказывал ему о деле?

— Мне, Гарик, рассказывать нечего, я говорю, что и следователю бы сказал, когда б у меня были с ней разговоры.

— Через кого отправлял рукописи?

— Вот именно. Ты думаешь, тут криминал?

— Я думаю, их только это и интересует.

— Простой вопрос,— говорю.— Я написал, к примеру, книгу, дал тебе почитать, ты прочел и отдал Косте, Костя — Севе, а кому отдал Сева, я не знаю... Если книга попала иа Запад и ее там напечатали, откуда мне знать, кто ее отправил? А помогать им искать, чтоб они васзвтаскали?.. Я имен не называю...

— Ну ловкач! — смеется Гарик,— не такой уж ты лох!..

Все на шконке смеются, довольны моей хитростью.

— Чудаки, я правду говорю.

— С тобой нормально, Серый,— говорит Гарик,— так и держись, коммунякам нельзя верить. Как тебе твоя семья?

Я пожимаю плечами, лучше помолчать.

— Мне бы полежать, много впечатлений.

— Верно,— говорит Гарик,— да вот хоть туда,— он кивает на вторую от окна шконку, иа первой круглолицый, рядом грузин.

— Там человек,— говорю.

— Какой человек?.. Толик!

Со шконки поднимается лохматый паренек.

— Давай наверх,— говорит Гарик.

Тот посмотрел на него, достал из-под шконки мешок, собирает вещи. Ни слова.

— Неудобно,— говорю,— лежал человек...

— Не твое дело,— говорит Гарик.— Шнырь!..

В камере грохот, а сразу стихли.

Подходит шнырь. Толик уже собрал мешок, полез наверх.

— Тащи его матрас,— говорит Гарик,— постели.

Теперь мне и лежать не хочется: диалектика, вспоминаю я «комиссара» и полковника — кто кого загоняет наверх?..

— У меня, понимаешь, Серый...— начинает Гарик и оборачивается к ребятам: — Давайте, мужики, кто куда...

Встали и отошли.

— Через два дня у меня суд,— говорит Гарик,— третий, как у твоего кента на спецу. Но он осужден, можешь поверить, а мой суд отложили. Я год кручусь в этой хате. Вытаскивают на суд, вижу, не светит, как подходит к речи прокурора, делаю заявление: я татарин, по-русски не понимаю, давайте переводчика. Они откладывают, месяц-другой, приходит переводчик, а я по-татарски — ни слова. Мне адвокат говорит: судья твоего имени слышать не может, он тебя закопает, двенадцать лет повесит, а мне надо не больше десяти — сечешь? Двенадцать — ни по УДО, ни по амнистии, присохну, глухо. Адвокат говорит: если не будешь валять дурака, затягивать процесс, мы с судьей договорились — получишь десятку, а нет, твои двенадцать... Как думаешь, обманут?

— Не знаю, Гарик, боюсь советовать. Адвокат у тебя свой?

— Они все одинаковые, а можно ли ему верить — о чем они договорились?

Появляется шнырь.

— Тебя, Гарик, опять на вызов.

— Что?.. Адвокат? Да мы с ним попрощались до суда, что ему торчать в тюрьме?..

— Не знаю,— говорит шнырь.

— Может, насчет того ханурика...— круглолицый первый раз открыл рот, глянул на меня, говорит тихо, а я разобрал: — Ну, выломился который! Настучал, мразь...

— Видишь,— Гарик повернулся ко мне,— новости...

Гляжу ему в глаза, он отворачивается, достает тетрадь... Не нравится мне этот странный вызов, хорошо бы увидеть, когда он вернется, не пропустить, посмотреть в лицо...

5

В таком помещении он еще ни разу не был — наверно, бокс: лавка, шагу не ступить, темновато... Да хотя бы всегда здесь: месяц, три, год — только не туда, лишь бы не обратно!..

Дрожат руки, ноги, внутри все дрожит, болят пальцы, ноги в огне, он снимает ботинки, взялся руками за ступни... Что же это такое, как могли такое позволить, почему...

Его мешок рядом, но он и курить не может, сунулся было по привычке достать табак и отдернул руку — нельзя курить в боксе, вытащат, поведут обратно... Что хотите, что угодно, только не туда!.. За что, почему со мной так...

Дверь открывается.

— Выходи!

Старшина. Коренастый, рыжий, глаза странные...

— Оставь барахло.

— У меня тут...

— Сказано — без вещей!

Куда ж это, если без вещей... Значит, не назад, не в камеру... Коридоры, лестницы, переходы, туннели... В больничку?!

Светлый линолеум, чисто, двери... *Просто двери* в белой масляной краске... Еще одна лестница, деревянная...

Старшина открыл дверь, что-то сказал, кивает...

Он входит. Светло, чисто, за письменным столом майор... Тот самый, из того страшного сна: черный, до синевы выбритые щеки, толстые руки на столе, поросли черным волосом...

— Садитесь... Тихомиров Георгий Владимирович... Статья сто семьдесят третья... Что с вами случилось?

— Я... Я прошу вас... Я не могу находиться в той...

— Почему не можете?

— У меня... болит сердце, душно...

— Вы были на больнице?

— Был.

— Сколько там пробыли?

— Два... месяца.

— Как два месяца?..— смотрит бумаги на столе.— Два с половиной, почти три!.. Вы в тюрьме или в санатории?

— У меня...

— Если не ошибаюсь, мы с вами уже видались?

— Не-ет... Я вас никогда не... видел.

— Не видел и... не слышал?

— Я вас никогда не видел, никогда не слышал.

— Хорошо. Что произошло сегодня в камере?

— Не знаю... Я проснулся от того, что... горели ноги...

— Горели?

— Не горели, но... Я очень прошу вас, гражданин майор, не отправляйте обратно, я... У меня не хватит сил...

— Вот что, Тихомиров, в тюрьме камеру не выбирают, вы пробыли два с половиной месяца на больнице, я еще проверю — почему вас держали так долго? Вид у вас здоровый, давление нормальное... Проверим. Вы были в четыреста восьмой?

— В четыреста восьмой. Я прошу вас, гражданин майор, куда угодно, но только не...

— Я вам сказал, Тихомиров, вы будете в той камере, в которую вас поместят. Вы были вместе с Бедаревым.

— С Бе... Нет, там не было такого.

— Вы его не знаете, не слышали о нем?

— Нет, гражданин майор, не знаю.

— Хорошо. Что случилось сегодня в камере?

— Я лежал наверху, пытался заснуть, мне было душно, тяжело, потом заснул, а... проснулся от того, что... Засунули в пальцы бумагу и... подожгли...

— Кто?.. Кто это сделал?

— Я не видел, гражданин майор... Я никого там не знаю.

— Кого избили в камере? Кто избил?

— Я никого не знаю, ни одной фамилии.

— А если я вам покажу, узнаете?

— Боюсь, что нет, я... там так много народу...

— Вам предъявлено обвинение в тяжелом государственном преступлении. Или вы считаете, что с вами будут нянчиться?

— Я понимаю, гражданин майор.

— Что вы понимаете?.. Тут вам комфорту недостаточно, там люди не нравятся... Прикажете оборудовать специальную камеру и подобрать людей?

— Я понимаю, гражданин майор, я прошу вас, я обещаю...

— Ладно, Тихомиров, мне с тобой надоело разговаривать. Пойдешь на спец, в... двести шестидесятую. Не знаешь Бедарева?

— Не знаю.

— Узнаешь. Буду вызывать раз в неделю. Все его разговоры запомнишь, когда уходит на вызов, когда возвращается — записывай. Понял?.. Смотри у меня, если что не так,— будет тебе камера, вспомнишь откуда ушел. Понятно?

— Да, гражданин майор.

— Значит, ты меня в первый раз видишь?

— В первый, гражданин майор.

— Хорошо было на больничке?

— Хорошо, гражданин майор.

— И на спецу будет не хуже.

— Спасибо, гражданин майор...

6

— Серый, а, Серый — не спишь?

Поворачиваюсь. Круглолицый, тот, что лежит рядом с Гариком, все называют его Наумычем, только по отчеству: лет под сорок, зам директора фабрики вторсырья, статья хозяйственная, взятка, еще не понял за что такая честь, почему не в нашей семье, а на воровском месте; не похож на еврея: светлый, курносый, круглолицый. Был разговор о его национальности, смеются: «Не поверил, что еврей? Во какие бывают!..» — это Костя, вроде, похвастался. Сейчас Наумыч перегнулся через грузина, тот спит на спине, накрыл лицо полотенцем; дело к двенадцати, отошла поверка, подогрев, а мало кто спит, да и не собираются: за дубком играют, шумят, наверху совсем трудно понять, что происходит, возле сортира толкотня...

— У меня к тебе деликатное дело,— говорит Наумыч,— Гарик попросил узнать...

Гарика я все-таки подкараулил, часа через полтора, гляжу, возвращается с вызова, идет быстро, видно, всегда так ходит, напористо, лицо напряженное, а как поровнялся с моей шконкой — отвернулся. Что тут поймешь?

— ...У него суд в понедельник,— говорит Наумыч.

— Я знаю.

— Спроси, говорит, у Серого, он писатель... Не напишешь ему последнее слово? Вон оно, думаю, как...

— Не знаю ни его, ни его дела... Как написать?

— Расскажет, объебон почитаешь.

— Если бы хотя неделю с ним пожить, поговорить, понять... Тут дело нешуточное, надо врубиться в человека...

— У нас тут один... Верещагин...— Наумыч кивает на верхнюю шконку, а я уже давно обратил внимание: сидит с краю, глядит в камеру.— Я, говорит, художник,

член МОСХа, а попросили нарисовать голую бабу для календаря — не может. Видишь как...

Вон какие заходы, думаю...

— Ты скажи Гарику,— говорю,— пусть напишет, как сумеет, а я отредактирую.

— Верно,— говорит Наумыч,— по делу. Завтра суббота, сварганите. Спи, Серый, привыкай...

Многовато для меня, да и напридумал невесть что — не могу заснуть, гудит внутри, перепуталось — что было с тем, чего не было, но ведь могло... Бесконечный день! Проснулся рядом с Борей... Какими счастливыми кажутся теперь дни, месяцы в той, *моей* камере, что мне до того, кто такой Боря, его проблемы... Письмо из дома!.. Почему-то верю, что оно есть... Как было хорошо! Привычная, размеренная жизнь: Серега, Пахом, Гриша... Разом сломалось: рыжий старшина, лестницы-переходы... Жуткая камера! Разговоры, разговоры, разговоры... Вот она — тюрьма! Не дает покоя странный вызов — куда таскали моего благодетеля?.. «Огненного искушения...» — вспоминаю я.

Рядом со мной худенький паренек, а пригляделся — взрослый мужик: спокойный, улыбается...

— Не спишь? — спрашиваю.

— Днем отоспался. Пойду к ребятам...

— Погоди,— говорю,— кто этот дед с бородой?

— Чудак один. Художник... Вчера едва не придавили.

— За что?

— Полез не в свое дело. Хата непростая. Мой тебе совет — не лезь в чужие дела.

— Зачем мне, я и понять ничего не могу.

— Что понимать — дали место, сопи себе. Я бы тут весь срок... Ларек, дачки, тепло, спи да ешь...

— А тебе долго?

— До лета подержусь. Полгода уже.

— А много светит?

— Лет двенадцать.

— Не лишнего просишь?

— Меньше не дадут. Сто вторая. С особой дерзостью.

Быть того не может, не похож!

— Как же так? — спрашиваю.

— Молча. Что теперь про это, будешь думать — лбом об стенку. Та жизнь кончилась, теперь другая.

— Тебя как зовут?

— Иван.

— Расскажи, Ваня, я не из любопытства. Лежим рядом, может, и мне до лета.

— Здесь много с такой статьей. С другой стороны, рядом с Наумычем — Гурам. Аккуратней с ним... Кулаком в ресторане. Насмерть. За русскую официантку заступился — арабы, говорит, разгулялись. Лапшу вешает, но точно — сто вторая.

— А у тебя что?

— А у меня и того проще. Из Перова я. Коллектором работал с геологами: летом в поле, зимой гуляю. Пили два дня, а утром встали — Валерка унес пиво, поганец, запаслись с вечера, как люди, а он встал пораньше — и унес. Денег нет, трясет. Нашли бабу, похмелились. Еще одного встретили, приняли на грудь... Надо Валерку искать — так не положено, пили вместе, а он... Пошли к нему. Осень, тепло. Поднимаемся на двенадцатый этаж, звоним. Открывает мать. Давай, мол, Валерку. Выходит: чего, говорит, надо. Давай сюда. Вышел, а что с ним делать — бить, что ли? Скучно. Подошли к окну — открыто, ветерок. Подняли его, в окно — и отпустили. Я только тогда сообразил, когда в руках пусто...

— Ты что, Ваня?

— Лежи, Серый, спи, зачем про это? Надо было за ним. А нет — живи здесь. Другой жизни не будет.

Гарик подошел ко мне на другой день, я уже пригляделся: утром толкотня возле сортира-умывальника, неразбериха с завтраком, удивительно, как всем досталась пайка, сахар, миска баланды — вот где работа у шныря, крутись! Наша семья сидит на шконке у Султана: завернули матрас, шленки на железо, хлебаем; «аристократы» за дубком, «комиссар» поглядывает на них, морщится, завидует, туда ему, коммуняке, охота... Поверка: наверху сидят, свесили ноги, внизу стоят, каждый у своей шконки, корпусной считает, сбивается, начинает снова: «Нажрался, козел, глянь на его морду, налил глаза, считать не может...»

— Ну что, Серый, Наумыч передавал мою просьбу? — Гарик глядит на меня с усмешкой.

— А ты уже написал? — спрашиваю.

— Чего написал?

— Мы с ним говорили: ты напишешь, а я отредактирую.

— Если б я мог написать, ты мне зачем? В том и дело...

— Я тебя знать не знаю. Ни тебя, ни твоих подвигов.

— Давай поговорим, время есть...

Сидим на его шконке. Одноэтажная, спиной к камере, здесь прохладней, воздух ползет вниз по черной стене в корявой «шубе», за решку привязаны мешки с продуктами, у каждой семьи свой мешок, за спиной грохот, крики, пытаюсь сосредоточиться, услышать...

— Мне бы для начала прочитать обвинительное,— говорю.

— Мозги пачкать,— говорит Гарик,— ни одного слова правды, да и нет у меня, отдал адвокату. Ты лучше слушай...

Плутовской роман. Грабеж в Иркутске, драка в поезде, три квартиры в Красноярске, генеральша в Свердловске: обчистил ее квартиру, а она за ним в Москву, и у ее подруги...

— Слушай, Гарик, тут не последнее слово — роман писать?

— Первая серия,— говорит Гарик,— там еще много чего.

— Так ты из Иркутска?

— Тебе не нужно, ты дело слушай...

А... в генеральше загвоздка, она его сдала, приревновала к подруге: роман о глупой генеральше, зачем ей, дурехе, ревновать, он и подругину квартиру взял...

— Ты во всем этом признался? — спрашиваю.

— А что признаваться,— смеется Гарик,— им все известно! Не все, на чем поймали. Мокрухи нет, тяжелое телесное — сто восьмая, сто сорок шестая, сто сорок пятая, двести шестая...

— Что же ты хочешь сказать в последнем слове?

— Чтоб заплакали: такой молодой, столько мог сделать полезного, а жизнь поломал — себе и людям, столько принес несчастий, год каялся, десять лет буду каяться, трудом искуплю, любая работа, любой приговор, чем больше, тем лучше, а лучше поменьше, молодая жизнь, все впереди...

— Постой, а то я запла́чу.

— Давай, Серый, оформи, чтоб как песня...

Гляжу на него: незаурядный человек, в чем его сила? На вид хрупкий, а что-то звенит, сдержанная сила, как пружина, потому и камеру держит, смелость — вот в чем дело, бесстрашие, готов до конца, ничего, никого не боится...

— Бумага тебе нужна, ручка?

— Бумага у меня есть,— говорю,— где бы сесть?

— На моей шконке... Камера!..— голос у Гарика негромкий, а сразу тишина.— Чтоб тихо было... Толик, придави соловья!.. Давай, Серый, у меня свои дела...

Не гляжу на камеру, а понимаю — с меня глаз не спускают. Ну, Вадим, как ты тут себя окажешь?.. Надо бы с ним побольше, поближе — кто он такой, не от себя писать, от него, а что я про него знаю, сколько правды в том, что рассказал, только что известно следователю, на чем попался, а там еще... Соблюдать правила игры, больше ему не надо, сейчас не надо, но ведь когда-то поймет... Сейчас не захочет услышать, ему бы только выскочить... Нет, трезвый человек, знает, выскочить не удастся, получить поменьше, надо десять лет, меньше не дадут... Десять лет, думаю, какой в этом юридический, правоохранительный смысл, что с ним станет за эти годы, это пока в нем бурлит жизнь, сила, веселая энергия... А что еще, что главное в таком человеке — привязанности, раскаяние, о чем-то сожаление? Что будет через десять лет, во что они его превратят, а ведь он не сдастся, будет бороться до конца — за что бороться, чтоб себя сохранить или — выскочить, а для того все средства хороши, любой ценой... Усвоит правила игры, он их уже принял, убежден, что выиграет, всегда выигрывал, не понимает, что изначально проиграл, что в этой игре выигрыша быть не может, только поражение, ему не объяснишь, не поймет, пока еще мало, вот когда сломают, а сейчас ему нужно только одно... Что ж, тогда те самые слова, спасибо полковнику, подсказал, мне бы не вспомнить, полковнику они не нужны, он жить не хочет, а этот готов на все, на любую ложь, в игре и не может быть правды... Значит, через меня эта ложь и двинется, но я всего лишь адвокат и у меня позиция моего клиента, я должен ему помочь — десять лет чудовищно, но двенадцать — это конец...

«У меня было время, чтобы понять, что произошло со мной. Спасибо тюрьме!..— я пишу быстро, уже не думая.— Год в тюремной камере — это не мало. Год — один на один со своей жизнью, со своей совестью. Триста шестьдесят дней и ночей я вспоминал и казнил себя, каждый день моей жизни стоял перед моими глазами, они и сейчас передо мной... Граждане судьи, весь этот год — в тесноте, в шуме и смраде я думал о своей жизни, я судил себя строго и беспощадно. Мне нет оправдания, граждане судьи, теперь я знаю, как прав был писатель, сказавший слова, которые горят в моем сердце:

надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а я прожил свою жизнь без цели и смысла, приносил людям горе и страдания. Надо жить так, чтоб не жег позором стыд за содеянное, а мне горько и страшно вспоминать, что я наделал, что натворил, сколько слез пролито из-за меня. Я вспоминаю хороших честных трудовых людей, через их беду и несчастье я так легко перешагивал, они стоят передо мной: они трудились, а я воровал, они были бескорыстны и самоотверженны, а я, а я... Мне нет оправдания, граждане судьи! Этот год, граждане судьи, триста шестьдесят дней и ночей были самыми важными в моей жизни, у меня было время, и я его не потерял даром... Моя последняя история в Москве, постыдное преступление, страдания, которые я принес доброй женщине, так хорошо меня встретившей и пригревшей, сколько слез она пролила!.. Ваш приговор, граждане судьи, будет справедлив, я прошу вас только о справедливости. Ваш приговор будет строг, я заслужил любую строгость. Я прошу вас учесть, граждане судьи, что у меня никогда не было дома, я вырос без отца, без матери, у меня не было любви, семьи, детей, но... Я молод, у меня много сил и я отдам их все до конца, до последней капли, чтобы искупить вину перед Отечеством, перед теми, кто страдал из-за меня, перед вами, граждане судьи. Я убежден, у меня хватит сил начать новую жизнь, она началась для меня в тот час, когда за мной впервые закрылась тюремная дверь, но когда она передо мной через долгие годы откроется — поверьте, в нее выйдет другой человек. Эти страшные дни и ночи на тюремной шконке — целый год! — перевернули мое сознание, сотрясли меня, мне больно, страшно и стыдно за мою прежнюю жизнь и я заранее благодарю вас за ваш справедливый приговор...»

— Дашь сигаретку, Гарик?

— А как же, покурим... Пишешь?

— Да я уже написал.

— Ну да?.. Давай почитаем.

— Мой почерк не для чтения.

— Я — любой прочту... Да... Для ГБ вырабатывал?

— Для них... Вслух прочту.

— Наумыч, иди сюда...— говорит Гарик.— Наумыч у нас голова, все сечет...

Читаю с выражением, даже в глазах защипало...

— Сила,— говорит Гарик.— Как это у тебя получилось?.. Писатель! И Островский в самую точку...

— Молоток,— говорит Наумыч,— не зря жуешь хлеб... Надо бы еще попросить расстрела...

— Хотел, кабы для себя — обязательно, а тут испугался, Гарика пожалел.

— Может, попросить? — говорит Гарик.— По моим статьям нет расстрела, чего бояться?

— Перебор, обозлятся...

Самое смешное, что я доволен, радуюсь, меня распирает — вот оно, тщеславие, на чем только не ловят нашего брата, на любом червячке — клюнем, сглотнем!.. Лежу на шконке, теперь законно, заработал, вспоминаю свои трескучие фразы, дешевую риторику, успех у Гарика... Наумыч поумней, поморщился — расстреляйте меня!.. Стыдно? Стыдно, конечно... А для себя написал бы?.. Странно, мне никогда не приходило в голову, что суд неизбежен — адвокат, конвой, последнее слово... Тоже Островский?..

Напротив, на верхней шконке — Верещагин: голова набок, бородка, чертит и чертит на листочке... Есть над чем подумать: он не захотел нарисовать им голую бабу, отказался, а я... Что ж, Островский — не голая баба? Эх, Вадик, Вадик... Какой я Вадик — Серый!..

Потянуло дымком. Возле окна, над шконкой Гарика торчит голова моего приятеля-шныря, дым валит в окно, оборачиваюсь на дверь: перед волчком встал лохматый Толик, загородил...

— Серый, давай к нам!..— это Наумыч.

Подхожу.

Гарик сидит на шконке, поджал ноги по-турецки, рядом грузин, Костя, Сева; Наумыч на своей, Шнырь ставит на шконку закопченную железную кружку.

— Начинай, Серый...— говорит Гарик.

Нельзя пить, вспоминаю я наставления, пока не будет своего... Им нельзя, а мне можно, гонорар, я человек профессиональный, заработал — пью.

Почти три месяца не пробовал чая, а такого никогда не пил: горячий, черный, густой...

— По два глотка,— говорит Наумыч,— передай дальше...

Заработал, думаю я, что же я заработал, у кого?..

— Как без меня жить будете, мужики? — говорит Гарик.

— Может, вернешься,— говорит Костя,— проси переводчика...

— Надоело, обдует ветерком, а там...— Гарик пьет чай.

— Надо решать...— говорит грузин, при мне он упорно молчит, мы сидим рядом, он отпил из кружки, мне не передает.— Ты уйдешь, а мы останемся...

— Решайте,— говорит Гарик,— насиделись на моей шее.

— Я решил,— грузин передает кружку мимо меня Севе,— как я скажу, так и...

— Пока я говорю,— Гарик забрал кружку у Севы, тот только поднес ко рту, дает мне.— Пей, Серый.

— Ты уйдешь,— продолжает грузин,— на меня повесят. Надо его придавить...

— Торопишься, Гурам,— Гарик говорит спокойно, вот, наверно, в чем его сила...— много разговариваешь...

Надо смываться, думаю я, залетел не в тот вагон.

— Пойду спать,— говорю,— благодарю за чай-сахар.

— Иди-иди, Серый, отсыпайся, поговорим, время есть...— Гарик улыбается.

Следующий день был воскресенье, впереди Страстная неделя. Как в тюрьме говеть, был бы Серега, поговорили...

Встал до шести, сделал у решки зарядку, умылся до пояса, камера ночью гудела, теперь спят — как хорошо!

Вытащил из мешка подарок Сереги — Правило... Если читать три раза в день, через неделю, пусть через две-три, буду знать наизусть, не страшно, когда отметут... Как вы у меня *мое* возьмете!

Наша семья за завтраком в полном составе, главный инженер ПМК, Василий Трофимыч с нами, в субботу-воскресенье он свободен от процесса; ему за пятьдесят, уставший, в прошлом явно пьющий, неразговорчивый, мрачноватый. «Комиссар» меня сторонится, полковник помалкивает, Султан завел разговор об амнистии, Василий Трофимыч оборвал:

— Посидел бы в суде, посмотрел. Амнистия. Сто лет не будет.

— Сорок лет победы! — горячится Султан.— Зачем говоришь, не знаешь, я воевал, депутат, у меня ордена...

— У тебя статья от восьми до зеленки,— говорит Василий Трофимыч,— ордена ишачкам повесят. Кто угостит табачком?

Мебельщик отсыпал на газетку, Василий Трофимыч скрутил и отошел... И у него, значит, внизу шконка...

Подхожу к нему.

— Не возражаете, присяду?

— Садись.

— Неужто два месяца в суде?

— Еще, говорят, четыре.

— Почему так долго?

— Нас тридцать человек, никто не торопится.

— Вы встречаетесь с адвокатом? — спрашиваю.

— Каждый день.

— Хороший человек?

— Я с ним три года. Знаю.

— Можно попросить его позвонить мне домой?

Глядит на меня: глаза у него тяжелые, больные.

— Не подумайте чего,— говорю,— просто сказать: жив-здоров, перевели в общую камеру...

— Передам.

Достаю из-за пазухи пачку «Дымка», Борин подарок, хранил до Пасхи, на Страстной курить не буду, если говеть, то...

— Это у вас откуда? — спрашивает Василий Трофимыч.

— Дружок подарил, когда уводили со спеца.

— А он где взял?

— Заначка, НЗ...

— Я второй раз в тюрьме,— медленно говорит Василий Трофимыч.— Первый — три года назад, в Бутырке. Отсидел полгода, а санкцию им больше не дали. Редкий случай, можно сказать, уникальный, что-то не сконтачило. Короче, выпустили... Успел похоронить жену — и обратно, сюда. Я к тому, что понимаю кой-что про тюрьму. «Дымок» — кумовские сигареты. Для нас их нет в тюрьме.

— А может, вертухай подогнал?

— Как это вертухай подгонит — за красивые глаза?.. Эх, Вадим, мало ты еще каши съел. Три месяца сидишь?

— У него на больничке связи,— говорю,— амуры...

— Мое дело предупредить,— говорит Василий Трофимыч.— Я парочку возьму, не откажусь, а ты спрячь, никому не показывай, не поймут... Адвокату скажу, я тебе верю...

Кое-что, мне кажется, и начинаю понимать про камеру... На ужин давали лапшу, на спецу бывала раза два в месяц, хорошая пища, если в нее еще масло, а если растопить сало... Первым делом шнырь загрузил дубок: во главе стола Гарик, рядом Гурам, Наумыч... Гурам пошептался со шнырем, тот кидает им шленку за шленкой — полный стол... Масла у нас нет, ладно — лапша и без масла хороша... Запахло горелым салом, чад, у решки дым, как в шашлычной, Гурам бегает от решки к дубку...

— Ничего нет выше принципов социальной справедливости,— говорит комиссар и смотрит на меня,— и нет ничего отвратительней, когда они нагло нарушаются.

— Социальная справедливость с неба не свалится, за нее следует сражаться,— говорит Василий Трофимыч.

— Нет, позвольте,— говорит комиссар,— закон ставит нас всех в равное положение...

— Вы в каких распределителях получали пайку?..— спрашивает Василий Трофимыч.— Или в очередях, по магазинам?.. Вам и аукнулась ваша социальная справедливость...

Камера гудит необычно, не могу врубиться...

— Заткни ему хайло, суке!..— Гурам стоит возле дубка, рожа у него страховидная, обезьянья.

Чей-то фальцет:

— Совсем обезумели — супермены, скоты!.. Скоро пайку будут забирать!

— Верещагин,— говорит мебельщик,— будет потеха...

— В чем дело, шнырь? — спрашивает Гарик — и сразу тишина.

— Лапши не хватило,— говорит шнырь,— кто-то закосил.

— Как «кто-то»? А ты на что?.. Почему на дубке столько шленок?.. Гурам, тащи сюда сало...

Гурам приносит миску с кипящим салом.

— Разливай по шленкам...— Гарик вылезает из-за дубка.— Все, все выливай... Верещагин, ты кричал? Тебе не хватило?

Седая бородка у дубка: рубаха разорвана, лицо красное, перекошенное...

— Последнее дело, Гарик, когда последнее забирают — и на дубок, наведи порядок, а то...

— Что «а то», Верещагин? Бери лапшу. Вон ту, с салом.

— Мне ваше — не надо. Людям отдайте.

— Шнырь, кому не хватило? Сколько? — спрашивает Гарик.

— Десять шленок,— говорит шнырь.

— Забирай десять.

Гарик повернулся и пошел к своей шконке. Гурам еще стоит у дубка, глаза налиты кровью — со звоном бросает ложку об пол... За дубком никого.

— Вот вам урок политэкономии,— говорит Василий Трофимыч.— Предметный. Сказать честно, с вами не только разговаривать, и есть противно. Хорошо, я каждый день в суде...

В понедельник утром Гарик ушел в суд, вернулся перед подогревом и, как только дверь за ним грохнула, крикнул:

— Все нормально, мужики, завтра приговор!..

Я лежал на шконке, он забрался ко мне.

— Давай пять, Серый, прочитал нашу речь — я, знаешь, как читаю! В зале захлюпали. Адвокат говорит: «Виктория!» Понял? Что доктор прописал... Прокурор запросил двенадцать.

— Ты что?..

— Договорено, будет десять, адвокат божится...

После подогрева Наумыч толкнул меня в бок:

— Гарик зовет...

Подхожу. Сидит один, мешок увязан, грустный...

— Собрался?

— Все, год прожил, считай, целая жизнь... Жалко, мы с тобой мало, а я бы хотел, не все про тебя понял.

— И мне жалко, хотел бы от тебя узнать побольше.

— Жалко не жалко,— говорит Гарик,— все равно уходить. Я не боюсь зоны... Неужто обманут?

Пожимаю плечами.

— А десять лет... Через пять уйду, может раньше, год отсидел, четыре до полсрока... Видал, как я держу хату? Я и там сумею, надену повязку, все будет в ажуре.

— А не боишься?

— Чего мне бояться, кого?

— С ними лучше не играть, опасно, для них игра беспроигрышная, переиграют.

— Меня?.. Нет, Серый, меня никто не переигрывал.

— Тут другая игра,— говорю,— срок ты, может, и выиграешь, душу бы не потерять. В такой игре — душа ставка.

— Кто ставит?

— Те, кто заказывает музыку. И те, кто пляшет.

— Ты это серьезно? — Гарик сощурил глаза.

— Я так думаю, и стараюсь так жить. Не всегда получается, но... стараюсь. Я не могу с ними, всякий разговор — участие в игре. В их игре. А им только зацепить, возможности большие. Их вон сколько, а ты один.

— Ты всерьез, Серый, или шутишь, я тебя не пойму...

— А что тут понимать, Гарик? Мы с тобой друг друга поняли, верно? Ты наденешь повязку и будешь набирать очки — но ведь за чей-то счет, даром тебе ничего не дадут...

— Вон ты о чем...— говорит Гарик.— Ну... тогда я тебе все скажу. Откроем карты. Не боишься?

— А что мне боитьси, я не играю.

— Ты знаешь, куда меня вызывали второй раз?.. В тот день, как ты пришел? В первый раз к адвокату, а второй...

— Не знаю,— говорю,— догадываюсь.

— Верно догадываешься, адвокату в тюрьме нечего было делать, мы с ним кончили. Приводят к куму... Не к тому, у которого я каждый месяц, я давно старший в хате, как что — вызывает: у кого ножи, иголки, кто гоняет коней, кричит с решки, варит чай... Жизнь идет. Они и без меня знают, тут в хате... Все схвачено, перепутано — для... контроля. Приходится другой раз и ножи отдавать, и иголки, у нас все есть — один нож отдашь, а два спрячешь. Им, на самом деле, ничего не надо, был бы порядок, а за порядок я отвечаю. Свои дела мы сами решаем. У нас пресс-хата — не понял?

— Нет,— говорю,— а это что?

— Желтенький ты, Серый, не сечешь. Надо, к примеру, такого, как ты, научить, если у тебя шариков не хватает?

— Видишь, как я угадал, это и есть игра, для них беспроигрышная.

— Погоди, пока я не в обиде, ни разу не обремизился... Короче, приводят к куму. Главный кум, майор, я его ни разу не видал, нас пасет подкумок, старлей...

— Черный такой? — спрашиваю.

— Майор?.. Черный, мордатый... А ты у него был?

— Нет, мне рассказывали. Руки волосатые?

— Руки?.. И руки волосатые, черные...

— Вон как я угадал! — мне стало весело.

— Чудик ты, Серый, жалко уходить, мы бы поговорили... Черный, волосатый, руки... К вам, говорит, привели Полухина? Привели. Ну и что? — спрашивает. А ничего, говорю, устроили хорошо, на нижней шконке, поближе к окну, в семью к хозяйственникам... Зачем, говорит, ты это сделал? А как же, по каторжанскому закону: в тюрьме третий месяц, статья серьезная, не мальчик... Дурак ты, говорит кум, кто тебя просил? Устрой ему для начала уютную жизнь...

У меня внутри захолонуло, и такая жалкая мыслишка: может, заботятся?

— Это как понять? — спрашиваю.

— Верно! И я его: как, мол, понять, хотя понял сразу, но тут нельзя ошибиться. Учить тебя, что ли, говорит кум, велосипед для начала, еще чего, не маленький, сообразишь, чтоб ему небо в овчинку...

— Ну и что ты решил? — спрашиваю.

— А как мне быть, Серый,— говорит Гарик,— ты сам подумай?.. Я тут год, все тип-топ, на зону пойдет характеристика, для начала — считай полдела, обещали — кум напишет! Десять, двенадцать лет, жить-то надо, а тут приказ главного кума...

— Не знаю, Гарик, я тут при чем, твои проблемы.

— Я тебе все карты, а думать за меня не хочешь?

— Мы по-разному думаем,— говорю,— и положение у нас, согласись, разное.

— Это ты зря, я с тобой, как зэк с зэком... Наумыч, двигай сюда...— говорит Гарик.— От него нет секретов, он в курсе, с завтрашнего дня за старшего в хате.

— Наумыч?

— Надо кой-кого держать в руках, наломает дров, а кроме Наумыча некому... Я с ним о куме.

— Понял,— говорит Наумыч.

— Короче так, Серый,— говорит Гарик,— пиши завтра бумагу на имя кума: прошу о встрече. На поверке отдашь. Он сразу вызовет, тянуть не будет, а ты руби: жить в камере невозможно, народ отпетый, вали на меня — пугает, давит, бьет, что хочешь, чем страшней, тем лучше. Переводите в любую другую хату.

— Ты что, Гарик, я не хочу в другую!..

— Чудак! — смеется Гарик.— Никуда они тебя не переведут, ты тут присох, им надо галочку поставить — им приказали, они давят, а там как хотите, у них своя игра...

— Я с ними не играю, а доносов ни на кого не писал.
— Что с ним делать, Наумыч! — Гарик злится.— Ты пойми, мне твой донос, как медаль в характеристику...
Может, *они* и об этом *договорились*, думаю: по тюрьме *параша* — Полухин стучит куму!..
— Нет, ребята,— говорю,— у меня другие правила, и с ними ни о чем не говорю — не могу... Решайте сами, жалко, конечно, я бы тут у вас пожил...
— Он не напишет,— говорит Наумыч,— не видишь его?
— Вот гад,— говорит Гарик,— если б кум меня утром дернул, до того, как я с тобой снюхался...
— А говоришь, Бога нет...— не могу не улыбаться, только на сборке мне было так хорошо!..— Есть Бог, Гарик, в том и дело, не в куме, не в том, когда он тебя вызвал...
— Силен... но я, вроде, про Бога ничего не говорил? Бог тебе химичит?.. Хорошо тебе, а мне как? Вы тут останетесь, а мне на суд, на зону...
— Давай так, Гарик,— говорю,— я напишу завтра заявление врачу: мне душно, у меня астма, на спецу врач давал лекарства, у вас врач другой, пусть вызовет...
— Хрен с ним, с кумом,— говорит Гарик,— пиши, что хочешь.
— А может, отложат суд, вернешься?
— Едва ли, хотя жалко, я б с тобой поговорил, за тобой вон какая сила... Перекурим это дело...
Достает пачку «Дымка».
— Откуда у тебя? — спрашиваю.
— Кум дал. Любимые ихние сигареты. Кури...
— Благодарю, я завязал до Пасхи, у меня свои проблемы...

7

В ночь на Страстной вторник в первый раз в тюрьме посетила меня бессонница. Я не слышал камеры, ничего не видел. Я *другое* узнал. Будто снова разорвалась завеса... Господи, шептал я, прости и помилуй меня, грешного. Воспомяни, окаянный человече, како лжам, клеветам, разбою, немощем, лютым зверем, грехов ради поработщен еси: душе моя грешная, того ли восхотела еси?..
Завтра на утренней службе читают... Как мало я знаю, как ужасно, бессмысленно, пошло прожил жизнь, но что-то запало, всплывает в памяти... Блудника и разбойника кающихся приял еси, Спасе...— шепчу и шепчу я.— Аз же един леностию греховною отягчихся и злым делом поработихся: душе моя грешная, сего ли восхотела еси?..
Во Вторник это и произошло, думаю я. Иуда разумом сребролюбствует...— вспоминаю я, и меня охватывает иной — священный ужас: *разумом!* Отпадает от Света, принимает тьму, соглашается с... ценой, продает Бесценного — и его ждет возмездие, оно неотвратимо: за предательство, лютая смерть... Избави нас, Господи, от такого,— шепчу я,— верою празднуем пречистые Твои страсти... Вот уже две тысячи лет, думаю я, в этот день, в эту ночь корысть губит Иуду, он принимает тьму, отпадает от Света, соглашается с ценой предательства — и его настигает возмездие... Избави меня, Господи, от такого, благодарю Тебя, Господи, Ты еще раз показал мне — в простом чуде, только что происшедшем со мной... Вон, лежит через шконку, несчастный, заблудший, погибающий человек... Что стоило вызвать его утром, до того, как рыжий старшина привел меня в эту камеру... Нет случая, думаю я, не может быть случайности, потому что и здесь, в смраде, все пронизано Твоим Светом... И мне кажется, я слышу сквозь мерзкий визг неусыпающей камеры, сквозь толщу осклизлых тюремных стен — шепот сестренки, голос Мити, племянника — я до сих пор не знаю его имени! — но и он лепечет, мальчик, родившийся в тот день и в тот час, когда меня уводили... Это они молятся обо мне, это их молитва услышана Тобой!.. Господи...— слышу я, и сквозь слезы, которые не хочу вытирать, узнаю *шепот* Нины: «Помилуй его, в узах сущаго, не дай отпасть от Света Твоего, Господи, не дай тьме, безжалостной и мерзкой, поглотить его, да не поддастся он никакому соблазну и искушению бесовскому, прости его, Господи, и помилуй за все прегрешения перед Тобой, как я простила его, Господи...»
— Господи Иисусе Христе, Боже наш,— шепчу я,— святого Апостола Твоего Петра от уз и темницы без всякого вреда свободивый, приими, смиренно молим Ти ся, моление сие милостивно во оставление грехов рабов Твоих,— сколько их вокруг меня, шестьдесят, больше? — в темницу всаженных и молитвами того, яко Человеколюбец, всесильною Твоею десницею от всякого злаго обстояния избави и на свободу изведи...

8

Я все глубже вползаю в жизнь камеры, постепенно она перестает быть многоголовым чудищем с сотнями ног и рук, бессмысленно рыкающим и смердящим, одно за другим выплывают *лица, глаза*, чудище разваливается... Камера неуловимо изменилась за неделю... Неужто неделя — не месяц, не год?.. Пятница, думаю я, в пятницу меня и привели...

Гарик ушел во Вторник. Три дня, четвертый, за эти дни камера и изменилась... Гарик ушел до подъема, вся камера *стояла:*
— Гарик! Гарик! Гарик!!
Мешок за ним нес Костя, Гарик проталкивался через толпу, со всех сторон тянулись руки...
— Гарик, Гарик, Гарик!!!
Он миновал дубок, но вдруг повернулся, пролез ко мне.
— Разбудили, Серый?..— глаза блестели, он был напряжен, звонок.— Здоров спать, с нервами в норме...
— Счастливо, Гарик, храни тебя Господь.
Он смолчал, порылся в кармане телогрейки и вытащил пачку «Столичных», таких я давно не видел.
— Держи, пока будешь курить, не забудешь.
— Откуда? — не удержался я.
Он засмеялся:
— Будь спокоен, адвокатские. Не отравишься!
— Спасибо, Гарик,— сказал я,— я тебя не забуду. Нас не сигареты, другое связало.
Он хотел что-то сказать, махнул рукой и начал проталкиваться к двери. Я посмотрел наверх: Верещагин стоял на шконке, расставив ноги в рваных тренировочных штанах, на лице застыла странная улыбка...

— Не понять, за что тебя посадили, Серый,— говорит Сева.— Церкви у нас открыты, или ты... У меня был дружок, в институте, каждое лето ходили на байдарках в Карелии, привозил иконы, там много, деревни брошены, заходи в любой дом... Толкал иностранцам, дипломатам. Вломили срок. С ним понятно, а у тебя что?
Они сидят на моей шконке — Сева и Костя, отзавтракали, Василий Трофимыч ушел на суд, мои семейственники меня сторонятся, вся камера знает о моих отношениях с Гариком, что-то для них это значит, понять не могу — что? Сева и Костя без Гарика стали свободней, казались молчунами, а тут завели разговор...
— Иконами я не торговал,— говорю.— Как бы тебе объяснить?.. Ты не ходил на Пасху в церковь?
— Нет,— говорит Сева,— бабка ходила. Родители — дипломаты, дома редко, больше за границей, а когда приезжают и у них гости, закрывают бабку в комнате, у нее иконы, лампада... Стесняются или боятся... Хотя чего тут?
— Боятся, им загранку закроют,— говорит Костя.
— Могут. Но в тюрьму за это не сажают?..— у Севы лицо интеллигентное, а казался простачком.
— В тюрьму не сажают,— говорю,— да и родители зря боятся, можно предъявить бабку иностранцам — для колорита, они это любят. И политически правильно: у нас, мол, свобода совести, хочешь — верь, хочешь — не верь.
— За что ж тебя, если свобода — говорить боишься?
— Я на спецу боялся, не хотел на общак. А дальше общака — куда?
— Хаты и на общаке разные,— говорит Костя,— но если ты у нас прижился, нигде не пропадешь.
— А что такого,— Сева не отстает,— я могу про себя рассказать кому хочешь, если охота.
— В том и дело,— говорю,— держать дома иконы, зажигать лампадку — пожалуйста, если соседи или родственники не возражают, а когда начнешь объяснять про веру — считается религиозная пропаганда, за это статья.
— Так тебя за пропаганду?
— Не совсем, тут еще хитрей. Ты, к примеру, будешь ходить к бабке, читать Библию, учить молитвы, начитаешься и станешь объяснять еще кому-то, а если умеешь писать, напишешь — статью или книгу, это считается пропагандой, могут посадить. Бабка промолчит, она божья старушка, детям боится перечить, на Пасху красит яйца, ходит в церковь, ставит за тебя свечки — никто ей слова не скажет. Но ты-то сидишь за веру, за то, что говорил о Христе? Я, скажем, не выдержу — и напишу: моего друга, верующего человека, посадили за то, что он верил в Бога и соблюдал заповеди! А там сказано: нет больше той любви, как если положить душу за друзей своих... Меня тоже посадят. Но уже по другой статье — за клевету на советский государственный и общественный строй: у нас нет гонений за веру — в газетах пишут, в Конституции сказано...
— Так у нас нет гонений или есть? — спрашивает Костя.
— Если посадили за веру — есть или нет?.. Сидят люди.
— Какая же клевета, когда правда? — говорит Костя.

— Старая история,— говорю,— и Христа распяли не за то, что Он был Богом, обвинили в политическом преступлении, в подрыве власти. Прошло две тысячи лет, ничего не изменилось.

— Как же не изменилось,— говорит Сева,— не знаю, что две тысячи назад, но сто лет назад у нас и царь был верующий, в тюрьму за веру не сажали... Или было?

— Верно,— говорю,— такого не было и быть не могло. Особенно, если тебе достаточно красить яйца и ни во что не вмешиваться. Но когда ты так любишь Бога, что не можешь пройти мимо несправедливости, готов умереть за своих друзей, ради Христа, тебя обязательно обвинят в политическом преступлении. А рецепт всегда один, при любом режиме — ложь.

— Ну, а тебя за что,— не отстает Сева,— за пропаганду, кого защитил или ты... Бога любишь?

— Я написал книгу о человеке, который поверил в Бога, начал ходить в церковь, хотел жить по вере...— короче, как бывает в натуре...

— А что с ним было?

— То же, что со мной — посадили.

— Силен,— говорит Сева,— выходит, сам себя посадил?

— Выходит, так.

— А чем кончилось,— спрашивает Костя,— освободили?

— Я не дописал, это вторая часть. Если выйду.

— Напиши про нас, Серый,— говорит Костя,— опиши нашу камеру и все, что тут...

— Про это написано много книг.

— Про нас не написано,— говорит Сева,— то давным-давно, а про нас...

— Знаю те книги,— говорит Костя,— я за них сел. У меня сто пятьдесят четвертая — спекуляция, а следователь пугал Лефортовым, я книгами торговал, теми самыми и... всякими. На меня много повесили: книги, марки, абонементы за макулатуру... А я в отказе, в глухом — молчу.

— Погоди,— говорю,— а ты знаешь Андрюху Менакера?

— А ты откуда его знаешь?

— Я с ним на спецу почти три месяца... Хороший малый.

— Хороший,— говорит Костя,— он меня и сдал.

— Погоди — как сдал?.. Он рассказывал: его следователь купил, прочитал показания... Ты, вроде, в чем-то признался, а он подтвердил... Я, говорит, не знал, что он в отказе...

— Врет,— говорит Костя.— Он меня вложил, никто его не тянул, еще на воле, когда первый раз вызвали. Дурак, не понимает, я его не здесь, так на зоне достану...

— Как же так, он переживал, о тебе самого высокого мнения... Погоди, конечно! Костя! Ты, говорит, поглядел на него и... отвернулся. А если следователь и тебя обманул?

— Ты, Серый, может, хороший писатель, надо почитать, но Гарик тебе верно вмазал — ни хрена ты в людях не сечешь. Гнида он, Менакер, дождется... Он думал, деньги даром достаются. Когда такие деньги, можно посидеть... Хотя, если восемь лет впаяют... А следователь обещал, тут без обмана. Я, знаешь, как жил, Серый? Подъеду утром на моторе на Кузнецкий — только на такси ездил, мог купить машину, но зачем — ни выпить, ни... Выхожу из машины, а шестерки, вроде Менакера, встречают. Следователь говорит: ты, Ткачев — король черного рынка...

Ай да Костя, думаю, прав, ничего я в людях не...

— Книг, о которых ты говоришь,— продолжает Костя,— через мои руки столько прошло — любые деньги! Деньги не жалко, когда за книги срок... Кое-что почитал.

— А ты, Сева,— спрашиваю,— тоже за книги?

— У меня разбой,— говорит Сева,— игра в детектив. Отец привез газовый пистолет, американский, надели маски, подъехали втроем к одной знакомой... Там много можно было взять... Они легли... Не от пистолета, со страху, а мы ничего не нашли, торопились... До дому не успели доехать — и на Петровку... Разбой с применением технических средств.

— Все-таки не понять, Серый,— говорит Костя,— в Бога ты веришь, книги пишешь, людей защищаешь... Бог тебя тюрьмой наградил — так?.. Что ж ты боишься?

— А чего я боюсь?

— На спецу общака боялся, здесь...

— Не боится один Верещагин,— говорит Сева,— у него крыша течет, он борец за правду. И Машку — того ничем не напугать.

— Кто такой? — спрашиваю.

— А ты не видал?.. Во-он, у параши, не отходит...

Я, и верно, не видел, разве всех разглядишь, особенно в первые дни... Дикое существо: длинный, нескладный, со свалянными пегими лохмами, рваная рубаха, грязные кальсоны, сидит на ступеньке перед ватерклозетом, перебирает тряпки, на иссиня-бледном лице блуждающая улыбка...

— Телевизор украл,— говорит Сева.— А что ты, Машка, с телевизором хотел делать? — А я хочу посмотреть — кто там у него внутри, может, дети...— А зачем тебе дети? — В жмурки играть...

— Что ж его тут держат?

— Был на экспертизе — и обратно. Бо-ольшой преступник... При Гарике его не трогали, теперь всякое может быть.

— А что он делает с тряпками?

— Спроси, он тебе объяснит. Костюм будет шить. Мне, говорит, мамка нашла невесту, костюм к свадьбе...

Когда они ушли, Иван, все это время лежавший к нам спиной, повернулся и поглядел на меня:

— Много болтаешь, Серый, а зачем — не понять.

— Мне все равно, я намолчался.

— Это мне все равно. Гарику надо было десять, боялся двенадцати, а мне меньше двенадцати не дадут. А какая разница — двенадцать или пятнадцать лет? У тебя какой срок по статье?

— Три года.

— А говоришь, все равно. Я двенадцать отсижу — выйду, если буду живой, а тебе станут набавлять. Никогда не уйдешь.

— Можно посмотреть, что вы рисуете?

Он поднимает голову. Глаза у него темные, как угли в красных белках... Отворачивается и продолжает что-то чертить, потом левая рука протягивает мне пачку листков. На меня он не смотрит.

Листки из ученической тетради в линейку. Синяя шариковая ручка... Портреты, портреты... Что-то знакомое, сразу не понять... Да это наша камера! Не камера, ее обитатели... Наумыч... Гарик... Комиссар... Костя... Гурам... Но — сюжеты!.. Доре!!!

— Какой же это... *круг*? — спрашиваю.

Он опять поднимает голову, в глазах — радость:

— Похоже?

— Пожалуй... Только как бы вам сказать... Откуда вам может быть известно, что им уготовлено? Кому принадлежит Суд?.. А вы их уже осудили.

Черные угли вспыхивают, сверкают.

— Если там нет справедливости, ее вообще не существует. А она есть, есть!

— Чья справедливость?

— Зло должно быть наказано, если не здесь — там! Если ты соглашаешься со злом, не сопротивляешься, принимаешь зло — ты осужден, и тебя туда, туда, туда!..

— Вы говорите, как прокурор, откуда у вас право судить и вершить правосудие? Да еще не здесь — в вечности?

Он отворачивается от меня и обводит глазами камеру: конечно, это чистый ад, а если ты к тому же художник — Верещагин! — жаждешь справедливости и не можешь принимать зла, не хочешь с ним соглашаться... Тогда тебе остается выбрать для *них круг*...

— Они несчастные люди,— говорю я,— им хуже, чем вам. Для них все кончается этой камерой.

— А для меня?

— Вы предупреждены, знаете, что вам предстоит вечность — вечность в такой камере или вечность с Богом.

— Вам известно, что сегодня Страстная пятница?

— Известно. Меня привели накануне Лазаревой субботы.

— Правильно. Именно в ту субботу вы и пили чай, сваренный руками Иуды.

— Ты сказал... Вам известно то, что неизвестно мне.

— Потому что вы боитесь себе об этом сказать. И они боятся. Они знают о вечности не меньше вашего. Душа знает. Они забивают ее в себе, как забьют вас, если вы не захотите жить их жизнью. Вы и это знаете. Зло — свободный выбор, ничто не может заставить меня принять зло, если я того не захочу.

— В вас говорит ненависть, а потому вы не правы, вами движет обида — и тут вам ничего не понять.

— А вами движет здравый смысл, проще говоря, хитрость. Меня толкает сердце, я не принимаю никаких решений — я вижу скота и не могу изобразить его человеком, а скоту уготован ад. Я изображаю то, что вижу, не хочу солгать, а вы...

— Наверно, вы правы,— говорю я, и первый раз в жизни понимаю, какая это радость смирить собственное сердце.

Еще мгновение он смотрит на меня, глаза блестят, мне кажется, и вижу в них слезы. Он протягивает правую руку:

— Захар Александрович Холюченко. Спасибо и... простите меня...

Наумыч остался на своей шконке, лежит рядом с Гурамом, место Гарика занял Костя Ткачев. Этого я понять не могу: в хате старший — Наумыч, никто об этом никому не говорил, а все знают. «Наумыч,— спрашивает шнырь,— как с уборкой?» — «А в чем дело,— Наумыч лежит на спине, руки закинуты за голову, дымит сигаретой,— или у Машки менструация?» — «Значит, как было?» — уточняет шнырь. «До первого штрафника...» — роняет Наумыч.

Еще через день и увидел, как Толик забрал у Наумыча ворох белья и потащил к сортиру, шнырь опустил белье в ведро с горячей водой. Обычно горячую воду делят на несколько человек, в тот день шнырь к ведру никого не подпускал... «Мыло у вас есть?!» — крикнул Наумыч через всю камеру. «Пока есть, если что, скажем...»

И не стесняется, удивился я, пахана играет... Вечером шнырь варил чай, пили на шконке у Кости: кроме Наумыча — Костя, Сева, Гурам и Толик...

Еще через час я столкнулся с Наумычем у решки. Вечер был душный, за окнами погромыхивало — неужто гроза в апреле? Под окном хоть какой-то воздух, подышать перед сном...

— Не ответил врач? — спрашивает Наумыч.

— У нвс, наверно, и врача нет, подохнешь, не узнают.

— Смотри, Серый, чтоб не раньше времени.

— Есть к тому причины?

— Много болтаешь, потому и оказался на общаке... Но учти — это не конец.

— А что еще бывает?

— Мое дело предупредить, ты мужик грамотный, а нянек здесь нет. И шестерить тебе никто не будет. Учти, я не Гарик, он год крутился, а мне начинать с нуля... Зачем балаболишь с Верещагиным?

— С художником?.. Да он здесь лучше всех!

— Мы с тобой люди интеллигентные,— говорит Наумыч,— потому я с тобой разговоры разговариваю, а так бы... Не сечешь ситуацию в хате? Я тебя натаскивать не буду.

— Тебя вызывал кум? — спрашиваю.

— Нет еще. Но мне с ним будет трудней, чем Гарику. Сказать тебе честно, я думаю, кум от тебя отстанет — зачем ты им нужен? Они свое сделали, тоже не хотят шестерить... Если не подашь повода. Гляди, Вадим, я за тебя голову не подставлю.

— Мне не надо; спасибо, если не будешь темнить...

— Учти, Серый, если тебя другой сдаст, мне в минус: тебя на меня повесят. А мне зачем?

— Круговая порука?

— Нет, у меня другая жизнь. И была другая, и будет другая. Ты себе крест повесил — зачем, почему? Меня не колышет, чего ты за это имел, а поверить я тебе не могу. У тебя крест, а у меня был партбилет в кармане.

— Неужто коммуняка?

— А как ты думал, если я пять лет замдиректора фабрики? Видишь, как я с тобой. Я тебе сказал, что Гарику неизвестно.

— Сомневаюсь, Гарик быстро считает.

— Не знаю, сосчитал или нет, разговора не было. Я тебе к тому, что ссориться с ними у меня нет расчета. Я их лучше знаю, от них не будет пощады.

— Спасибо, Наумыч, мы с тобой оба зэки, и главное в нашем деле откровенность.

— Много хочешь, Серый, я и так слишком сказал...

Ночью Наумыч разбудил меня:

— Гарик подогнал коня,— и сунул в руку туго свернутую бумажку.— Пиши ответ, он под нами, на осужденке...

Камера гудела, как всегда. Я осмотрелся: на решке сидел Толик, у волчка шнырь...

Я развернул записку: «Дорогой Вадим! Меня, как положено, обманули, вломили двенадцать лет. Ты прав, игра беспроигрышная, не для нас. Как тебе живется? Не забывай, что мне обещал. Будем живы, может повидаемся. Гарик». «Дорогой Гарик! — написал я.— Жизнь продолжается, нас не научишь добром и радостью, мы становимся хуже, для того и существуют страдания. У тебя все впереди, я в это верю. Спасибо за все. Держись. Врачу я написал...»

Я видел, как Толик на окне свернул мою записку, обвязал ниткой и она исчезла в темноте за решкой.

Я заснул.

9

Я просыпаюсь от переполнившего меня ощущения счастья и радости. Мне ничего не снилось или я забыл, не запомнил: что-то толкнуло меня, кто-то улыбнулся мне, прошептал в ухо, я не расслышал, не успел разобрать... Кто-то позвал меня, и я уловил дрогнувшую, прошелестевшую нежность... Камера просыпается, ворочается, вскрикивает, вот-вот загрохочет, забурлит, уже прыгают сверху, поднимаются внизу...

Мне на самом деле хорошо или я хочу, чтоб мне было хорошо?.. Не знаю, но я открываю глаза и говорю себе сам: «Христос воскресе!» И что-то отвечает во мне, или я отвечаю в себе: «Воистину воскресе!» Это самое важное, единственное, что важно, остальное подробности, сюжет, детали: смрадная камера, в которой мне пока везет, другая камера, в которой будет хуже, третья, в которой станет совсем невмоготу, четвертая, в которой я... крякну, меня вытащат и бросят голым мертвым телом на ихнюю свалку... Или напротив: что-то произойдет, *наши* войдут в город — кто там на *белой* лошади?! железные двери в мерзких болтах распахнутся... Подробности, детали, сюжет... А Он *воскрес*... Не все ли равно: то, другое, третье или четвертое — если Он *воскрес*!..

— Христос воскресе, Ваня!

— Воистину,— говорит Иван и *улыбается*.— Надо бы разговеться, Серый, крашеным яичком.

— Надо бы. Ничего, за нас разговеются...

Достаю пачку «Столичных»:

— Покурим, Ваня...

— Ишь ты, припрятал! С праздником... Знаешь, Серый, мне мать приснилась... К чему бы?

— Как приснилась? — спрашиваю.

— Не моя мать... Валерки. Я тебе рассказывал: мы позвонили в квартиру, она вышла на площадку... Вера Федоровна. Только она... другая — высокая, в белом платье, но она, Вера Федоровна!.. Смотрит на меня и говорит: «Я тебе, Ваня, носочки связала, ты их носи, не жалей, как проносишь, я еще свяжу...» Слышишь, Серый!.. «Вы бы лучше Валерке...» — а сам думаю: что же я такое говорю! А она отвечает: «Ему теперь не надо, ты у меня один остался, Ванечка...» Что ж это, Серый, разве так может быть? Я его... убил, а она мне носочки?

Сигарета крепкая, неделю не курил — плывет голова и все вокруг плывет...

— Не бывает, Ваня, а должно быть. Тебя Бог посетил. На *Пасху* — понимаешь?

— Как же она — *простила*?.. Разве может так быть?..

Глаза у него изумленные и лицо, всегда покрытое серой паутиной, просветлело.

— Христос воскресе, Ваня! — не могу понять: я сплю, мне снится или на самом деле мы лежим с *ним* бок о бок на шконке, курим «Столичные» и говорим о... *чуде*?..

— Плачешь, Серый — своих вспомнил?

— Нет,— говорю,— я стараюсь о них не думать, я празднику радуюсь...

— Христос воскресе, Василий Трофимыч!

— Воистину,— смотрит на меня, глаза помягчели.— Целоваться не будем, здесь такое не положено.

— Покурим, Василий Трофимыч...— протягиваю пачку.

— Ну, Вадим, ты фокусник — из рукава?

— Адвокатские,— говорю,— подарок. Должно быть у нас хоть что-то на Пасху...

— Христос воскресе, Захар Александрович!

— Воистину...

Глядит на меня сверху, улыбается беззубым ртом в седой бороде... Протягивает *листок*.

Той же синей шариковой ручкой на тетрадном листке в линейку... Окно камеры, разломанная решетка... Один за другим вылетают закутанные фигуры, ветер треплет волосы, одежду... Летят — их *втягивает* в окно!.. Внизу детским почерком: «ПАСХА»...

— Это вам,— говорит,— не возражаете?..

Дверь громыхнула как-то странно, необычно... Кажется, все тут *кажется*... Входит корпусной.

— Все — на коридор!

— Чего?.. С утра нажрался!..

— Все?.. Ха-ха!..

— Быстрей, быстрей!.. Выходи!!

Еще два, еще три вертухая, помахивают дубинками...

— Быстрей, быстрей!

— Да вы что?.. Мы больные, какая прогулка? Не пойдем!

— Кому сказано?! Кто там лежит?.. Встать!..

— Что они — оборзели?..

На прогулку на общаке ходят обычно человек двадцать, дворики на крыше чуть больше спецовских, если пойдут все, там шагу не ступишь, так и будешь стоять в тесноте, пока прогулочный вертухай не отопрет дверь. Не любят гулять в тюрьме: ночь без сна, днем тише, спокойней, можно полежать — кого-то выдернули на вызов, кого-то в суд, а если двадцать человек отправятся гулять — считай, пустая камера! Ложись на любое освободившееся место, вздремни, особенно когда нет своего места, валяешься наверху, ночью там и поворачиваются по команде с правого бока на левый... Ходят на прогулку одни и те же, берут с собой «мяч»: сошьют мешок, набьют ватой из матраса — фирма! И пронести «мяч» во дворик легко: запихнешь в штаны, за пазуху, вертухай внимания не обратит, глянет сверху, крикнет для порядка: «Прекра-атить игру!..» — и отойдет, зачем ему?.. Зимой хорошо играть в футбол — разогреешься, зато летом — пыль столбом, только отплевываешься. Большинство и не ходят, выдумывают различные резоны: нагляделся, мол, на природу, мне этого воздуху и даром не надо; у других соображения противоположные: тяжело видеть небо — в клеточку, глядеть сквозь проволоку, не нужна, мол, иллюзия свободы... На самом деле, отговорки, распускается человек, начинает сдаваться, не хочет ни в чем себя утеснить: надо одеваться, тащиться вверх по лестнице, мерзнуть или дышать пылью — не хочется делать ни одного лишнего движения. И постепенно *доплывает*, не бреется, не моется — *доходит*. А вертухаям на руку — одно дело двести двадцать человек, другое шестьдесят, хлопот не оберешься. Да пускай совсем не ходят, зачем ему, вертухаю, эта прогулка!.. Нет, сегодня что-то другое...

— Сказано — всем выходить! — кричит корпусной.— Не тянуть — быстрей, быстрей!!!

В камере уже десяток вертухаев с дубинками, в коридоре маячит старший лейтенант — тот самый кум, что ли?.. С кряхтением, ворчанием, бранью вываливаемся из камеры. Стоим у стены, вертухаи выталкивают последних...

— Я больной, командир, температура!..

— Я тебя счас нагрею!.. А ну — выходи!!

— Что это с ними? — спрашиваю Наумыча.

— А пес их знает, бывает на праздники — чтоб все гуляли, сами себе усложняют жизнь...

— Выходит, признают Пасху?

— Кто о чем, а вшивый все про баню,— говорит Наумыч.— Договоришься, Серый, я тебя предупреждал...

— Все?! — кричит корпусной.— Давай, пошел!..

Какая тут прогулка?! Прогулка — по лестнице вверх, а нас потащили вниз... Лестница кончилась, переходы, коридоры... На сборку, что ли?

— Не иначе, амнистия,— говорю Василию Трофимычу,— спросить бы у комиссара... Так строем и пойдем по домам...

— Похоже, как корпусной вошел, я почуял — запахло свободой... Густой запах...

Впереди встали. Решетка перегораживает коридор... Шепот, как рябь по воде — от решетки к нам, в конец:

— Шмон, шмон...

Уже видно: через решетку пропускают по одному, шмонают...

— Чего они ищут, Василь Трофимыч?

— А я не знаю, что на тебе.

— Сигареты...

— Те «Столичные»? Отметут. Надо бы в камере оставить.

— Возьмите парочку...

Раздаю по одной, по две тем, кто ближе, оставил три штуки, две в носок, одну в карман.

Я уже у решетки.

— Руки, руки!..

Общупал... Тащит сигарету из кармана:

— Откуда у тебя такая?

— В коридоре нашел.

— Смотри как — я потерял, а ты нашел? Что ж сразу не отдал — привык воровать?.. Проходи, не задерживай.

Загоняют в отстойник, сортира нет, лавка вдоль стен, человек двадцать сели, остальные стоят...

— Чего это они, а, мужики?

— Чего-чего — шмон, вот чего.

— Какой шмон, они меня и не трогали...

— Не тебя, в хате шмон — не понял, деревня...

Вон оно что!..

— Может быть, Василь Трофимыч?

— Вполне. Они это любят, в праздники.

— Для издевательства?

— И для издевательства. Для порядка, скорей. В праздник каждый старается себя хоть чем-то порадовать: чай достают, бывает, водку или брагу поставили.

— Как это — брагу?

— Сахару много, хлеб кислый...

— Какой же шмон в отсутствии хозяев — не по закону?

— В тюрьме нет закона...

Вокруг те же разговоры:

— У меня колеса заныканы, собирал на этап — отметут!

— А мне вчера подогнали ксиву, в мешке...

— Станут они ксиву читать, они карты ищут.

— А у кого карты?

— У кого надо. Я вчера заточил ложку, острей бритвы. Может, не найдут в общей куче...

— Если полезут по мешкам, мы до вечера, присохли...

— Стучи, кто там ближе!

— Время к часу — без обеда, что ли?

— Шнырь, стучи в дверь — жрать хотим!..

Сколько это продолжается — час, два, три?..

Сигареты мы с Василием Трофимычем скурили, садим его табак. В отстойнике дым столбом, лиц не разглядеть...

— Выходи!..

Идем медленно, тяжело, как после полного трудового дня, но — домой, могло быть хуже, раскидали б хату...

— Устроили прогулку, суки...

— А я знаю, чего у нас — дезинфекция, клопы заæрали.

— Ладно тебе, когда дезинфекция, переводят в другую хату, у них резервная. Если сразу после дезинфекции — сдохнем, клопу ничего, он залезет в «шубу», укроется, его оттуда не выковыряешь, а ты лапки кверху...

— А ежели резервная занята — по всей тюрьме клопы?

— Да хотя бы конец, надоело...

Вот и наш этаж, коридор, медленно втягиваемся в приотворенную дверь камеры...

— Чего они там, давай шевели лаптями!..

Вертухаи с дубинками глядят на нас: блудливые ухмылки, довольны..

Наконец и я протискиваюсь в дверь, останавливаюсь — что это?.. Как в детском калейдоскопе: дрожит, кружится разноцветное марево... Камера — огромная, всегда мрачная, закопченная — неузнаваемо изменилась... Что же это такое?.. Ветошь — белая, красная, желтая, синяя, зеленая — и все вместе, перепутано, вздыблено... Протираю очки, ничего не понять.

Сзади грохнула дверь — и камера взрывается криком:

— Суки позорные!..

— Твари!!

— Скоты, скоты, скоты!..

Шестьдесят матрасов брошены на пол, матрасовки, подушки без наволочек, в воздухе плавают перья, клочья ваты... Распотрошенные, вывернутые мешки с барахлом — горы разноцветных тряпок: штаны, куртки, сигареты, рубахи, белье, носки, тетради, свитера, табак, листы бумаги... На полу раздавленные таблетки, карандаши, ручки... И на решке болтаются разноцветные тряпки — не иначе, ногами футболили.

Шестьдесят человек кидаются к своим шконкам, лезут наверх — все перемешано, разворочено... Разве отыщешь *свое* в этой свалке, нарочно трясли, выворачивали подальше от места...

— Ну, коммуняки, дождетесь, падлы!!

Верещагин ползает под ногами, собирает тетрадные листки в линейку, заштрихованные синей шариковой ручкой... Садится на пол, прислонился спиной к шконке, в руке порванные, затоптанные листки из тетради, глаза, как угли в красных белках...

— Вот что надо бы запечатлеть, Захар Александрович,— говорю ему,— это уже точно *круг* ада. И название есть для вашей картины, ни у кого не было: «Шмон на Пасху»...

10

Всегда молчаливый, ненавязчивый, он сегодня чуть ли не назойлив. Я давно подумывал встать, *пройтись*, хочется поговорить с Верещагиным — таких людей давно не видел, а может, вовсе не знал, поболтать с Костей — столько в нем жизни, азарта... Но этот так настырен, словно какая-то цель, специально не отпускает, задает новые вопросы... Мое место ближе к окну, сидит на шконке, загородил камеру.

— Никак не соображу, Серый, ты очень умно говоришь... Я получу свои пятнадцать — за дело, верно? Моему подельнику, Витьке, те же пятнадцать, пусть двенадцать, он помоложе — тоже за дело. Про Валерку что теперь говорить — где Валерка? Ему лучше нас всех, все грехи списали — так? А она, Вера Федоровна? Ей за что — а ведь ей хуже всех!.. Вот я о чем — почему так? Она лучше нас всех, а ей хуже всех — разве это справедливо?

— Нет,— говорю,— не справедливо.

— Видишь! А если не справедливо, что ж получается — Бог не справедлив?

— Получается, не справедлив...— нет у меня сил говорить с ним сейчас об этом! — Ты толкуешь о человеческой справедливости, а у Него она другая — Божья, и в ней все может быть наоборот: кум пьет коньяк, а мы с тобой чай без чая. А кум, с нашей точки зрения, свинья и ему не коньяк надо, а... Только еще неизвестно, что лучше — коньяк или такой чай, чем ему тот коньяк отыграется, а не в этой жизни, так в будущей...

— В какой — будущей?

— В том и дело, Ваня, если ты веришь в Бога, то веришь и в будущую жизнь, здесь она не кончится — ни у тебя, ни у Валерки не кончилась, ни у Веры Федоровны не кончится. Валерка свое прожил, ты и она проживете сколько положено, но главное у нас будет там — *вечное*, понимаешь? Здесь мелкие подробности — коньяк или чай без чая, парилка или пар без веника. Если Валеркина мать, как ты говоришь, такая замечательная женщина, ей и там будет хорошо... Хотя это опять справедливость человеческая, наша... Да и что ты про нее можешь знать, про Веру Федоровну, ты себя не знаешь, кабы знал, все у тебя было б по-другому... Но за свои страдания... Тут ты прав... За свои страдания она получит там такую радость, нам не снилось. Вот в чем Господня справедливость — не наша, не человеческая, она сбудется не в нашей жизни... А так все было б просто: заработал трудодень — получил...

— Нет, погоди,— горячится Иван,— выходит, все равно — и или... Вера Федоровна? Я, к примеру, убил, а она...

В камере что-то происходит: шум, хохот, крики...

— Что там, Ваня?

— Да ладно тебе, ты вот что скажи... Я живу тут... этой жизнью, на этой земле — так? Откуда мне знать, *как* надо... чтоб там... Короче, не прогадать? С кумом понятно, дураком надо быть, а чтоб, как ты говоришь, Богу...

— ...скоты, скоты!! — слышу я крик Верещагина.

Я срываюсь со шконки...

— Не лезь, Серый,— Иван крепко берет меня за плечо.— Говорю тебе — не лезь, не зря держу...

Я вырываюсь, успеваю заметить, что Наумыч спит, завернулся с головой в матрасовку, я уже возле дубка...

Отсюда не разглядеть: плотная толпа у двери образовала круг, торчит голова Севы, шнырь... Верещагин стоит наверху, размахивает руками и кричит:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Его опрокидывают на спину, он задрыгал ногами, двое уселись на нем, держат.

— Что там? — спрашиваю у того, кто ближе.

Тихий, бессловесный мужичонка (так и не удосужился узнать, кто такой) стоит наверху, лицо красное, глаза блестят, подпрыгивает, бьет себя руками по бедрам:

— Ну дают! Ловкачи, артисты!..

Становлюсь на нижнюю шконку, ухватился руками за верхнюю... У двери, в кругу — Машка, залез в матрасовку, видна только лохматая голова, топчется, как медведь... Рядом шнырь с ведром... Гурам сидит на другом ведре, перевернутом... У Севы в руке свернутая из газеты труба...

— Команда подлодки «003», к погружению — готовьсь!..— кричит в трубу Сева.

Машка ныряет головой в матрасовку.

— Задраить люки! — кричит Сева.

Шнырь ставит ведро, завязывает мешок веревкой.

— Погружение на-чи-най!..— кричит Сева в трубу.

«Мешок» валится на пол.

— Прямо по курсу...— командует Сева.— Полный вперед!

«Мешок» рывками ползет по полу. Толпа хохочет:

— Ну дает — моряк!

— Прямо по курсу — не бойся!

— Не утопни, Машка!

— Ну, цирк!..

— Стоп, машина!..— кричит Сева.— Противник на палубе — все наверх! Полундра!

«Мешок» тяжело садится, видно, как Машка крутится, пытается развязать веревку — а как ее изнутри развяжешь?.. Сева дергает за веревку, мешок развязался, появляется Машкина голова... И тут же шнырь выливает в мешок полное ведро воды.

Толпа ликует, захлебывается от хохота, кто-то наверху катается по шконке...

— Вылез!..

— Давай, Машка, выныривай!

— Стреляй по противнику, не промахнись!

— На палубу вышел, а палубы нет!

— Дурак, лодка под водой — куда вылез?!

Машка крутит мокрой головой, отплевывается, мычит...

— Молодец, Машка,— говорит Гурам,— бывалый моряк... Вылезай на сушу, командование награждает тебя за подвиг... Награда тебе, Машка... За муки, за героизм от благодарного отечества — невеста со склада! Хватит морячить, пора жениться!

Машка — мокрый, в сползших, прилипших к тощему телу, рваных кальсонах, в грязной майке, жалкий, дрожит от холода...

— Женись, женись!!! — кричит толпа.

— Давай, Машка, показывай, как будешь жениться,— важно говорит Гурам,— дело серьезное. Ночь уже, Машка, свадьбу сыграли, гости ушли, вино выпил — да? Ведро выпил — да?.. Чего будешь с женой делать?

— Дай невесту поглядеть,— внезапно говорит Машка.

— А чего тебе на нее глядеть — нагляделся, не первый раз! Или — первый, не знаешь?.. Научим, Машка — сперва штаны снимай... Снимай, снимай, Машка!

Машка медленно стягивает облипшие мокрые кальсоны. Нагота его ужасна... Толпа на мгновение затихает.

— Вон невеста,— говорит Гурам,— разуй глаза, нажрался пьяный, бабу не видишь...

— Где, где?..— спрашивает Машка, крутится на месте.

— Под шконкой,— говорит Гурам,— ищи лучше...

Машка опускается на колени, ползет к шконке, засовывает голову, влезает глубже, крутит задом...

— Давай, мужики, чья очередь?! — кричит Гурам.— Хватай его, сегодня всем можно!!

И тут сверху в круг сваливаются сразу трое — Верещагин и те, кто на нем сидели. Верещагин, видно, ушибся, он встает с трудом, хромает, но тут же бросается к шконке, загородил Машку...

— Не сметь! — кричит Верещагин.— Скоты! Да как вы...

Гурам медленно, лениво поднимается с ведра.

— Сейчас мы с тобой разберемся... художник... Ребята! И его под шконку — давай!! — кричит он, срываясь в визг...

Не знаю, как мне удается пробиться через ревущую толпу, вижу перекошенное лицо Гурама...

— Без очереди, очкарик,— по дружбе? — ухмыляется он.

— Кончай балаган,— говорю я,— поиграли...

— Что?.. Ты, мразь очкастая, будешь мне, Гураму?

— Только тронь...— слышу я свой голос, успеваю заметить, как странно дрогнули рыжие глаза Гурама...

Между нами влезает Костя:

— Все, Гурам, представление отменяется.

— Да вы что — меня?! — Гурам в бешенстве.

— Расходись,— говорит Костя и оборачивается к толпе,— нагляделись, больше не подадут... Расхо-дись!

— Дождешься, очкарик,— говорит Гурам,— я тебя достану...

Я лежу на своем месте, укрылся с головой, видеть я никого *не могу*. «Господи,— шепчу я,— прости и помилуй меня грешнаго, убери из камеры этого... человека... Прости мою несуразную просьбу, я не боюсь, но лучше, если его не будет, всякое может... Прости меня, Господи, мне не к кому больше обращаться, только к Тебе...»

11

Полковник ушел до подъема. Накануне у него была встреча с адвокатом, заседание трибунала должно быть вот-вот, но день адвокат ему не назвал... Может быть, чтоб он

не знал или тоже хитрость?.. Никому нельзя верить. Полковник сдавал с каждым днем, глаза больные, затравленные, меня он сторонился, а тут подошел — с завязанным мешком, в телогрейке, в офицерских сапогах.

— Прощайте, Вадим, сегодня все... кончится.

— Начнется, Саша, тут чистилище.

— Для меня кончится, кажется, я нашел... выход. Впрочем...

— Какой выход, полковник?

— Мне больше нельзя жить. У меня нет права.

— Это не в вашей власти, полковник.

— Только это у меня не отняли. У меня нет жены, нет сына. Но у меня есть честь. Я хочу, чтоб вы знали... Я ее не отдам.

— Какая честь, коли нечего есть, полковник?

Он странно глянул на меня.

— Я превратился в ничто,— сказал он,— я уже здесь, в... чистилище превращен в ничто — что будет со мной дальше? Десять, двенадцать лет — что со мной станет за эти годы?.. У меня только один выход.

— Это не выход.

— Может быть...— сказал он.— Если б мы встретились раньше... Теперь поздно.

— Везде есть люди, Саша, вы найдете людей, встретите людей... Будете искать, и Бог вам поможет.

— Поздно... Вчера, когда я глядел сверху на эту... свалку, глядел и... Я понял: у меня уже нет сил ни на что. Меня нет — понимаете? Хватит. Я потерял себя и больше не могу...

Лязгнула дверь... Вертухай.

— Кто там судовые?!

Полковник схватил меня за руку:

— Прощайте...

Я дошел с ним до двери. Он не оглянулся.

На моей шконке чужой мешок, Толик сворачивает мой матрас.

— Ты чего тут? — спрашиваю.

— Мотай отсюда, Серый, твое место возле Султана.

— Это почему?

— Потому.

Оглядываюсь: Иван рядом — спит, Гурам — с другой стороны, спит... Наумыч сидит на шконке.

— В чем дело, Наумыч?

— А что?.. Тебе там лучше, вместе с твоей семьей.

— В чем все-таки дело?

— Храпишь, Гурам не может спать. А Султан тоже храпит, вам самое оно.

Не говорю больше ни слова: собираю мешок, свернул матрас, перетаскиваю к Султану. С одной стороны возле него шконка уже пустая — кого же кинули наверх?

Султан лежит рядом со шнырем, здесь толчея, сортир...

— Хорошо,— говорит Султан,— какой сосед! Вместе будем, я тебе храпну, ты мне храпнешь — поговорили!

Вон оно как, думаю, за все надо платить, а ты хотел и рыбку кушать, и... Как ты, Вадинька, с этим справишься, поглядим. Еще не то будет...

— Угодили в немилость? — комиссар усмехается.

Хлебаем «могилу» на шконке у Султана. Теперь нас четверо: Василий Трофимыч в суде, полковник не вернется.

— Почему немилость? — говорит Султан.— Вместе едим, вместе храпим, вместе...

— Не получился из вас вор в законе,— язвит комиссар,— много интеллигентских эмоций.

Отвечать ему я не хочу — да и что ответишь?

— Хотя странно, если по логике,— не унимается комиссар,— антисоветчина не может не привести к уголовщине...

— Почему бы нам не взять в семью... художника? — говорю я.— Полковник ушел, нас мало...

— Хотите, чтоб нас всех загнали наверх? Спасибо, хоть две шконки наши...

— Три,— говорю,— Василий Трофимыч тоже внизу.

— Я — против,— говорит комиссар,— художник сумасшедший. Вы знаете, какая у него статья?

Отсюда хорошо виден Верещагин: сидит, как всегда, голова набок, рисует... К нему подходит Толик, что-то сказал... Верещагин поднимает голову, поворачивается к окну, откладывает листочки и начинает неторопливо спускаться... Медленно, прихрамывая, идет мимо нас к окну, к первой шконке.

— Куда это он? — спрашиваю.

— Разборка,— говорит мебельщик,— Гурам сводит счеты.

На первой шконке сидят Костя, Сева и Гурам; Наумыч на своей. Верещагин садится рядом...

— Что за разборка?

— Суд по-ихнему,— говорит мебельщик.— В блатных играют.

Комиссар демонстративно отворачивается.

— Зачем расстраиваешься,— говорит Султан,— домой пойдем, на свободу — амнистия! Сам говоришь, всех отпустят? Разборка-мазборка, нас не трогают, не касается. У меня сосед хороший, он храпит, я храплю, да? Две недели храпим, поедем ко мне в Самарканд, дыни кушать, шашлык кушать...

У комиссара в глазах тоска, не поддерживает разговор.

— Советский власть — хороший власть,— продолжает Султан,— нам советский власть не мешает: дыня есть, барашек есть, хочешь кушать — кушай, не хочешь — пей вино...

Вижу: Верещагин дернулся, встал и так же медленно, хромая, пошел по проходу — мимо дубка, мимо нас, не смотрит. Подошел к шнырю, о чем-то говорят... Шнырь дает ему швабру... Верещагин подходит к Машке, тот у сортира, берет у него из рук тряпку, взял ведро, наливает...

— Что это он? — спрашиваю.

— Наказали,— говорит мебельщик,— будет убирать хату.

Я уже знаю: на общаке уборка не в очередь, убирают, кто проштрафился или такой, как Машка. «Шнырь» — должность добровольная, шнырем становится обычно тот, у кого нет передач, нет денег на ларек: с каждого ларька ему по два куска сахара, по пачке сигарет с семьи. Шнырь в хате, как завхоз, забот у него много — и самых разнообразных, а уборка — дело другое, не на спецу, махнул шваброй — за десять минут вымыл. На общаке убирают не меньше трех-четырех раз на день: после завтрака, обеда, ужина и вечером. Другой раз, утром — до подъема. Камера большая, грязь от шестидесяти человек отменная, пепельниц нет, принято — плевать, швырять окурки и спички на пол, в этом некий шик, пренебрежение к быту, а уборка должна быть особо тщательной, не похалтуришь — шестьдесят пар глаз смотрит, как убирают. Да один сортир вычистить — мне б на целый день хватило, так ведь не один раз!..

Верещагин набрал в ведро воду, вымыл тряпку, повесил возле сортира, взял веник, идет к окну... Все это медленно, подчеркнуто старательно — ни на кого не смотрит...

— Уборка!..— слышу его голос.— Все по шконкам!.. А ну, подберите ножки!..

Метет...

Вижу: шнырь срывается с места к открывшейся кормушке. Слушает... Выпрямился, лицо странное... Идет к окну...

— Не ходить,— говорит Верещагин,— уборка...

Шнырь отодвинул его, подходит к первой шконке...

— Что?..— слышу Гурама.— Какие вещи?..

Теперь Гурам — тяжело, грузно шагает к двери. Верещагин загородил проход, поднял веник...

— Пропусти его!..— кричит Наумыч.— У него особое дело!

— Если особое... Тогда проходите, юноша.

В камере тихо. Гурам — рожа свирепая, у двери. Стучит.

Кормушка открывается:

— Чего надо?.. Собрался?

— Как — собрался? Куда — собрался?

— Сказано — с вещами...

Кормушка лязгнула.

Гурам топчется у двери. Поднимает сжатые кулаки, стучит себя по голове:

— Ну, паскуды! Ну, мразь!.. Дождетесь!..

И тут меня охватывает ужас. Мысль о случайности, совпадении сразу отлетает, я не успеваю зацепиться — ее уносит вихрем. Горячий, огненный жар охватывает все мое существо... Естество, поправляю я себя. Какие еще нужны доказательства? Они никогда не были мне нужны, но я не знал, не понимал — уже зная и понимая, что Он здесь, рядом, что Он всегда здесь и всегда рядом! Так было на сборке, с Гариком... Нет, не так: *ужаса* не было, мне было *мало*, я не знал главного, что открылось сейчас, в это мгновение, когда Он *так* открывался...

Господи, говорил Авраам,— вспоминаю я. И Он тут же отвечал: вот Я. Нет, было наоборот, вспоминаю я, Господь говорил: Авраам! И Авраам отвечал: вот я, Господи... Я не могу проверить, у меня нет *текста*, но, выходит, я знаю, он всегда со мной, с на-

ми — тот *текст*, душа знает его сама в себе... Ужас — не текст, не книги, не знания, это *реальность Его присутствия* — рядом, в тебе, а Он всегда рядом, всегда в тебе... Но разве я стóю *такого* ответа? Разве я — не Авраам, не кто-то из тех, о ком сказано: те, которых весь мир не был достоин... Разве я, с тем, что я есть и что есть во мне, могу рассчитывать на *такой* ответ — тут же, по первому слову?.. Что это — аванс? Мне его не выплатить. Рука — протянутая на пороге бездны? Но могу ли я протянуть свою и на Него опереться? На Его руку? В чем моя рука, в чем моя душа — разве я искупил грех, преступление пред Ним? Он простил — *меня*?.. А мои слабости, трусость, сомнения, колебания, корысть... Сегодня, вчера — а завтра — что будет со мной, кем буду я завтра? Мои *оправдания* перед собой?..

Жар невыносимей и Свет все ярче. Мне кажется, в какое-то мгновение я вижу себя, как не видел никогда: жалкого, затравленного, хитрящей и уползающей от самой себя — крысой... Он открыл мне Себя — и я увидел себя рядом... Господи, помилуй меня, у меня нет права ни на что, я не стою того, что Ты мне открыл по Своему неизреченному милосердию... Я не стою, Господи, я не удержусь, но... не уходи от меня, останься, я не смогу удержать Тебя, но хотя бы еще мгновение...

— Захар Александрович, давайте убирать вместе, вдвоем веселей, не говоря — легче. Вы сорветесь за неделю.

— Хотите отнять у меня мой приз? — говорит Верещагин.— Это моя награда, а вы к ней примажетесь?

— Тщеславие навыворот? — спрашиваю я.

— Они — люди,— говорит Верещагин.— Я думал, они просто скоты, а вчера понял — помраченные люди. Вы и научили меня, подтолкнули, когда усомнились в моем праве изобразить круг ада, который я им предложил, забыв о круге, который уготован мне... Я представил себе Бога, Христа, пришедшего в Иерусалим — в нашу с вами камеру... Не похожа? Вы думали когда-нибудь, что Он *там* увидел? То же самое, что видим здесь мы с вами, но у Него было другое зрение, другое *видение*... Господи, не вмени им этого, сказал первомученик Стефан. А они его убивали. И убили. Понимаете?.. Их победить можно только смирением, себя победить можно только смирением. Терпением скорбей, говорят святые...

Я гляжу на него во все глаза.

— Дайте закурить...— говорит Верещагин.— Я попробую, не знаю, на сколько меня хватит, но попробую... Курить — тоже слабость, но Господь не мелочен, это Он простит, а вот если меня не хватит...

— За что вы здесь, Захар Александрович? Простите меня, если вам тяжело или не хочется, не надо, но я никого не хотел о вас спрашивать...

— За дело,— говорит Верещагин,— за то, что у меня не хватило сил терпеть скорби, не хватило смирения, которому хочу научиться здесь. Это никогда не поздно. А вы меня видите, сýдите сами — я ни на что не годен... За что? Банальная семейная драма, невозможность терпеть слабость другого, того, кто рядом, неспособность прощать чужую слабость. Собственная распущенность, позволяющая себе, что позволить нельзя. Распущенность, ставшая одержимостью, собственный нрав и характер, который ничем не удержать,— и все позволено. Себя не остановить, человек сам не может себя остановить, когда не хочет остановить. Если Бог не поможет. Если Бог не захочет помочь. А верней, если мы не хотим Его услышать, не просим о помощи...

— Какую ж статью паяют за такую духовную слабость?

— Голова плывет...— говорит Верещагин.— Не надо было курить, позволяю себе чего хочу и что не положено... Статья мне уготована самая последняя — в том Последнем Суде, хуже нет, а я изображаю круг ада для других. Сочиняю пострашней — для других, не для себя... Здесь-то статья пустяковая — поджог собственного дома. Но ведь метафора, понимаете? Я сжег свой дом, а мне его дал Господь. Я уничтожил свое жилище, а Кто мне все дал? Книги, картины... Не важно, я их писал или другой... Иконы, которые собирал всю жизнь... Собирал, чтоб молиться или... Какая моя статья? Разве сравнишь с тем, что предстоит людям, которые еще вчера казались мне скотами, и я множил собственное преступление, забыв о метафоре, о том, что именно я преступник перед Богом. Я — не они, с ними свой разговор, мне молчать о других... Простите меня, Вадим... Вы почувствовали, что Бог рядом, поняли, что произошло, когда стукнула кормушка и увели эту... Прости Господи, недочеловека?.. А кто он такой, что мы с вами о нем знаем?..

— Ты чего скис, Серый? Гонишь?.. У тебя все нормально, вот у меня, у нас... Считай, тебе повезло, кабы его не убрали, он бы тебя достал. Тут... Я б тебя в обиду не дал, но... всякое могло быть. Гарик держал хату, у него само получалось, а Наумыч не может — не на фабрике... Ты Машку, что ль, пожалел? Художника?.. Чего их жалеть — себя жалей, тут — джунгли, кто кого. Или ты, или тебя. Ты, выходит, интеллигент, а я думал — верующий. Верующему чего бояться, переживать — верно? Или ты за других? За других без толку, другому не поможешь, сам пропадешь. Тут тюрьма. Мне, думаешь, почему легко? Я и на воле так жил — как в джунглях, так и на зоне буду. Жалко, не пришиб твоего Менакера, надо б на воле его достать, а я внимания не обращал — для меня он был мелочь. Я не пропаду, хотя, если вломят восемь лет... А тебе придется тяжело, сломать они тебя не сломают, вижу, а убить могут, спокойно...

— Костя, запомни мой адрес,— говорю я неожиданно для себя,— надо каждый час ждать, выдернут, не успею...

— Давай. Напишу твоим, а мне адресок твоей зоны. Может, ты еще выскочишь, слыхал базар про амнистию? Тебе первому...

— Нет, Костя, долго объяснять... Если продержусь у вас, поговорим. Мне не светит. Ты через восемь лет выйдешь, а я...

— Полухин! — кричат от двери.— На вызов!..

— Видишь как,— говорю я Косте.

— Что такого? К следаку! Через час-два вернешься. Не забудь стрельнуть сигареты...

И вот я снова в том же кабинете: окно без ресничек, светло, чисто, табурет привинчен, передо мной маленький стол, *она* — за письменным, на нем мои папки, бумаги; то же платье-джерси, рыбьи глаза... Все то же, но я не такой.

В рыбьих глазах блеснуло... Злорадство! И не скрывает, видать, за две недели общака меня крепко подобрало...

— Как самочувствие? — первый вопрос.

К *такому* я не готов.

— Зачем вы это сделали? — говорю.— Или вас тому учили?

— Вы о чем?

— Зачем вы перевели меня на общак?

— Я не имею к этому отношения. Администрация. К ней претензии. С вашей статьей на общаке не положено.

— Примите меры, если закон нарушен.

— Не по моей части...

Бросает на стол передо мной лист бумаги, ручку и газету... «Правда».

— Перепишите любую заметку.

— Зачем?

— Экспертиза почерка.

Беру ручку, подвигаю лист бумаги, газету... И тут меня бросает в жар: две недели общака — и я уже... готов?

— Вы что?..— говорю я.— Какой почерк?.. Я не отвечаю на вопросы, не участвую в следствии.

Она выходит из-за стола, останавливается против меня, в глазах откровенная злоба — не такая уж она «рыба»!

— Я буду вынуждена обратиться к администрации тюрьмы, пусть принимают меры.

Мне не по себе, я уже знаю: они могут все.

— Но это мое право,— говорю я не слишком уверенно,— отвечать на вопросы или нет, участвовать или...

— Нет у вас таких прав. Вы *обязаны* делать то, что я от вас требую.

— Я — *обязан*? Перед кем, кому — обязан?

Вот она спасительная злость, она сильней страха!

— Вы взяли все мои рукописи, письма...— говорю я.— Вы забрали мой архив за все годы работы — а вам нужна экспертиза почерка? Вам мало почерка, который вы унесли в мешках?

— Подтверждаете, это ваша рука, почерк, ваши рукописи?

— Да вы смеетесь, что ли?..— говорю я в праведном бешенстве.— А чьим почерком написаны мои письма, мной подписанные, мои романы — на них моя фамилия...

Она возвращается за стол, берет чистый бланк, пишет...

Мне как-то неуютно.

— Что вы пишете? — нелепо спрашиваю я.

Не отвечает — еще бы!.. Бросает передо мной исписанный лист протокола *допроса*.

— Подпишите.

Читаю. «Вопрос: Вам предъявляются изъятые у вас на обыске рукописи и письма. Они принадлежат вам, написаны вами? Ответ: Все изъятые у меня рукописные материалы: письма и рукописи — все это написано мной, моим почерком...»

— Да вы что?..— говорю я изумленно.— Я не отвечаю на вопросы, я сказал об этом в КПЗ, подтвердил на первом допросе в тюрьме... Мы говорили с вами без протокола...

Она длинно усмехается мне в лицо.

— Не будете подписывать?

— Конечно, нет.

Она перегибается через стол в своем джерси, берется за бланк. Я придерживаю его рукой... «Он останется в деле?»..— лихорадочно думаю я.

— Хорошо. Я напишу замечания на ваш протокол.

— Я сама напишу. Продиктуйте,— она схватила протокол.

Сейчас он порвется, понимаю я... На днях у нас бросили в карцер мужика, порвавшего на допросе протокол. На десять суток... В карцер я не хочу.

— Пишите,— говорю я и отпускаю бланк,— но я подпишу только в том случае, если все будет записано дословно.

Она снова усмехается.

— Пишите,— говорю я.— «Я дважды, в КПЗ и в тюрьме заявил, что отказываюсь отвечать на вопросы и участвовать в следствии, объяснил почему. Это зафиксировано в протоколах. Я подтвердил это сегодня, отказавшись участвовать в экспертизе почерка и объяснил почему. Следователь внес в протокол мои слова, сказанные не для протокола, нарушив права подследственного. Я не отказываюсь от моих рукописей и всего, что написал, но я не участвую в следствии, считая его незаконным...»

— Все? — спрашивает она.

— Все.

— Подпишите.

Читаю. Все, вроде бы, верно. Читаю еще раз — а, пустяки. Наука. Нельзя расслабляться. Особенно с ней. Она, несомненно, в выигрыше, а я попался. Один ноль в ее пользу...

— Откуда ваша сестра знает, что вы на общаке? — спрашивает она.

— Сестра?

— Каким образом вы ей это сообщили?

— Мое пребывание на общаке — тайна?

— Меня интересует, как вы передали информацию из тюрьмы?

Ай да Василий Трофимыч! А ведь не сказал ни слова, я думал — забыл, а спрашивать неловко...

— Вне камеры я общаюсь только с вами,— говорю я,— а вам известно, где я нахожусь — верно? Вы устроили мне общак, вы и передали об этом информацию.

— Мы будем расследовать и виновных накажем...

Голос у нее зловещий, а мне смешно.

— Жалко,— говорю я.

— Что жалко?

— Вас жалко,— говорю.— Перевели на общак, нарушили закон... Шестьдесят человек в камере, каждый день в суд, к следователям, к адвокатам... Как передана информация? Общак — не спец, а тюрьма движется. Прокололись...

Вот и мой выигрыш, думаю, мое очко.

Она уже нажала кнопку.

— Вам это так не пройдет,— говорит она.

Молчу. Сегодня я слишком много говорил.

— ...Запомнил адрес? — спрашиваю Костю.

— Ты что дергаешься, Серый? Все — нормально!.. Помню адрес, могу повторить...

— Ты сам сказал: «всякое может быть...» Они меня в покое не оставят, будут дотягивать, а я хочу... Через восемь лет ты выйдешь... Раньше выскочишь, я тебя вижу. Когда б ни вышел — придешь, так?.. Придешь и расскажешь. Я не того боюсь, что они меня забьют, боюсь: оболгут, могут такое порассказывать — через кого хочешь! Слабость, Костя, верно ты говоришь, веры мало, зачем об этом думать, когда Бог все про меня знает? А мне надо, чтоб не оболгали, важно, чтоб знали, как я тут... Запомни, Костя, расскажи... Спроси сестренку, у меня есть... знакомая... Она раньше к нам не ходила, но сейчас, думаю, она — *там*.

— Так мне ей, что ли, про тебя рассказать, знакомой?

— Ей,— говорю,— ей обязательно.

— А как зовут, спросить про нее — как?

— Как зовут — не нужно. Если она там, ты увидишь, а если нет...

— Понятно,— говорит Костя,— любовь до гроба. Я думал, ты мужик, Серый, а ты... Никто нас не ждет, не надейся, никому мы не нужны, всякий за себя — и там, и здесь... Твое дело, не маленький. Адрес я помню, когда смогу писать — напишу, как выйду, по адресу... Но ты раньше выйдешь, ты их зря боишься, они тоже люди и работать не хотят. Работать при социализме никто не хочет, всем нужны деньги, а их только украсть можно. Ты пойми, Серый, мы сильней. Они думают, как бы украсть, а мы — как выжить. Мы сильней, потому как у нас ставка выше — украсть или выжить? Жизнь

или деньги? Какой разговор! Они тебя еще раз-другой прижмут — и отстанут — чего они на тебе заработают? Начальству надо, а не им, они как и ты на все глядят — хотя бы скорей кто из начальства подох. У вас кричали, когда по радио объявили, что этот...

— Кричали,— говорю.

— Вот видишь, и у нас кричали. Кто громче — зэкам чего бояться, у них ничего нет. А на воле шепотом или про себя — кому есть что терять. Они тебе сочувствуют, но виду не подают, боятся. Если им прикажут придавить — придавят, но если можно, они их обязательно обманут. Я, другой раз, гляжу на вертухая — зверь-зверем, а если рядом никого — нормальный мужик, ему хуже нашего...

Разговоры, гогот, кричать надо, чтоб услышал сосед по шконке, а тут, словно луч прорезал камеру:

— Жу-ли-ки! В баню!

Домашний, мелодичный голос — будто пропела.

— Андревна!..— кричат со шконок.

— Вспомнила про нас!..

— Что ж ты, старая карга, три недели молчала?..

— Уймись, ее воля, она б через день мыла — голимая мать!

Возбуждены, радостны, как дети... Как не радоваться, за все время, что я тут, ни разу не было бани, ремонт, труба, говорят, лопнула, прорвало, а на улице весна, в камере душно, потно, липкая грязь забила поры...

— Давай, давай, командир! Собрались!..

Идем теми же лестницами, переходами, налегке, только белье — поменять, полотенце. Весело, знаем — куда. А впереди тот же говорок:

— Ах вы, жулики, скучно без бани?

— Скучно, мать, оно и с баней — скучно, а все веселей...

— Ничего, сынок, скинешь с себя грязное, вымоешься, свежее наденешь, считай — и грехов поменьше. Чистому и грешить не захочется.

— Я, мать, в бане работал, всегда чистый, а где оказался?

— Ты не ту грязь смыливал, тут другая баня. Я гляну в вашу здешнюю квартиру, плакать за вас хочется.

— Что ж ты, мать, говорят, двадцать пять лет служишь — все плачешь, не привыкнешь?

— Плачу, сынок, двадцать пять лет слезы лью — за вас, окаянных, переживаю, жалею...

— Благодарим тебя, мать, как тебя услышим, больше бани радуемся...

Подошли, сгрудились, пропускают по одному... Вот и *она*, у двери... Лицо круглое, глаза — круглые, нос пуговкой, улыбается... В беретике, а надо б ей — платочек, телогрейка... Кто ж такая, неужто из хозобслуги?.. Нет, какая хозобслуга, когда двадцать пять лет тут — служба!

— Кто такая? — спрашиваю Ивана, он рядом.

— В баню сопровождающая, ее вся тюрьма знает и она — всех. Андревна. Человек и в тюрьме может остаться человеком...

Та самая — моя первая баня! На спецу — выгородка, теснотища, а тут простор, красота! Изразцы, высокие потолки, парикмахерская... Значит, не только для вновь прибывших — и для общака! Гляжу: все расслабились, сняли напряжение — хотя бы подольше, хоть на час позабыть о камере!..

— Василий Трофимыч! А вы как тут оказались?

— Повезло. Судья заболел, отправили обратно — и прямо в баню. Мочалку дадите? Я без вещей, со сборки...

— О чем разговор! Ваш должник, Василий Трофимыч...

— Не понял?

— Следовательша сообщила: будем расследовать — кто передал информацию, что я на общаке. Не обманул адвокат, да и вы, Василь Трофимыч, не забыли!

— Плохо ее дело, когда такую ерунду лепит. Не обращайте внимания... Нужны ножницы?

— Давайте...

Кипяток, пар, крики, хохот, разрисованные тела, как в преисподней... И внезапно улетает радость... Прячусь от себя — за разговорами, за попыткой понять того и этого, за неспособностью понять того... Но ведь теперь это моя жизнь — на годы, сколько таких бань впереди! Если повезет, раз в неделю, четыре раза в месяц, три года — тридцать шесть месяцев, сто сорок четыре бани... Отнять три месяца, двенадцать бань — сто тридцать две...

Душно, совсем ничего не видать — пар, а из меня весь вышел, вон как швыряет — то вверх, то вниз. Слабоват. Дух у меня, выходит, так тесно связан с... телом, что и не дух он вовсе, а...

Сто тридцать две бани — много, не вытянуть, а кому не три года — шесть, а кому — двенадцать? Сколько будет бань, если двенадцать лет?..

— Вы что, Вадим — сомлели?

— Надоело! — кричу.— Нету сил, Василий Трофимыч, терпение кончилось!

— Это вы напрасно...— голос его слышу, а не разглядеть, без очков совсем ничего не видно.— У вас сегодня счастливый день — из дома привет — это раз...

— Какой привет?

— А как же, если следователь дергается, значит, у вас все в порядке? Откуда ей известно, что дома о вас знают? Не иначе, к ней приходили. Стало быть, живы-здоровы, беспокоятся, давят на нее... Это раз. Второе, баня — разве не подарок? Счастливый день, Вадим. Поворачивайтесь, спину намылю...

— Выходи! — кричат.— Хватит размываться!..

Держусь поближе к Василию Трофимовичу... Вот что значит спокойствие, в спокойствии — сила!

— Василий Трофимыч, рассказали бы, как ушли из Бутырки?

— Что рассказывать — отпустили, год подышал.

— Понять хочу, как это бывает — когда выходишь...

— Погоди, доберемся до хаты...

Сидим на шконке у Василия Трофимовича. Отобедали. Разомлели после бани, в чистом. Хорошо!.. Можно отключиться, позабыть хоть на миг — где ты и что с тобой. Этим «мигом» и держишься, кабы не он, совсем было бы невмоготу...

— ...Я еще за месяц понял — не ладится у моего следака,— рассказывает Василий Трофимыч.— Через день на допросы, кричит, пугает... А чего ты пугаешь, думаю, ничего у тебя нет. И срок подходит, санкция кончается — полгода. Ну, это пустяки, думаю, формальность, подмахнут им санкцию-продление, поставят закорючку, жалко, что ли?.. А там совпало — склока в ихнем департаменте, один другому на мозоль наступил. Короче, генеральный не продлил. Вызывает последний раз, злобный, не глядит: расписывайся, завтра уйдешь под подписку, не радуйся, мол, и тебя все равно достану, упеку... А я поверить не могу, знаю их фокусы. Иду в камеру, ничего не понимаю, ничему не верю. И собираться не стал. На другой день, вечер уже, после подогрева было, спать собрался. И тут выдергивают — с вещами. Ну, думаю, в другую тюрьму. Я на Бутырке, а наши здесь сидели... Спускают на сборку — и в бокс. Закрыли. Час сижу, два, стучать начал. Открывай, кричу, мне на свободу! Я тебе, говорит, покажу свободу... Не знаю, сколько я сидел в том боксе, спать не могу, курю, не вынимаю. Выводят. Как оформляли, чего я тогда подписывал, не помню. Дали справку — бесплатный проезд в транспорте в день освобождения — и дверь открыли. Вышел на улицу: зима, ночь... Жена без меня квартиру поменяла, новый район, адрес знал, а никогда не был. Далеко. До шести утра ходил, пока метро не открыли. Лезу за справкой, а баба-контролер говорит: проходи, вижу откуда... Доехал. И жену успел похоронить...

— Да,— говорю,— для этого стоит сесть, чтоб выйти.

— Сесть каждый может, а выйти — через одного.

— Ты, Серый, на меня никакого внимания, а мне поговорить...

— Я к начальству не леву.

— Ладно болтать — к начальству. Мы только двое со сборки, кореша... Как ты тут — обжился?

— Нет,— говорю,— трудно. Как ты три месяца продержался? На сборке ты, вроде, нервный был, а тут успокоился?.. Нет, не могу привыкнуть.

— А чего не попросишься? Переведут.

— Кого просить?

— Не знаешь кого — кума.

Глаза у него быстрые: глянут — и в сторону, лицо круглое, открытое, но глаза...

— Ты прости,— говорю,— у меня память плохая, я тебя на сборке помню, а имя забыл, все — «шнырь» да «шнырь»...

— Лева я.

— Слушай, Лева, с какой радости кум мне поможет?

— В его власти. Если попросишь.

— Я тебя, к примеру, попрошу о чем — сделаешь?

— Если могу — о чем разговор.

— А с меня за это ничего не возьмешь?

— Если нужда будет... Да я к слову, сам говоришь, трудно... Твое дело, Серый. Я тебя вот о чем хотел. Ты на спецу в какой хате — в двести шестидесятой?

— Там,— говорю.

— У вас был такой — Боря... Боря... Бедарев?

— Был.

— Что за мужик?

— Нормальный. Крепкий.

— У меня, понимаешь, какое дело... У него, говорят, возможность передать на волю. Канал, короче. А мне зарез нужно, подельник-сука под подпиской, гуляет. Кинуть ему кой-чего.

— А как ты его найдешь — Борю? Мы на общаке, а он...

— Моя забота, на спец я могу что хочешь. Тебе туда ничего не надо?

— Нет,— говорю,— кому?

— Мало ли, может, осталось что, не успел получить, или ждал, а тебя выдернули, или...

— Я по другому делу,— говорю.

— Да?.. Мне бы канал на волю. Ты с ним передавал чего?

— Нет, у нас такого разговора не было. Чудно, шнырь, зачем ты ищешь такой длинный путь — на волю через спец? Ты бы здесь поискал — неужто поближе нету?

— Дальше верней,— говорит.

— А кто тебе сказал про Борю?

— Кто сказал, того нету.

— Чудно,— говорю,— я с ним два месяца, спали рядом, а о таком не слышал.

— Вон ты как со мной... Да я к слову, обойдусь...— в глаза не смотрит.— Ты, Серый, вроде, не дурак — или со мной не хочешь?.. Спал, говоришь, рядом, а ничего не видел?

— У меня очки слабые.

— Очки протирать надо, особенно в тюрьме... Как знаешь, Серый, прокидаешься... Скоро лето — не вытянешь, откинешь тапочки, тут такое будет...

— Лето и для тебя.

— Каждый за себя,— говорит,— обо мне особый разговор. И о тебе — особый.

Поздний вечер... Какой вечер — ночь, а спать не могу. Душно. Стою у стены, под решкой, воздух ползет по стене вниз, а на шаг отойдешь — нет его. Верно говорит: через месяц тут такое будет, откинешь...

— Загрустил, Вадим?

Наумыч. Этот глядит прямо в глаза. Спокойный...

— Я тебе, Наумыч, удивляюсь,— говорю,— не пойму, что ты за человек? Со мной один, с Гурамом был другой, с Верещагиным — третий. Кто ты на самом деле?

— Я выжить хочу, Серый, у меня одна забота, мне двенадцать лет светит, не твои три года. Ты Гарику проповеди читал, он на что волк, а тебя слушал. Мне твои байки ни к чему.

— Я прав оказался, обманули Гарика.

— За дело обманули, тебя жалеть не надо было.

— За меня, что ли?

— Может, не за тебя. Но если он тебя пожалел, он и еще мог сделать не то, что положено. Здесь не прощают.

— Я думаю, здесь такая же жизнь, как была и там, на воле. Кто здесь ничего не стóит, он и там ничего не стóил. Только здесь все сразу видно, а там наденешь костюмчик, прикинешься...

— Кто ж здесь, по-твоему, чего стóит?

— Я думаю, в нашей хате Верещагин один и стóит. Василий Трофимыч, мой семьянин... А ты, Наумыч...

— Смотри, Серый, ошибешься. Если на Верещагина будешь ставить — пропадешь.

— Я в карты не играю,— говорю,— ни на кого не ставлю. Я гляжу на тебя и удивляюсь. Выжить все хотят, с кем ни поговори — все об этом. Но какая цена за жизнь?

— Любая цена. Тут не торгуются.

— Эх, Наумыч, мужик ты умный, деловой, а мозги у тебя не на то крутятся... Ну что ты в блатного играешь — не получится у тебя. Как малолетка. Был у нас один на спецу, феню записывал в тетрадку. Зачем тебе?

— Ты знаешь, что значит держать хату? Ты еще беспредела не видел...— заводится Наумыч.

— А Гурам — не беспредел? Когда он выступал, ты в матрасовку зарылся — тебя не касалось? Верещагина наказал — за что?

— Здесь шестьдесят человек и все разные. Им развлечение нужно, если им куски не бросать — они и нас задавят.

— Организованный беспредел? — спрашиваю.

— Порядок,— говорит Наумыч.— У нас пресс-хата, тебе говорил Гарик?.. А я хату не выбирал, за меня выбрали. Над нами кум висит, а ты говоришь — Верещагин. Кого мне выбрать — Верещагина или кума? Посоветуй?

— Ты уже выбрал,— говорю,— зачем тебе мои советы. Ты думаешь, жизнь спасаешь, будто ее тебе кум дал, будто она в его власти. Нет, Наумыч, жизнью и смертью не кум распоряжается.

— Я эти байки от тебя слышал, мне не надо. Я тебя отсюда выживу, Серый, мне такой свидетель не нужен. За мной тут тоже глаза — не понял?

— Спасибо за откровенность, Наумыч. Хуже не будет.

— Еще не вечер,— говорит,— ты меня вспомнишь.

12

И я вспоминаю... Глаза у нее голубые, широко расставлены, светятся над скулами, как окна куда-то, прозрачные, не оторвешься... И я гляжу в них... Господи, какая радость глядеть и глядеть в такие глаза, погружаться и погружаться в их прозрачную голубизну. Чудо реальности существования другого, столь же реального, как ты сам — Господь живет в нем и открывает Себя в другом...

Глаза у нее зеленоватые, как ранняя листва, когда лес еще прозрачный, зеленеет на просвет, глядишь в них и не оторвешься, будто погружаешься в прозрачную тянущую зеленую бездну — и нет любопытства, только радость, что Господь одарил меня и этим...

Глаза у нее большие, в поллица, сейчас круглые, еще мгновенье, они удлинятся — текучий, переменчивый, мерцающий овал...

«Послушай,— сказал я, и отчетливо помню свое удивление,— какого цвета у тебя глаза?»

«Ты дальтоник? — улыбнулась она.— Смотришь и не видишь?»

«Прости, темно, не разгляжу...»

«Серые,— сказала она,— успокойся, глаза у меня серые, но бывают голубые и зеленые. Я не знаю почему, но...»

Глаза у нее, и верно, меняют цвет. И море меняет цвет, вспоминаю я, голубое под солнцем, оно зеленеет ближе к берегу, а наплывет облако и плеснет серым. Я уже понимаю, Господь присутствует именно в другом, в том, кто не просто рядом, а кого ты понимаешь сердцем. Господь открывается в любви к другому. Господь в глазах того, кто стал тебе бесконечно дорог, не красотой, остановившейся однажды — разве это была любовь? Господь открылся в ничем не заслуженном тобой доверии и незащищенности распахнувшихся перед тобой глаз, и если в черном бархате полного звезд неба Он — абстракция, умозрение, то в доверчивой беззащитности, Он рядом — та самая реальность, которая может быть только Христом. Христос глядит на тебя — глаза в глаза, и это любовь, сострадание, разрывающее душу осознание своей вины перед другим...

Как в ликах икон, глядящих на тебя со стен церкви, как в лике Божьей Матери, в реальности струящегося добра и сострадания, в тайне, делающей тебя счастливым оттого, что она остается тайной.

Кто-то из святых сказал о двух разных путях действия любви, вспоминаю я. Она или источник страдания для осужденных за свои грехи, или радость — для блаженных. Для меня она горечь и боль, думаю я, свидетельство справедливости возмездия, не заставившего себя ждать. Я всегда искал своего в любви, которой хотел жить, но значит, это не было любовью? Свидетельством тому ярость и бешенство, захлестнувшее мне сейчас горло... Она рассказала мне не много, вспоминаю я, не успела или не захотела, но мне оказалось достаточно, засело во мне и сегодня болит почти так же остро, резануло и не заживает. Почему? — думаю я, какое мне дело до того, что было с этой женщиной, когда меня не было с ней, когда я ее не знал и она... «Я думал, ты мужик, Серый, а ты...» — сказал только что Костя. «Я думал, ты верующий, а ты...» — добавил он. Вот и вся правда, думаю я, простой малый, испорченный, как все, но не пропадет, ему я верю, видит и понимает больше меня.

Конечно, мне не хватает веры, думаю я... Что значит, «не хватает» — она или есть, или ее нет, хотя и это не вся правда, ее надо стяжать, она плывет и плывет к нам, волна за волной, *наплывает*, и следует каждый день, каждый час делать ей навстречу хотя бы один шаг, хотя бы полшага... Она растет в нас. Нас одарили верой в надежде, что мы отдадим ее в рост, а не прикопаем, чтоб предъявить, когда будет безопасно и выгодно. Простая история — и о ней нам сказано. Если б она жила во мне — вера, я б не думал сейчас о том, что случилось, когда я... Нет! Я не могу думать об этом, у меня не достает силы думать о своей вине, о несомненном несчастье, которое я принес *другому*, а значит, мое покаяние было не подлинным, не было принято, не стало освобождением, осталось мукой, и моя любовь только страдание, а я осужден. Я не могу не думать о том, что она мне рассказала в тот день, в тот вечер, в ту... ночь. О человеке, который глядел ей в глаза и тоже удивлялся, что они меняют цвет — под солнцем голубеют, зеленеют ближе к берегу, а наплывет облачко и они плеснут... Разве можно ненавидеть *имя*, думаю я, оно принадлежит святому, оно дано в знак того, что носящий имя получает в нем, в нем наследует... А я не могу *вспоминать* это имя. И сейчас, корчась на шконке, придумываю ему — человеку, носящему то имя, один круг ада за другим, египетские казни, уготованные мне...

Голубые, зеленые, серые, рыжие, черные — шестьдесят пар глаз! Куда ушла любовь, согревшая меня на сборке, подаренная мне в надежде, что я смогу ее воспринять и сохранить в себе, сберечь, дать ей возможность во мне взрасти; *рука*, мне протянутая, держась за которую я был так счастлив в смраде и гоготе?.. Не было *руки*, не было *любви*, был надрыв и истерика, страх, застлавший глаза. Куда б она делась, любовь, когда б она была?.. Ничего не было, кроме смрада и гогота, оскаленных морд и мерзости. Что Он увидел, придя в Иерусалим — такую же камеру, те же оскаленные морды, что слышал — тот же гогот? Он увидел *другое*. А я больше не могу. Видеть *другое* можно только глазами веры, глазами любви, а во мне вспыхивает, копится раздражение, разгорается злоба и ненависть, и я корчусь на шконке, как та горбатая крыса, со вздыбленной шерстью — мы увидели ее, подойдя к даче... Я *больше так не могу*...

Я уже не могу понять — все еще ночь, наступило утро, начался еще один день или... Все тот же смрад, гогот, толпа, как в троллейбусе в час пик, прыгают сверху, копошатся внизу...

— Полухин!..— слышу я — ясно, отчетливо, а казалось, слов не разберешь, даже когда кричат в ухо...— Полухин! С вещами...

Конечно, сплю, думаю я, ночь. Еще одна ночь, а завтра еще один день...

— Доигрался,— говорит рядом Иван,— сказал тебе — не лезь. Говорил-говорил, держал тебя, зачем тебе было надо...

13

— Как, стало быть, тебя величать — Жора?

— Жора.

— Выходит, сам выломился из хаты?

— Я... не мог там, они...

— Так ты в какой был хате?

— В сто шестнадцатой.

— Твоя, Андрюха?.. Хотя ты давно оттуда...

— Кто там сейчас — татарин держит хату?

— Держит?... Н-не знаю. Меня привели утром, я лежал наверху, не спускался, а... А вечером они... Я никого там не знаю.

— Чего они с тобой сделали?

— Пальцы подожгли... На ногах.

— Толик, наверно. Лохматый?

— Д-да, лохматый... И еще... грузин. Похож на гориллу.

— Гурам. Точно, горилла. Ну, хата... Я тебе рассказывал, Боря. Они и меня хотели схавать, да подавились. А до того ты где был?

— В больнице.

— В какой хате?

— В четыреста восьмой.

— Где?.. Давно ты там?

— Два месяца, больше...

— Кто ж там есть?

— Баравов... Дмитрий Иванович. Он уже седьмой год...

— Верно. Еще кто?

— Еще... Андрей Николаевич, ходить не может, ноги отнялись... Ося, глухой... Прокофий Михайлович, помрет скоро... Генка... И этот, как его... Шурик.

— Смотри как, все на месте? А больше никого?

— Приходили, на день, на неделю... А эти все время.

— Что ж тебя два месяца держали — больной?

— Н-не знаю...

— А про Бедарева ты чего слыхал?

— П-про?.. Нет. Я ничего не знаю.

— Про морячка?

— Нет. Я ничего не знаю.

— Ладно. А как там старшая сестра, Ольга Васильевна?

— Н-не знаю.

— Как не знаешь? Нет ее, что ли?

— Е-есть... Укол мне делала, в первый день. А больше я ее... Заходила, но со мной она... Я ничего не знаю.

— Оставь его, Боря, пусть отойдет, видишь, какой...

— Да, не вояка. Статья сто семьдесят третья?

— Да.

— Много нахапал?
— Ничего я...
— Перестань. Отдыхай, Жора. Тут тебя никто не тронет...

14

Значит, это и есть Бедарев, думает он. Голос узнал сразу, хотя казалось, сам он должен быть не таким, он и говорил с майором иначе, блатного играл. Тут он другой, артист... Что ж я должен за ним *замечать*? «Когда уходит на вызов, когда возвращается — записывать, разговоры запоминать...» Конечно, здесь хорошо, думает он, похуже, чем на больничке, простыней нет и кормят, надо думать, из того же котла, что там... *Там*!..— он с ужасом вспоминает ту камеру. Здесь нас *пятеро*!

Почему перевел сюда — пожалел, хочет добра?.. Здесь добра не хотят, не жалеют, я должен отработать, отслужить за «пожалел», за добро придется заплатить... Бедаревым. А почему бы не... Что мне до него, кто он такой?.. И он пытается вспомнить, сложить все, что о нем слышал, а он уже позабыл, зачем было вслушиваться, запоминать... Обрывки не складываются: морячок, рассказчик, гуляка, бабник... Как же, роман со старшей сестрой в больничке, с той самой, у которой что-то с майором... Его передергивает, когда он вспоминает белый халат, как натянутая перчатка, шприц в руке, как нож... «Если ты сболтнешь в камере хоть слово из того, что слышал...» — «Я ничего не слышал, я ничего не знаю, я ничего не...»

Он лежит возле сортира, после жуткой камеры, из которой он сегодня «выломился», все здесь кажется чудом: тишина, бубнит радио, кто-то вполголоса разговаривает, на выскобленном столе пепельницы-самоделки, на стенах картинки из журналов, чистота, ветерок шуршит бумажным пакетом на решетке окна... За это надо платить, думает он, за это нельзя не платить, даром такое не дается...

А почему «даром»? — думает он. Может быть, на общак, в ту страшную камеру он попал случайно, по недоразумению, *кто* меня туда сунул? Главврач, тихая мышка или еще кто-то — срочно понадобилось место, не согласовали, а я два с половиной месяца отлежал, хватит... Нет, не майор, он бы не стал, он сразу понял — ошиблись, не мог не понять, перед ним лежало мое дело, он знает, кто я такой, видел, *кто* я такой, разве *мое* место с *ними*, с теми, кто копошится на той вонючей помойке... Перед ним лежало мое дело, думает он, и он видел, что я... коммунист, и он — коммунист, мало ли что случилось, оступился, со всяким бывает, но жизнь длинная, перемелется, мы не святые, забудется, здесь нужны люди, они везде нужны, а здесь больше, чем в другом месте, нужны *свои*, а я могу быть полезен — майор понял, он человек опытный, знает людей, видит сразу, а говорить впрямую, откровенно — не мог, я в тюрьме и формально я преступник, а он — майор. Формально, а по сути...

В конце концов, это мой долг перед обществом, думает он, а я в нем не на последнем месте, перед партией, а она всегда права. Майор и это знает, и не мог поставить знак равенства между мной и *ими*, отребьем... Бедарев настоящий уголовный тип, думает он, вспоминая, что о нем слышал, потому и опасен, и тем, что привлекателен — вдвойне опасен, силой, хитростью, и его следует обезвредить. Он и на воле был опасен, его изолировали, а здесь он опасен вдвойне, и я не могу не помочь майору, майор отвечает и за него, и за меня, за все, что тут, а если я откажусь, то сам поставлю себя на одну доску с ними, и следователь будет прав, и судья будет прав, и на кафедре будут правы, и то, что со мной произошло — по ошибке, по недоразуменью, потому что связался с бабой, которую давно надо было гнать — и с кафедры, и вообще...

Он переворачивается на живот и, уткнувшись носом в подушку, пытается исчезнуть, ничего не слышать, не видеть, не... Такое было однажды, вспоминает он, мне предложили выполнить долг перед... Я всегда говорил себе правду, а сейчас это мой долг. Перед обществом, перед партией и я однажды его... выполнил, сделал, что мне предложили, что не мог не сделать, не испугался, что кто-то не так глянет, не поддался слюнтявому чистоплюйству, и тот, кто мог принести вред обществу, партии, всему, что у нас... Исчез! С кафедры, из жизни... Где он сейчас?..— думает он, и сползает с подушки, зарывается в матрасовку, *исчезает*...

Вот он опять «зубовный скрежет»... За что?.— думает он. Разве я был не прав? Мне сказали: я должен — и я рассказал. Мне сказали: я должен подтвердить — и я подтвердил. «Вы видели, как он передавал эти книги, рукописи — у вас на кафедре? Кому?..» — «Видел, знаю...» Но я, действительно, видел, почему же я должен был скрыть — соврать?.. «Вы слышали, как он рассказывал о... радиопередачах, *клевету* и сам *клеветал*?..» — «Слышал...» — «Когда это было?..» Но я, на самом деле, слышал, я помню, когда это было, в тот день мы с ней... Почему я должен был скрыть?.. Господи...— шепчет он и не понимает, почему «Господи»... Я же не знал, *куда* его сунут, разве возможно представить себе, что *такое* может быть у *нас*?! Но я сказал правду, ничего не придумал, никого не *оговорил* — зачем он держал у себя *эти* книги, рукописи, зачем их *распространял*, пересказывал *клевету*?..

Значит, и он попал *сюда*, думает он, его протащили по *тем же* камерам... Но ведь за дело! Я всего лишь подтвердил, что было — должен был *врать*?.. Я не мог промолчать, не мог соврать, сказал правду и... И майор знает об этом, это есть в моем деле, а потому он понял, что я... *свой* и меня нельзя держать *там*, я нужен здесь, на меня можно положиться, я помогу, и это учтется, я свой, пусть со мной свели счеты, ошибся, по молодости, по глупости, за это и свели, подставили, потому что эта стерва только на словах с ним *рассталась*, потому и рассказал, подтвердил, а то бы с какой стати, какое мое дело — книги, разговоры, не знаю, не слышал, не видел, но я знал, она с ним не рассталась, эти разговоры для дураков, бабья ложь, она держалась за него, не ушла, они были вместе, готова была всегда остаться с ним, в любой день, где угодно, я видел, помню, меня не обманешь, не проведешь, как она глядела на него, как он глядел на нее, а я ее знаю, и эти ее глаза, не спрячет,— да они и не расставались, соврала, ей зачем-то было нужно, выгодно, надо было его наказать, у них свои дела, запутала меня, заиграла, подставила, никогда не забуду, как она глянула последний раз, когда я рассказал, зачем меня вызвали и что я им сказал... А что я сказал — только то, что видел, что слышал, что было на самом деле!.. Ничего не сказала — поглядела и ушла. А потому это была ее месть, подлая бабья месть, свела счеты, а мозгов не хватило понять, что и ее потянут, меня потопит, сама залетит, тем более муж уже здесь, никто не пожалеет, рады, что и она влипла, такой подарок, не ждали, не чаяли, что кроме идиотских книг и пустых разговоров, которым цена копейка, откроются деньги, настоящее дело, а по нашим временам, в самую точку, им того и надо, обмажут грязью, дураки были б, когда б не схватились, да уж надо думать, не пропустили случая, когда сам в руки, обмазали... Откуда у бабы мозги, хотя бы на два хода считала, думает он, ей надо сейчас, сразу, как стукнуло, а что будет завтра, она посчитать не способна, ей надо только одно, им всем надо одно и то же, все равно кто ее схватит, но я держал крепко, а было мало, надо еще, разве я соврал, я сказал правду, что было, зачем он ей, я поверил, у нас, говорит, все кончено, мы чужие, я с ним давно не сплю, он мне не пара, я люблю тебя, только с тобой поняла, что баба, ты один... Говорила-говорила, болтала, а дошло до дела, до жареного... Пусть хлебает, думает он с ненавистью, расхлебывает, а я сумею, выскочу, второй раз не ошибусь, мне и это зачтется, пойдет в плюс, хотела погубить, а спасла, теперь я...

Значит, майор знает, думает он, потому и вытащил оттуда, не за красивые глаза, я ему нужен, у меня защита, возьми меня за рупь-за двадцать, не выйдет, теперь у меня тот самый шанс, о котором думал, ждал, на который надеялся, не упустить, не сглупить — и я выскочу, будут держаться за майора, выберусь, жизнь не кончена, еще посмотрим, кто кого, погодите...

Я отсюда не уйду, думает он, из этой камеры меня не вытащат, буду держаться зубами, не оторвут, здесь я выживу, а там я пропал, любая цена, того стоит, все, что ни попросят, отслужу, в майоре сила, и в нем правда, это у них разговоры, слюнявые абстракции, их бы сюда, в нашу шкуру, я видел только одну такую «хату», а майор знает все, всех, с ними нельзя иначе, это отбросы, он должен на кого-то опереться, а на кого, кроме меня?.. Правильный выбор, верный, и я не подведу, вытяну, отслужу — и он меня не забудет, зачтет...

15

— Слышь, как тебя — Жора?.. Кончай ночевать, поговорим. Что там, на воле, ты два месяца, а мы по году. Давай свежачка... Слышь?.. Толкани его, губошлеп...
— Оставь, дай человеку очухаться.
— Да ладно тебе, очухаться, червонец вломят, належится... Пусть про больничку потравит,как там моя краля...
— Я бы на твоем месте, Боря, помалкивал.
— На каком моем месте? Почему так?
— А потому.
— Эх, Пахом, мне с тобой заводиться лень, скучно, а ты меня заведешь...
— Не пугай, погулял над людьми, хватит.
— Вон как заговорил, смотри, я предупреждать не стану.

Тихая камера, думает он, как бы тут хуже не было... Может ли быть хуже?.. Кто они такие? Та же мразь... Бедарев понятно, Пахом самый из них приличный, небось, тоже сто семьдесят третья. Горячий, задирается... А этот, здоровый бугай — был в сто шестнадцатой — Андрюха? Кто такой — убийца или похуже? А что хуже?.. Рядом лежит «губошлеп», совсем мальчишка, Гришей называют, издеваются, обещают «веленку», а он молчит, видать, больной — лицо мучнистое, забили они его... С кем бы поговорить, молчать тоже нельзя... догадаются. С Пахомом...
— ...у какого следователя? — слышит он Бедарева.
— Которому надо,— рубит Пахом, не отстает.— Ты кому отдал мое письмо, сказал, уйдет сразу. Куда ушло?

— Ответа ждешь? С почтой, начальник, перебои...
— Зря шутишь, Боря... Ты на кого работаешь?
— Я тебя последний раз прошу, Пахом, не трогай меня, доведешь...— У Бедарева голос скучный, не хочет говорить *об этом*.— Лучше нового раскрутим, может, человек... Хотя едва ли, откуда... Два человека тут и было, в этой хате, потому я и вас терпел, а так бы давно...
— Что давно? — спрашивает Пахом.
— Выломился бы, как этот... Жора. Зачем вы мне?
— А они тебе зачем были — те двое?
— Серый да Серега?.. Ты хоть знаешь, с кем ты тут прожил? Они верующие люди, не тебе чета, коммуняке... С ними и поговорить, и научиться. Они и слушать умели, и сказать могли... Живые люди, а вы... Те не пропадут, а от вас, лизоблюдов...
— Почему же их отсюда вытащили?
— То-то и оно. Тебе, коммуняке, на спецу кейфовать, а ребята на общаке валнются, доходят...
— А тебя тут зачем держат — за что?
— Серому бы еще недельку...— Бедарев явно уходят от разговора.— Эх, кабы он задержался, хотя бы и на общак потащили, полегче бы было, повеселей... Ладно, Пахом, вижу, что мне шьешь, понял тебя, ох ошибаешься, а я не прощаю... Мне шьешь, а не знаешь: у меня письмо для Серого, из дому — понял? Как он его ждал, спать перестал, а я получил на другой день, когда его выдернули.
— Болтаешь,— говорит Пахом,— откуда у тебя может быть письмо, чем докажешь? Ты много чего обещал и не ему одному...
— Доказать?.. Ах ты, коммуняка, пес! Довел, сука... Гляди... Видишь?.. Кто болтает?
— Чего ты мне суешь? Тебе письмо... «Дорогой Боря...»
— Сестра Серого мне написала, сечешь? «Дорогой Боря...», а дальше ему. Соображать надо, не на партсобрании.
— Я его дел не знаю. Почерк надо знать.
— Не почерк? Разуй глаза...
— Кто это?
— Кто-кто! Сестра его, не слыхал, он рассказывал: за ним пришли, а сестра в роддоме. Фотографию прислала, видишь, племяш... Два с половиной месяца.
— Мозги пудришь, Боря. Какой племяш — не похож. Объясни, как ты на тюрьму письмо получил, «дорогой Боря»? Кто тебе разрешил переписку, за какие заслуги? Новому пассажиру мозги пачкай, если его на больничке не научили, а нас не трогай. Мы тебя давно раскусили...
— Я себе сам удивляюсь...— Бедарев говорит тихо, видать, сжал зубы.— Месяц назад я б тебя сразу пришиб... Скучно мне, Пахом, и на тебя, падлу, глядеть тошно... Как получил письмо? Как твое послал, так и для Серого получил.
— Вот что я тебе скажу, Боря, понимай как хочешь, а лучше уходи отсюда... При всех говорю, пусть знают...— голос у Пахома звенит.— Мое письмо, которое ты у меня взял — у следователя, ясно тебе? Он его на другой день получил. Я тебе отдал, а ты... Кому ты отдал мое письмо — отрабатываешь, Бедарев? Верно тот мужик говорил, у тебя с майором шуры-муры, не с его бабой. А может, и с вей, и с ним — зачем нам разбираться, мы и так уши развесили. И с Вадимом ты игру играл, не верю тебе, его счастье, что ушел, лучше на общаке, чем с кумовской шлю...
— Ну, сука, получай, напросился!..
Грохот, крик, звон...
Он садится на шконке... На столе стопка оловянных мисок, половина рассыпана, звенят, прыгают по полу... Пахом зажал руками лицо, сквозь пальцы течет кровь... Поднимается... Лицо страшное, залито кровью, на лбу вспух багровый желвак...
— Погоди, мразь кумовская...
Пахом перемахнул шконку, сцепились, катаются, Андрюха бросается к ним, все трое сползают на пол...
Дверь распахивается...
— Встать!
— Опять ты, Бедарев?..
В камере три вертухая, корпусной...
— Переведи меня, командир,— Пахом размазывает кровь по лицу,— я с ним и дня больше не буду, убью. Лучше переведи — куда хочешь! На общак, на...
— Подсказывать будешь — куда?.. Собирайся...

16

Точно такая камера — зеркально такая же, а я, как переступил порог, понял — другая. Что в ней?..

Человек, конечно, существо удивительное, думаю, успеваю подумать. Во всяком случае, он странное существо. Я ненавидел все, что меня окружало — и камеру, и всех ее обитателей, даже с Захаром Александровичем не хотел говорить, Василия Трофимовича старался обойти стороной... А когда собрал мешок, стою у двери, дожидаюсь, пока откроют, гляжу на камеру...
«Не робей, Серый,— сказал Костя,— не думай, не гони, адрес я помню, повидаемся...»
Захар Александрович потеснил в сторону, протягивает тетрадный листок: «Вам,— говорит,— „Снятие с Креста"...»
Может, он и примитивный художник, не знаю, и рисовальщик слабенький, а меня забрало: Божья Матерь в камере — в нашей, что ли? — а на руках у Нее...
«Спаси, Господи, Захар Александрович, не стою я такого...» — «Ладно, Вадим, всякое будет, встретимся...»
И Наумыч подошел:
«Не держи зла, Вадим, за жизнь боремся...»
«Прощайте,— и комиссар тут.— Слишком хорошо жили, может, вы правы — тюрьма нам на пользу».
Гляжу на них, на камеру, слезы закипели, такая тоска сжала сердце...
Куда теперь? Не обратно на спец, забыть, не видать мне спеца... Библиотечную книгу не отобрали — первый признак, что оставят на общаке, здесь своя библиотека, а у меня Диккенс, дочитал до половины, самое чтение в тюрьме... Снова общак, другая хата... Что они мне приготовили?
— Почему переводите? — спрашиваю вертухая, ползем по лестнице, безликий, не глядит.
— Мое дело вести тебя, а зачем-почему... Не все равно?
— Тебя бы вытащили из дома и неизвестно куда...
— Скажешь — дом! Как вы не подохнете в таком дому...
Поднимаемся двумя этажами выше: такой же коридор, такие же пролеты между черными дверями... Остановил возле одной: жди, мол. У двери высокий, смазливый и одет прилично, в руке тетрадочка, видать, с вызова.
— Из этой хаты? — спрашиваю.
— Ну.
— Хорошая камера? — бессмысленный вопрос, глупый.
— Нормальная,— спокойно стоит, *домой* вернулся.
— Давно тут? — не отстаю я.
— Три месяца...
Подошел вертухай, отпирает дверь...
Верно, зеркально похожа, но сразу ощутил — другая. Может, воздух почище, все-таки выше на два этажа, ветерок гуляет и... Вон что, на другую сторону камера, та выходила в колодец двора, против спецкорпуса, какой мог быть ветерок, а здесь в сторону воли... Первое, что понял, но что-то еще... Светлей, что ли?
Подкатывает в очочках, совсем еще парнишка.
— Откуда?
— Из сто шестнадцатой.
— Чего ушел?
— Ушли.
— Какая статья?
Объясняю...
— Я и не знал, что такие есть! Против... коммунистов?
— Как тебе сказать...
— Так и говори! Год сижу, кого только не повидал, а такого... Хорошо, что к нам, у нас хата в норме, а в сто шестнадцатой, говорят, беспредел...
— Нет, вроде.
— Давай к нам в семью? Ребятня, скучно, хотя народ веселый, один к одному — пойдешь?
— У меня ничего нет,— говорю,— сегодня должны были передачу, но когда она меня разыщет...
— У нас свое, что есть, то есть... Стихи наизусть знаешь?
— Кое-что.
— Мне не «кое-что», хорошие, настоящие?.. Блока знаешь?
— Может быть.
— Перепишешь?.. И еще этого, как его...
Подваливает другой: попроще, бесцеремонный. Кивает моему любителю стихов... Оба отошли.
Понятно, думаю, поведут к местному начальству. Тоска...
И народу столько же, те же шестьдесят, не меньше, такое же мелькание, гвалт, смрад, но что-то другое... Пока не возьму в толк.

Возвращается.
— С тобой тут хотят... Сам понимаешь. Значит, договорились, к нам в семью? Я — Олег...
Не солидно, думаю, не успел оглядеться, ничего ни о ком не понял, а уже в семью... Дураком надо быть...
Такая же шконка у окна. Трое... Красивый мужик, похож на цыгана, еврей, наверно: черные вьющиеся волосы, лицо живое, веселый... Грузин — глаза мягкие, сочувствующие, доброжелательный. И третий — бледный, безразличный...
— Садись, рассказывай,— говорит цыган.
— А вас что, ребята, интересует?
— Нам все интересно,— говорит грузин.— Олег.
— Вадим.
Олег кивает на цыгана:
— Ян... А это Петро... Тебя чего «ушли» из хаты?
Вон как, дословно пересказал мой любитель поэзии...
— Не знаю,— говорю,— была история... Несколько дней назад. Как увели Гарика... Слышали про такого?
— Кто теперь за старшего? — спрашивает Ян.
— Наумыч. Он давно там.
— Знаю. Как он?
Внимательно смотрят, уже без улыбок.
— Деловой,— говорю,— подбирает вожжи.
— Тебя одного выкинули? — спрашивает Ян.
— Двоих. Вчера Гурама, сегодня меня.
— Не заладил с Гурамом? — спрашивает Олег.
— А ты его знаешь?
— Немного.
— И я немного, а мне хватило.
— Ладно,— говорит Ян,— мы не особый отдел. Ты лучше расскажи, какие книги писал?
— А вы откуда знаете, что я их писал?
— Мы все знаем, в один санаторий путевка.
— Расскажу. У вас, вроде, получше, чем там?
— Заметил?..— Ян улыбается.— Мы с Наумычем подельники. На гражданке не общались, у него своя компания, а у меня своя... Коммунист, чего ты от него хочешь? Надо крутиться. Скучный мужик.
— Не то чтоб скучный,— говорю,— очень уж жить хочет.
— А ты не хочешь? — Петро, первый раз заговорил.
— Я б хотел человеком остаться.
— Вон как — в тюрьме и человеком? — опять Петро.
— А что тюрьма, заперли и дышать нечем, а не то же ли самое?
— Нет,— говорит Ян,— не сравнить. Баб не хватает.
— А с бабой ты себя человеком чувствуешь?
— Мужиком. С бабой я мужик, а без бабы...
— А я думал, мужик сам по себе что-то стоит. А если он только с бабой...
— Тебе хорошо рассуждать,— говорит Ян,— твоя статья три года, больше не тянет, а мне вломят двенадцать, выйду — уже не мужик и чем она пахнет забыл. Человек... Кому он нужен?
— С какими ты бабами имел дело? — говорю.— Если они в тебе не человека искали, а... Таких всегда найдешь. Тебе сколько лет?
— Сорок.
— Выйдешь в пятьдесят... Раньше выйдешь. У тебя тоже сто семьдесят третья?
— Она.
— У меня друг,— говорю,— под семьдесят, отсидел пятнадцать лет, в то еще время, когда социализм строил усатый, лучший друг физкультурников. Он мне рассказывал про их лагерь... Он там как бы законсервировался, в том смысле, который тебя заботит. Считай, пятнадцать лет просидел в холодильнике, вышел свеженький и сейчас, в свои семьдесят лет... Что ты! Кем он был, когда взяли — щенок, а вышел... У него другие проблемы, другая беда. Бога не увидел, не открыл в себе. А бабы... У Бога всего много, и у тебя свобода, выбирай, что надо для жизни, но не ошибись — или станешь человеком, или погубишь себя...
— Вон ты какой интересный — писатель,— говорит Олег.
— Ян!...— кричат сверху.
Оборачиваюсь. На верхней шконке стоит мужичонка, по виду — распоследний: рваные тренировочные штаны, рубаха клочьями, давно не брит...
— Слышь, Ян, меня на вызов дергают, дай свой батник, у меня следачка, не напугать бы...

— Ты бы рожу побрил,— говорит Ян.
— Рожа ладно, а рубаху...
— Штаны есть? — спрашивает Ян.
— Штаны есть, корочки бы...
— Бери,— говорит Ян,— висит на решке, вчера постирал. И ботинки дам. Снаряжайся.
Э, думаю, не Наумыч, потому и дышится легче...
— Устраивайся, Вадим,— говорит Ян,— во-он шконка, тебя дожидалась.
— Как дожидалась? — спрашиваю.
— Один ушел сегодня, с концами. Петро хотели спустить сверху, но... Писателю почет...
Петро лезет наверх, на меня не глядит.
— Давай отдыхай,— говорит Ян.— Есть матрас?
— Есть.
— Мы еще один навалим,— другой Олег, маленький, крутится рядом, посверкивает очками,— наш семьянин.
— Богато живете,— говорю,— такого не ожидал...
И тут слышу от двери:
— Полухин!..
Неужто уведут, ошиблись? Не туда пихнули, накладка, слишком сладко для меня...
— Кто тут Полухин? Передача!..
— Давай,— кричит маленький Олег,— с новосельем!..
Расписываюсь не глядя. В кормушку швыряют пакеты, свертки... Вижу: Митина рука — аккуратно, с любовью... Одному бы остаться, рассмотреть — каждое яблоко, каждый кусок сала... Нельзя, знаю порядки на общаке — никто не выказывает интереса к передаче, все в семью...
Олег таскает мои кульки на дубок... Кормушка захлопывается. Может, плюнуть на их порядки — посмотреть?..
— Вадим! — кричит маленький Олег, стоит у дубка, рука на моих пакетах.— Тебя за дубок приглашают, как решишь?
Вижу: с первой шконки глядят на меня — Олег, Ян, еще кто-то. Молчат. И в камере тихо, ждут.
— Кто приглашает? — спрашиваю.
— Кто за дубком сидит. Тебя хотят к себе в семью.
— Мы же с тобой...
— Так за *дубок*! — говорит маленький Олег с нажимом.
Совсем тихо в камере — такой почет новому пассажиру!
— Нет,— говорю,— мы договорились, какой дубок...
Вздыхает камера, будто волна прокатилась... Похоже, пока я выиграл. Пока.

17

Ощущение это, пожалуй, ни с чем не сравнимо. Я такого никогда не испытывал. Необыкновенная картина мне представилась, думаю я не своими словами... А иначе не сказать, не объяснить, не передать. Необыкновенная картина мне представилась... Да, именно так.
Я уже отметил: в полвосьмого вечера, после ужина, когда я забирался на свою шконку, третью от окна, солнечный луч прорывался сквозь решку, косо прорезал камеру и падал мне прямо в лицо. Багрово-оранжевый, он тянулся, как толстая веревка, сверху вниз, а вокруг вспыхивало дымное сияние. Он перебивал мертвенный свет потрескивавших под потолком трубок «дневного света», и вся камера становилась багрово-желтой.
Луч косо падал от решки, дымно висел над дубком, проходившие мимо его перечеркивали, вспыхивая при этом смоляными факелами.
В этот час в камере спокойно. Часа два пройдет, пока начнется оживление перед подогревом — все загалдит, засуетится, и так до утра. В эту пору за дубком играют. Человек двадцать сидят за шахматами, домино, «мандавошкой». Голые по пояс, разрисованные и не разрисованные, поджарые, крепкие, освещенные ярким оранжевым сиянием, они необыкновенно красивы, я не могу оторвать от них глаз и меня не оставляет ощущение нереальности этой красоты, ее фантастичности. Я уже всех знаю: кто как тут оказался, что кому предстоит и чего от кого ждать... На самом деле я ничего ни о ком не знаю: и оказались они здесь не так, как об этом рассказывают, и мои соображения о том, что с ними произойдет, сомнительны, а что от кого ждать — вообще невозможно предположить.
Теперь я понимаю, научился, четыре месяца в тюрьме не прошли даром, сто́ят нескольких лет на воле... Каких лет — десятилетий! Чему же я научился? — думаю я. Всего лишь тому, что человек говорит одно, думает другое, а поступает совсем иначе,

что порой нет в его поступках ни логики, ни здравого смысла, или его странная логика и якобы здравый смысл противоречат моим о них представлениям? Но в таком случае надо бы говорить не о ком-то, а всего лишь обо мне, оказавшемся неспособным вместить чужую логику?.. Едва ли чтоб сформулировать такого рода банальность следовало платить столь высокую цену — тюрьма слишком дорогое удовольствие.

Что же произошло со мной за эти месяцы?..— думаю я. Тюрьма сломала стереотип сознания, складывавшийся всю мою предыдущую жизнь, или, говоря проще — мои представления о том, что хорошо, а что плохо. Все мои представления о жизни — социальные, профессиональные, нравственные — да, и нравственные! — разлетелись, их не собрать, они не нужны здесь, оказались лишними, пустыми... Но значит, они вообще не были нужны, потому что не имели никакого отношения к живой жизни, а служили для организации внутреннего ли внешнего, но благополучия. Комфорта,— поправляю я себя жестко. Чтобы так или иначе организовать свой комфорт, я огородился частоколом слов и понятий — приличных, красивых... Ну а как же с нравственностью, я все-таки держусь, не захлебнулся, никого не предал, а вокруг... Господи, думаю я, что мне известно о ком-то, разве мне была хоть однажды предложена настоящая, высокая ситуация, в которой мне пришлось бы не на словах доказать, что я хоть что-то стою; разве Господь не огородил меня, не отводит удар за ударом, разве хоть что-то *мое* есть в том, что я еще не размазан по стене... О себе я кое-что понял, цену знаю и жаркий пот стыда заливает меня всякий раз, когда вспоминаю себя в том или другом случае. Об этом сейчас не могу, прости меня, Господи, я еще не готов...

Человек, совершивший уголовное преступление — преступник, думаю я. Об этом свидетельствует не только закон и не просто закон, но весь комплекс морально-нравственных представлений о жизни, они и сделали меня тем, кем я был. Каким-то образом я это узнал, усвоил, воспитал в себе, это вошло в мою жизнь и... И стало тем самым частоколом, которым я себя огородил... А человек, уголовного преступления не совершивший — *не* преступник?.. Простая мысль, элементарная логика, но она и лежала в основании нравственного фундамента моей предыдущей жизни, была частоколом, за ним всегда было тепло и уютно, комфортно... А солгать, думаю я, лежа на шконке и глядя на омерзительную камеру, светящуюся сейчас багрово-оранжевым сиянием... А прелюбодействовать, а не возлюбить ближнего, как самого себя, а не возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением?.. А не посетить узника в тюрьме, больного — в больнице, а не накормить голодного?.. Евангельский императив, представлявшийся в вольной жизни литературно-мифологическим, а отрицание его или его необязательность, никак не преступным, обрел в тюрьме живую, единственно возможную реальность... А ведь это полное изменение сознания — его сокрушение!.. Сколько я говорил об этом, недавно, болтал... На спецу, когда объяснял и что-то внушал... *Кому* внушал, *кому* объяснял?.. Мне было хорошо, вспоминаю я, мне было слишком легко, меня раздражали, выводили из себя болты, вмятые в железную дверь, и я рассуждал, рассуждал, радуясь так легко доставшейся мне, вычитанной премудрости, ничего об этом *не зная*...

Человек внутренне сопротивляется такому слому сознания, думаю я, изменению предшествующего опыта, всего своего *состава*. Но в тюрьме — *не может* иначе. И если будет к себе внимательным, поймет, что весь его предыдущий социально-психологический опыт — исчез, испарился. Его самого нет, а потому и прежний опыт не нужен. Даже если не поймет, не осознает и внутренне будет продолжать сопротивляться... У него больше ничего нет. Нет ни положения, ни наработанного авторитета, ему не нужно образование, у него нет семьи, дома, ничего из того, что он собирал, копил, складывал, кирпичик к кирпичику всю свою жизнь. Богу было не просто пробиться к человеку сквозь наглухо запертые двери его жилища, коснуться души, загроможденной собранным за десятилетия богатством. Чем бы оно ни было — интерьером или так называемыми «духовными ценностями», удачами или горестями. Там гулял только дьявол, думаю я, ему все просто, он не заблудится в интерьере, найдет скважину, щель, лазейку — да просто позвонит в дверь и она для него широко распахнется...

Вот что такое тюрьма, думаю я. Не смрад и решка, не железная дверь с вбитыми, вмятыми в нее болтами с их омерзительной геометрией. В тюрьме человек открыт Богу... И дьяволу, думаю я, разумеется, и дьяволу, ему человек открыт всегда. Но в тюрьме бой честный, открытый, ничто не мешает и ни за что не спрячешься. Человек стоит в тюрьме ровно столько сколько он стоит. Ничто не мешает *выбору*, он более жесток, но и более прям.

Вот они передо мной — мои сожители, освещенные сейчас фантастическим багрово-оранжевым светом, такие, как есть — чем они защищены от дьявола, что в них открыто Богу?..

«Ты не хочешь о бабах,— сказал мне Ян,— тебе надо человека, зачем? Я не встречал, чтоб не хотели. Знаешь, почему?.. Я просто скажу. Нет ничего слаще, веселей и — чтоб голова плыла, обо всем позабыть и себя... позабыть. Она и от водки плывет, но там химия, травишь себя и самому с собой скучно. А тут алхимия, игра... А ведь она, стерва, знает, что игра, знает, что я выиграю, но ей, может, и нужен проигрыш, да и как отличить, кто что выиграл, а что проиграл? Мне одно надо, а ей чтоб одно к одному. Но это не мои проблемы — мы ни о чем не договариваались, какие ко мне претензии? С бабой дружбы, как с мужиком, быть не может, тебе надо ее обмануть, даже когда она сама хочет и ждет, чтоб ее обманули. Она всегда играет, врет, она не так сделана, но в том и алхимия, а если мы были б из одного теста — зачем она? Я понятно говорю?»

«Понятно. А когда вспоминаешь здесь — тоже радуешься?»

«Как тебе сказать... Зачем вспоминать, кабы выпустили... Есть такие, был у нас, любил рассказывать, как жрал да чего заказывал: соусы, подливки, пока его один нервный не сунул носом в парашу... Не в том дело. Я только раз накололся, последний, между прочим, забыл детское правило: не... где живешь, и не живи, где... Или работаешь. Один хрен. У нас была баба в министерстве, наша начальвица... В Москве пятнадцать фабрик вторсырья, а она над нами, начальник управления. Хорошая баба, на все согласная, лихая. Мы с ней и в Ленинград на уикенд, и на юг, вроде, в командировку... Но свое дело знала, в смысле производства. Вызовет на ковер, кулачком по столу — что ты! Брала со всех, с каждого директора. Но это нормально, не для себя одной, сколько их там с ложкой, это нас по Москве всего пятнадцать директоров... Государственное дело. Но она, дура, брать-то брала... И с меня, не сомневайся, хотя мы лазили по таким хатам, притонам, любила, чтоб с говнецом. И это дело тоже любила... Положение, сам понимаешь, щекотливое, если с меня не брать — она, выходит, мне деньги платит, и большие, а я с бабами в финансовых отношениях не состоял — им не платил, и с них не брал. Но она, дура, что учудила: вела *список*! Привыкла к их поганой бюрократии. Ее и взяли со списочком. Сдал ли кто или случайность — какой мне хрен? Нас всех потащили, как сусликов. На Петровку. Там разговор короткий: где, когда, сколько — и в зубы. Но не могу я подтвердить. Спал с бабой и на нее... Хотя чую, все знает. А может на понт берет, у них свои фокусы? Мне в голову не залетело, мало, что у него в столе тот списочек, она ему все выложила, подтвердила — всех сдала! И меня, как и всех. Мы с ней год, больше, на таких качелях, дух захватывало... Следователь глядит на меня, вытаскивает список из стола — на, мол, кушай. Я и тут молчу. Баба есть баба, думаю, какие у нее мозги, хоть и в министерстве, но чтоб подтвердила, быть того не может!.. Дурак ты, говорит следователь, нам и без твоих показаний все известно, она все картинки нарисовала, но если б ты чистосердечно подтвердил, я б тебя выпустил, гуляй до суда и на суде б учли помощь следствию, а так я тебя зарою. И зарыл».

«И Наумыч через нее?»

«А как же, и он в том списке. Но я-то свое поимел, а он, коммуняка, на сухую... Скажешь, за дело, она за меня всем отомстила? Что она от меня видала плохого?..»

«Ничего не скажу, Ян, это только тебе понять.»

«А говоришь, им человека надо...»

«Ты на меня не держи зла, Петро»,— сказал я.

«А что такое?»

«Занял твое место. Не знаю ваших порядков...»

«Не пойму, какое место?»

«Внизу, на шконке».

«Какое у меня место? У меня лет пятнадцать будет, как из-под вышки ушел. Да и потом не уйти...»

Худой, лицо серое, хмурые глазки, никогда не улыбается.

«Здесь, в хате, все временные, уйдут. А я навечно».

«Почему так?» — спросил я.

«У меня на роду написано. Не уйти».

«Расскажи, Петро, я не из любопытства, мне понять, зачем люди себе жизнь ломают?»

«Кто ломает, над кем судьба шутит, а кому написано... Ты, к примеру, почему тут?»

«Я тебе рассказывал, у меня просто».

«Верно. Сам напросился. Тебе не обидно, знал, никто тебя не тянул за язык. А у меня... Скрутить тебе?.. Кто так крутит, смех. У тебя руки не под то заточены...»

«Научусь».

«Меня мать из лагеря принесла...— рассказал он.— Тогда другая была зона, после войны. Статья знаменитая, Указ от седьмого-восьмого, до расстрела. Жрать нечего, дети помирали, она из колхоза раз притащила, другой... Увезли. И дети померли. А через пять лет вернулась и меня родила. Про отца не знаю, не говорила. Вон откуда пошло — кем он был, что на меня повесил, за какие грехи я ответчик?.. Первый раз меня из ремеслухи забрали, драка в общаге, чужие ребята пришли по нашим девкам, а я, сосунок, у них между ногами. Один сел на меня, крутит, ломает, я, видать, сомлел,

он меня за волосы и об пол, а мне под руку гвоздь попалси, двухсотка... Вогнал ему в горло по шляпку... Малолетка есть малолетка. Вышел, мать жива, мы из Раменского. Работаю, девка у меня... Да какая девка, что с ней делать, не знал... На Новый год. Пьянка, патефон, свои ребята, девчонки, тоже общага. А за стеной шабашники, чурки. Заваливаются уже ночью, мало своего, не хватило. Что с нами, сопляками? Расшвыряли, как котят, кореша мои поразбежались, гляжу, мою барышню прижали. Я-то не знал, за что подержаться, а они ученые, схватили... Короче, выбегаю, как был, без шапки — и домой. У нас сосед, отставной военный, охотник, билет у него был, двустволка. Влетаю к нему, они уже спят с женой, ночь, ружье на стене, сорвал, и коробку с патронами... Он брал меня с собой на охоту, недалеко ездили. Я у него вообще часто, он и матери помогал, по соседству. Хороший мужик. А тут, пока прочухался, штаны надевал — разве меня догонишь?.. Распахиваю дверь в общагу, ничего не вижу — чего я тогда соображал? Они от меня, как тараканы по углам, а я из двух стволов. Заряжаю и палю, заряжаю и палю...

И что думаешь, опять вышел. Не скоро, правда, а что мне — молодой, мать ждет... Года три крутился вокруг Москвы, прописали. Еще год прошел, мать схоронил, живу себе... Специальность у меня — сварщик. Денежная. Пью помаленьку. Сижу дома. Один. А тут поехал в Москву, кореш с зоны. Комнатушка, жена, двое пацанов, на Плющихе. Привез бутылку, у него бутылка. Сидим. Комнатушка три на пять, а квартира большая, майор отставной занимает три комнаты, жена, собака. А я этих собак терпеть не люблю. Овчарка. Нагляделся. Не к нему ж, думаю. Позвонил, зашел, собака гавкнула... Заходит через час, майор: не очень, мол, шумите. Какой от нас шум? Жена кореша уложила пацанов, сидим за столом, курить выходим на кухню... Опять заходит, без стука, как хозяин. Поздно, мол, чего он тут сидит, пусть сваливает, кто такой, где прописан? Я молчу, знаю, мне бы на него не глядеть, я таких майоров видал и, откуда он, сразу понял, не мой сосед-охотник, тот фронтовой, израненный, а этот боров-боровом, такие на каждой зоне, трясет, когда их вижу. Но тут — какое мое дело, верно? Кореша дело, а он с ним вежливо, отбрехивается, вижу, боится, затравил он его: двое детей, стирка, ясное дело, выживает, закон всегда на их стороне, хотя б у тебя прописка и дети, а если еще меченый... Короче, слово за слово, только бы, думаю, не встревать, водку допили, я бы и сам ушел, полтора часа ехать, пока до вокзала, до дома... А тут заело — чего мне уходить, я у кореша, законно!.. А он в раж вошел, видит, молчим, боимся, на бабу кореша начал гавкать: на кухне развела грязь, блатные ходют, курют — разгоню и из Москвы выкину... Он и сам был, вроде, пьяноват, хрен его знает, я его не нюхал. У меня в сапоге ножик, я не переодевался, заскочил в магазин за бутылкой и на электричку. У меня всегда в сапоге, чтоб отмахнуться в случае чего... Давай документ, майор говорит, а то я ментов вызову. Я и вытащил... „документ". А когда вытащил, посмотрел на него, на рожу да на брюхо — тут меня и затрясло... Распотрошил по самые эти... Да давай я тебе скручу, глядеть не могу, ты сыплешь больше!.. Место тебе... Какое у меня место!..»

«Ты меня пойми, Вадим, я не срока боюсь, что про это говорить-думать. Каждый день процесса — нож острый, а уже считай три месяца... Когда я гляжу на них, а они на меня... Василию Трофимычу что, он в Ногинске два года, турист заезжий: на выходные в Москву, пьянствовал, особенно когда жену схоронил, — ему ни до кого! Он тебе рассказывал?.. А я родился в Ногинске, мальчишкой по улицам, в школе, дружки теперь инженеры, учителя... А сыновья, невестки, внуки... „Суд идет — встать!.." Я на них гляжу, они — на меня, а я — вор...»

У Виталия Ивановича лицо в мелких морщинках, светлые с проседью волосы и глаза светлые, ясные. На шконке у него всегда кто-то сидит, по делу или так, поговорить... «Виталий Иваныч, дай ниток, у меня пуговица полетела...»; «Виталий Иваныч, я к тебе за газеткой, чего они там брешут?..»; «Иваныч, со мной в шахматы!..» Мы с ним через проход. В первый день я только ноги вытянул, он приходит из суда: «Из какой хаты, сосед?.. Так ты с Василь Трофимычем?..» А у меня из головы вон, когда уходил, Василий Трофимович ксиву сунул, все камеры перечислил, где его подельники: обязательно, мол, на которого-нибудь напорешься, наша ПМК по всей тюрьме, помогут, если что... Василий Трофимыч — главный инженер, а Виталий Иванович — прораб... На другой день возвращается Виталий Иванович из суда — мне приветы, пожелания из моей бывшей хаты, Костя обещал маляву подогнать... Гляжу, и камера ко мне помягчела — что уж там рассказал Василий Трофимыч?.. «Что ж ты скрывал,— говорит Ян,— у тебя кликуха знатная — Серый!..» Намудрили, думаю, кум со следовательшей, сунули в общак, чтоб пострашней, а общак — не спец, вся тюрьма теперь меня знает... Обвинительное заключение у Виталия Ивановича — два тома, по сто страниц каждый, Василий Трофимыч не показывал, а этот сразу сунул: почитай, мол, честно скажи, очень стыдно? А я никак не вчитаюсь, не продраться сквозь суконный следовательский штамп...

«Вот место,— показал Виталий Иванович,— завтра на нем толочься да еще не кончат в один день, самая моя печаль...»

«А что тут особенного?..»— спросил я.

Обносили ПМК забором: бетонные плиты, подогнали кран, трое рабочих, включая Виталия Ивановича, четвертый крановщик. Выписал Виталий Иванович, как прораб, тысячу двести рублей на всех, а по смете цена забору — сто двадцать.

«Больше тысячи украл»,— сказал Виталий Иванович.

«Так ты людям заплатил?»

«По триста рублей на брата, а положено по три червонца».

«Виталий Иванович,— сказал я,— я в строительстве не смыслю, в финансах еще меньше, но какой дурак будет работать за три червонца? Да еще бетонные плиты...»

«По смете. Такие расценки».

«У моего товарища дача,— сказал я,— он забор строил, не бетонные плиты и крана не было. Пятьсот рублей с него слупили. Нормально, говорит, не обижался».

«Да!..— у Виталия Ивановича лицо просветлело.— Ты, правда, так думаешь или утешаешь?»

«Будто ты лучше меня не знаешь, что почем,— сказал я.— Пускай не тебе будет стыдно, а тем, кто расценки установил. Я тебя слушаю, читаю... Да ты в своем Ногинске, где родился и вырос, не прорабом был, а зэком — не так, что ли? Горбатил на хозяина, как в зоне, он тебя обирал и тебе тридцать семь копеек на день, чтоб не подох и на работу ходил. Разве можно устанавливать такие расценки для свободного человека? Жрать тебе надо, детей кормить, одевать... А потом за это в тюрьму? Пусть со стыда сгорают, кто поставил трудового человека в положение раба и преступника! Ты меня прости, а лучше в тюрьме, на зоне, чем в вашем ПМК — без вранья, вкалывай на хозяина, а там хоть трава не расти... Небось и соцобязательства брал?»

«А как же, само собой».

«И Доска почета?»

«И Доска почета. А теперь я, видишь, где...»

«Все нормально, Виталий Иванович, гляди на своих невесток, на внуков, ничего не стыдись, и они пусть на тебя глядят. Вернешься, встретят. Поймут, быть того не может, чтоб и внуки так жили. Пусть смотрят на тебя, знают — нельзя жить на воле, как в тюрьме...»

«Так-то оно так, Вадим, если говоришь, что думаешь. Головой ты думаешь, а у меня совесть болит. Я когда деньги выписывал — себе и людям, тоже мозгами шевелил, чтоб чин по чину, какая работа чего стоит, людей не обидеть. Верно, знаю, что почем, как закон обойти. Закон у нас, как нарочно, чтоб мимо него. Но то голова, а то... совесть. Что ж я на три червонца не мог бы прожить? Не подох бы! А хотелось, как все, никто не живет на три червонца. А зачем, как все? Я тут лежу ночью, не сплю... Разве я за всех, я о себе плачу, понимаешь? Жить, как все, а отвечать все равно за себя. Да не перед судом, хрен с ними — и с судом, и с невестками! Я привык, чтоб вокруг люди — дружки, внуки, а я посреди, как равный... А тут один! В камере один, ночью — один. Не голова — совесть, а я с ней один на один...»

«Ты, говорят, из Афгана, Сережа?»

«Оттуда».

«Давно?»

«Я тебе сказал, как встретились, три месяца тут».

«Я не про тут, когда оттуда?»

«А я сразу, неделя не прошла».

«Что так?»

«А тебе нужно — вачем?»

Высокий, смазливый, мелкие черты, глаза холодные, ко всему безразличные...

«Ни за чем, меня тоска берет на тебя глядеть».

«А чего тебе — за меня?»

«Вернулся живой, жить бы начинать...»

«С чего ее начинать?.. С кем? Тут все чистенькие, спокойные, все по полочкам. Ничего не было, учись, работай, как ты говоришь: начинай жить... Сестра, на два года младше, меня не стесняется, выходит утром в чем мама родила... А я их видел — понятно? И чистеньких, и грязненьких, и как сами ложатся, только живой оставь... Взял двоих, мне одной мало. Одна с нашего двора, я, говорит, тебя ждала. Дождалась, поехали. И кентовку прихватила. Вечером в кабак, потом взял мотор, таксер говорит: возьмешь в долю? А мне чего, поехали. Мы их за углом разок прижали, гаишник осветил, отбрехались. Давай за город, говорит таксер, только заправлюсь... Подъезжаем к бензоколонке, он вышел оформлять, а моя краля дверь открыла и выскочила. Ловить ее, что ли? Пес с ней, отогнали машину и эту... хором. Машина, теснота, наставили синяков... Я, говорит, не такая. Нам, говорю, любая-всякая сгодится. Стала канючить,

мы ее выкинули. А что ей — убыло? Или она думала, я ее ночью в загс пригласил? Или она по подъездам марксизм-ленинизм изучала?.. На колонке нас засекли, запомнили, у меня с собой бутылка, он пьяный был, когда выходил... В Афгане меня бы никто не взял, не такие брали, а выскакивал... Надо бы пушку привезти, да видишь, домой торопился, папу-маму, сестренку повидать, счастливую жизнь завоевывал. Завоевал. Надо бы там остаться. Любой конец, а я в нем хозяин. А здесь всякая мразь надо мной куражится... Объяснил, успокоился? Или чего добавить?»

«Что с тобой дальше будет, если... слезами не отмоешь...»

«Слезами? Ты, дядя, не про меня. С этапа уйду. Я такое видал, от такого уходил... Чтоб я в этом стаде?.. Меня ничем не удержат, зубами загрызу, а уйду...»

Первые дни я его, вроде не видел, разве всех разглядишь — толпа. А потом смотрю, словно бы два центра в камере: один на первой шконке — Ян и вокруг него, второй у двери: сидят у стены под волчком, набьются, внизу вертухаю ничего не разглядеть. Яша. Лицо рыхлое, желтое, в крупных оспинах, приплюснутый нос, тяжелые черные глаза. Не слишком, скажем, приятный человек. А вокруг всегда народ: он рассказывает, смеется, за кем-то посылает, кто-то к нему бежит — дергает ниточки и вся камера кружится.

Со своей шконки он не слезал, и ели там, «семья» у них, на первый взгляд, самая распоследняя...

Меня с ним познакомил Ян. На третий день.

«Иди к нам, Серый!»

Я на Яшиной шконке, с краю, Яша посредине, поджал ноги.

«Ты, Серый, человек образованный,— сказал Ян,— можешь выдать справку — караимы, кто по национальности?»

«Крымские евреи, они давно в Крыму, с древности».

«Понял?..— засмеялся Ян.— А он говорит, хазары...»

«Может, и смешались с хазарами,— сказал я,— давно дело было, не знаю. А вам зачем?»

«Да он караим! Не хочет к нам, евреям!..»

«А ты был в Крыму?» — спросил меня Яша.

«Был, но... караимов не видел. Там и татар теперь нет. Увезли».

«Куда увезли?» — спросил Яша.

«В Среднюю Азию».

«А там ты был?»

«Не был».

«Какое ж у тебя образование, если нигде не был и ничего не видал? Или у тебя диплом заместо образования?»

«Диплом. Увижу, когда повезут. Сверю с дипломом».

«Не много ты повидаешь. Надо было начинать раньше. Меня с десяти лет возят. Я везде был и все повидал».

«А чего ты из клетки увидел? У нас был на спецу один, его в сорок пятом взяли первый раз, тоже говорил, везде побывал, все видел, а поговорить не о чем».

«А чего ему с тобой говорить — о чем?.. Тебя, к примеру, повезут, ты куда будешь смотреть?»

«В окошко».

«Верно, куда тебе еще глядеть. Много ты в окошко из клетки разглядишь — верхушки у елок. А меня повезут, я на тебя погляжу, а потом буду рассказывать, где был да чего видал».

«Что ж ты у меня разглядишь?»

«Понял?..— Яша повернулся к Яну.— Чего ты его ко мне привел?.. Образованный... Что он против меня?»

«Он за правду сидит,— сказал Ян,— ты аккуратно».

«А мне за что б ни сидел. Чего он знает? Ты хоть когда видал книгу: Библия называется?» — это мне вопрос.

«Видал»,— сказал я.

«Может, читал?»

«Читал».

«Во как! Какие там первые слова?»

«В начале сотворил Бог небо и землю».

«Гляди, верно!.. Сколько там книг, в Библии?»

«Пятьдесят, в Ветхом Завете. А ты меня зачем спрашиваешь?»

«Хочу понять, чего твое образование стоит. Про караимов ты читал... Какие ж они евреи, если их двести лет назад царица Екатерина освободила от еврейских налогов и в рекруты их не брали? А евреев брали».

«Про это не знаю».

«Откуда тебе знать... А почему такая к ним милость, если они, как ты говоришь, евреи?.. Они в Крыму еще до Рождества Христова, понял? Что ж они виноваты, что евреи Христа распяли,— евреи, не караимы!»

«А ты во Христа веруешь?» — спросил я.

«Про все написано,— на мой вопрос Яша никакого внимания не обратил.— И про караимов тоже. Ты прочитал в книжке, а ничего не понял. Как и Библию прочитал, а про что написано, не знаешь. Ян — еврей, а спроси его, читал он Библию?»

«Я по другому делу»,— сказал Ян.

«Думаешь, там история? — продолжал Яша.— Один царь убил другого, зарезал десять тысяч, у другого царя сын увел жену, третьему глаза выкололи, он свою силу на бабу променял... Там не история, не про царей. Там человек и Бог. Один человек, а в нем вся история. Бог смотрит на человека, а человек смотрит на Бога. Один видит Бога, а другой нет. Я гляжу на тебя и все вижу. И как ты Бога на бабу променял, и как сына зарезал, испугался, как бы он у тебя бабу не увел. И как за деньги друга продал... Зачем мне твое образование? И в окошко глядеть не надо. Понял чего?»

«За что ты сидишь, Яша?»

«Пускай у кума болит голова. Тебе зачем?..»

«Ты с ним поаккуратней,— сказал мне вечером Ян.— Не простой мужик. Наверно, блатной, хотя не похож. Не пойму, зачем его к нам кинули? Ни во что не лезет, собрал шоблу и гуляет с ними... Я ему в первый день сказал — хочешь старшим? Я, говорит, тут долго не задержусь, а с кумом лишний раз не надо... Я тоже не долго, они меня выкинут, случайно влетел, убрали старшего, крепкий был мужик, лучше я, думаю, а то мало ли...»

Еще через день я увидел Яшу в другом качестве, он уже не богословствовал. Был в камере малый, Володичка, «наркоша» — неприятный, липкий, шушукался, откровенно-глупо льстивый и надоедливый. Сначала я его видел на шконке у Яши, потом он перекочевал к Яну...

Меня заставила очнуться тишина в камере. Я мусолил Диккенса, а тут вздрогнул от тишины... Яша стоит возле шконки Яна — первый раз при мне оставил свой угол, о чем-то говорит и Володичка тут, белый, даже синий. Яша взмахнул рукой и ребром ладони рубанул Володичку по лицу, кровь хлынула. Ян не шевельнулся. Володичка поднял было руку защититься, а Яша его еще и еще...

«Что это?» — спросил я Виталия Ивановича.

«Не лезь в их дела, ему есть за что. Ходит от шконки к шконке, разносит сплетни. Хотел стравить Яшу с Яном. Темное дело, кум что-то затеял...»

Самый длинный в камере, здоровенный, пудовые красные кулаки, а добродушный — Вася, кликуха у него Малыш. Мы с ним в одной семье, едим на шконке у маленького Олега. Малыш таскает миски, бестолково суетится, над ним потешаются, а он не обижается. «Не иначе тебя, Малыш, за ноги тащили, когда мать рожала, потому и длиный...» — «У меня мамка маленькая,— улыбается Малыш,— а бабку над столом не видно, говорунья, рассказывает, рассказывает...»

Малыш и сам любит рассказывать и все про чудеса: черти, домовые, вещие сны, приметы... Я и не знал, что в Москве остались такие рассказчики. И не сказки — случаи из жизни.

Сидит на Олеговой шконке, вокруг наша *семья*. Малыш говорит, а все слушают, разинув рот.

«Я когда залетел, меня черт толкнул. Утром встал, штаны не успел натянуть, а кастрюлю щей опрокинул. Кто ее свалил? Я и близко не подходил, зачем мне? Бабка сварила, поставила на стол, с краю, я махнул рукой... Да далеко я стоял, как достанешь!.. Здоровая кастрюля, полведра. Бабка говорит: сиди дома, добра не будет, не иначе *он* про тебя чего задумал... Говори, говори, мол. А у нас на заводе получка. Выпили с ребятами, залез в автобус и задремал. Открываю глаза — темно, а ехать рядом, не пойму где едем. Вроде, Кремль, Красная площадь... Что за дела? Мне на шоссе Энтузиастов. Автобус, видать, круг делает... Рядом девушка сидит, птичка, книжку читает. Носик, глазки. Куда едем? — спрашиваю. На меня поглядела и опять в книжку. А глаза у нее, скажу я вам, не поверите — голубые-голубые, аж светятся. Гляжу, щека покраснела. Мы в парк, что ли, едем? — опять спрашиваю. А вам, говорит, куда надо? И голос такой... Сразу видно, не курит и ничего такого не употребляет. Редкая девушка. Где такую найдешь? Не на шоссе Энтузиастов... Я бы вас проводил, говорю, а то темно... Она закраснелась, поднялась, а тут дверь открыли — выскочила. Я за ней. Темно, а я вижу: бежит, стучит каблучками — от Красной площади, мимо «России», к Ногина. У меня ноги длинные, я ее сразу догнал, не придумаю чего спросить, а она в сторону, я за руку, а в руке у ней сумка, дернулась и через улицу, а сумка у меня. Она бежит, я за ней, а навстречу мент. Рванул от него...»

«И про голубые глазки забыл?»

«Напугался, неожиданно выскочил. Он бы меня не догнал, я быстро бегаю, а тут наледь — кастрюля со щами, не зря! Поскользнулся... Он на мне сидит, черт, руки крутит, а у меня морда в крови... Дальше понятно: вынимпли, сумочка, а в сумочке три рубля денег, студенческий билет и книжка. Сразу оформили — хулиганка, первая часть. Она приходит на очную ставку — опознание, моргает глазками и говорит: он ничего плохого не сделал, я сама виновата, от него побежала... А следак давит: по Москве хулиганство, в самом центре, мы его оформили, а вы хулиганов защищаете, преступников. Если боитесь, говорит следак, мы его так упрячем... А она говорит: мне бояться нечего, он выйдет, сам ко мне придет. И адрес дает. Живет на Сретенке. Я, говорит, на суде скажу, он ни в чем не виноват, зачем его держите? И книгу отдайте, библиотечная. А следак говорит: книгу к делу приобщили, как суд решит, тем более, так себя ведете. Тут она заплакала. Меня, говорит, из библиотеки исключат, я одну потеряла, а эта редкая, не купишь. Я говорю следаку: что ж ты, козел вонючий, над человеком измываешься, тебе не следаком быть, а надзирателем в фашистском концлагере. Отдай книгу, все подпишу, чего хочешь, чего не было... А она говорит: если так, не нужна книга, пускай исключают...»

«Ну ты даешь, Малыш! — Олег блестит очечками.— У тебя... Как это, Серый, называется в литературе: конфликт хорошего с этим, как его...»

«Хорошего с отличным».

«Во-во! — смеется Олег.— Дальше следак вытирает скупую мужскую слезу — это обязательно, открывает дверь и вы — ты да голубые глазки мимо вертухаев, они вам честь отдают, а вы шагаете в загс подавать бумаги...»

«А что думаешь,— сказал Малыш,— выйду, обязательно женюсь. Адрес есть. Она дождется».

«Яну дай адресок,— сказал Олег,— быстро оформит, дождешься...»

«Ты этим не шути,— Малыш сжал кулаки,— я тебе покажу адресок, свой забудешь».

«Какая хоть книга?» — спросил я Малыша.

«Стихи, не то Марина Цветкова, не то...»

«Цветаева,— сказал Олег,— жених, поэзии не знает».

«Может, и Цветаева,— сказал Малыш.— Я не читал. У нее все самое хорошее...»

Плывет камера в оранжевом, багровом свете... Я уже знаю, еще минут десять, луч переломится о решку — и исчезнет. Десять минут! Много это или мало?.. Плывет камера, ее обитатели, мои сожители и я вместе с ними. Куда?.. Еще немного, думаю я, что-то я должен увидеть, узнать — и тогда пойму...

Я закрываю глаза, а когда открываю — луча нет, мертвый «дневной свет» обнажает загаженное пространство, серые тела моих сожителей, братьев... Смрад еще гуще.

Ничего я не могу понять. Кто они, где мы и *что* это с *нами*?!

18

— ...Пожил мужик, ничего не скажешь, в свое удовольствие. Молоток!

— Правду говорят, в станице у него трехэтажный дом, проходная и вертухай у входа?

— Вертухай-не вертухай, а капитан из органов. Никого не пускал, хоть секретарь обкома на черной «Волге».

— А если он бабу ждет?

— Капитан сам приведет, только скажи...

— Во дает! И пил, говорят, ящиками возили...

— У него катер под парами, мотор греется, хоть ночью — и поехали по всему тихому Дону, а там и бабы, и коньяк...

— Он что хотел, имел! У меня дружок в Ростове, рассказывал. Он, как помер, двум внукам оставил по «двадцать четверке», а третьему — «Ладу» экспортную...

— За что ж третьего обидел?

— Хрен его знает, может, с его матерью не поделили.

— Умел жить, мне бы так! Да разве дадут, схарчат...

— К нему из Москвы один ездил — из министерства или писатель, а он его не любил. Тот приедет, а у него запой, неделю пил, когда начинал. Капитан докладывает: у ворот. А он кричит: «В будку его, суку!» Капитан говорит: «Будьте, мол, любезны, товарищ писатель, в будочку...» Отказаться нельзя, больше не пустит. А в будке кобелина, московская сторожевая. Залазит к нему и ждет, пока оттуда не пригласят...

— Неужель писатель?

— Имел он их! У него этих денег, всех мог купить, каждый год книги, на всех языках, по всему миру, одних премий, говорят, на миллионы... Он ему за будку столько отвалит, сам бы залез...

— Ну молодец! Пожил...

— А еще рассказывали, он в карты любитель.

— Во что ж играл — в преф, в очко?

— В дурака подкидного. Или в эту... пьяницу.

— Да ты что? Какие ж ставки?

— Не в ставках дело, не в игре — там столик хитрый...

— Какой столик?

— Обыкновенный, ломберный.

— Ну и что?

— Приезжает, к примеру, из Москвы или из Ростова чин в больших погонах, писатель или еще кто. Встретил, выпили, поели. А теперь, хозяин говорит, сыграем. Да я не играю. А у нас простая игра, народная, детская — в дурачки, без интереса. Надо уважить хозяина, будет рассказывать, у кого был, что делал. Сам садится с женой, карты свои, ему известные... Да никто и не старается выиграть, жалко, что ли, когда без интереса! А проигрался — под стол.

— Ну и что такого?

— Я говорю — столик хитрый. Снизу, в столешницу, забиты гвозди, без шляпок. Залезешь под стол, вылезешь — лысина в кровище. А Шолохов: «Ха да ха-ха!» Жаловаться будешь?

— Силен! Умел и нахапать и пожить!..

И тут я не выдерживаю... Второй день, как появились статьи в газетах о юбилее великого писателя, вся камера обсуждает: «Как жил человек!» Меня мутит, кручусь на шконке, заползаю в матрасовку, заткну уши — *не могу*!

Выпутываюсь из матрасовки:

— Про кого вы балаболите — свинья, не понятно? Русский писатель? Ты из Ростова, как там живут люди?..

— Да пусть подыхают, ежели мозгов нету!

— Кто вы такие! — кричу я, себя не помню.— Чем вы тех лучше, кто за решкой, с той стороны? Не потому, что у вас статьи, это суд решает, у вас мозги, как у вертухаев! Отца-матери не было, в крапиве вас нашли? В коллективизацию, когда миллионы пухли от голода, деревнями подыхали, а другие миллионы в Сибирь, на верную смерть, он им — «Поднятую целину», а за нее миллионы в карман? А вас катают, как скот, еще не то будет — он хоть кого защитил, хоть раз сказал слово — великий писатель! А за то, что молчит — коньяк, бабы, катер, «двадцать четверки»! Кем восхищаетесь? Да мне и слушать стыдно...

— Ты что, Серый, опух с горя?..

— Это он за то, что «Тихий Дон» белый офицер написал! Офицера к стенке, а ему навар! Гуляй, рванина!..

— Да не про деньги!..— кричу.— Он русский писатель! Пусть бы семечками торговал, презервативами, водкой бы спекулировал — хрен с ним, не жалко, своя совесть, свой суд будет! Но он совестью торговал, за ложь получал, за молчание, а других убивали...

— Ты серьезно, Серый, или дурака косишь? — это Ян.

— За вас стыдно. За себя, что живу с вами, ем вместе! Если тюрьма не научила, чем вас учить?..

— Замолчи, Вадим...— Виталий Иванович дергает меня за руку.— Ложись, хватит... Ты в тюрьме, не на пьянке. На зоне сразу схватишь срок, не выйдешь...

— ...Скучно мне, Серый, мне везде скучно.

— Это как?

— Да так. Я, думаешь, почему тут оказался? Со скуки. Ну, особенно не лез, не напрашивался, но мог бы и выскочить. Кололся. Не торговал, как этот... Наркоша. Мне деваться было некуда, понимаешь? Они тут... Да ты слышишь: пьянка, бабы,деньги — о чем еще разговор? Может, и я такой — но мне скучно, понимаешь? Дай, думаю, попробую колоться — мозги крутит, мог бы и заторчать... А потом тюрьма. Я про нее много читал, но то книги, а где такое увидишь, пока сам не залетишь, верно? А месяца через три... Разве тут другое! Ты кричал: «Тюрьма научит!..» А чему она меня научит?..

Небольшого росточка, очочки поблескивают, лицо еще детское, припухлое. Он сразу ко мне прилип, как я вошел в камеру, и уже не отставал. Первый, кого здесь увидел и сразу уговорил в «семью»... А зачем? И мне не надо, сам сказал — «ребятня». Пристал со стихами, я переписал ему в тетрадку Блока, Тютчева, «Гамлета», еще что-то. Я, говорит, хотел тебе показать свои стихи, целую тетрадку исписал, а теперь не буду, куда мне... В камере к нему относились не слишком хорошо, смущал его откровенный интерес ко всем без разбору, но я видел, интерес свой собственный, он искал в людях не то, что могло привлечь внимание кума. Кликуха у него — Князек, наверно, от

имени — Олег. Занятный мальчишка, живой, смешливый, остроумный, начитанный, а тут такой разговор...

— Тебе сколько лет, Князек?

— Девятнадцать.

— Как же может быть скучно?

— Не знаю, Серый, одно и то же. Школа, институт, хотел стихи писать, печататься... Двадцать лет, еще двадцать лет, а потом? Ты, вот, скажи, зачем ты живешь?

— Я в Бога верую, мне известно *зачем*.

— Скажи, когда известно.

— Здесь жизнь временная: двадцать, двадцать — и все.

— А потом?

— А потом жизнь вечная.

— Здесь, как, вроде, в следственном изоляторе, а там вечная зона, без срока?

— Или зона, или жизнь с Богом. Вечно.

— Про зону понятно. А как с Богом... Я в тюрьму полез со скуки и не жалею, на воле я боялся к окну подойти — выпрыгну. А что будет там, с Богом?

— Ты почему стихи любишь, Князек?

— Как тебе сказать... Другой раз смысла не понимаю, особенно когда стихи хорошие. Чем лучше, тем трудней понять. Музыку слышу, а она всегда... грустная, за душу хватает, а светло...

— Верно, похоже на то, что нас ждет *там*. Скуки не может быть. Какая скука, если все, что в тебе есть хорошего, чем слышишь музыку, когда и смысла не понимаешь,— расцветет, а пустота, грязь — уйдут. Ты чистый будешь, летать будешь, Князек!..

— Ты так думаешь?

— Я в это верую.

— Я, как собака, Серый, понимаю, а сказать не могу. Меня что-то держит, не пускает. Да и какая музыка, разве тут стихи — послушай, воют, рычат... Ты сам не выдержал, сорвался, закричал, думаешь — я тебя не понял? А что толку? Ты и на воле так закричал. Тебя посадили. Здесь закричал — дальше потащут, а разве хоть кто услышал?

— Ты услышал, мне достаточно. Кричать не надо, верно. Слабость, но когда возьмет за горло... А что будет дальше, только Бог знает. Как решит, так и будет.

— Выходит, тебе не скучно?

— Мне тебя трудно понять, Олежка... Скука от чего?.. От пустоты, а ты, вроде, не пустой малый. У всех бывает, у одного раньше, у другого поздней. Чего от тебя Бог хочет, что Он о тебе решил? Чему хочет научить?.. Наверно, это распущенность, тебе ничего делать неохота. Не только руками, ты и мозгами не хочешь шевелить. Думать лень, потому и скука. Музыку ты способен услышать, а это не каждому дано, а понять, о чем речь,— не можешь. У тебя привычки нет работать, трудиться — верно? А чтоб понять себя, услышать в себе Бога... Это труд до пота. До кровавого пота... К другим лезешь, а что ты сможешь понять, если себя не знаешь? Попробуй разобраться, понять себя? Скучать уж точно времени не останется. Я думаю, это грех, такая... расслабленность. Так ты, и правда, в окошко выпрыгнешь, сдуру, а что потом?..

— А что потом?

— Вечная зона. А тебе предлагают — вечную жизнь.

— Вон как?.. Слушай, Серый, я тебя зря к нам в семью затащил, тебе за дубком было б лучше...

— Какая разница, я тут едва ли задержусь.

— Учти, на тебя глаз положили, меня спрашивали, как бы с тобой сойтись... Через меня.

— Кто спрашивал?

— Стас. А выходит, я виноват. Подставил тебя...

На нижних шконках темновато, забираешься, и верно, как в пещеру, глядишь оттуда на толкотню в проходах между шконками и дубком — тусовка. Никогда не кончается, ни днем, ни ночью — кто-то, куда-то, зачем-то... В глазах рябит. И в «семье» поднадоело: Олег и Малыш, с ними хоть поговорить, им и нужен; еще трое совсем чужие: один по хулиганке, сам ли к кому полез или его зацепили, разное говорит, не поймешь, где правда. Дима. Сидит четвертый месяц, по матери скучает: «Придет с работы, кассиршей в магазине, сядет у телевизора, не включает, пока меня нет, и чаю не согреет, ждет, хоть до полночи...» Второй — Толяня, полгода здесь, история вовсе нелепая. Залетел после работы в пивную, кружку успеть, уже закрывают, народ выходит, а он пробивается к стойке. «Все! — кричит буфетчица.— Гони его, отпускать не буду!..» Два ее прихлебателя выбросили Толяню и по шее добавили. Возле дома было, его там все знают, пошумел, а куда деваться, пошел домой. Здоровые лбы, лучше не связываться. А через пять дней за ним приехали, надели наручники и увезли. На Петровку. Обвинение в убийстве. В другом районе, и не был там никогда, пьяная драка в пивной, проломили мужику голову кружкой, милиция приехала — концов не найти. А найти надо — в Москве, средь бела дня убийство. Не шутка. Подвернулся Толяня. В пивной был — был, драка была — была... Нет, мол, не было драки, выбросили меня и все... Тебя, мол, выбросили, а ты человека убил... Месяц на Петровке — и в тюрьму, оформили. Приходит адвокат закрывать 201-ю: ты, говоришь, возле дома было, ты где живешь? В Лефортове, возле церкви пивная... Но убийство на Масловке, ты был там? Я им говорил, они не слушают... Адвокат попался неуступчивый, завелся, дело отправили на доследование еще до суда, но Толяня уже никому и ни во что не верит, лежит целые дни, едва уговоришь поесть...

Третий — Стас... При мне больше молчит, но вижу, именно он старший в семье. Вторая ходка, отбывал где-то на Урале, в камере недели на две раньше меня. Худощавый, чернявый, когда сидит, и то чувствуется скрытая, раскручивающаяся сила. Сдержан, ни во что не лезет, ни с кем, кроме своих семейных, приглядывается. Но — никак не молчун. Как-то подошел, он рассказывал ребятам о зоне — такие байки, куда Зиновию Львовичу, тот, верно, ретро, а этот... Этот был лабухом в кафе «Лира», на Пушкинской. Всего полгода погулял...

— Ты, Серый, вместе с Борей Бедаревым на спецу? — спрашивает Стас.

Во как, думаю, в лоб, без подходов.

— Был у нас такой,— говорю.

— Я его знаю, полгода назад на общаке, на третьем этаже. Потом он косанул в больничку и на спец... Кенты с ним?

— А чего ты спрашиваешь?

— Я на тебя гляжу, худо тебе придется. Надо обратно на спец. Да не на спец, на волю...

— А что ты за меня переживаешь?

— Мужик ты хороший, не для тюрьмы.

— А кто для тюрьмы?

— Я про тебя говорю, чего дергаешься? Ты знаешь, что у Бори баба на больничке?

— Откуда мне знать, я там не был.

— Не простая баба, она тут всем крутит, все может.

— А мне-то что?

— Боря хочет тебя вытащить, понял?

— А ты откуда знаешь?

— Ты, Серый, мужик хороший, а сопляк против меня. Об том не спрашивают — как, откуда... У Бори денег — море.

— Каких денег?

— Бумажных. Ты видал его тетрадку?

— Какую тетрадку?

— Толстую, где у него письма? От старшей сестры?

— Не знаю,— говорю,— тут у всех тетрадки.

— У него в переплете заныканы, по полстольника. Больничку они купили, тебя через день-другой вызовет врач. У тебя астма, так?.. Лето придет, ты тут крякнешь.

— Я не пойму, Стас, чего у тебя о том болит голова?

— Я дело говорю. Давай ксиву для Бори, ждет от тебя. Все будет в ажуре.

Не могу понять — примитив всегда сбивает с толку.

— Напиши, чего сам хочешь,— говорит Стас,— на спец или сразу на волю?

— Ты меня, Стас, за мальчика держишь?

— Я тебе говорю, а ты решай. Не стал бы, когда б не знал. На спец они тебя, считай, вытащили, но этими деньгами они кого хочешь купят, хоть кума. За тобой слово.

— Подкоп сделают? — спрашиваю.

— В дверь уйдешь. С вещами. Пообещай: больше, мол, писать книги не буду. Что хотел, все написал. Чего тебе стóит?

— И за это еще деньги платить — Борины?

— А ты на волю не хочешь?

— Я, Стас, спать хочу, ты не заметил, я после подогрева в матрасовку — и на воле.

— Может, ты на амнистию рассчитываешь? — говорит Стас.— Зря, Серый, не про таких, как ты...

Вязкая бессмыслица... Она страшней всего, потому что глупа, нет в ней ни логики, ни резона — зачем он завел со мной этот разговор? Неужто рассчитывал, что клюну на такого червячка? Передам ксиву и они мени, а заодно и Борю... Зачем? Но и в такой бессмыслице, чернухе — должен быть хоть какой-то смысл, своя логика: кто-то задумал обо мне, где-то назвали мое имя, перекладывают мою карточку с одного стола на другой... А что происходит с Борей?.. Я уже стал забывать о нем: исчез, канул, как остальные... Нет, тут будет иначе, чувствую, сюжет не закончился, отыграется, не зря

заверчен, должно аукнуться — самое глубокое и сложное переживание в тюрьме, самые странные, особые отношения...

Деньги — это бред, глупость, дешевка. Быть не может у него денег, откуда? Да и кого можно купить в тюрьме — пачку чая у вертухая, сигареты, бутылку водки? Больше не купишь — зачем такая дешевка? Ошеломить, запутать, запугать?.. Что же правда в таком диком разговоре?..

Амнистия, думаю я, вот она правда. А ведь бросил вскользь, в самом конце, между прочим... Они уже знают, администрация знает, *кум знает*, им должны сообщать заранее, чтоб успели подготовиться... Неужто — *меня?* И я вспоминаю, что слышал за эти месяцы: Пахом, комиссар, кто-то еще и еще... А вдруг, верно — меня?.. Если по логике, по здравому смыслу, пускай для понта, чтоб купить, запутать, сбить общественное мнение — у нас и на западе? Восстановление справедливости, изживание произвола, нарушений законности... Мы говорили, все молчали, а сейчас начинают — в газетах, по радио, пусть робко, вполголоса, но начали! Что ж, самое оно — нас... По справедливости, думаю я, пусть имитируя справедливость, по политическому расчету — разве нет тут логики? А вдруг хочет... добра?.. Нет, скорей, как в «Борисе Годунове»: «Я ныне должен был восстановить опалы, казни — можешь их отменить, тебя благословят, как твоего благословили дядю...»

Амнистия должна быть вот-вот, думаю я, не сегодня-завтра... Об этом и разговор, для того и начал, в том и цель. Завтра амнистия, а сегодня я отдам ему для Бори ксиву — и меня потащут дальше, будут смеяться в лицо: что ж ты, Полухин, себе добра не захотел, поторопился, пошел бы на волю, а теперь болело, тюрьму захотел купить, вот тебе новое дело, не отмоешься — взятка, сто семьдесят третья, пусть попробуют тебя защищать, один раз купили с дружком больничку, первая часть, второй раз на волю, вторая часть — с восьми лет до расстрела! Напиши, не будь дураком, лохом, не отказывайся, кому нужна твоя принципиальность, она только глупость, никто не узнает, не буду, мол, больше — и уйдешь на волю...

Не выпустят, думаю я, ни за что не выпустят, амнистии не может не быть, а меня замотают, затаили, следовательша озлилась, с Аликом сорвалось — озлели. Или Боря — сам запутался, меня путает, а на него у кума зуб...

Вязкая черная жижа заливает глаза, разум, и барахтаюсь в своих выкладках, соображениях, забыл с чего начал, в моих рассуждениях тоже нет ни логики, ни здравого смысла, я снова и снова прокручиваю разговор со Стасом, в нем совсем ничего нет, кроме наглой глупости, но тем он и страшен — бессмыслицей, тем и безнадежен, что не понять зачем, а значит... Что же *они* задумали?...

— Слышь, Вадим — *слышишь*?!

Поднимаюсь на шконке, сразу не выпутаться из матрасовки... Рядом Виталий Иванович, высунулся в проход, глядит на дверь, а там толпа колышется под репродуктором...

— Да тихо вы, суки! Не слыхать!!

— Что там, Виталий Иваныч?

Не отвечает... Толпа начинает расходиться.

— Отговорили!.. Завтра утром...

— Да ничего там не было!

— Как не было — статьи перечисляли...

— Лапша, мозги крутят...

— Доживем до завтра, услышим!

— Завтра пиво пить!

— С воблой...

Виталий Иванович оборачивается, глаза блестят:

— Амнистия, Вадим, сегодня в суде говорили, но никто толком не знал. Сегодня-завтра. Выходит, объявили...

— А что говорят, Виталий Иваныч?

— Никто ничего не знает, говорят, самая большая за все время — юбилей Победы! Как тридцать лет назад — помнишь, когда Сталин крякнул...

Никто в камере не спал этой ночью, когда утром я вылез из матросовки, все так и сидели, в тех самых позах. А я почему спал?.. Надоело, слишком много, перенапрягся — да пошли они все! Но первая мысль, когда открыл глаза — сегодня! Спал, ни о чем не думал, но крутился в голове рассказ Василия Трофимыча: вызвали с вещами — а ведь тоже не верил, не надеялся! И в отстойник, в бокс, курил сигарету за сигаретой, вывели, выдали справку для бесплатного проезда в транспорте... Открыли дверь и... Я выхожу — *выхожу!* Ночь, темно, иду переулками, не был тут никогда, не знаю в какую сторону, лучше не спрашивать, мало ли что — вернут! Иду прямо, во-он свет блеснул — улица... Может, взять машину, дома расплачусь?.. Сначала в церковь, таксер подождет, войти, поставить свечечку, упасть перед Распятием, встречу кого, расплачусь с таксером или до дома... Какой таксер, церковь, ночью выпустят, все закрыто, проплутаю переулками до утра, до метро, достану справку, а контролерша посмотрит на меня: «Не надо справки, проходи, вижу откуда!..» И вот я в метро...

И в камере о том же, видать, всю ночь о том же:

— Что ж они, сразу всех?

— Всех нельзя. Если сразу изо всех тюрем — что ты, сколько тыщ, разве выпустят, побоятся! В первый день мы такое натворим...

— У них прав нет держать после амнистии!

— По статьям, по категориям...

— Пять лет назад, к шестидесятилетию была, перегнали в отстойники, держали две недели, а жрать не давали. Тюрьма сняла с довольствия — кто будет кормить?

— Мы бы двери вышибли!

— Ладно брехать... В ту амнистию никто не ушел.

— В ту не ушел, а сейчас — всех. Ему нужно, этому... Власть взял, надо показать себя! А как лучше показать — для народа?

— Какой народ, дура! Они про нас думать забыли!

— Верно! Он себя покажет... Перетравит нас этим... дустом — и по новой... Справедливость, законность!..

Я уже наслушался, еще на спецу — Боря, Пахом, Андрюха... Перетирали эту тему до тошноты. Отмахивался, не хотел слушать, знал, не для меня, а тут чувствую — *завели! Их*-то не выпустят, думаю я, зря надеются, зачем *они*, давно про них позабыли, а вот *меня*... И по справедливости, и для понта, и для престижа, и для политики, и в традиции, по «Борису Годунову» — прочли ему, подсказали: «Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды, теперь ослабь, из рук не выпуская...» Сходится!..

Радио молчит. В последних известиях — ни слова, в обзоре газет — ничего...

— Виталий Иваныч, может, не было, спутали?

— Было, Вадим, сам слышал...

Стучит кормушка, бросили пачку газет. Кидаются, хватают, где мои «Известия»?.. Вон они, в чьих-то руках...

— Читай, сука! Не грамотный, что ли, читай!

— Серому отдайте, его газета...

Строчки прыгают в глазах, вот она... Маленькая статейка, две колонки... А что много писать, если всех! Отпустить и весь разговор!... Ничего не пойму...

— Читай, читай вслух!..

Читаю, не могу врубиться в смысл, убегает, общие слова... Пошли номера статей, знакомые, чужие... Как петлю набрасывают, вытащил ногу, только руку выпутал, а нога в другой петле, снова ногу высвободил, теперь руку повязали, а тут сверху накидывают, за горло... Вот она, моя статья!.. «Кроме...» *Кроме*!

— Ты что, Серый, давай читай!

— Читай сам, не хочу...

Рядом со мной — Генка Барсуков, пришел из моей из сто шестнадцатой хаты, самый мерзкий в камере — акробат из госцирка, клеил девочек у центрального телеграфа, предлагал номер в цирковой программе, отвозил в однокомнатную квартиру без телефона в Орехово-Борисове, в ванной для них цирковая юбочка, прозрачная, из ванны поочередно, а он отбирает — годится — не годится... Пятнадцать «картинок» в деле. Это Генка порвал протокол у следователя, оболгали его, добавили две «картинки», каких не было. Вернулся из карцера — страшный, оброс за десять суток, втянуло, руки дрожат, а так здоровенный малый, жилистый, каждое утро перед завтраком ходит на руках вокруг дубка... Я на него смотреть не мог, не мог преодолеть гадливость, не отвечал, отворачивался. Сейчас он рядом, держит мою газету грязными лапами...

Кладу ему голову на плечо, закрываю глаза...

— Ты что, Серый?.. — поднял небритую рожу от газеты.

Вот оно братство, думаю, оно не в общем деле, не в общих заботах, радостях-печалях, тут подороже — общность судьбы, какая разница, кто из нас хуже-лучше, кто разберет...

— Ну, отпустили?

— Дождались!

— Во суки?!

— А ты думал — чего тебе?

— Да у нас в камере никто не выйдет?

— Захотел! Когда было, чтоб отпускали!..

— Коммуняки!..

— Пошли они со своей газетой!..

— Амнистия!..

У Генки вырвали газету, рвут в клочья, топчут ногами...

— И ветеранов не выпустят? Хрен с нами, но — ветеранов!

— Ну гады, подождите, я с вами посчитаюсь!..

— Резать их, жечь! По-гу-ляем!..

— Что с тобой, Серый? Неужели верил, отпустят?

— Завели, бес поймал. Хуже нет, когда ловишься на такую дешевку, за себя стыдно...

— Забудь. Тебе, я гляжу, скучно в семье, переходи за дубок?..

Сидим у Олега, его шконка возле окна, против Яна, по другую сторону дубка. Он мне сразу понравился, но я уже боюсь людей и первому чувству перестал верить. Ничего в людях не понимаю. Боюсь говорить с ним, так он мне нравится... Густая шапка русых волос, носатый — грузин из Сухуми. Был барменом в московском ресторане, в Москве у него жена, квартира, а все остальное в Сухуми. Кликуха у него — Князь. Тот Олег — Князек, а этот — Князь. Веселый, легкий человек, на себя не тянет.

— Выйдешь,— говорит,— увезу тебя в Сухуми. Отойдешь, все забудешь, я тебя так спрячу, никто не найдет.

— В горах, что ли?

— Зачем в горах, и море будет рядом, и речка, а никто не найдет. Хочешь — пиши, живи, как хочешь.

— Запомни мой адрес, Олег, выйду-не выйду, а к моим придешь, расскажешь.

— Если тебя не будет, племянника увезу. У меня яхта, пусть ходит под парусом. А выйдешь, уйдем в Турцию.

— Нет,— говорю,— здесь интересней. Где такое увидишь?.. Зачем они нам и мы им — зачем?

— Так думаешь?

— Я так живу. Долгов много. Надо рассчитаться.

— Тогда выйдешь. Если долги не отдал, надо выходить. Не на племянника их вешать?

— Верно,— говорю,— мои долги на мне. Вот у меня и дело на всю оставшуюся жизнь — рассчитываться.

— Нормально, Серый,— говорит Олег,— когда так решил, ничего с тобой не сделают. Когда человек хочет отдать долги, он их отдаст. Перейдешь за дубок?

— Перед ребятами неудобно и... Стас подумает...

— Плюнь, я на себя беру. Поговорю, они у меня не пикнут. А Стас... Попомни мое слово, он у нас будет за старшего. Увидишь, недолго осталось. Я за ним давно замечаю... Яна уберут, он им не годится: когда нам хорошо — им всегда невыгодно. Вот и будем вместе, а в случае чего, и выкинут вместе. Вдвоем всегда веселей. Договорились?..

19

...Я больше не могу, у меня нет сил, их много, а я один, я путаюсь и сбиваюсь, не могу вместить, мне не хватает, пошло через край, хлынуло из ушей, изо рта, из носа, в глазах мелькает, кружится, звенит... Кто они, что в них, что происходит с ними, с каждым из них — *кто* они и *кто* я? Я *не могу больше!*

Господи, думаю я, прости и помилуй меня, грешнаго... Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуя мя... Отче наш, думаю я, у меня ничего нет, кроме Тебя, у нас ничего нет, кроме Тебя. Я прошу Тебя, Господи, я умоляю Тебя, Боже мой, о всех о нас, и о тех, кто помнит о Тебе, и о тех, кто забыл о Тебе, и о тех, кто Тебя не знает, не хочет знать — но и у них больше ничего нет, больше никого нет, а то, что есть, на что они рассчитывают, надеются, их только погубит...

Иже еси на небесех, думаю я. Ты рядом, Господи, Твои небеса близко — они здесь, в этой страшной камере. Ты дал мне возможность об этом узнать, ощутить, почувствовать Тебя рядом, для того я, по милости Твоей, и попал сюда, я это знаю, понял — Ты всегда здесь, всегда рядом. Ты вырвал меня из мира, которому у меня не было сил сопротивляться. Ты знал это лучше меня и решил за меня.

Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, думаю я. Как только я произношу Твое Святое Имя грешными устами, я слышу Тебя, Господи, Твое Имя в каждом из нас, стоит только забыть себя, о себе, увидеть Тебя в другом. Я помню, как Ты шел ко мне из алтаря, ступив легкой ногой на облако, плыл в голубовато-золотистом свете. И с тех пор Ты со мной, Господи, Ты не оставил меня. Ты всегда рядом, знаю, чувствую, понимаю — Твое Царство и здесь, в смраде и ужасе этой камеры.

Да будет воля Твоя, Господи, яко на небеси и на земли. Земля стоит только небесами, Господи, только Твоя воля держит весь мир и нас грешных и недостойных, не дает нам пропасть. Но если Ты захочешь, Господи, поможешь, коснешься нас, мы сможем подняться... Сам я ничего не могу, только с Тобой, только Тобой, Господи, Боже мой!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь, Господи. Пайку, которую Ты даешь нам — мы им за нее ничего не должны, власти не должны, тюрьме не должны, это Твоя милость, Господи, Твой хлеб, и с Твоей помощью, с Твоей благодатью он станет для нас хлебом насущным, Твоей милостью станет нам причастием Тела Твоего, Господи. Если мы принесем покаяние, если сможем понять — и не разумом, всею кровью, сердцем, всем составом естества, что мы ничто без Тебя, что у нас не достанет сил — ни у самых сильных, ни у самых мужественных, ни у самых жизнестойких. Ничего не сможем, если Ты не дашь нам Своей небесной силы, хлеба насущного, осознания своего ничтожества и греха, нас съевшего.

Остави нам долги наши, Господи, яко же и мы оставляем должником нашим... Прости нам, Господи, наши долги, наш грех пред Именем Твоим Святым, перед людьми, в которых мы забыли Твое Имя, прости и помилуй, Господи, научи нас, научи меня, Господи, оставить должником все, что они мне должны! Я и сейчас, и здесь, трепыхаясь в Твоей Руке, грешу и грешу судом над другими, свожу счеты, Господи — помоги и помилуй меня, ради покаяния моего...

И не введи нас во искушение... У меня нет сил, Господи, и не выстою пред искушением, снова паду, если Ты не поддержишь, не спасешь меня, если попустишь врагу рода человеческого снова и снова играть со мной... Я слишком легкая добыча для него, я не могу без Тебя, ничего не смогу без Тебя. Избави меня от лукавого, Господи, запрети ему, я весь пред Тобою, Ты знаешь меня лучше меня самого и у меня ничего нет без Тебя...

Вот мой последний грех, Господи, он и здесь мучает меня, нераскаянный грех, помоги мне избавиться от него... Разве можно ненавидеть *имя*, думаю я, разве можно, столько узнав о себе и своем недостоинстве, поняв всю меру собственного греха и своего долга перед человеком, в котором я не увидел Бога — продолжать множить свой собственный грех длящейся ненавистью, обидой, сведением счетов с несчастным, не знающим о Тебе?.. Ему еще хуже, Господи, я должен ему сострадать, его понять, хотя бы перестать его ненавидеть! Научи меня любить того, кого я так ненавижу! Прости и помилуй меня за все, Господи...

Имя, думаю я... Разве *имя*, то, которым я про себя называю его, повторяя, твержу запекшимися от ненависти губами, разве это *его* имя? Детское прозвище, сокращение, кличка, кликуха. У него есть подлинное, нареченное при рождении, пред которым я... Как же я забыл, как мог забыть!.. И я вспоминаю все, что знаю, собираю по крупицам,— из прочитанного, услышанного — и *он* возникает передо мной: юноша, воин на белом коне, Ангел небесный с копьем в руке и ноги коня попирают змия... «Господи Боже мой!..— вспоминаю я слова молитвы того, кто на три дня был брошен в ров с негашеной известью, после колесования, перед тем, как обули его в сапоги с раскаленными гвоздями, перед чудом воскрешения им мертвеца из гроба, перед...— Господи Боже мой! — сказал юноша-воин посреди истязаний.— Услышь молитву раба Твоего, призри на меня и помилуй меня. Избавь меня от потворств супротивного и дай мне соблюсти до конца моей жизни исповедание имени Твоего Святого. Не оставь меня, Владыко, за мои грехи, чтобы не сказали мои враги: „Где Бог его?..“».

Святый отче Георгий, моли Бога о нас, о мне недостойном, окаянном и грешном...

Окончание следует

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

♦♦♦

Безумен март, неблагостен апрель,
Обманчив март, и лето у порога.
И город, севший, как корабль, на мель,
Заполнен неуютом и тревогой.

Вздохнули полной грудью паруса,
Но тщетны приказанья и указы.
«Руби канаты! С нами небеса!» —
Безумен март, сказавший эту фразу,

Неблагостен апрель, обманчив май...
Что позади? Что впереди? Кто рядом?
Нелепая бесснежная зима,
Прекрасные разбитые дома,
Санкт-Петербург,
не ставший Ленинградом.

♦♦♦

Поедем в балаган
К приятелям-актерам!
Там будут рады нам —
Незваным визитерам,

Там пыльную луну
Помоют и покрасят,
Гитарную струну
Заденут и погасят.

Поедем в балаган,
Скорей, моя отрада!
Без девушек и дам —
Им знать о том не надо,

Что трагик был хорош,
Но чуть провинциален,
Что прожит год, как грош,
И так же нереален,

Что вечность под залог
Берет всего минуту,
Что чей-то потолок —
Всего лишь пол кому-то...

Поедем в балаган!
А может быть, не стоит.
Кто этот шум и гам
Залечит, успокоит?..

♦♦♦

Космополиты, началась весна!
Ликуйте — наступило ваше время!
Земля одна, как родина одна,
И нет границ меж этими и теми.

Как никогда просторны небеса —
Для всех найдутся райские местечки!
Запомните друг друга голоса,
Запомните любимые словечки,

Чтобы нотом у узоети в плену,
По прошлому скупую справив тризну,
Вы вспомнили единую весну,
Замуровавшись в личную отчизну.

♦♦♦

Еще не зажигают фонари,
Укрытые тумана серой пленкой,
И поезда срываются на крик,
Уставшие от бесконечной гонки,

Еще от солнца тянется тепло,
Идет война между плащом и шубой,
Но ледяное крошится стекло
И после поцелуя мерзнут губы.

И осень, как последняя княжна
В богатом разорившемся поместье,
Зависима, горда, груба, нежна,
Скупа и расточительна — все вместе.

♦♦♦

Не видно осенней повадки,
Но взгляд по-осеннему робкий,
И воздух, мучительно-сладкий,
Морщит паутинная штопка.

От солнца румяные крохи —
Последняя милость, не малость...
Кончается лето на вдохе,
А выдохнуть сил не осталось.

♦♦♦

Площадь Мира, площадь Мира —
Голубиное крыло!
Коммунальная квартира,
Непромытое стекло,

Дом старинный,
Взгляд невинный,
Год короткий,
Вечер длинный.

Олег ЛЕВИТАН

Пригород

На рассвете — в сторону вокзала —
топот ног — идет рабочий люд.
Электричка взвыла и пропала...
Тихо стало. Комары поют.

Полдень. День. В тягучую нирвану
пригород впадает допоздна.
Дети. Бабки. Разговор про Анну,
что гулять от мужа не должна.

Скушно слушать их и неприятно...
Вот уж и вечерняя заря.
Вот уж и потопали обратно —
грузчики,
монтеры, слесаря,
сварщики, литейщики...
Не скоро
стихнут их тяжелые шаги.
И меж ними — поступь Командора...
Анна, Анна, жизнь побереги!

Анна, Анна, лишь в одном спасенье,
если твой постылый Командор
в магазине местном настроенье
приподымет вот до этих пор!

Но и там для пущего серьеза —
лишь кефир, да хек, да пирожки
и ни капли винного привоза...
— Хватит пить, бросайте, мужики! —

Ухмыльнутся: «Значит, жить,
как людям?
И не пить? — и хмурится чело.—
Ну не будем, бросим, позабудем,
позабыли, дальше-то чего?..»

И сокрыт ответ в таком тумане,
что, толкнув ногою дверь в жилье,
трезвый Командор подходит к Анне —
долго-долго смотрит на нее...

♦♦♦

Входит мичман отставной.
Для чего — понять не сложно.
Сядет с водкой предо мной,
а потом уж спросит: — Можно?

Много мне по вечерам
наболтал басок негромкий —
как ходил он по морям
на подлодках в «автономке»,

как мечтал домой, к семье,
как, вернувшись, пил со скуки,
как на северной земле
нес он службу при науие,

там, где атом в полный рост
(но, чтоб я молчок об этом!)
валивал на сотни верст
снежный север мертвым светом...

Три семьи переменил.
Наплодил детей по свету...
Много надобно чернил
описать планиду эту.

Полстолетья за спиной!
Подливай в стакан да слушай!
Вот сидит он предо мной
с папироскою потухшей.

Всюду полный отставник —
хоть всю жизнь начни по новой...
Колет чурки истопник
для детсадовской столовой.

Всем готовый за вином
сбегать, всем внушает жалость...
Может, это так на нем
радиация сказалась?

Может, службой, как лимон,
выжат, жизнью брошен с краю —
зря служил прилежно он,
жил напрасно? Нет, не знаю.

Да и знать на кой мне черт!
Всех нас век не скупо тратит.
Запишите в общий счет —
пусть Грядущее оплатит...

Прощание с собакой

Отдыхающий гладит собаку — она
уж с неделю к их даче прибилась.
И виляет хвостом. И вниманья полна.
И крыльцо сторожить обучилась.

И уже у нее с конкурентками пря —
в этом счастье ее превеликом
на морском берегу, на краю сентября...
И согласна быть Джеком и Диком.

Отдыхающий знает, что сам виноват,
вот и прячет глаза, вот и гладит —
приласкал, приручил, не прогонишь
назад...
И с тоскою внезапной не сладит.

И с собой не забрать, и на добрых
людей
не оставить — и сердцем смущенным
видит холод и голод, что выпадут ей,
и отстрел перед новым сезоном...

Отдыхающий в горле комок не сглотнет.
Вот и смотрит — не время ли чаю?
Вот и шепчет собаке: — Ты жди,
через год
прилечу, разыщу, обещаю!

И наутро: — Держись, не скучай,—
говорит
и краснеет от собственной фальши.
И собака вослед за машиной бежит —
до окраины самой и дальше...

◆◆◆

Привычка дивная — умение на «вы»
общаться в обществе, где мы свой гонор высим,
а не с начальством лишь, где полон рот халвы
и тыкнуть боязно — мы от него зависим.

Уж не от рабства ли — монголов и татар!—
в наследство взяли мы бесцеремонность эту?
Ишь как мы тыкаем друг другу — млад и стар!
И с хамством маемся, и в спорах толку нету!

А ростом с мальчика лирический поэт —
из лучших нонешних! — взял в правило когда-то
и только выкает. И мы с ним столько лет
на «вы» общаемся, а не запанибрата.

Но ведь и любим же, и ценим, и зовем
солидно — с отчеством! — и нет в нас пиетета,
зато как вежливы, как сдержанны при нем,
как на воспитанность почти похоже это!

А взять хоть Англию — там «ты» не говорят,
нет в языке у них такого обращенья —
и процветают же, и кое-что творят
получше нашего, и стоят восхищенья!

Давайте ж пробовать не преступать черты!
«Большое видится,— Есенин прав, конечно,—
на расстоянии...»— И, значит, слово «ты»
мешает виденью,
а время — быстротечно.

Белла УЛАНОВСКАЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАШГАР

Повесть

Мы ходили походом к восточным горам.
Шицзин

На полностью выгоревшей земле, где, казалось бы, долгое время ничего не может вырасти, иногда можно увидеть странные грибы — прикопченные шляпки на тонких цепких ножках. На их долю выпало жить в местах гибельных, в условиях немыслимых. Эти черненькие несъедобные грибы могут произрастать только на кострищах и по гарям, к другому, благополучному существованию они просто не приспособлены. Поразительная судьба. Целое поколение углелюбивых головешек, выросшее на горькой земле катастрофы, подготавливает почву для последующей жизни.

Мы предприняли эту попытку биографии, не зная, удастся ли довести ее до конца, до предрассветного холода кашгарской городской стены. Мы специально забежали вперед и сказали последнее слово — утро туранской казни, однако писать об этом — все равно, что выращивать помидоры на Севере: мы копаем грядки, высаживаем рассаду, все лето прилежно поливаем свой огород, вот отдельные побеги не прижились и поникли, зато остальные пышно кустятся, дружно цветут, каждый вечер гремят ведра, вьются комары, кричит дергач на ближнем лугу, образуется завязь, мы даже обрываем лишние цветы, жалко, но хватит цвести — надо и честь знать, но уже ясно, что лето не удалось, что даже если и настанут необыкновенные дни, помидорам не нагнать упущенного, а еще заморозки, всегда могут случиться заморозки, давно висят жалкие зеленые плоды, уже месяц, как они не растут, и вот уже все соседи снимают этих начавших подгнивать недоносков, пора и нам собрать эту жалкую поросль — предвидели ли мы неудачное лето, покупая семена и размечая огород? Могли предположить, но надеялись на благоприятные условия — сорт был первоклассный, участок превосходный. Вот только лето подкачало. Будем ли мы выращивать томаты на следующий год? Непременно.

И вот мы, отважные огородники, берем этих каких-никаких, а все же два десятка зеленых заморышей, насухо вытираем, запихиваем в большой валенок и закидываем на печь. Они там дозревают в темноте, розовеют, наливаются и — неужели растут? — а в один прекрасный день, когда и думать-то про них забыли, под самые октябрьские, кто-то про них вспоминает, и они снова являются на свет божий, как первый весенний фрукт.

Но, честное слово, мы не виноваты, что они такие маленькие и бледные, заложено в них было много и сделано все, что в наших силах.

Возможно, я тоже пропустила главное свое время, и теперь наверстать мне будет трудно. Однако мне кажется, что сама судьба столкнула меня с историей и подвигом знаменитой Татьяны Левиной. Да я просто не имею права теперь бросить начатое, теперь, когда у меня сосредоточились все материалы о ней, теперь, когда я знаю и догадываюсь о ней больше, чем кто-либо другой, я не имею права прервать свои занятия. Я медлила с началом работы, потому что мне хотелось передать свои материалы кому-нибудь другому — пусть напишет лучше меня, пусть напишет роман, повесть, пусть просто издаст документы — но ведь некому передать, некому! Некому даже рассказать о ней. Не дослушав, меня перебивают, а-а, ты все еще носишься с этим, да не надоело тебе, и так уже оскомина, неужели мало всей этой шумихи?

Может, изменить имя героини? Тогда можно придумать диалоги, описать путешествия, какими они могли быть, чего стоит, например, какая-нибудь первая любовь, да дайте мне только волю, да я точно знаю, как все было.

Свежезацементированная дорожка «забацал Тютюшкин» — нацарапано навеки, нежная рука приподнимает за подбородок лицо героини; от утраты расстояния какой страшный бесцаетный глаз, важная минута, а тут представился аквариум со стеклянной перегородкой, тычутся две рыбьи морды, таращат друг в друга странно увеличенные водяные глаза, от смущения героиня опускает веки, нельзя нарушать стройность значительной на всю жизнь минуты, и вот героиня возвращается домой, ее ошеломленно счастливое лицо сохраняется всю ночь, утром она притворяется, что спит; наконец все уходят, она тоже плетется к морю, героиня плавает плохо, но заплывает всегда очень далеко; вот сейчас ее почти не видно, где-то там она пробует задеть локтем собственные губы — похоже ли? нет, не похоже, но пора возвращаться. Чтобы уберечь свое лицо, на котором снова и снова разыгрывается вчерашняя минута, она

переворачивается на спину и плывет к берегу, из воды она выходит питясь, все еще лицом к морю.

А чего стоит эта подготовка к первому сентибря, ни с чем не сравнимое покалывание в голых ногах от шерстяного форменного платья и радостная покорная готовность: да, в новом году я буду лучше учиться, да, буду помогать, уважать.

Весело устроить скандал на одной респектабельной свадьбе, как быстро незнакомый захудалый жених, танцуя с ней, начал прижимать ее к себе все крепче, они танцуют все медленнее, вот из комнаты уже почти все ушли, надоевший спутник, который привел ее сюда, не знает, что делать, вдруг он входит, зажигает верхний свет, отзывает жениха, выаодит из комнаты. Гости столпились в коридоре, там, на антресолях, плачет некрасивая опухшая невеста. Но жених берет нашу героиню за руку, ведет в комнату, обнимает, и они снова целуются посреди комнаты. Так всем и надо. За что-то она мстит, сама не знает, за что.

Эта история не вошла, конечно, в ее канонические биографии, но благонравные романисты наши обожают такие вещи. Хотя в последнее время что-то странное происходит с ее именем. Пока я собирала всё новые и новые материалы о жизни Татьяны Левиной, упоминать о ней стало не принято. Имя ее все реже появлялось в газетах, пока полностью не исчезло.

Не будем мы изменять имени героини.

А уж и наворочено вокруг ее имени, будь здоров! Одни родители чего стоят с их выступлениями и встречами с пионерами! Учитесь хорошо, чтобы быть похожими на Татьяну Левину, воспитывайте в себе мужество и героизм; детишки плачут, когда ее ведут по кашгарским улицам, детишки вскидывают гордо головы, их глаза загораются, у всех как у одного развеваются по ветру рыжие волосы, у всех на шее веревочная петля. (Этот рослый рыжий козленок, которого ведут по городу на веревке,— ни одного еврейского лица, ни одного русского лица, ни одного европейского лица.)

Я все время забегаю вперед, чтобы добраться до конца — надо не один пуд соли съесть со своей героиней, но я верю, что мы с ней дойдем до конца с честью. Я все время мучительно возвращаюсь (хотя и забегаю вперед) к мысли о ее последнем часе. Ни одного родного лица — думала ли она об этом?

Да и что это за стремление обставить торжественные минуты дорогими лицами! Мы их собираем на свадьбу, дни рождения, ответственные выступления, прощания с родной. Быть может, нам нужны хроникеры?

Кого она хотела видеть свидетелями своего последнего часа?

И вот теперь я, минуя узы крови, почему-то оказываюсь этим родным лицом.

Значит, именно мне суждено на секунду выставить свою рожу в этой жестковолосой враждебной толпе? Возможно, моя героиня отвернулась бы от меня. Но сейчас бессмысленно говорить об этом, это все равно, что толковать — хотел бы Достоевский или кто другой таких истолкователей — да восстань он из гроба, приди в музей своего имени, да какой железной ногой шуганул бы наш писатель всех нас, собравшихся во имя его, да пройдись он по квартире, которую мы ему с любовью оборудовали, краска стыда заливает наши лица, да кто мы, бедные самозванцы, да прочитай он, чего доброго, все, что мы про него написали, или затеряйся он, ох, больше сил нет, в нашу экскурсию...

Все мы бедные самозванцы, а кого тогда слушать — дочку Любу, мать Зои и Шуры, но только послушать, что они обычно плетут,— уши вянут.

Итак, что требуется от бедного хроникера-самозванца? Немного усердия и расторопность — все же надо много куда поспеть и стараться передать все, что известно о событиях, как можно точнее, я не говорю лучше, тут начинается область лишних соцветий.

ЗВЕРСТВА В КОРЕЕ

Сорок пять черных передников, шерстяных, штапельных и сатиновых благонравно разместились крыло к крылу, четыре яруса. Сатиновые читать не умели, штапельные — их было большинство — справлялись кое-как, зато шерстяные шпарили не разбирая смысла.

Когда фотографирование было закончено, верхние — это были как на подбор рослые двоечницы без воротничков — спрыгнули со скамейки, принесенной из кабинета пения, нижние поднялись с липкого вымазанного темно-красной мастикой пола, из-за стульев выбрался еще один рядок, он получится по подбородок закрытый действующими лицами главного яруса, последней поднялась усаженная по правую руку от учительницы Сироткиной генеральская дочка Сталинка, на ее рукаве красовалась белая повязка с малиновым крестом из шляпного фетра, которую ей сшила мать. Многие мечтали подружиться с ней, считали, что она даже очень хорошенькая, рассказывали, что дома у них очень красиво, есть всякие интересные германские штучки, по

комнатам большой квартиры ходит страшная собака, но она детей не трогает и даже однажды прокатила Сталинку в санках по Баскову, все это видела будто бы длинная Жураева, которая бывала у них и видела самого отца, генерала эм-гэ-бэ, и хотя было смешно смотреть, как она шлепает губами, выговаривая правильно название, никто не отвлекался.

— А если попросить, как ты думаешь, позволит он разок прокатиться?

— Не знаю. Я, например, каталась несколько раз.

На фотографировании длинная Жураева стояла позади Сталинкиного стула и, когда приказывали не двигаться, слышно было, как она, оттопырив нижнюю губу, отчаянно дует вверх на волосину, выбившуюся из косицы.

Обязанности санитарки давали право осмотреть пальцы, шею, ухо, воротничок. Сталинка любила совать нос и в портфели. Все ли там обернуто калькой и нет ли чего постороннего. Интерес к портфелям начался у нее после того, как у одного штапельного передника была обнаружена в парте целая жилая комната с двуспальной кроватью, зеркальным шкафом, перегородками из открыток и капитальной стеной из красивой коробки «Белая ночь».

Что стало с отнятым имуществом — неизвестно, но Сталинке очень хотелось найти еще одну такую комнатку. Но теперь все боялись приносить в школу свои богатства, а может, повзрослели.

Жилье было разрушено, разъято, позорно разложено на учительском столе и потом заперто до тех пор, пока в школу не придут родители.

Все молча построились в затылок и бесшумно направились прочь из парадного зала. Плату за карточки приносить завтра, самая дорогая — коричневая на картоне.

Проснулся я и слышу: собаки тревожно лают...

Дальше надо было писать самим.

Образцовый неизменный почерк учительницы Сироткиной на черной доске, коричневые доски висят только в старших классах и наводят на мысль о чем-то добротном, респектабельном, вроде благородных фотографий сепия, не цветных, какая гадость, а более подобающих нашей знаменитой школе, бывшей женской гимназии, где училась и закончила с золотой медалью жена, друг и верный помощник. Мы ненавидим все пестрое, только черные и коричневые ленты закручиваются на ночь на спинки кроватей, концы их потом выдают боящихся утюга, но это ничто по сравнению с ненавистным голубым или, чего доброго, красным бантом, его неосмотрительную хозяйку могут даже поколотить.

Предложение заканчивается точками. Точек ровно три. Первая точка обыкновенная, ничего особенного, пусть лают, повернись на другой бок и спи, но к ней подсела надоедливая вторая, вот они повернулись друг к другу, неуместно болтают, если бы не третья, они, чего доброго, сговорились бы выкинуть что-нибудь неподобающее, станцевать, например, вульгарные балаболки, но третья зовет их вперед, вдаль, и они перестраиваются в затылок и тащатся куда-то следом за ней, вот ее уже почти не видно, цепь огней в переулке, третий еще можно как-то различить, дальше мрак, метель, волки.

Конечно, все напишут про волка, как он прибежал из леса, подобрался к теплому хлеву, где спали овцы, разрыл соломенную крышу, спрыгнул вниз и потащил теплого ягненка. Дядька вскочил, сдернул с гвоздя ружье, накинул ватник и выскочил на крыльцо. Он увидел белое под луной поле, темный лес вдали и черную точку, которая перемещалась в сторону леса. Он выстрелил вслед, выругался, возвратился в сени, зажег керосиновую лампу и пошел в хлев. Овцы в клетушке тесно сдвинулись и дрожали в углу, кровавый след тянулся по припорошенному снегом полу (надо бы забить щели). Он вынул из кармана краюху хлеба с солью, завалялась со вчерашнего дня, открыл дверцу низкой перегородки и вошел к овцам. Они шарахнулись прочь, затопав мелкими копытцами по промерзшему настилу. В узком оконце блестело обросшее инеем стекло. Где-то на краю деревни продолжали лаять собаки.

Татьяна Левина оглянулась. Все писали. Все прислушивались к лаю собак.

Страшно проснуться ночью на Басковом, и на Короленко, и на Артиллерийском, и на Саперном, где живет кроткая Люся Котова, самый воспитанный, самый интеллигентный, но почему-то шелковый передник, ее воспитывали дедушка и бабушка, она зовет их папой и мамой и ничего не знает про своих настоящих родителей, что с ними случилось, никто не знал, но все знали, что об этом спрашивать Люсю нельзя. Вот она сидит на первой парте в золотых очках и пишет про овечек.

По ночам было слышно, как отрывисто лаяли овчарки, в безлюдных переулках завывал ветер.

— Пап, на кого они лают? Я боюсь.

— Повернись на бок и спи.

— А сюда они не прибегут?

Откуда-то издалека послышалось строевое солдатское пение. Это наши солдаты, они охранят наш сон. Маршировали из некрасовской бани.

Напишу и что-нибудь смелое и героическое,— решила Татьяна Левина.

Вот деверсант. Вот он спустился ночью на парашюте, вот оседает его белый серебристый шар, вот он убегает по убранному картофельному полю от того противного дядьки с ружьем. Хвастливый дядька так и писал: «Я арестовал деверсанта и утром сдал его в мелицию».

После уроков был воспитательский час. Учительница Сироткина рассказывала о зверствах американских империалистов в Корее. Сатиновые, штапельные, шерстяные и один шелковый замерли в сладком ужасе и негодовании. Американцы жгли, загоняли иголки под ногти, отрезали языки и кидали напалм. Потом они сбросили на Корею атомную бомбу.

Звонка с уроков еще не было, а построение уже было произведено, и первый «бэ» чинно спускался по широкой лестнице. Идти нужно было тихо, «чтобы нас никто не слышал», вдоль стенки, затылок в затылок, но в то же время стены не касаться и останавливаться по сигналу на каждой лестничной площадке.

Наконец благонравные девицы добрались до гардероба и выстроились у вольерной решетки раздевалки. Учительницу окружили родители. Она говорила с ними, то и дело оглядываясь. Потом они оделись и разошлись. Осталась только Сталинкина мать, председатель родительского комитета школы.

Татьяна Левина подошла ближе, долго не решалась спросить и, наконец, сказала: «Разве американцы применяли атомную бомбу в Корее?»

— Я бы хотела посмотреть отметки Сталины,— сказала в это время генеральша.

В ожидании матери толстая, уже укутанная Сталинка околачивалась в полутемном вестибюле. Прозвенел звонок с урока. Сверху нарастал шум. Сталинка сделала вид, что читает огромную мемориальную доску с золотыми буквами. Татьяна Левина все еще топталась в недоумении, тут налетели сверху старшие, смелые, отчаянные второклассницы, может, даже из третьего, увидели Сталинку, закричали весело — вот она, вот она! ябеда! — и бросились к ней. Она стрельнула глазами наверх, мамаши видно не было, и вылетела на улицу, беги, Сталинка. Все кинулись за ней. Второй «а» гнался за Сталинкой по Баскову, без пальто, швыряя ей под ноги портфели. Она пробежала вдоль школы и махнула через дорогу — жила она напротив. В это время автобус заворачивал в переулок, все закричали ей, чтобы она остановилась, но она уже была у своей подворотни.

На следующее утро Татьяна Левина брела в школу, волоча тяжелый портфель. Она опоздала. Весь Басков был уже пуст. Под окнами вторых этажей висели траурные флаги. Был день памяти Кирова.

Она шла вдоль длинной кирпичной казармы, думала о Кирове, мальчик из Уржума, заглядывала в окна. Через неплотно запертые ворота, у которых стоял часовой, виден был узкий двор, в глубине его она увидела пушку. Часовой посмотрел ей вслед и сказал: «Ножки — как у рояля». Она удивилась, откуда он знает, что ее учат музыке.

Занятий музыкой она не любила. Кроме отвращения от самих уроков и страха предстоящих концертов обидно было чувствовать проходящую без нее жизнь. Представлялось, что мир делится на тех, кто должен заниматься музыкой и кто обходится без нее. Ей казалось, что почти все из ее класса, со всех знакомых дворов и прочитанных книг были счастливее и свободнее ее. Раз настоящая, грубая, смелая жизнь проходит без нее, она все жаднее вчитывается в описания жизни. Даже в пионерском лагере, несмотря на все просьбы, она никогда не была. Чтение стало запойным («дыши свежим воздухом»,— говорилось ей, когда она выходила из дому в музыкальную школу, вся дорога до следующего подъезда занимала три вдоха).

— Я человек конченный,— думала часто Татьяна Левина,— благонравная жизнь так и протащится нотной папкой по пыли (ей даже нравилось мучить себя этим, нарочно волоча почти по земле ненавистную папку).

Однажды она вдруг брякнула на перемене ужасную вещь, за что всем классом ей был объявлен бойкот. Она почему-то наврала, что ее отцом был писатель Гайдар. Писатель Гайдар погиб за несколько лет до рождения и Татьяны Левиной, и всего первого «бэ». Но никто из ее одноклассниц подсчетами заниматься не стал, они просто молча отошли.

Это странный случай, и тут есть о чем подумать. Заменив собственную жизнь вычитанной, она вломилась прямо в художественную ткань, но, чтобы как-то закрепить переход в эти шаткие области, пришлось обзавестись надежной отцовской рукой.

Да как же язык у нее повернулся сказать такое при живых родителях! Так иные охотничьи собачонки, бросив своих верных хозяев, вдруг уходят с незнакомым гостем, почуяв в нем настоящего охотника.

Около школы уже почти никого не было. Уроки начались. Изо всех сил спешили к дверям незнакомая хромая девочка с матерью. Мать несла ее портфель. Татьяна Левина тоже было побежала, но остановилась, постеснявшись их обогнать и пошла

сзади, жадно разглядывая бедную девочку. Девочка была в шароварах, заправленных в розовые от школьной мастики валенки. Куда они идут, директор Сурепка велела всем ходить в ботинках.

— Не ходите, вас не пустят! — крикнула Татьяна Левина, догоняя их.— У вас валенки.

— Нас пустят,— строго сказала мать некрасивой девочки,— нам разрешили.

Никто из их класса Сурепку никогда не видел, правда, некоторые утверждали, что она ходит в желтом платье, больше про нее сказать никто не мог, желтый сорняк в однообразном, хорошо обработанном поле, она находилась так далеко, что была безразлична.

Зато все боялись, уважали, любили черную Ксению Алексеевну, завуча начальных классов. Какая она аккуратная, подтянутая, всегда в строгом черном одеянии, наробразовский покрой, как мы ее любим, наверное, и тогда она также медленно поднималась по широкой лестнице и гимназистки умело здоровались, как ато — легким поклоном головы — вот так.

Когда Татьяна Левина вошла в класс и остановилась у дверей для объяснений и оправданий, никто на нее не посмотрел, и она пробралась на свое место.

Происходило что-то неладное, необычное. Длинная Кураева стояла у своей парты и что-то говорила. Вдруг она замолчала.

— Продолжай,— сказала учительница Сироткина.

— Татьяна плохой товарищ и отрывается от коллектива.

— Ты не бойся,— зашептала соседка по парте.— Тебя не арестуют, арестуют только твоих родителей.

Длинная Жураева говорила про нее. Она называла ее полным именем, так, как записано в журнале. Татьяна и то и это, вдруг она свернула на Гайдара, и стало понятно, что все пропало, теперь ее ничто не спасет.

Открылась дверь. Появилась чужая взрослая пионерка и громко сказал: «Татьяну Левину вызывают к директору».

Она встала, прошла вдоль парт, вышла в коридор и пошла по лестнице вслед за молчаливой пионеркой.

Огромные зеркала бывшей женской гимназии мерцали в полутьме. Чужая нянечка мыла ступеньки. На третьем этаже вместо зеркала висела большая картина в раме. Сталин взял на руки девочку Мамлакат, она протягивала ему цветы и обнимала за шею.

Тут Татьяна Левина не удержалась и всхлипнула. Бесстрастная пионерка остановилась, строго подождала, они двинулись дальше.

— Вот она, посмотрите на нее, подговорила старших толкнуть Сталину под автобус.

Это говорила генеральша, она развалилась на диване, за столом сидели желтая Сурепка и черная Ксения Алексеевна.

— Ведь они ее уже схватили,— продолжала Сталинкина мать.— Какое счастье, что она вырвалась. Только, знаете, клок шерсти остался у них в руках.

Она откинулась на клеенчатую спинку директорского дивана, понизила голос.

— Муж у меня прошлой осенью убил двадцать зайцев, у дочки получилась шубка. Они схватили ее за шубу. Я могу показать!

Она полезла в хозяйственную сумку, которая стояла тут же на диване, с шеи свалилась черно-бурая лиса с красными стеклянными глазами.

— А учится-то она как? — спросила Ксения Алексеевна.

— Отличница,— живо ответила генеральша, оторвавшись от своей сумки.— Но еще не известно, что будет в следующей четверти.

После уроков Татьяна Левина бродила по улицам, всё какие-то глубокие окна в подвалы ей попадались, родителей вызовут в школу, там и арестуют. И зачем она вернулась после допроса в класс, надо было сразу бежать домой, Галя Цветкова жила тоже в таком подвале. Потом она умерла. Многие ходили на похороны, рассказывали, как было красиво, родители купили ей шерстяную форму, такую, какую она хотела при жизни. Те, кто не были на похоронах, сказали, не все ли равно, те, кто были, обиделись. Все было новое: и коричневое шерстяное платье, и черный шерстяной передник, и коричневая лента в косах корзиночкой, и новые темно-красные ботинки.

Вот она на фотографии, среди сатиновых передников, бледное, еще живое расплывчатое создание, дети подземелья, с угла Короленко и Некрасова, перекресток русского богатства и несжатой полосы.

Теперь, когда я взяла на себя столь неблагодарный труд хроникера, я хочу сделать одну оговорку. До сих пор в мировой литературе мы встречались только с хроникерами-мужчинами. Женского варианта этой роли пока не слышно, а зря. У женщин-хроникеров есть даже, если хотите, свои преимущества. Кажется, Толстой просил жену одеть героиню — какие были платья у нее. Ну что ж, нарядим нашу невесту мы сами:

однако посоветуемся со знакомым ветераном, так ли безвыходно было положение отряда в этих тростниках и как случилось, что он попал в такую переделку. Мой консультант воевал на Дальнем Востоке и мог ответить на все мои вопросы.

Чьи консультации важнее — Софьи Андреевны или нашего летчика-ветерана? Мне кажется, что они сходны — оба консультанта освещают вопросы оснащения. Оснастка на балу иногда бывала поважнее военной, не случайно обдуманная атака, подкрепленная справным, надежным снаряжением, приравнивалась к боевым действиям, от качества такелажа судна зависел часто исход боя.

Прислушайтесь к разговору двух подруг. Идет сокровенный рассказ об ослепительной победе.

— В чем ты была? — спрашивает задушевная подруга, перебивая повествование в самом неподходящем месте, чтобы сразу провести всю рекогносцировку. Если подруга более сдержанна, она помалкивает, зная, что через некоторое время она все равно это услышит, и тогда панорама сражения будет представлена полностью.

Женщина по своей природе хроникер. Назовите мне хоть одну директрису или учительницу, которая, придя домой, не успокоится, пока не изложит своему мужу производственное совещание, и я уверена, что многие советские семьи только и держатся благодаря тому, что мужья благосклонно позволяют болтать о работе своим трудящимся женам. Потеряй только она эту возможность — как побежит она по знакомым плакать свою неудачную жизнь, и какое счастье снова наступает, когда мир восстанавливается, муж дома, он не пьян, снова слушает и даже спросит иногда, а как поживает эта ваша, как ее, Жопа, как вы там ее называете.

А сцены у колодца? а разговоры в электричках? о своих невестках? а жизнеописания соседей? Вот вы позвонили своей сестре на работу. Можете быть уверены, что весь отдел знает цель вашего звонка и помнит историю вашего замужества лучше, чем вы сами.

Уж нет, пусть говорят, что хотят, а хронику своей нежной героини никому не препоручу.

Вы говорите — что может понимать женщина в войне? Когда им преподавали военное дело в университете, давали вторую специальность военного переводчика, присваивали офицерское звание и, наконец, мобилизовали — то такого вопроса не задавали. Моя героиня понимала в войне то, что могла понять, а что она кинулась в эти тростники спасать всех, то она так и подумала, что ей предстоит «спасти всех».

И я вслед за ней так это и понила, хотя мы часто спорили с моим ветераном, и он утверждает, что действовать надо было совсем иначе. По его словам выходит, что не надо было углубляться в эти чертовы заросли. Это была ошибка командира. Да это и так ясно! А уж коли в погоне за партизанами они забрались в эти дебри, они должны были обладать по крайней мере двумя катерами с пулеметами, полдюжиной гранатометов и уж никак не терять связи с радиомаяком. Это самое темное место во всей этой истории, и я сама, да и мой консультант тут во многом не разобрались. Со временем докопаются и воспроизведут точную картину того трагического боя.

Да я сама, жива буду,— доберусь до этого гада с берегового поста, который сказал «бери левее», ведь она, связная, бежала с донесением именно туда, и где ей было знать, что пост уже захвачен врагами, а этот гад по-русски, кто его за язык тянул, крикнул ей, давай, мол, сюда, все в порядке. За язык его, может, и тянули, возможно, и весьма основательно. Ну хорошо, допустим, под страхом смерти он должен был это сказать, но уж такую бодрую интонацию он мог не выводить, да кто его просил так вопить, ничего, мол, нет страшного, в трех соснах, дурища, заблудилась. Все дело — как сказать, я никогда не поверю, что нельзя было ее как-то предупредить. Да я убеждена, что это он сам все и придумал, этот то ли Бавыка, то ли Бавякин, нашли кого оставить на посту. Сдается мне, что он сам вышел навстречу партизанам с хлебом-солью, успел испечь в свободные часы. Надеюсь, что после опубликования этого очерка откликнутся те, кто его знал. Личного дела его мне не удалось получить — какие-то там были, по-видимому, засекреченные моменты в его биографии. Рация у него была, и когда ему передали сообщение для передачи, он сделал вид, что связь прервана; ручаюсь, что из-за него погибла не только наша героиня, но был истреблен в окружении весь отряд, здесь предательство очевидное, и странно, что этим до сих пор не занялись, как говорится, компетентные органы.

Попадись он только мне, этот гад, да я ославлю его на всю страну и будет проклят его род до седьмого колена.

Война не для нежных девиц и чувствительных хроникеров. Правильно. Но раз уж мы туда затесались, ничего не поделаешь. Такой она была для нас.

•

Когда объявили всеобщую мобилизацию, мы все через три часа должны были явиться на предписанный пункт. У нас были миски, кружки, зубные щетки и запас еды на день. Скоро мы уже ехали на восток.

После всем известных событий наша часть была расформирована и мы оказались в разных местах. Меня направили в столицу, а Татьяна Левина, наша замечательная героиня, очутилась в одной из горных деревень отдаленной провинции. Это были места, связанные с именем Чокана Валиханова.

Одно время, еще до войны, Татьяна занималась историей русских путешествий в Азию, особенно интересовал ее Восточный Туркестан, куда в середине прошлого века удалось проникнуть под видом аджанского купца подпоручику русской армии казаху Шокану Валиханову, потомку рода Чингиз-хана и правнуку киргиз-кайсацкого хана Аблая, от которого, кстати, повел родословную своего героя, Аполлона Аполлоновича Аблеухова, Андрей Белый.

Немногие европейцы побывали в Кашгаре. В свое время здесь были Марко Поло и священник Бенедикт Гоэс. В 1857 году сюда, со стороны Кашмира, приехал известный немецкий исследователь Индии доктор Адольф Шлагинтвейт. С тех пор сведения о нем перестали поступать и вся ученая Европа была озабочена его судьбой.

Через год караван Валиханова появился на улицах Кашгара, вдоль которых были выставлены отрубленные головы, помещенные в деревянные клетки на высоких столбах. Валиханов узнавал подробности недавнего восстания местного мусульманского населения. Возглавил восстание ходжа, за недолгое свое правление заваливший трупами улицы Кашгара и его окрестности.

В это время и предстал перед одурманенным гашишем, озверевшим ходжой Адольф Шлагинтвейт. Был отдан скорый приказ рубить голову, и жители Кашгара видели, как по улицам города вели на казнь высокого европейца со связанными руками и непокрытой головой.

В Кашгаре существовал обычай выдавать девушек за приезжих купцов. Закончив свои торговые дела, купец уезжал, жена с плачем провожала его до городских ворот, но покинуть город и отправиться вместе с караваном мужа она не могла — кашгарскими законами это было запрещено. Скоро ее снова выдавали замуж. На память о каждом замужестве красавица получала в подарок от заезжего купца шапку. Особенно ценились те невесты, в доме которых было выставлено напоказ больше шапок. Красотка, на которую привели взглянуть Валиханова, хранила у себя двадцать лисьих малахаев, они были сложены на постели одна на другую, как подушки.

Уйгурская жена Валиханова тоже видела белокурого френга, особенно ей запомнились его развевающиеся по ветру золотые волосы. За городом, на берегу реки, сохранилась пирамида человеческих голов, воздвигнутая еще кровожадным ходжой; головы казненных собирали во всех местах и отправляли к пирамиде. Впрочем, Валиханов убедился, что войска, подавившие восстание, в своей жестокости не уступали ходже.

Наши войска быстро продвинулись далеко на восток, и часть, где служила Татьяна Левина, оказалась в глубоком тылу. Ее поселили на окраине деревни, в чистой половине глинобитного дома, согнав многочисленное семейство в один угол.

Штаб разместился в бывшем здании уездного комитета у базарной площади.

Вначале было много работы. Нужно было перевести обращение коменданта к населению, в котором говорилось о водворении в стране подлинно народной власти, о восстановлении норм партийной жизни, о дружеских чувствах, которые всегда питались к братскому народу. Дальше населению вменялось в 24 часа сдать все имеющееся огнестрельное оружие, говорилось об установлении в районе комендантского часа.

Несколько ружей принесли старики, это были ружья советского производства устаревших систем, да солдаты притащили пулемет, брошенный в каких-то кустах (надо будет узнать, как они называются).

Как-то в штаб привели пленного. Допрашивал его сам полковник. Татьяна переводила.

Он был ранен при отступлении. Дочка учителя спрятала его у Южной горы. У него были тонкие черты лица и речь образованного человека. Его произношение выдавало в нем столичного жителя, и из скупых ответов можно было понять, что он был сослан сюда, на окраину, для перевоспитания. Потом он вообще перестал отвечать, и Татьяна постаралась как можно мягче передать ему заверения полковника в том, что дочери учителя ничего не грозит и что полковник надеется на его благоразумие, тем более что у него есть время подумать.

Однажды Татьяну пригласили принять участие в охоте. Дорога в горы шла мимо садов, где виднелись завязи гранатов и еще зеленые абрикосы, а дальше тянулись посевы белого льна и плантации опиумного мака. Как прошла охота в горах — во всех подробностях выяснить не пришлось, известно только, что Татьяна подстрелила рысь, великолепный экземпляр, ее видели многие, и на обратном пути спутники Татьяны устроили пальбу по наклевавшимся маковых зерен галкам, которые оцепенело сидели на тополях вдоль поля, некоторые из них, совсем одуревшие, давно свалились на землю.

— Странное явление,— писал в свое время Валиханов.— Сегодня купили для обеда черную курицу. Суп от нее вышел черный, и кости птицы покрыты черной зеле

ной. Действительно, здесь замечено, что черные курицы имеют даже и мясо *черное*, грубое и невкусное. В Кашгаре продают птиц всегда зарезав и ощипав. Свиньи кашгарские все вообще черны и бывают удивительно жирны. Кашгарцы удивляются и не верят, что есть свиньи другого цвета.

Мы не знаем, удалось ли Татьяне попробовать этого черного супа, но необычная чернота, в которую впала домашняя живность, я бы сказала — некоторая обугленность, интересна сама по себе.

Татьяна несколько раз говорила капитану Тарасенко, как неприятно ей одной занимать бо́льшую часть дома, в то время как хозяева ютятся в тесном углу. Всякий раз, когда она молола себе кофе или открывала сгущенку, ее охватывала неловкость, она знала, что крестьяне давно голодают. Банки шпротного паштета и соевые батончики в преизбытке входили в офицерский паек, и она старалась вложить в руку пробегавшего по двору малыша конфету или жестянку консервов.

Мы узнали о том, что началась война, воскресным утром.

Начинался прелестный мартовский день. Собираясь в лес, Татьяна растирала мазь на смоленых лыжах. Тайпи нетерпеливо прыгала рядом.

Знала ли она, назвав своего сеттера — Тайпи (кажется, это значит упадок-возрождение), что вскоре окажется среди чужого народа, перед древней культурой которого она преклонялась.

— Сижу дома в сезон приготовления вина,— придумывала она название трехстишию, сочиненному в подражание дальневосточным поэтам.

Осенняя луна.
Пузырьки бегут из бутылки.
Не пойти ли к стогам.

Она собиралась на озеро, по знакомой просеке. Если повезет, то увидит тетеревов, валетевших из-под снега, а на обратном пути можно свернуть на дальнюю лесную луговину. С утра наст еще жесткий, по нему можно скользить не проваливаясь, чувствуя себя необычайно легкой.

Она родилась зимой, и ей нравились примеры зимнего выживания. Клесты, выкармливающие своих птенцов в самые морозы, тетерева, ночующие в снегу, медведи в зимней спячке. Бывает, что дремлешь добросовестно в своей берлоге, а пока в твоей добротной шкуре бесчисленные землеройки прогрызают целые ходы; и вот эффект выныривания: кроме всего прочего — стоишь и беспомощно хлопаешь глазами, а материал уже выстрижен, клочки растасканы по норам.

Горячее весеннее солнце поднимается выше, и под смолеными лыжами появляются капли воды, скоро начнет налипать снег.

Хорошо сидеть в сене, подставив лицо горячему солнцу. С севера стог занесен снегом, с юга оттаял, и остатки ползут и ползут вниз, растекаются сияющими каплями, вокруг полно заячьих следов, а вон, по глубокому снегу, наискось протопал широкими копытами лось. Из чащи слышны крики черного дятла. Лыжные палки воткнуты в снег, надетые на них перчатки отбрасывают ушастые тени. От стога ведет санный след, присыпанный золотой сенной трухой.

Татьяна включила радио, чтобы услышать сообщение о погоде, нужно было точнее выбрать лыжную мазь — градусник за окном находился сейчас на солнце и показывал температуру совершенно немыслимую. Вдруг прервали передачу радионяни, раздались позывные и голос Левитана: «Внимание, работают все радиостанции Советского Союза». Можно было подумать, что запущен новый совместный космический корабль, но тут она услышала о начале войны.

Тайпи еще прыгала, еще пахло лыжной смолой, но пора собираться в другие дороги.

Татьяне давно хотелось поговорить со стариком хозяином, но он явно избегал ее, а если ей все же удавалось на него натолкнуться и завести разговор о старине — ее особенно интересовало, есть ли поблизости какие-нибудь древности,— он притворялся, что не понимает.

Сегодня в штабе только и разговору о том, что в горах появились партизаны. Они напали на склад продовольствия и взорвали мост.

Ночью Татьяна проснулась от того, что ей показалось, будто что-то пробежало у нее по лицу. Она села. Было темно, где-то лаяли собаки. Нужно было найти фонарик — обычно она старалась не ходить босыми ногами по земляному полу — тут было не до того, фонарь оказался в кармане гимнастерки, она посветила на постель и увидела прямо на подушке огромного скорпиона с длинным, извивающимся хвостом. Она тихонько подергала подушку за уголок. Гадина даже не пошевелилась. Тогда она просунула руку под подушку, осторожно, как только что испеченный пирог, подняла ее, поднесла к открытому окну и выбросила во двор этот торт с марципаном.

Она легла, подтянув в головах матрац с рисовой соломой. Было душно. От плохо просушенной соломы исходил тяжелый запах.

Ей вспомнилось, как еще на четвертом курсе, когда они возвращались с целины, в поезде, где-то около Караганды, один солдатик подарил ей упрятанного в эпоксидную смолу скорпиона. В смоле была просверлена дырка, и эту штуку можно было носить на шее, как янтарь, в котором окаменела какая-то древняя гадость. В первый же день занятий ей сказали, что она совершает астрологическое преступление, подставляя себя под влияние чужого знака, чужих, не предназначенных ей, сил, и очень скоро она поменяла скорпиона на настоящие китайские палочки для еды.

И вот снова скорпион. Не к добру все это. Она встала, накинула шинель и вышла на улицу. Что за глупости могут прийти в голову.

Стояла душная туркестанская ночь. Кричали ночные ящерицы-геккончики.

Вдруг в темноте послышались шаги и приглушенный женский смех. Татьяна отступила в тень высокого ильма. По голосу она узнала дочь учителя, с ней был кто-то из офицеров. Они прошли совсем близко. Вкрадчивая красавица неспроста затеяла эту историю.

Заснула Татьяна под утро. Во сне ей почему-то захотелось посмотреть, как выглядит сямисен — дальневосточный музыкальный инструмент. На нем обычно играли гейши. И вот она в Эрмитаже.

Огни уже почти потушены, сумерки растут из углов, натертые паркеты теряются в анфиладах, за огромными холодными окнами синеют мертвые ледяные пространства площади и реки. В залах никого нет, пахнет новогодней мандаринной коркой.

Наконец в глубине засверкало причудливое золото духовых, серебро флейт, и она пошла было вдоль витрин, на которых были разложены незнакомые инструменты, как вдруг услыхала китайскую песню.

В дальнем углу стоит рояль, а за ним сидит удивительный музыкант и играет китайскую музыку (на рояле? по нотам?), она подходит ближе — за роялем китаец необычайной красоты — заглядывает в ноты, ноты привычные, но заглавие вещи «соната» выделено почему-то красным. Для кого он играет? Никто не доходит до этого самого последнего зала, да и во всем Дворце сейчас никого нет.

Он кончил играть. Как выразить ей свое благоговение? Она прикладывает правую руку к сердцу и почтительно кланяется. Он целует ей руку.

— Товарищ лейтенант,— кто-то стучал в дверь.

— Что такое? — Татьяна вскочила, будто и не спала.

— Вас вызывает командир. Часового зарезали, пленный сбежал,— тихо сообщил вестовой.

Татьяна быстро оделась, и они пошли к базарной площади. Начинало светать. Вся деревня еще спала или притворялась, что спит.

Как передать еще звучащую в ушах музыку — она ее и сейчас помнит,— никогда больше она не увидит этого лица, никогда никто так не возьмет ее руки, никогда ни к кому она не будет испытывать такой благодарности.

Уж не знаменитый ли это пианист с перебитыми пальцами, не его ли душа обрела последнего слушателя.

Прошелестело в тополях предрассветное движение. Закаркали вороны. Офицеры молча подходили к штабу. В коридоре Татьяна наскоро зачерпнула оловянной кружкой тепловатой воды из ведра. Кто из них был с дочерью учителя и что произошло? Кто убил часового?

В бумагах Татьяны Левиной я нашла ее статьи о литературных достоинствах сочинений Валиханова, о связях его с русскими писателями, о высоком предназначении Валиханова, которое провидел Достоевский, о чувстве избранничества, владевшем им; но в них ничего не было сказано о тех планах, которые связывало с его поездкой в Кашгар правительство Российской империи. По-видимому, ее это не занимало. Поехал и поехал, чуть ли только не для того, чтобы узнать обстоятельства гибели Адольфа Шлагинтвейта или пополнить славный список путешественников в Кашгар, начинающийся с Марко Поло, своим именем.

Между тем ей были известны официальные документы Азиатского департамента Министерства иностранных дел «Об отправлении в Кашгар поручика султана Чокана Валиханова», она их, конечно, смотрела и, при ее добросовестности, даже сделала некоторые выписки, к примеру, из пространной записки тогдашнего директора Азиатского департамента «Положение дел в Кашгарии и наши к нему отношения», в которой Кашгару отводилось важное место в политике Российской империи в Азии. Речь шла об образовании в Кашгаре «отдельного ханства», принятии его «под покровительство России» и — как результат — о приобретении «совершенного господства в Средней Азии» и тем самым расчистке «пути далее». Имея в виду такие далеко идущие интересы, он и считал необходимым «употребить все усилия как для собрания сведений о положении дел в Кашгаре, так и для поверки тех, которые мы имеем о путях к нему», а для этого рекомендовал «послать опытного и надежного офицера в Кашгар».

Просветитель и ученый, Валиханов еще только стоит на пороге своих географических открытий и знаменитых этнографических трудов, а военный министр по «высочайшему повелению» уже приказывает командиру Отдельного Сибирского корпуса, в ответ на возможную просьбу о помощи от независимой от китайцев мусульманской династии в Кашгаре, быть готовым к «оказанию содействия».

Выписки эти Татьяна сделала, повторяю, по своей добросовестности и, по-видимому, не придавая им значения, не задумываясь, осознавал ли Валиханов, возглавляя кашгарскую экспедицию, какая роль была ему отведена царской администрацией,— для нее он только ученый-путешественник, напутствуемый П. П. Семеновым.

Какие там роли, отведенные администрацией! Шел расцвет экскурсионной эпохи. Добросовестность — в переписывании, изучении и осмотре достопримечательностей — и не больше. Колорит, экзотика, литературные места или наоборот, «глубокая непоселенка» — вот что волновало сердца. Туристская экспансия — поиски новых и новых мест, ибо не только на имена, но и на маршруты распространяются эти поветрия.

— Он здесь бывал и оставил часть своей души.

Красив долговязый Шлагинтвейт с развевающимися кудрями в сопровождении головорезов с саблями, неплохо выглядит и наша Татьяна, когда ее ведут к месту казни.

А мы-то вспомним, что делали, где были.

Мы отдыхали воскресным утром. Вот и все.

Позывные экскурсионной эпохи — воскресная передача «С добрым утром».

Самое употребимое слово — настроение. Ничто не должно его портить. Спецслужба настроения имеет свои часы выхода в эфир.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, ваши настроения настроены на волну нашей службы — механически взвинченные голоса,— сейчас вы дома, всей семьей...

Конечно, сначала поздравим химиков, металлургов, сегодня их праздник, а потом и настроим. Вот наш вечный любимый артист с его неизменными застывшими характеристиками — только два тона — управдом с фрикативным «г» и противный интеллигент с подозрительными «л» и «р».

Итак, где бы вы ни находились сейчас, этим чудесным воскресным утром, родина слышит, родина знает. У вас у всех прекрасное воскресное настроение, потому что сегодня вы выспались, сейчас будете завтракать и война еще не началась.

Что мы будем делать после завтрака. По странам и континентам. Неплохо бы туда съездить. Чунга-чанга милый остров. Давай туда съездим. А уважаемые друзья русского языка. Тут настроение начинает понемногу портиться. Прошло уже полдня. Строгий голос учит — нельзя говорить так, надо говорить вот так, эта форма внеязыковая. Запишите домашнее задание, как правильно и красиво стоять в очереди. Кто крайний? Нет, кто последний.

Как жили тогда, до войны, ничего такого особенного вспомнить не могу.

— Вышел путеводитель, тебе купить?

— Вы еще не были? Обязательно побывайте.

— Читали «Науку и жизнь»?

Наука для жизни, маленькие хитрости, доморощенные средства для выживания, а не прочли — погибли.

Время сенсационных статей в юнармейских газетах о недавно обнаруженных биополях вокруг универсамов, засохшие сыры оживают, особенно начинает благоухать рокфор в присутствии обладательницы одной такой полянки, стоило ей выйти из комнаты, сырки становились тверже прежнего.

В центре всеобщего внимания экскурсионной эпохи — открывающиеся и готовящиеся к открытию музеи.

Разрывался на части декоратор одной архитектурной фамилии, он одновременно готовил худ. оформление в нескольких городах, и везде можно было полюбоваться его бесцветной стряпней.

Народился размашистый тип музейного администратора, ценителя золота и серебра, который на глазах теснил прежнего, как бы бессребреника, сухого, напуганного, не умеющего маневрировать.

Быстро ухватив, что сейчас «самое-самое», они научились рассуждать о том, в чем ничего не понимают, своим выделанным, перенявшим интонацию того, другого, третьего специалиста, голосом. Причем заемная мягкость, скрывавшая хищные, злые пружины, могла некоторых обмануть.

Объявился удивительный подделыватель любых гениальных почерков.

Страницы нашей классики выходили из-под его рук, как будто обваренных кипятком, более подлинными, чем настоящие рукописи. Но странное дело. В один прекрасный день все дорогие сердцу строки вдруг приобрели красноватый оттенок. В чернилах появился какой-то дьявольский отсвет, а экзема покрыла теперь не только руки удивительного мастера, но перешла и на ошпаренное лицо с бесцветными ресницами. Все заметили, что его глазки отливают красным так же, как и его чернила.

Ну, хватит. Больше ничего я не могу вспомнить из того изобильного, представляющегося безоблачным, а на самом деле выцветающего, как одичавшие маргаритки, обесцвеченного выродившегося времени.

Включите радио. Сейчас скажут погоду или еще что-нибудь важное. Хотя мы и веселимся, но атавистическая память, всегда готовая к голосу специально приберегаемого на этот случай диктора, в нас жива.

Кто сказал, что об этой войне мы услышим только от него; это мы сами ждем его, ждем его и представляем себе это именно так, только воскресным днем. Каждый чудесный воскресный день таит в себе угрозу вторжения этого бархата.

Его бархатный голос — это его бархатные штаны, знак его должности королевского глашатая. Никто лучше него не овладел искусством окутывать сказанное таким непроницаемым, чернее ночи, бархатом: никакая часть скрытого механизма не задребезжит, не звякнет, не выпадет — все помещено в надежную упаковку.

С детства в нас страх паузы в передаче, и именно он, народный артист нашего катастрофического сознания, он всегда там, около последней вести, труба Ангела для него зазвучит на секунду раньше, он первый услышит весть; мы всегда тут, мы все тут, сгрудились у репродуктора, что бы мы ни делали, где бы ни находились, мы всегда знаем, что метроном тикает.

КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД

Уже несколько дней Татьяна Левина в составе особой группы участвует в спецоперации. Катера плывут по озеру, патрулируют безлюдные берега, прочесывают запутанные заливы. Немногочисленные селения этого мусульманского района покинуты жителями. По имеющимся данным именно на него простирается сфера влияния недостаточно вооруженного партизанского отряда.

Однажды на закате, при следовании по заливу Шайдан, вахтенный обнаружил слева по борту на берегу какие-то перемещающиеся точки. При дальнейшем наблюдении оказалось, что это был всего лишь табун лошадей, однако признаков какой-либо пастушеской жизни около него с воды увидеть не удалось.

Командир отряда принял решение бросить якорь за мысом и, когда стемнеет, отправить на берег разведку с заданием установить численность возможной кочевки и доставить для допроса кого-нибудь из местных жителей.

Утром, выйдя из палатки, Татьяна заметила на прибрежном песке следы маленьких, почти женских, босых ног. По размеру это могли быть даже ее собственные следы, но ничто не могло бы ее заставить пройтись без сапог по здешним лужайкам. О скорпионах, фалангах, каракуртах она помнила всегда, особенно когда по утрам бралась за отсыревшие за ночь сапоги, сложенные в головах у входа в палатку. Итак, если она не выходила бродить по этим лунным полям босиком — разве что во сне,— то это был чужой.

Она пошла по следам, они то пропадали в воде — он шлепал по мелководью, то выходили снова на песок; трогательная круглая пятка, аккуратные пальцы — все это почти не соединялось — разведчик явно не страдал плоскостопием. У протоки, просвечивающей сквозь камыши, следы потерялись, бродяга уплыл.

Уплыл и уплыл. Надо умыться. Все ли у нее с собой? Она зачерпнула кружкой солоноватой воды, полотенце повесила на камышовую кущу; как только Татьяна взялась за мыло, мыльницу тут же подхватило и она запрыгала по ребристому песку, потом ее вынесло в соленую лужу, разлившуюся после недавнего шторма, и она, весело раскрутившись, поплыла по синей ряби.

Пролетели две цапли. Взошло солнце. Надо было возвращаться. Вдруг послышалось тяжелое плюханье, как будто кто-то с размаху кидался в воду.

Татьяна замерла. Стая гусей хлопает по воде? нет, не похоже, слишком тяжелая посадка, может, кабаны купают своих поросят — зажмурив глазки, окунаются в воду,— тогда лучше подальше, она уже привыкла к их остреньким следам на песке, к их проломленным в камышах тропам, видела не раз и лежбища, но так близко встретить бы не хотела. Она остановилась. Все же надо посмотреть — и тихо пошла на шум. В зарослях тростника открылась протока. Никаких кабанов не было. Уж не засела ли здесь босоногая китайская лиса? Вдруг что-то плеснуло, и она увидела расходящиеся по воде круги. Какая-то темная гладкая спина на секунду показалась из воды — да кто же тут такой? Вот еще такая же спина, на этот раз ближе, на мелководье. Татьяна подбегает — да это огромная рыбина. Воды по колено, рыбина мечется у ног, но уплыть не может, запуталась в траве и ухватить себя не дает, всякий раз выскальзывая из рук.

Татьяна бежит за оставленным на берегу полотенцем, возвращается, рыбина еще здесь, нежно укутывает ее, берет на руки, торжественно несет к лагерю.

Подъема еще не было. Татьяна тихо отстегивает полог палатки и бросает туда рыбину — она прыгает в душной тесноте, солдаты просыпаются, вскакивают. Аллах акбар! бросай оружие! ай да лейтенант!

Солдаты бросились к воде. Ловили, кто чем мог. Оказывается, шел нерест сазана. Котел уже кипел. Оставалось только бросить очищенную рыбу. В воздухе кружились чайки и вороны. Рыбьи пузыри мчались по поверхности воды, взлетая вверх с гребня каждой волны.

Но попробовать ухи не удалось. Отряд делят на две части. Одна остается здесь, другая отправляется обследовать протоку.

— Не дело пускаться по этим лабиринтам,— думает Татьяна. Даже местные рыбаки, как она заметила, оставляют себе условные знаки, приметы, чтобы найти обратный ход,— то камыши пригнут или свяжут, то палку поставят на самом высоком бархане.

Капитан смотрит на карту. Если держаться все время левой стороны, то непременно выплывем снова в залив Шайдан.

Ну вот. Заблудились по этим бесконечным озерам с тысячами выходов-исходов, не то что преследовать врага, а выбраться бы подобру-поздорову. А теперь еще и бой принимать на невыгодных позициях — уже начался обстрел с того берега, и рация барахлит, кажется, вообще отказала. Оставался радиомаяк. Затонуло два катера.

Итак, кому-то надо возвращаться за помощью. Почему бы и не ей. Переводчик здесь вроде уже не нужен. Конечно, она сумеет добраться до залива Шайдан.

— Разрешите попытаться, товарищ капитан.

— Отправляйтесь. Проверьте фляжку с водой. Возьмите автомат. Словарь можете оставить.

Начиналось новое приключение, самое интересное из всех. Она найдет дорогу к заливу Шайдан. Что, кстати, означает это слово? Кажется, место успокоения мучеников. Неплохо. Она относила себя к тем, кто не теряет, а находит.

Чего только не было в списке ее предвоенных находок. На тропинках в лесу она находила ножи, один из них был настоящий бандитский с мгновенно выскакивающим после нажатия красной кнопки лезвием. По реке к ней приплыл неизвестно откуда взявшийся крепкий арбуз. На Невском она подобрала лазурит, по-видимому, выпавший из какого-то чужого перстня. Разделывая венгерского петуха к празднику, она заметила в его оттаявшем обработанном нутре крупную розоватую жемчужину, то ли оброненную на кормокухне неизвестной работницей, то ли вольный петух венгерского пути развития сам склевал жемчужину на каком-нибудь речном берегу.

И в этих джунглях она не потеряется. Не хватало только пробкового шлема.

Все остальное было в порядке. Тем более, что изрядный кусок пути уже остался позади. Возможно, будет и пробковый шлем. Откуда? А приплывет по воде.

На пути к заливу Шайдан она верила в свою неуязвимость.

Скоро она выйдет к лагерю, на помощь отряду будут посланы вертолеты. Молодец, лейтенант. Она всегда знала, что ей суждено необыкновенное. Даже если отряд будет окружен, сопротивляться здесь можно долго, но самим прорваться без больших потерь вряд ли удастся, наверняка их ждет засада — выход из озер один, только одна протока ведет к большой воде, сотня остальных не ведет никуда. Она их спасет.

Посмотрел бы кто на нее сейчас. Вот, оказывается, для чего она росла, учила язык, интересно, сколько она уже прошла по этой кабаньей тропе.

Иногда перед лицом возникала прочная паутина, соединявшая метелки тростника так сильно, что даже толстые стебли сгибались, притянутые друг к другу, сам хозяин висел тут же. Сначала она старалась избегать этих ловушек, но скоро забыла о них. Паутина липла к потному лицу и мокрой шее.

Столб черного дыма перемещался где-то на горизонте, если вглядеться, можно было увидеть и пламя, но ярким весенним днем оно казалось бесцветным. Горели прошлогодние тростники. Такие пожары — обычная здесь вещь, успокоила она сама себя. Ну и дичи здесь, и все уже парами.

Пролетел черный, как головешка, баклан, как будто он сильно пригорел у плохой хозяйки на сковороде. Запахло дымом. Огонь приближался. Ветер дует оттуда.

Что она, интересно, будет делать, когда огонь подойдет сюда? Влезет по горло в воду или выберется из тростников на открытое место — вон на те сопки? — ах твою, вон и с другой стороны подступает, заворачивает — босоногий вытравляет ее, как зайца.

Скорее на высокое место. Ух ты, ладонь пропорола, кровь оставалась на желтых стеблях.

А если правда то, что было написано на всех этих воротах и стенах в деревне. Солдатам мы говорили, что это так себе, ничего интересного, изречения мудрецов, например, или благие пожелания к празднику, а это были настоящие партизанские листовки. Вражеская армия, мол, несет жестокие потери, скоро войсками народной армии будет освобожден Синь-цзян.

Наконец она выбралась из душных тростников и поднялась на песчаный бархан. Свежий ветер сразу высушил потное лицо.

Тут-то, на бархане, босоногий и возьмет тебя на прицел, заляжет-ка она за этот куст и сообразит. Она огляделась. Над тростниковым морем поднимались песчаные холмы.

Какие просторы. Огонь мгновенно выбривал низины, огибал скрытые до этого озера и протоки и мчался дальше, оставляя черную дымящую щетину.

Сюда, за бархан, огонь не доберется. Ничего кроме песка, редких кустов и тангутского ревеня. Прямо под рукой распластался огромный лист. Она вырвала стебель, содрала розовую кожицу, вкус показался знакомым.

Вокруг нее чернели норки, прорытые в песке, сновали серые ящерицы, постойте, постойте, как они называются — хвост загнула, что твой расщепленный стебель ревеня. Огромная раздутая морда. Ушастая круглоголовка! Очень мы испугались твоей азиатской рожи.

Вот она и спаслась от огня вместе со здешними пресмыкающимися тварями. Все верхние спаслись, кто гнездились внизу, сгорели. Посмотри лучше, что стало со всей твоей родней в низине. Там курился легкий дымок.

Все было как будто чисто выметено, остались только съежившиеся листья ревеня, похожие на обгорелые газеты.

По краю озера, взметая прах, пробежал волк.

Огонь скрылся за холмами. Пора и ей. Как можно скорее пересечь эти черные места и снова в спасительные тростники. Скорее, скорее. Солнце сделалось тусклым. Под сапогом чувствуется жар, черные облачки вздымаются при каждом шаге, как от гриба-пылевика. Все здесь переменилось в несколько минут. Как будто не шумели тростниковые джунгли, не плелась паутина, не завивались гнезда, не гуляли кабаны и она сама тут не продиралась. Бежит теперь не хуже волка — пусть земля горит под ногами врага — разве она враг, никого в жизни не ударила, не было у нее никогда врагов, добродушная красотка да и только, рожа в саже, а кто же она, враг и есть, смертельный, пропала ее головенка. Видно ее, как перелинявшего к зиме зайца на черной еще тропе.

Фу ты, черт, фляжку оставила на песчаной сопке, теперь еще и без воды, нужно будет — и соленую выпьешь. Она уже видела, что пропадает, но все дальше и дальше пробиралась к северу. Большая вода должна быть уже близко, если, конечно, она не сбилась с пути. Приходилось обходить все новые и новые озера. Стрельба слышна нисколько не меньше, далеко разносится по воде, будто и не отошла далеко.

Она заметила шест на далеком бархане — прекрасно, где-то там протока выходит в Большое озеро, там и лагерь. Она стала различать шум волн, но это могло шуметь в ушах.

На пути снова возник заливчик. Так не хочется обходить его. Она ступила в воду, здесь всего десяток шагов. Не следовать же, в самом деле, его прихотливой линии, которая теряется в зарослях, к тому же узкая поначалу протока может расшириться и снова стать озером. По краям заливчика белела соль, значит, уровень воды понизился, тогда здесь неглубоко.

Она плелась по воде, зачерпывая ее ладонями и смачивая лицо, вдруг нога ушла вниз и она свалилась в воду, попробовала встать, увязла, выдернула сапоги, попятилась, из потревоженного дна потянулись пузыри.

Она плюхнулась на живот и попыталась плыть, то и дело задевая страшное дно. Вода переболталась с грязью. Наконец она выбралась на берег, но натолкнулась на такую стену тростника, сквозь которую пробиться было невозможно. Не надо было сворачивать с кабаньей тропы. Она пошла было по самой кромке воды и снова оступилась, ноги снова ушли в вязкое дно, но она ухватилась за плотные стебли и вытянула поочередно обе ноги.

— Эй-эй! Что-то я застряла-а-а! — крикнула она на всякий случай. Вдруг пост уже близко.

Она услышала впереди шум, какое-то движение и голос крикнул: «Кто там?»

— Это я! Лейтенант Левина!

Тот же голос снова что-то прокричал, ей показалось, что она разобрала слова «левей, левей». Она подалась влево, но там стояла такая же непроходимая стена.

— Мне не выбраться! — Но она уже слышала, как кто-то продирался ей навстречу, хлопал по воде. Заходили ближние стебли и прямо к ней вышли двое.

— Люки вельх! — сказали они, направив на нее автоматы.

Когда войска союзников освободили Кашгар, беженцы рассказывали, что видели, как вели через весь город высокую девушку. Была ли это она или нет — установить трудно.

1973, 1989

Виктор
ШИРАЛИ

◆◆◆

Еще немножечко, и мы переживем.
Мы перемучим.
Пересможем.
Перескачем.
Еще прыжок —
и нас не взять живьем,
Им не гулять и не наглеть удачу.
Еще два-три стиха,
Один глоток
Свободного.
Еще один, пожалуйста, в отдачу.
И все.
И убежал.
И пнут ногой —
Готов?
Готов!
Но вам уже не праздновать удачу.

◆◆◆

Петушись, кричи
и предавайся.
Выбегай в стихи и страсти прочь
из смысла.
Надо мной надсмейся.
Мне так никогда уже не смочь.
Братец мой юродивый,
мне стыдно.
Я тебя прикрою от чужих.
Я пристойней, строже.
Но завидно
Пепе на губах твоих.

◆◆◆

Закатывался век
Заядлый эпилептик.
Я подошел —
не посторонний все ж.
И простыней прикрыл.
Вот так смотреть мне легче.
Вот так он на рожéницу похож.

◆◆◆

А в том саду
цвела такая муть!
А в том саду
такая пьянь гнездилась!
И гроздья меднобрюхих мух
На сытые тела плодов садились.
И зной зверел
на жирном том пиру.
И я глядел,
не отвращая взора.
Не оборачиваясь —
знаю —
и ору,
Чтоб не подглядывали дети
в щель забора.

◆◆◆

Нет, ненависть мне не мешает жить.
Она произрастает автономно,
Последовательно. Тщательно.
Подробно.
Я напишу ее.
Она умеет ждать.
Ну а пока
цвету в ее ветвях.
Чирикаю буколики и байки.
Как гон ведут зловонные собаки
И виснут,
словно крылья
на пятах.

Наталия
ТРОЩЕНКО

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СТАРУХИ

Рассказ

Рассказ «История одной старухи» пришел в редакцию «Невы» по почте в 1982 году. Я тогда заведовал в журнале отделом прозы. Мнение сложилось у нас единое: хороший рассказ. Но по тем неписаным законам, по которым мы тогда жили, опубликовать его было нельзя. Репрессии в нем там разные, евреи... Нет, нет! Это утвержденные законы, начиная с основного свода, у нас довольно часто не действовали и по сей день продолжают бездействовать. А неписаные, с их так называемым «телефонным правом», всегда действовали четко. И до цензуры дело не доходило. Набранный в типографии материал прямиком шел в обком партии, там его читали и тихо «советовали»:

— Это лучше не надо.

— Почему?

На подобные вопросы в обкоме обычно отвечали чрезвычайно глубокомысленной фразой. Она сразу объясняла человеку, кто есть кто. Говорили:

— Неужели вы сами не понимаете?

Главным редактором «Невы» в то время был Дмитрий Терентьевич Хренков. Он каждый раз изо всех сил упирался, что ну ни в какую не понимает.

— Очень жалко,— с руководящим вздохом говорили ему.

За что его, чтобы не задавал глупых вопросов, в конце концов и освободили от занимаемой должности.

Уперся Хренков и на этот раз. Сказал мне:

— И все-таки нужно попробовать. Что-то в рассказе смягчить, где-то подубрать.

Я тоже решил, что нужно рискнуть. Хотя шишки-то от обкома получал в основном Хренков, а не я. Пригласили в редакцию автора.

Наталия Владимировна Трощенко оказалась режиссером «Ленфильма». За ее плечами уже были такие картины, как «Разрешите взлет», «О тех, кого помню и люблю», «Воздухоплаватель», «Кадкина всякий знает», «Долгая дорога к себе» и другие. Небольшого роста, хрупкая, с копной седых волос, она создавала впечатление смертельно усталого и задерганного человека. Но держалась хорошо, с достоинством, с этаким несколько театрально-вальяжным спокойствием. Нервно давила в пепельнице сигареты, говорила глуховатым прокуренным голосом:

— Очень приятно, что рассказ вам понравился. Я его написала лет двадцать назад. Всем нравится, а не печатают. Мне бы хотелось его напечатать, чтобы хоть разобраться — могу я писать или не могу. И еще... открою вам секрет: если бы его напечатали в журнале, я бы поставила по нему фильм. А так у нас на студии боятся. Тоже всем нравится, но боятся.

И как мы только с Наталией Владимировной не крутили рассказ! Она дописывала, сокращала, изменяла. Вместо репрессий придумывала какие-то иные сюжетные ходы, евреев меняла на украинцев. И рассказ ломался, пропадал, терял ту художественную достоверность, ту таинственную гармонию формы и содержания, что в совокупности и зовется искусством.

Уже «по собственному желанию», так и не уразумев прописных истин, оставил пост главного редактора упрямец Дмитрий Терентьевич Хренков. Уже пришел на его место Борис Николаевич Никольский. Уже задули свежие ветры перестройки, а «История одной старухи» все топталась на одном месте. Дело в том, что Никольский решил играть ва-банк. Будь что будет. Печатаем рассказ Трощенко без изменений, как он есть. Да не получилось как есть. Свежий-то ветерок дул тогда еще слабовато.

Кажется, сегодня он задул в полную силу. Три года назад, чтобы опубликовать роман Дудинцева «Белые одежды», пришлось обращаться за помощью аж к самому Генеральному секретарю ЦК КПСС. Ныне полегчало. Столь высоко карабкаться за подмогой уже не надо. Да вот беда. Советскому литератору помимо разных прочих необходимых писателю качеств нужно еще обладать и крепким долголетием. Иначе не увидишь в книжке тобою написанного. Пушкин погиб в 37 лет, Лермонтов — в 27. И увидели. Будучи в опале. А Шаламов — в 75 лет. И не дождался. Тихонько дотлел в доме для престарелых.

Наталия Владимировна Трощенко умерла в 1988 году. Жизнь у нее сложилась тяжко. В десять лет ее как члена семьи врага народа выслали с мамой из Москвы.

После окончания школы рвалась поступить в Университет. Ее не принимали. Советовали:

— Отрекись от отца.

Она не отреклась. И все-таки получила высшее образование. С боем, с муками, с отчислениями. Ее гнали и не пускали, запрещали и преследовали. А она дралась и побеждала. Получив диплом Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, с неженским упрямством выпускала на «Ленфильме» картину за картиной. Впрочем, не так уж — картину за картиной. Там ведь тоже бдительно стояли на страже. Подчас во время вынужденных простоев месяцами сидела без копейки денег. Но не унывала. И все время пробовала писать. Терзалась, что не получается. Разрывалась в сомнениях: а есть ли писательский талант? не зря ли перевожу бумагу?

Поддержать бы ее тогда! Сколько бы она, быть может, создала. Да только в массе своей мы не умеем поддерживать. Мы научены больше давить, разносить в клочья и запрещать. Тут мы великие мастера. Жизнь у нас такая, треклятая. Ведь и ветры уже дули попутные. А рассказ лежал и лежал. Почему? Теперь от бедности нашей, от нищенства. Рассказ не лежал, он стоял. В очереди. У нас, как известно, за всем нужно стоять в очереди: и за колбасой, и за носками, и чтобы напечатать рассказ. Не хватает у нас печатных площадей. До 1917 года в городе на Неве выходило штук 50 журналов, если не больше. Нынче — 5. Да насколько город вырос. Вот и считайте.

Все мы, шутят черные юмористы, стоим в очереди. В одной огромной живой очереди. Только не знаем, кто за кем. И успеем ли: получить квартиру, купить носки, напечатать рассказ? Наталия Владимировна Трощенко не успела. Но она вместе со своим мужем, ныне тоже покойным, кинооператором Месхиевым вырастила двоих детей — сына и дочку. Сын с дочкой пошли по стопам родителей, тоже работают в кино. Может, они помогут осуществить мечту матери, сделать по «Истории одной старухи» фильм.

Прочтите рассказ. Чем же он так шибко пугал наших мудрых идеологов? Неужели неординарностью, свежестью, честностью, талантливостью? Сколько же мы своей верноподданнической трусостью, однолинейной тупостью и раболепством загубили душ, сломали судеб, сколько не додали русской и мировой литературе! Господи!

Ведь сами не ведаем, что творим!

Простится ли нам?

К. КУРБАТОВ

В Киеве был маленький переулок на окраине — Бондаренковский. Бондаренко — фамилия моего прадеда. Этот Бондаренко не совершил ничего такого, что дало бы ему право увековечить себя названием улицы. История этого переулка такова.

В молодые годы Григорий Бондаренко был батраком под Полтавой. Нашел кошелек с деньгами — и немалыми. Кошелек припрятал и вскоре вместе с женой, красивой и властной женщиной, поехал под Киев и в селе Шулявы купил землю, смекнув, что город будет расти, проглотит это село, земля его вздорожает, и он разбогатеет.

Так оно и случилось. Родили они с женой шестнадцать детей. Дочерей было четырнадцать, а сыновей двое. Дочери все были в мать — высокие, красивые, умные и властные. А сыновья были никудышные. О них в семейных преданиях почти ничего и не сказано.

Известно, что старший, Федор, уехал куда-то искать себе долю, да так и исчез, оставив жену с тещей, некрасивой и неудачливой дочкой Лидкой, а может, сослан был, как кулак, а может, убежал куда от ссылки — в общем, исчез, как не было, и вскоре все забыли о нем.

А младший, Николай, учился в кадетском корпусе (он был последним у Бондаренко, и к тому времени село Шулявы стало рабочим районом Шулявкой, и старик мог младших детей учить и вывести в люди, старшие едва грамоту знали). Был Николай хорош собой, но непутевый, без характера и во время гражданской войны то ли погиб где-то в белой армии, то ли убежал за границу, в общем — тоже исчез.

Главным в этом семействе были дочери. Четырнадцать «леди Макбет» с Шулявки. Дочери подрастали, выходили замуж за рабочих окрестных заводов, и старый Бондаренко давал каждой в приданое небольшой клочок земли. Очередная бондаренковская дочка с молодым мужем строила одноэтажный дом на каменном фундаменте, сажала сад — и так, от года к году, вырос переулок, состоящий из дочек Бондаренко,— Бондаренковский переулок.

Бондаренковский переулок сотрясали страсти, чудовищные ссоры, там царили ненависть и любовь до крайности, до гробовой доски, там ничего не забывали и не прощали — слишком активные характеры населяли маленькие домики и полные цветов и яблок сады.

Все события бурного нашего времени, начиная от революции, гражданской войны, Отечественной, вклинивались и вплавлялись в страсти Бондаренковского переулка, потому что бондаренковским дочкам до всего было дело.

Характерно, что у всех сестер мужьями были тихие, скромные, порядочные люди. Постепенно, под прессом деспотических характеров своих жен, они становились все тише и незаметней и как бы сходили на нет. Все были рабочими на больших заводах, опоясавших с трех сторон Шулявку: кто слесарем, кто токарем, кто плотником. Рабочими они были прекрасными, старательными, с пролетарским достоинством и уважением к своему делу. На заводах их обязательно выбирали в президиум, они были членами завкома, а с годами становились достопримечательностью завода: «Вот, познакомьтесь, это токарь Кузьма Иванович Антоненко. Он работает в нашем цехе 40 лет».

Но как только дорога от завода Лепсе по Полевой улице сворачивала в Бондаренковский переулок, они сникали, горбились, поспешно трусили каждый к своей фортке в воротах, фортка захлопывалась за ними со звуком выстрела, и почтенный Кузьма Иванович превращался в «деда», запуганного и тихого.

Только одна сестра — тетя Маня — нарушила традицию и вышла замуж за проводника вагона первого класса, и они построили большой двухэтажный дом — «на чаевые», как с презрением говорили остальные сестры, презиравшие «нетрудовые доходы». После революции двухэтажный этот дом принес тете Мане ряд огорчений, стал обузой, и она за это поедом ела своего лакея-мужа, сживала его со свету, а в старости от него отделилась, стала кликушей и натворила много чудачеств.

У каждой из сестер был свой интерес в жизни, своя цель, своя страсть, и они проламывались к этой цели, круша все вокруг.

Любопытно, что ни одна не была жадна, ни одна не была крохобором и стяжателем. Это были широкие, мощные натуры, способные на безумства.

Бабка моя, Евдокия Григорьевна — старшая из сестер, дом наш — первый по переулку. Следующий дом и сад — Екатерины Григорьевны, прежде любимейшей из сестер, а впоследствии — самого ненавистного, заклятого врага. Тем более заклятого, что старшая дочка бабки моей названа была Екатериной в честь сестры, а когда ненависть сменила любовь, то сестра стала именоваться Скорпион. Вообще имя Екатерина в роду Бондаренков считалось роковым.

Ненависть между сестрами Евдокией и Екатериной возникла не «из-за гусака», причины были серьезны, и чем дальше шла жизнь, тем больше становилось причин для ненависти. Но это — особая история.

Страстью Екатерины Григорьевны, делом ее жизни была жажда власти.

Страстью моей бабки Евдокии Григорьевны было честолюбие, жажда славы.

Честолюбие ее, естественно, обратилось на детей. Она ничего не могла извлечь в этом смысле из своего робкого, доброго и заурядного мужа, сначала кочегара на пароходе, а потом, многие-многие годы, слесаря на заводе Лепсе.

И бабка задумала — найти среди детей своих способнейшего, выучить в гимназии, поглядеть, к какому делу обнаружится дар и склонность, а уж потом заставить дар этот реализоваться, и тогда слава увенчает труды, а за всем этим будет стоять она, Евдокия Григорьевна, родившая, а главное — осуществившая талант дитяти своего. В том, что среди пяти ее детей обязательно сокрыт в ком-то талант, и воля, и ум, она не сомневалась — слишком много в самой себе знала силы, не может же сила эта пропасть и сгинуть зазря в стирках, копанье в огороде, в трудном деле прокорма большой рабочей семьи.

И бабка не ошиблась. Старшая дочь Екатерина оказалась благодатным материалом для ее честолюбивых замыслов. Не сын, а дочь — таков был наследственный закон рода Бондаренков. «Хлопцы у нас не получаются»,— говорила бабка. Дочка Катя богато одарена была природой. Она вобрала в себя

одну все лучшее, что таилось в этой активной и сильной крестьянской династии.

Была хороша собой, золотоволоса, с длинным, стройным сильным телом, могучего здоровья. И уже в раннем детстве проявляла живой ум, воображение и интерес к наукам.

И бабка сделала на нее ставку. Отдала в гимназию, в частную, в Ольгинскую, в казенную — не приняли.

Платить в гимназию надо было много. Одеть дочку надо было прилично. Дорога с Бондаренковского переулка до Ольгинской гимназии была длинной, и обувь должна была быть теплой. И стол письменный нужно было купить для занятий, и тихо должно было быть в доме, чтобы без помех занималась Катя.

Купили стол, купили кашемиру коричневого, сшила бабка своими руками гимназическую форму, заплели золотые Катины волосы в тугие косы, согнали остальных детей в общую комнату, а старшей выделили отдельную, самую солнечную, «окнами на улицу» — и начала Катя учиться в гимназии.

Когда она шла по переулку, из-за всех заборов высовывались узкие лица Бондаренко — тети Кати, тети Вари, тети Настеньки, тети Лизы; с осуждением и завистью разглядывали ее, а бабка стояла в своей фортке с поджатыми губами, глядела вслед дочке и гордилась.

— Ишь ты, шулявская принцесса пошла,— зло сказал кто-то из Бондаренков ей вслед.

Прозвище это пристало и сопровождало дочку Евдокии Григорьевны всю ее киевскую юность.

Дед, Максим Макарович, со страхом смотрел на деяния своей жены и осуждал их втайне, не верил, что вытянут они эту затею с учением дочки, но спорить не смел, да и не имел к тому энергии.

Велено ему было после завода ходить по людям, чинить где что нужно, и он точно все исполнил, а специалист он был отменный, и приработок был всегда.

И бабка впряглась в работу. Кроме своей семьи, своего сада, нанималась огороды копать, стирку брала, заборы вместе с дедом ставила, шила людям.

У нее, как у всех талантливых людей, всякое дело получалось — готовила вкусно, стирала чисто и красиво, в саду и огороде росло все буйно, яблоки спели крупные, шилось складно, и все быстро.

И не была она пришиблена тяжелой работой, голову несла не клоня, ходила прямо, чуть откинувшись назад, узкое ее, сухое тело двигалось легко, глаза глядели холодно и независимо.

И через некоторое время обнаружился в Кате дар, да такой, о каком даже не смела мечтать честолюбивая мать — дар к сочинительству, к писательскому делу.

Сначала — гимназические сочинения, которые Катя писала, закрывшись в своей комнате, долго писала, тихо сидела — ни звука. Никому из прочих детей, которые все были в загоне, все помогали по хозяйству, не позволялось близко подходить к ее комнате. Только бабка изредка входила, ставила на письменный стол кружку молока, кусок хлеба с салом и тихо уходила.

Катя выскакивала, наспех ела борщ и, не убрав за собой тарелку, снова уходила к себе и жила там своей особой, умной, книжной жизнью.

Убирала со стола, мыла посуду, полы, другая дочка, из никудышных — Ольга. Катя росла как барыня, ее оградили и избавили от всякого домашнего труда. Она не умела сварить картошку, не знала, каков вес лопаты. И никто в семье: ни отец, ни братья и сестры не роптали.

Зато в ученье ее бабка была жестка и требовательна, не спускала глаз с дочери и приучила ее к длительной и упорной работе.

К шестому классу гимназии Катя бегло говорила по-французски, была начитанна и интеллигентна и вскоре, естественно, прибилась к литературным кружкам передовой киевской молодежи.

На Шулявке стали появляться невиданные дотоле личности — некрасивые, странно одетые девицы, оборванные, заросшие студенты и вообще неизвестно кто. Все они шли по переулку весело, громко, а из-за заборов высовывались Бондаренки.

Бабка встречала Катиных гостей вежливо, вела в ее комнату, входила, постучав.

Иногда присаживалась на стул у печки, слушала, что говорят. И только этих молодых, умных, веселых людей уважала, только их признавала за ровню себе.

Когда Кате было шестнадцать лет, вышла ее первая книжка стихов.

И содрогнулся Бондаренковский переулок, закипели страсти — радость, гордость, зависть, злоба, боль, несбывшиеся надежды — все выплескивалось через заборы.

Главная, заклятая врагиня, сестра Екатерина-Скорпион влезала на дерево в своем саду и кричала на всю Шулявку:

— Вот, погоди, Дуня, доучится твоя дочка́ до того, что проституткой станет!

А бабка со своей стороны влезала на яблоню и страшными слонами проклинала Скорпиона, глумилась над ее сыном Кирюшкой, которого властная мать довела до полного ничтожества, сулила ей горькую кончину.

А младшие сыны бабки кидали через забор в Скорпионов сад камни и били вечерами на темных, зловещих углах Шулявки Скорпионовых детей.

И только одна Катя была в стороне от этих побоищ и даже, по-видимому, не знала о них — она уже жила другой жизнью, шулявские эмоции не касались ее.

В жизнь Кати помимо книг, труда, сочинительства вошли идеи и друзья.

И наконец настало время, о котором бабка говорила: «А тут революция на дворе».

Рассказ моей бабки Евдокии Григорьевны
о том, как она узнала,
что ее дочка Катя вышла замуж за еврея

«А тут революция на дворе... Дед с войны пришел контуженный, старый идиот. В хате дети малые. Голод. Горе. Я хлебы пеку, на Еврейском базаре продаю.

Прихожу до Лейбика у рундук по мясо (Лейбик — это еврей — мясник, владелец мясной лавки на Шулявском базаре. И сейчас торгует в мясном магазине Лейбик, внук ли того исторического Лейбика, правнук ли...)

Плохое, Оксаночка, мясо. Ни-и-куда, одни кости. Стою, мясо выбираю.

Открывается дверь и заходит до него, до Лейбика, пожилая еврэйка, прилично одетая. И плачет. Лейбик спрашивает:

— А что вы, Вера Владимировна, плачете?

— Как же мне не плакать, наш Боречка женился.

— А чего же плакать? Дети растут, мы стареем. Пора вам уже внуков нянчить, в добрый час!

— Ой, Лейбик, такое горе — женился на украинке. Такая была невеста, Цилечка, красавица, хозяйка!..

— А де ж ваш Боречка?

— Да где-то в Одессе заведует комсомолом.

Батюшки мои, меня как в сердце ударило — еврэйский парень ув Одессе женился на украинке — наверно ж, на моей Кате!

Я тогда подхожу до этой еврэйки и так ее строго спрашиваю:

— А как фамилие вашей невестки?

Та письмо вынимает и говорит:

— Катя Авраменко.

Я как заплачу, как заплачу... И говорю:

— Будем знакомы, то моя дочка̀. Вам горе — и нам горе. Общее горе... Конечно, в старое время я б ей показала этих еврэев! А теперь что сделаешь — революция на дворе!.. Приходите уже к нам с вашим дедом, мы знаем, бывают и еврэи хорошие».

И прошла по Бондаренковскому переулку пожилая еврейская пара — Давид Вениаминович и Вера Владимировна.

Прошла в дом к Авраменкам, хлопнула фортка.

И снова содрогнулся Бондаренковский переулок. И зловеще мерцали из-за забора глаза Скорпиона.

Бабка приняла сватов хорошо. В саду накрыла стол белой скатертью, наливку из своей вишни поставила, «струдель». Деду велено было надеть костюм «на выход» и сидеть за столом, вести беседу, как подобает отцу молодой.

И стала бабка приглядываться к свекру и свекрови дочери своей Кати, завела разговор. И к удивлению ее самой — сваты ей понравились.

Свекор, Давид Вениаминович, оказался человеком умным, язвительным, но веселым, хорошо шутил, а бабка смешное понимала и ценила. А превыше всего она ценила в людях не богатство, не «хороший характер», а ум и всегда умела истинно умного человека распознать.

И бабка признала свата-еврея! С первой же встречи признала, всю жизнь уважала, любила с ним поговорить и даже иногда советовалась. Была она ему другом всю жизнь, многие-многие беды мыкали они потом вместе.

Свекровь, Вера Владимировна, оказалась женщиной доброй, робкой и славной. В молодости, похоже, была красавица.

«За красоту, видно, тот еврэй на ней женился,— думала бабка,— ну, нехай...»

С Верой Владимировной бабка никогда ни о чем важном не говорила, научилась от нее еврейской кухне, относилась к ней снисходительно, но обижать считала за грех.

Наряженный в черную пару, торжественный дед, как истый пролетарий, а также по доброте душевной никакого предубеждения против евреев не имел, беседовал хорошо, и встреча сватов шла как по маслу.

Но вылезла на забор Скорпион, заблестели злобой ее синие яркие глаза, и закричала она на всю Шулявку:

— А, Дуня, говорила я — станет твоя Катя проституткой, попомнишь мои слова! Вот и стала! Да не только что проституткой, жидовской проституткой стала твоя ученая дочка́ Катя!..

И тогда встала бабка из-за стола, влезла на яблоню и тоже закричала на всю Шулявку:

— Ах ты, Скорпион проклятый, чтоб тебе добра не было! Одного сына, Кирюшку, дурачком сделала, по подвалам ховаешь! А другого сына, Шурку, смертным боем бьешь. Да не дается он тебе, такой же заклятый хлопец, как ты, Скорпионово отродье! Вот погоди, вырастет тот хлопец, да и убье тебя, злыдню, от сыновней руки погибнешь, попомни мое слово!

И долго еще страшными словами проклинали друг друга сестры Евдокия и Екатерина, а дед увел обескураженных сватов в дом.

От проклёнов Скорпиона, оттого, что нужно было защищать новых родичей от Бондаренковского переулка, еще лучше стала относиться бабка к сватам-евреям.

Давид Вениаминович хаживал по переулку спокойно и независимо. На косые взгляды, на крики через забор никакого внимания не обращал, будто не слышал. И поняла бабка, что он человек не только умный, но и стойкий, гордый. А это она тоже ценила в людях.

И бабка никогда, ни в какие времена, не предала его.

Уже в двадцатые годы дочка Катя стала известной писательницей Екатериной Максимовной Авраменко. Бабкины труды увенчались успехом. Честолюбивые мечты ее сбылись.

Жила и печаталась Катя в Москве, но каждое лето приезжала отдохнуть на Шулявку.

По Бондаренковскому переулку стали ездить легковые машины, останавливались перед форткой Авраменков. Из машин выходили Катины друзья — писатели, многие — знаменитые. Ходила по переулку красивая женщина, все в ней было не так, как принято на Шулявке,— и одежда, и повадка, и то, что курила, и особая сосредоточенность лица, и близорукость — многих не узнавала, не здоровалась первая, как положено, с тетками и родней.

И затаил злобу Бондаренковский переулок, ждал своего часа. Еще грянет его час!

Бабка откармливала дочку, находила ее худой.

— А боже мой, чего ж ты такая худая? Курыть надо меньше и кушать сало. Вот пошлю деда на Евбаз по сало. И люкозу надо пить.

Ставили Кате раскладушку в саду, и она отдыхала, а бабка охраняла ее отдых. Первую неделю Катя спала и ночь и день, ела сало, читала беллетристику, отходила от тяжелой московской усталости, от бессонницы, от сложных литературных дел.

И бабка никого из семейства в сад не пускала, сама по грядкам ходила тихо, неслышно.

По вечерам беседовала с Катей — обо всем важном.

Вылезала на забор Скорпион, кричала:

— А, жидовская проститутка приехала до своей проклятой матки!

Вылезала на яблоню бабка:

— Что, Скорпион, выжила из дому родного сына Шурку, выжила хлопца?! С дурачком Кирюшкой осталась, бо он добре матку слухает?!

Бабка ругала бедного деда:

— От дэспот, дэмон проклятый, забора не может высокого поставить!

И к следующему приезду Кати между нашим садом и Скорпионовым «дэспот» воздвигал еще более высокий забор.

То были недолгие счастливые годы в жизни бабки.

Катя слала ей каждую свою новую повесть, каждый новый сборник рассказов. На книжке писала — «Дорогим маме и папе, с благодарностью». А один рассказ был посвящен ей, бабке, Евдокии Григорьевне Авраменко.

Бабка ставила дочкины книжки на комод рядком. Зимой, по вечерам, когда свободна была от работы в саду, читала, далеко отставив книгу, и никто не смел мешать ей в эти часы.

Прочие дети бабки все вышли в люди, все выучились, стали хорошими, порядочными людьми, переженились, родили внуков. Не стоял дом пустым.

Была еще бабка в силе, и дед тоже. И у Кати сын был, Андрюша, каждое лето приезжал на Шулявку к бабке. Мальчик был «выкопанный отец», бойкий, умница, все задачки решал да по деревьям лазал.

Приходил в гости Давид Вениаминович, и бабка садилась с ним рядом на скамейку в саду, беседовала, и они оба любовались и радовались на общего внука.

Кричала с забора Скорпион:

— А, жидовский байстрюк приехал до своей самашедшей бабы!

Кричала в ответ бабка со своей яблони:

— А ты, Скорпион проклятый, и не бачила Шуркину дочку и не побачишь до своей собачьей смерти!

А мальчишка Андрюшка хохотал, скалил белые зубы и бежал на Борщаговскую улицу играть с внуком Скорпиона Витькой, презрев родовую вражду.

Дед на заводе был в почете, сам директор с ним за руку здоровался, Максим Макарычем называл.

Были, были у бабки счастливые годы...

Но по земле уже крался фашизм.

Зять Борис уехал в Испанию воевать за республику.

Катя осталась в Москве с сыном.

Писать стала редко и сухо. Бабка теперь дочкины письма читала одна в своей комнате. Выходила с поджатыми губами, коротко сообщала, что, мол, Катя жива, здорова.

Раздирала тревога сердце бабки...

А потом пришло еще одно письмо. Бабка вышла с серым, как пепел, лицом. Никому не сказала ни слова.

И позвала на совет Давида Вениаминовича.

— Горе нам настало, Давид Вениаминович...

Решила Катя тоже ехать в Испанию. К чему это? У нее сын, его растить надо... Борис воюет с черной силой, так он мужчина. Где это видано, чтобы женщины на войну шли?.. Просит простить.

Бабка помолчала:

— Не прощу. Не пущу.

— Придется простить, Евдокия Григорьевна. Не отговорить нам Катю. Черная сила — страшная для людей сила, потому и едет Катя.

— Что посоветуете, Давид Вениаминович?

— Поезжайте в Москву. Кидайте все, поезжайте в Москву. Поддержите Катю, пусть она едет с легким сердцем. А как проводите, везите на Шулявку внука Андрея, будем пока сами растить хлопца. Вот я и денег на дорогу принес вам.

— Правду вы говорите, Давид Вениаминович, завтра поеду в Москву до Кати.

И поехала бабка в Москву...

...Через месяц вернулась с внуком Андреем.

Хлопнула фортка у Авраменков.

Глядела с забора запавшими глазами Скорпион, радовалась горю сестры Евдокии.

Стали жить. Бабка ждала писем — теперь из Испании.

А дед гордился дочкой и зятем. Читал со вниманием газеты, всем рассказывал.

Купил внуку шапку-«испанку» с кисточкой, на завод его водил.

История моего деда, Максима Макаровича

Дед всю жизнь боялся что-нибудь нарушить. Перейти улицу, где не положено, не дай боже опоздать на смену в заводе, жить без прописки, пропустить собрание.

Бывало, в добрые времена, когда отдыхала в Киеве дочка Катя, и квадрат сада плавился на июльском солнце, он прибегал с завода на обед, трусил к Катиной раскладушке, протирал очки, сморкался в ситцевый платок и ни с того ни с сего спрашивал:

— А что, Катя, тебе не пора паспорт менять? — и убегал.

Если в это время бабка полола в саду, она поднималась во весь свой высокий рост, иронически глядела ему вслед и говорила:

— От дурной дед. Настоящий дэспот!

А еще дед любил надписи и объявления. Это у него был «род недуга».

Бабка рассказывала:

«Посадила я под забором виноград. Вродил виноград. Делала с него вино, люкозу, от сердца.

Вдруг начал виноград пропадать, пристала до него болезнь. Я Ольгу ругала — дурной ты агроном, лечи виноград! Та дывится в лупу, а виноград гибнет. Не будет, думаю, на зиму люкозы деду. Тогда полю под забором астру. Смотрю — подкопана канавка от Скорпиона, и текут по той канавке мыльные помои. Через то и пропадает виноград. Я на апорт улезла, кляла Скорпиона. А та вытаращила свои злые очи да грозит мне кирпичом.

А тут дед пришел с завода.

Я думаю — чи он хозяин в хате, чи кто? Вот и говорю деду — иди сам ругаться до Скорпиона, а чтоб мне не гиб виноград, и никаких речей! Дед спугался. Пошел н сарай. Сидит там. Я думаю — дай посмотрю на деда, чи не курыт часом. Нет, не курыт. Пишет что-то на обоях старых. Написал, пошел у сад и повесил на Скорпионов забор плакат: „Гражданка Антоненко! Если ты будешь лить в наш сад помои, то мы весь твой сад зальем помоями, помоев у нас хватит! Член окружной избирательной комиссии, член партии с 1919 года, Максим Макарович Авраменко".

Я говорю — от дурной дед, совсем из ума выжил.

И что ж ты думаешь, Оксаночка? Перестал Скорпион проклятый лить помои, спугался деда.

Время от времени во дворе появлялась надпись — „для сора" и кривая, жирная стрелка, указующая сорный ящик, хотя всем и без того было известно, где он находится.

Или воззвание на фортке со стороны переулка: „Соседи! Просим цветы под окнами не ломать и не рвать. Посажены для красоты"».

В дни партсобраний дед брился машинкой для волос, подстригал калининскую бородку и усы, надевал парадный костюм. Говорил жене:

— Дуня, я сегодня иду у бю́ро.

И в эти дни бабка не ругала и не гоняла его.

Любопытно, что она приучила детей и внуков говорить ему «вы» и требовала от них к деду почтения.

Получила бабка от Кати три письма. Письма были хорошие, ласковые.

Писала Катя, чтоб не волновались, что она журналист в интербригаде, что большой для нее опасности нет. Благодарила за сына.

А потом замолчала. Как в воду канула. Ни слуху ни духу. Ни от нее, ни от зятя.

Долго ждала бабка...

А потом заметалась — искать надо. Где искать?! Куда писать? Откуда звать?

Ликовал Бондаренковский переулок. Глумилась на заборе Скорпион.

Бабка ходила по переулку спокойная, прямая, независимая. Никто на Шулявке не видел на лице ее слез. Замолкали люди, как видели бабку, здоровались с ней за десять шагов, как положено, она царственно кивала в ответ. Только почернела вся, еще суше, у́же стала, старость навалилась сразу.

Однажды ранним утром бабка собирала в саду нападавшие за ночь наливные яблоки. Услышала шум машины. Рванулась к воротам. Машина остановилась у фортки и вышел из нее зять Борис, живой и здоровый, с орденом Боевого Красного Знамени на груди.

И сказал зять Борис страшные слова: «Катя пропала без вести».

Не знала тогда бабка, что совсем скоро многие-многие матери услышат эти слова.

Еще сказал, что если жива Катя, он найдет ее. Верил, что жива. И бабка верила. Как жить иначе?!

Написали куда следует. Запросы послали.

Перед отъездом попросил Борис у бабки Андрюшу.

И бабка — отдала.

Дед, очень привязанный к внуку, осмелился спорить:

— Зачем отдаешь хлопца? Как мальчик будет жить в доме без женщины?

Бабка не накричала на деда, видно, и сама колебалась и думала то же.

— Пусть едет. Пусть живет с отцом. Хлопцу отец нужен. Мы старые, больные...— бабка помолчала,— может, и Катя вернется...

Спустя время на запросы зятя пришел ответ:

«Советская писательница Екатерина Максимовна Авраменко после тяжелого ранения, без сознания, в составе госпиталя интернациональной бригады была интернирована во Францию. Дальнейшие поиски продолжаются через Советское посольство».

Бабка вся напряглась. Ждала. Надеялась.

И тут грянула война.

Бабка осталась в Киеве одна без семьи, все уехали в эвакуацию, и дед с заводом Лепсе уехал на станках. Прощаясь, поцеловал бабке руку и заплакал.

А бабка не могла уехать с Бондаренковского переулка.

И когда появились на заборах объявления о том, что евреям под страхом расстрела надлежит явиться с вещами на Лукьяновку, бабка сразу поняла, что будут их — убивать.

И тогда «по-над вечер» пошла она с Шулявки на Демеевку, где жил овдовевший Давид Вениаминович с сиротой внучкой, привела их к себе и спрятала в надежном месте.

Но видела их Скорпион, как шли в темноте по переулку. Ее синие, блестящие глаза все видели, даже в темноте видели.

Вылезла утром Скорпион на забор и закричала на всю Шулявку:

— Что, Дуня, привела своих жидов ховать?! Ховай, ховай, добре ховай! Да не сховаешь!! Выдам я тебя немцам! Выдам я тебя немцам не за награду, плевала я на ихнюю награду, а хочу я поглядеть, как будут они сдыхать страшной смертью, да и ты вместе с ними. А дочка твоя Катя и сама где-то сдохла!

И впервые за всю жизнь не полезла бабка на яблоню, впервые за всю жизнь — промолчала.

Но Давид Вениаминович все слышал. Вышел он из надежного места, взял за руку десятилетнюю внучку и ушел на лютую смерть. Он был умный человек и понимал, что идет на смерть. Перед уходом был у него с бабкой разговор — последний в жизни разговор. Просил, когда вернутся наши, если жив будет сын Борис и нареченная дочь Катя, передать им, что на смерть шел без страха, только жалел очень внучку.

Потом поцеловал бабке руку и заплакал.

Вот так бабке два раза в ее жизни в сорок первом году два очень старых человека поцеловали руку.

«Ой, Оксаночка, какое горе было, как гнали евреев у Бабий Яр! Я стояла на Борщаговской улице, прощалась с Гиндой, с Лейбиком, с Абрамом-печником, со старым Шверцелем, что по детским болезням, и плакала.

И долго шли люди по Борщаговской улице, и плач стоял над Шулявкой.

А Давид Вениаминович шел, обнявшись с матросами пленными, и пел! Красиво, Оксаночка, пел!..»

Правда ли это было, или буйная фантазия бабкина такой явила ей последнюю дорогу свата к смерти, но рассказывала она так.

А когда вернулись в Киев наши и приехал с фронта зять Борис, она надела черное суконное платье, кружевной черный шарф, «что на смерть», нарезала в саду лучших цветов и повела зятя в Бабий Яр.

Вернулись к вечеру. Вся семья молча пообедала, бабка помыла посуду, ушла в свою маленькую, темную комнату и там долго плакала.

Жила бабка под немцем одна, как перст, в пустом доме. Кормилась с огорода и сада.

Немцев ненавидела люто.

Вылезала на забор Скорпион:

— Что, Дуня, где твои коммунисты? Где твои сыны? Где твой дед? Где твоя ученая дочка Катя? Вот погоди, дознаются фрицы, и пойдешь ты у Бабий Яр за своими жидами!

А бабка шепотом кричала в ответ:

— Вот подожди, Скорпион проклятый, вернутся наши, вытянут из погреба твоего дурачка-Кирюшку, да и расстреляют как дезертира!

В самый разгар оккупации получила бабка письмо.

Случилось это так. Зять Борис повстречал на фронте киевского приятеля Кати, военного корреспондента. Собирался этот корреспондент лететь в армию Ковпака. Борис дал ему письмо для бабки — вдруг удастся как-нибудь передать.

И это письмо к бабке попало.

Рассказ моей бабки о том, как она спасала врачей

«Как имели немцы уйти из Киева, заходит до меня хлопчик-нищий.

Я ему вынесла яблок и житнего хлеба.

А он и говорит:

— Заховайте, бабушка, наших советских врачей. Немцы всех врачей угоняют в Германию, бо им некому лечить раненых. А кто не захочет ехать — расстрел.

— А сколько ж тех врачей?

— Восемь штук.

— Ладно, говорю, сховаю, ведите...

Ушел хлопчик. А я и думаю — де ж я их сховаю, боже ты мой? У погреб, на чердак нельзя — каждый дурак догадается.

И выкопала я у саду траншей. Сверху доски настелила, дед проклятый новый забор хотел ставить, да так и уехал, дэспот, не поставил. Наносила земли, пересадила с грядки цветов. У траншей сена настелила.

Хороший, Оксаночка, вышел траншей! Когда идут под утро гуськом, а впереди тот хлопчик. А толстые... Оксаночка! И где они такие узялись?! Как, думаю, у траншей влезут, боже ты мой?!

Но — влезли, горе заставит.

Наварю ведро кондеру, поставлю им, а сама иду в поле „за линию", пою, картошку мерзлую собираю — бо, думаю, не дай боже, придут немцы, начнут меня пытать, я и выдам!

А по-над вечер возвращаюсь, забираю тех врачей в хату — немцы боялись по Шулявке ночами ходить.

Так и дождали наших.

И так хорошо меня отблагодарили те врачи — реванолю выписали и порошки от нервов!»

После освобождения Киева стала собирать бабка семью. Вернулся дед с заводом. Зять Борис приезжал в отпуск после ранения.

Опять забрала к себе бабка внука Андрюшу, уже юношу, намыкавшегося по детским домам в эвакуации.

В Киеве было холодно и голодно. Окна в доме забиты фанерой, топить нечем.

Дед вернулся совсем старым, ослабел, одичал.

Бабка продавала на базаре сушеные яблоки, наливку, цветочные семена. Шила из старья рукавицы, продавала на толкучке. Кое-как кормила семью.

Зимой получила бабка запоздавшую похоронную за сына Василя. Сын Грыць пропал без вести. А младший сын Алексей, Лелька, был жив. Этот Лелька вообще был счастливчик, все у него в жизни ладилось. Вот и в эту войну — с первого дня на фронте, а даже ранен не был.

Прислал бабке Лелька аттестат — полегче стало.

Только об одной Кате ничего не было слышно.

Черная тоска грызла сердце бабки. Непосильной становилась ноша горя.

Притих Бондаренковский переулок, все считали раны и потери.

Бабка ждала победы. И для всех ждала, и для себя — надеялась, может, вернется после победы Катя.

Рассказ моей бабки о том, как мы немцев победили

«...И дошли, Оксаночка, немцы до самой до Москвы. Горе настало. И велел Сталин митрополиту служить молебен на Красной площади. Служит митрополит молебен — и все воинство на коленях. Отслужил молебен, снял с груди звезду бриллиантовую и дал у руки Сталину на оборону.

И тогда все купцы, какие были, понесли золотые подносы, самовары — и навалили целую гору на Красной площади!

— Бабушка, ну что ты такое говоришь? Ну какие купцы в наше время!

— Что ты понимаешь, Оксаночка, они попрятались, у землю позакапывали...

...И тогда все купцы, какие были, понесли золотые подносы, самовары — и навалили целую гору на Красной площади!

И вышел уперед Сталин и сказал: „Кто пойдет спасать Россию?"

И выступило двадцать восемь человек, и сказали они: „Мы пойдем спасать Россию, только не оставь наших жен и детей, дай им всем по квартире!"

И тогда Сталин всем выписал ордера.

Взяли те двадцать восемь человек по собаке и по бутылке с пироксилином и поползли под немецкие „тигры".

А „тигры" — то такие немецкие танки, шо ни одна наша пушка не брала.
Собрал Сталин всех ученых, какие были, и сказал: „Выдумать пушку!" И настало горе — все ученые, умные люди сидят, думают, да не могут выдумать. Через то и тикали мы до Москвы.

Ну вот, слушай дальше, Оксаночка... Среди тех двадцать восемь человек был один молоденький хлопчик, чей батька, умнейший ученый, над пушкой думал.

И сказали товарищи тому хлопчику: «Как будем мы до „тигров" подползать, ты сховайся в лесу, а как взорвемся с танками, бери кусок „тигра", тикай в Москву, да и отдай тот кусок отцу». Как сказано, так и сделано.

И выдумал у Москве отец того хлопчика пушку „катюшу".

А „катюша" — то такая пушка, что на тыщу километров все огнем горит. Вот тут и начали немцы тикать!

Вот я сама видела — везли через Киев немцев, обгорелых и мерзлых, как дрова стукались».

Пришла Победа. Приехал к бабке сын Лелька, весь в орденах. Привез молодую, веселую, хорошенькую жену Машу, очень бабке понравившуюся.

Приезжал навестить зять Борис, хромой после ранения, но живой. Внуки наехали.

Только Катя не вернулась...

Никто в семье уже не ждал ее, никто не верил, что жива она. Только одна бабка ждала и не сдавалась.

Андрюша уехал в Москву учиться в университет. Бабка тяжело прощалась с внуком. Стояла в фортке, пока шел Андрюша по Бондаренковскому переулку с жалким чемоданом, видела, как скрылся за поворотом. И еще долго потом стояла...

В последние годы в Андрюше стало проступать что-то материнское, Катино. В повадках, в неожиданной, посреди разговора, сосредоточенности, в красивой, вольной походке, в улыбке.

Бабка не хотела отпускать внука в Москву. Сказала:

— Здесь учись! Вот и отец твой пишет: «Не оставляй бабушку».

Вечером позвал Андрюша бабку в сад на совет. Говорили долго.

Дед волновался, забегал, как бы за делом, но бабка гнала его:

— Иди, дед, иди, не мешайся.

А когда вернулась в дом, объявила, что Андрей поедет в Москву.

Дед заплакал. Бабка прикрикнула:

— Чего расстраиваешь хлопца? У Москве лучше учат. Пусть едет.

И как прежде Катя, приезжал на летние каникулы в дом Авраменков Андрюша. Дом оживал. Приходили Андрюшины приятели, длинноволосые, стройные девушки — все до одной хорошенькие.

В сад провели свет. Дед сбил новый круглый стол и скамейки, повесили гамак.

Допоздна в саду хохотали, читали стихи, танцевали, спорили, целовались, трусили зеленые яблоки.

Бабка ходила по саду, резала цветы на продажу, оделяла гостей вишней и клубникой. Иногда присаживалась с садовым ножом в руках, рассказывала свои истории.

Все было очень похоже, и все было не так...

Дед совсем одряхлел. Пришел раз с завода, поел борщ, протер очки и сказал:

— Запорол я, Дуня, сегодня деталь. Не бачу ничего и руки трясутся.

Бабка встала, пошла в кладовку и принесла наливку и грушу бэру. Налила деду граненую стопку, подала:

— Пора тебе, Максим, на пенсию. Кидай, старый, завод.

И ушел дед на пенсию, восьмидесяти двух лет, проработав на заводе Лепсе пятьдесят пять лет.

Провожали его как положено, торжественно, всем заводом.

Пошла на завод вся семья, и бабка пошла.

Дед сидел на сцене, все в том же вечном парадном черном костюме, который ему с годами стал велик.

Говорили речи, хвалили деда, дарили подарки и адреса. Дед был растроган и счастлив. Сморкался в белый по случаю торжества платок и протирал очки.

Сидя дома, дед совсем затих. Все больше спал. Сядет в саду газету читать и спит. Бабка его гоняла, не давала покоя.

Когда Андрюша вступался за деда, говорила:

— Шо ты понимаешь?! Он так сядет каменем и умрет. Нехай ходит.

В 54-м году проехала по Бондаренковскому переулку легковая машина. Остановилась перед домом Авраменков.

Вышли из машины Катины друзья-писатели и вошли в дом.

Бабка обрадовалась. Накрыла стол в саду, угощала клубникой.

Рассказывала им про Катю, вспоминала.

Сказала, что теперь уж скоро Катя вернется, все возвращаются, кого война по свету раскидала.

Но гости как-то стеснялись, и разговор не складывался. Замолчала и бабка...

И тогда подали они ей бумагу.

Принес дед очки, и бабка прочла: «Советская подданная, писательница Екатерина Авраменко (подпольное имя Жанна Ланье) пала смертью храбрых в рядах французского Сопротивления. Награждена орденами Почетного легиона и Отечественной войны I степени посмертно».

Страшно закричал дед.

А бабка не закричала. Еще и еще раз прочла, шевеля губами, бумагу. Потом встала, поклонилась гостям и сказала:

— Спасибо вам. А теперь извините, я пойду,— и ушла в свою темную комнату.

Там надела все чистое и легла на кровать — умирать.

Плач стоял в доме Авраменков, только одна бабка лежала тихо и ждала смерти.

Пролежала она так три дня, а смерть не пришла...

Потом встала, сняла со стен портреты Катины, с комода — книжки ее, завернула все в чистую, белую тряпку и спрятала в комод, в дальний ящик, где лежала одежда бабкина «на смерть».

Через месяц приехал Андрюша. Подошел к крыльцу, обнял сухие, острые плечи бабки, и тут зарыдала она громким, тяжким, смертным рыданием.

Сидела на заборе Скорпион и молча глядела на бабкину скорбь.

Тихо, незаметно умер дед...

А вскоре умерла и Скорпион. Последние годы, как погиб Скорпионов сын Шурка, ушедший от матери почти мальчиком и так никогда к ней не вернувшийся, стала она пить.

Бабка говорила:

— Видно, у душе своей черной любила Скорпион пуще всего того Шурку. Все ждала, что вернется к ней, простит ей, как лютовала над ним в детстве. А он после ранения на фронте заболел чахоткой, болел, болел, по курортам ездил, да не помогли курорты...

Умер Шурка, не вспомянув мать-Скорпиона.

Пила Скорпион люто. Все пропила — и дом, и сад. Ходила зимой по снегу босая, седые волосы висели патлами, синие глаза горели безумием.

От водки и померла.

И опустела жизнь бабки...

Когда у Андрюши родилась дочь, ее назвали Екатериной. Бабка дожила до этого, но увидеть уже не успела.

Публикация
Е. МЕСХИЕВОЙ

Ирина
МОИСЕЕВА

◆◆◆

Что сделаешь?! Не так мы хороши,
Как хочется.
Но я уже не струшу,
Что вытрясешь из замершей души,
Без устали допрашивая душу.
Не хватит покрывал и париков,
Чтоб все прикрыть,
Что истинно, но скверно.
У нас же говорить без дураков
Не принято. И правильно, наверно.
В них мудрости не меньше, чем во тьме,
Разумно расположенной в природе.
О, господи! Лежать на животе,
На солнышке! Мечтая о свободе
И равенстве!
Когда ж и поумнеть, так не теперь.
Не то еще бывает.
Великое *иметь* и *не иметь*
Само собой из памяти всплывает.
Само собой по улицам идет.
Само собой развертывает знамя.
И тот, кто вместе с нами не поет,
Само собой, не будет вместе с нами.

◆◆◆

Учиться вымыслу сложней, чем ремеслу.
Рискуешь выбиться. И больше
не прибиться.
Всё руки девушек тоскуют по веслу.
Но хочется не плыть, а утопиться.
А путешествие вдоль времени и стран
И познавательно, и ничего не стоит.
Хоть, если вдуматься, то что это?
Обман.
Обман, естественно. Но это нас
устроит.
Жизнь так устроена, что это нас
вполне,
Причем на уровне. А правда этой жизни
Не обязательно находится на дне.
Во сне. В Италии. Я ничего капризней
Ее не видела. Чего ни сочини,
Чего ни выдумай, все у нее в запасе,
На что безумие?! Казалось бы, сродни,
Но глупости. Всего в начальном
классе.
За что зацепишься? Ни метр,
ни килограмм
Уже не выдержат. А полная свобода
Вообще бессмыслица.
Но светоч нужен нам!
Но повод нужен нам!
Но посох нужен нам! И настроение.
И теплая погода.
Все это в комплексе
И в двух шагах от входа,
Вернее, выхода. Вернее, год от года
Стиль совершенствуя и методы борьбы,
Поймать пытаются хозяева судьбы
Себя за хвост. Лукавая природа
Подставит их. Среди дурных привычек —
Стихи без вымысла. Цитаты без кавычек.

◆◆◆

К счастью путь заповедан веками,
Но упрямая тянется нить.
Так и быть, поведут на аркане.
Так и быть, поведут. Так и быть.
С виртуозной сноровкой для первых
И удавкой для всех, господа.
Сильных духом, слепых, слабонервных
Исключительно тянет туда.

Пер
ЛАГЕРКВИСТ

СМЕРТЬ АГАСФЕРА

Повесть

На постоялый двор для паломников, направлявшихся в Святую землю, пришел однажды вечером человек; казалось, его загнала туда молния: когда он рывком отворил дверь, все небо позади него вспыхнуло пламенем, ветер и дождь накинулись на него, он с трудом закрыл за собой дверь. Когда же это ему наконец удалось, он повернулся и оглядел полутемную комнату, освещенную лишь несколькими коптящими масляными светильниками, как бы недоумевая, куда он попал. В конце этой большой холодной комнаты было так темно, что он не мог ничего разглядеть. Остальное же пространство было заполнено людьми, стоящими на коленях на грязной, замызганной соломе, разбросанной по полу; похоже было, что они молились, он слышал невнятное бормотание, но лиц их не видел, они стояли к нему спиной. Воздух здесь был тяжелый и спертый, в первое мгновение он показался ему тошнотворным, удушающим. Куда же он, собственно говоря, попал?

У грубо сколоченного стола, неподалеку от двери, сидело несколько мужчин свирепого вида, они играли в кости и пили вино. С ними сидело и несколько женщин, которые висли у них на шее и тоже были пьяны. Один из мужчин взглянул мутными глазами на незнакомца, загнанного сюда молнией. Остальные не обратили на него внимания.

Свободное место было лишь за одним из столов. Там одиноко сидел человек. Он глядел перед собой отсутствующим взглядом и, казалось, был занят только самим собой. Он был пожилой, жилистый и сухощавый, ноги он вытянул под столом, у ног лежала, свернувшись, собака. Незнакомец подошел к столу и сел чуть поодаль.

Человек, казалось, не заметил, что кто-то уселся рядом с ним. Незнакомец тоже делал вид, будто не замечает его, лишь время от времени косился в его сторону. Его лицо с жесткой рыжеватой щетиной и плотно сжатым ртом было непроницаемым, угрюмым и неприветливым, длинные худые руки, волосатые на тыльной стороне, он положил на стол, маленькое пламя светильника освещало их, трепыхаясь на сквозняке, тянувшемся от двери. В этой огромной и мрачной комнате оно казалось маленьким испуганным живым существом.

Бормотание молящихся не затихало, кости стучали по столу, пьяные голоса и смех не смолкали. За окном бушевала гроза, сотрясая наружную дверь, возле которой стоял стол, дождь барабанил в нее и в маленькое глухое оконце над столом, за которым они сидели.

Незнакомец снова покосился на человека, сидевшего рядом. Нет, не стоило спрашивать его, где он находится, что это за странный дом высоко в горах.

Собака у его ног слегка зашевелилась, развернулась в обратную сторону и снова улеглась, жалобно заскулив. Человек не обратил на нее внимания, а может быть, и не заметил, как она шевелилась, терлась о его рваные, стоптанные башмаки.

Внезапно всю комнату осветила яростная вспышка молнии, почти одновременно прогремел гром, и долго после этого его раскаты грохотали в горах. Незнакомец огляделся вокруг, посмотрел на окна, которые только что светились ярким огнем, а теперь потемнели. Кроме него никто не замечал свирепой непогоды, которая заперла их в этом доме. Почему здесь собралось так много людей? Почему они стоят на коленях на соломе?

Из-за одного стола, за которым сидели пьяные, поднялась женщина и нетвердым шагом подошла к ним. Она постояла немного, поглядела на человека с собакой, потом села напротив него. Долгое время она молчала, глядя на него с презрительной усмешкой. Когда она улыбалась, рот ее кривился. Видно было, что она пьяна и не пытается скрыть это. Пышные, растрепанные темно-рыжие волосы обрамляли увядшее, некогда прекрасное лицо, столь прекрасное, что оно и теперь отчасти сохранило свою красоту. Даже презрительно искривленный рот, большой и пухлый, был красив — рот, притягивающий к себе мужчин.

— Почему ты ничего не пьешь? — спросила она наконец неожиданно низким грудным голосом.

Он не отвечал, и она презрительно дернула плечом.

— А я пью. Ты недоволен? Тебе не нравится, что я пью? Скажи!

— А что мне до того? — отвечал человек, в первый раз взглянув на нее.

— В самом деле, что тебе до того? Ведь ты сам научил меня пить.

Она повернулась к другому, сидевшему за столом, к странному незнакомцу, который пришел, гонимый молнией.

— Это он научил меня пить, понимаешь? Научил меня всему. Научил меня с самого начала, и я стала такой вот, как сейчас. Это его рук дело. Не правда ли, это ему хорошо удалось? Он может быть доволен, верно? Он начал с того, что взял меня силой, научил меня этому. А потом и всему остальному. Он начал с самого главного. Может, это неправда? Неправда? А? В ту пору ты не был святым, благочестивым пилигримом. В ту пору ты не собирался в Иерусалим, а если пошел бы, то входить пришлось бы не в те ворота. Он отправится в Иерусалим, понимаешь? Нет, этого тебе не понять, ведь он не похож, не похож на паломника. В Святую землю! Если успеет, прежде чем угодит на виселицу.

Незнакомец поглядел удивленно на нее, потом на человека и на молящихся.

— Странное это место, не кажется тебе? Паломники, мошенники и святые вперемешку. Нелегко различать их, скажу я тебе; вон тот, что стоит на коленях, может оказаться негодяем похуже всех нас, а может, он такой же, как мы, очень может быть, а может, он стоит на коленях, чтобы обокрасть простодушного брата, преклонившего колени рядом с ним, кто его знает. А почему ему не до́лжно этого делать? Ведь ему тоже нужно жить. Все должны жить. Хотя, почему это необходимо, никто, по правде говоря, толком не понимает. Здесь все живут за счет паломников, ведь так много дураков стремится изо всех сил попасть в страну, которую они называют Святой землей, почему они так называют ее, я не знаю, но ведь как-то она должна называться. И на пути туда тащат с собой все, что у них есть: кольца и браслеты, серебряные кубки, серебряные ложки и дукаты, зашитые в одежды так, что их нелегко найти. Они кажутся бедными, но они вовсе не бедны, и в этом наше счастье, иначе на что бы мы жили? Иные паломники ужасно богаты. Но они, ясное дело, ночуют не здесь, на грязной соломе, нет, они спят наверху в чистых господских комнатах. У них есть слуги, которые прислуживают им с утра до ночи, и кучер, они едут к могиле своего Спасителя в собственном экипаже, не желая отказываться на пути туда от всего, к чему привыкли. И к чему им отказываться от привычного, в этом нет ничего худого, пусть себе поступают, как хотят. Я вот только думаю, как же это, выходит, их слуги тоже паломники, раз они едут ко гробу Господню, точно так же, как их господа? Что можно сказать об этом? Ведь их никак нельзя считать паломниками, нет, никак нельзя.

А один из паломников вовсе чудной, у него целая вереница экипажей, я даже не знаю, сколько их у него. Он дворянин, такой знатный, что имя его сразу и не выговоришь, слуг у него столько, что ты и представить себе не можешь, хотя он совсем одинокий, понимаешь? Слуги и лакеи бегают за ним по пятам, угадывая его желания, так что ему и рта открывать не надо. До того его опекают, что спятить можно. Говорят, он даже задницу сам себе не подтирает, видно, это правда, с него станет. В одном из экипажей у него сундук с деньгами, говорят, такой тяжелый, еле сдвинешь. Только никто не знает, довезет ли он его до Иерусалима. Для него же лучше, если не довезет, ведь ты же знаешь, богатому нелегко пройти сквозь игольное ушко. Как сказано в Писании. Или, может, не так сказано? А?

Бормотание молящихся смолкло, и когда незнакомец оглянулся, то увидел, что они укладываются спать, скатывают свои плащи с капюшонами и рясы в подголовье и ложатся почивать на грязной соломе. Они лежали одетые, словно были готовы в любую минуту подняться и отправиться дальше в путь.

Он пытался разглядеть их лица, ему очень хотелось увидеть их, многие из них были обращены к нему. Большинство лиц не выражало ничего особенного, но иные излучали нечто наполнявшее его страхом и беспокойством.

В них было нечто такое, что он и раньше встречал в людях и что всегда было для него непонятным.

Женщина сидела и смотрела на них, не говоря некоторое время ни слова.

— Есть среди них честные и чистые сердцем,— продолжала она уже каким-то иным голосом,— даже святые, которые станут однажды блаженными... быть может... хотя, кто знает?

— Можешь ты представить, есть тут одна девушка, которая спит с ними, паломниками, если они захотят, этим она зарабатывает на дорогу, на паломничество, на все расходы, а ведь их немало, понимаешь? Я говорила с ней, расспросила ее, и она сказала, что это правда. Для нее, говорит она, это единственный путь попасть к могиле Спасителя, а она так сильно жаждет этого, чтобы спасти свою душу. Только это одно и имеет для нее значение; что ей приходится терпеть, для нее ничего не значит, тело для нее ничто, она с радостью принесет его в жертву, чтобы душа ее познала покой, когда она придет туда. Слыхал ли ты что-нибудь подобное? Когда я немного пошутила над ней, она сказала, что не получает от этого никакого удовольствия, разве что один-единственный раз, и надеется, что ей это простится, ведь она грешила не из-за своей похоти, а чтобы однажды преклонить колена перед гробом Спасителя. Прежде она так не жила, ни один мужчина не дотрагивался до нее. Вы не верите, а я верю, понимаю, что это правда. Такая она и есть на самом деле, не из тех, кому нравится так жить, это видно по ней, ее принуждает к тому лишь жажда поклониться гробу Господню. Ей ведь нужны деньги, чтобы ее перевезли на корабле через море к Святой земле, это стоит дорого и на это тоже нужно скопить деньги. Но для нее ничего не значит ни позор, ни все, что ей приходится терпеть, все, что они делают с ее телом, с этим ничтожным телом... Так она говорит, это так странно, вы не можете понять, как странно слушать ее... мне нравится она, очень нравится... я говорила с ней много раз и сегодня, и вчера, и каждый раз мне ее слова кажутся странными... это ничтожное тело... это совершенно ничтожное тело...

Вдруг она всхлипнула, потом ударилась в слезы. Плечи ее вздрагивали, она закрыла свое раскрасневшееся лицо руками.

Но вскоре она отняла руки от заплаканного лица и бросила ожесточенный взгляд на человека с собакой.

— А ты! Откуда ты взял деньги, чтобы плыть в Иерусалим? Может, ты заработал их? Скажи! Или, может, мне сказать? Уж никак не честным путем, это уж точно. Не так, как она! Она-то честная. Ее Спаситель наверняка считает ее честной, он примет ее и даст ей мир. А ты нечестный человек, знаешь сам, и я бесчестная. Но я не всегда была такой, когда-то я была совсем другая, не такая, какой ты меня сделал, ты и твои... ты и твои...

Она подняла было руку, сжатую в кулак, но тут же опустила ее, мол, ни к чему это, что толку теперь скандалить. Женщина сидела и смотрела на него, и в ее пьяном взгляде было безразличие отчаяния. Губы ее снова изогнулись в кривую улыбку, насмешливую и презрительную, она подняла одно плечо, чтобы показать, во что она его ставит. Потом толкнула ногой собаку под столом.

— Что это за старая паршивая псина, которую ты таскаешь за собой? Не можешь, что ли, завести настоящую собаку?

— Не трогай ее,— неожиданно вспылил он.

— Захочу и трону. Делаю, что хочу. Терпеть не могу таких старых, паршивых...

Она пнула собаку, и та завизжала.

Человек вскочил, поднялся во весь рост, худощавый, жилистый, вид у него был поистине опасный.

— Не смей трогать ее, говорю я тебе! Слышишь?

Он казался таким взволнованным, что она растерялась, ничего не понимая.

— Что с тобой? С чего ты взбесился? Из-за жалкой дворняги?

Она никак не могла понять, в чем дело.

Человек снова сел, но не спускал с нее глаз, опасных глаз, в которых легко загоралось бешенство, но почему он только что вспылил, было невозможно понять. Незнакомец, видевший их впервые, задумался над этим.

Наступило молчание, никто из них не вымолвил ни слова.

— Да ты не слушай, Товий, что я болтаю,— сказала она погодя.— Я ведь просто так говорю. Во всяком случае, мы можем остаться друзьями, не правда ли? Я огорчилась, когда ты ушел, не сказав ни слова. Почему ты это сделал? Ты думал, я повисну на тебе? Как ты только мог такое подумать? Но куда ты ушел? И где был все это время?.. Можешь не отвечать, не мое это дело, как ты живешь... Я не имею никакого права мешаться в твою жизнь, какие у меня на это могут быть права?..

Собака под столом жалобно заскулила. Женщина взглянула вниз, пытаясь рассмотреть ее в полутьме.

— Странная у тебя собака, я такой еще не видела, до чего же безобразная. Где ты ее взял? Разве ты не знаешь, как должна выглядеть собака? Я думала, знаешь.

Человек не отвечал, но по-прежнему смотрел ей прямо в глаза.

— Ты помнишь мою собаку? А? Помнишь? О, когда я вспоминаю ее... Черная, с блестящей шерстью, гладкими ляжками, белым холодным носом, с вечно высунутым языком... Вот это была сто́ящая собака, охотничья! Она никогда тебя не любила может, ты помнишь... Однако нет ничего удивительного... в том, что она бросилась на тебя... ведь она была так предана мне... О, как хорошо я помню ее, хотя это было так давно... Нет, я никогда не прощу тебя за то, что ты отнял у меня мою собаку, никогда...

— Я?

— Да, это твоя вина. В том, что мне пришлось избавиться от нее, заколоть ее. Я сделала это сразу же, когда мы отправились в путь, не позволила ей следовать за нами... Видеть ее вместе с другими псами в обозе, запаршивевшими, уродливыми, она не смогла бы жить там, да и я этого не вынесла бы. Собака, привыкшая к свободе, к жизни в лесу. Охотничья собака! О, когда я увидела, что она начинает походить на других псов, как глаза ее становятся покорными, трусливыми, водянистыми... Терпеть не могу трусливых собак, которые вызывают жалость! Нет, я не хочу думать об этом; хочу

вспоминать ее, какой она была раньше... Помнишь, как мы жили втроем в лесу — собака, ты и я... кормились охотой... как я научила тебя охотиться... жить, как положено человеку... как сразить оленя на бегу.

Помнишь, ты придумал мне такое странное имя, называл меня Дианой... Такого и имени-то нет, никого так не зовут, ты его просто выдумал. Мне оно не нравилось, и ты перестал меня так называть. Но нам было хорошо в те дни, разве нет? Скажи? Ведь это правда? До тех пор, пока тебе не пришлось возвращаться в свой отряд, или как он там назывался, все названия, которые придумываете вы, мужчины, звучат так глупо... Диана... ведь это не имя, такого имени нет... Но ведь нам было хорошо, разве нет? О, человеку немного дней отпущено для счастья, немного... Что ты на это скажешь, Товий? Разве это не так?

Он не ответил.

Она сидела и гладила стертую до блеска столешницу, на которой лежала его рука. Незнакомец поглядел на их руки, лежавшие на столе.

Больше никто не сказал ни слова.

Из компании пьяных послышался грубый, хриплый голос:

— Скоро ли ты придешь? Что ты там сидишь? Когда же мы, наконец, доиграем?

Она неуверенно поднялась с гримасой отвращения, постояла немного, опираясь на край стола.

— Я вожусь с этим сбродом. Я — одна из них. Впрочем, мне все равно...

Она поглядела на него черными, слишком блестящими глазами и пошла назад к своей компании.

— Она спятила! — пробормотал человек сам себе, когда она ушла. Но было видно, что он очень взволнован.

— А это правда, что она сказала?

Человек бросил взгляд на незнакомца, словно удивляясь, какое тому до всего этого дело. Но, хотя он и помедлил с ответом, ясно было, что ему хочется говорить, хочется высказаться.

— Правда? Конечно правда... отчасти... Хотя... не все правда... По крайней мере, как она ее понимает...

— А как надо понимать?

— Да... Когда-то мы жили вместе, как она говорила, в лесу, это правда. И правда то, что мы были счастливы тогда...

Я оторвался от своих и бродил один... да, я был солдатом, ясное дело, была война, да она никогда и не прекращалась... Собственно говоря, я был бедным студентом, но продолжать учебу тогда было невозможно, все было невозможно, между прочим, и города моего тогда не стало, лишь дымящиеся руины... Пришлось стать кем-нибудь другим, бандитом или солдатом, выбирать, что тебе больше по душе, впрочем, разница была невелика. И я стал солдатом. А когда мы рыскали по дремучему лесу, возле которого стояли лагерем,— военные ведь всегда боятся леса, и потому меня и еще нескольких послали поглядеть, нет ли там чего опасного,— ну, вот и вышло так, что я потерял своих однополчан и шел все дальше и дальше.

Под конец я вышел на прогалину между деревьями, где росла красивая густая трава, а посредине бежал ручей. У ручья лежала женщина, вначале я не был уверен, что это женщина, слишком она походила на мужчину. Она полулежала, нагнувшись над тушей животного, и разделывала ее на куски, возле нее стояла собака, пожиравшая внутренности, которые ей швырнула женщина. Услышав мои шаги, незнакомка вскочила на ноги с быстротой молнии и стояла, держа в руке окровавленный нож, готовая защищаться, а собака бросилась на меня со злобным лаем и чуть меня не опрокинула.

Но я, не теряя спокойствия, подошел к женщине, вырвал нож как раз когда она подняла руку, потом спросил с упреком, не собиралась ли она убить меня, хотя вопрос был лишним, потому что именно это она и собиралась сделать. Тут я сказал, что хотел лишь напиться из ручья, и спросил позволения сделать это. Она не ответила, тогда я лег у воды, собираясь напиться, но увидел, что вода покраснела от крови: она мыла здесь куски свежанины. Я помедлил и сказал, что в воде кровь, а она стояла, презрительно глядя на меня, и я в первый раз увидел, как рот ее кривится в усмешке, других же недостатков н ней не было, напротив, женщины прекраснее ее я никогда не видел. На теле у нее был лишь кусок оленьей шкуры, и я мог судить о том, какова она.

— Ты что, боишься капли крови? — спросила она, насмешливо улыбаясь.

Я не ответил, а стал пить.

Напившись, я взял ее силой, виной тому была отчасти эта улыбка, способная раззадорить любого мужчину.

Она сказала правду. Однако ничего особенного в моем поведении не было, ведь мы поступали так всякий раз, когда нам на пути попадалась женщина. К тому же отказаться от такой, как она, было нелегко.

Правда и то, что собака, которая было успокоилась, теперь набросилась на меня и все время кусала меня до крови, хотя я не обращал на это внимания. Вначале женщина тоже рассвирепела и отчаянно сопротивлялась, бороться с ней было все равно, что бороться с мужчиной. Но под конец мы успели настолько подружиться, что больше не дрались, и она даже снизошла до того, что позволила целовать себя, хотя при этом ее улыбка оставалась такой же насмешливой.

Так и началась наша с ней жизнь. После она часто признавалась, что в самом деле испытывала от этого большую радость. Я тоже был очень рад встрече с ней, настолько рад, что остался с ней в лесу, пусть мои думают, что я заблудился, ведь так оно и было в самом деле. Такой женщины у меня никогда прежде не было, думаю, у немногих мужчин была такая, как она. Конечно, я хочу сказать, такая, какой она была в ту пору, а не потом. Она не походила на обыкновенных женщин, в ней все было необыкновенное. С ней я всегда чувствовал себя неуверенно, и, как ни странно, она, казалось, тоже была неуверенной, нервной и вызывающей. Мне приходилось все время быть тоже настороже. Она никогда не раскрывалась до конца, нельзя было угадать, что у нее на уме, даже когда я спал с ней, в минуты большой близости. Она казалась девственницей, которой невозможно полностью овладеть. Жажды наслаждения, которое она испытала впервые, ей не удавалось скрыть, и в то же время она стеснялась ее, почти боялась и по мере сил старалась избежать того, чего ей так сильно хотелось. Когда же наконец это случалось, она сопротивлялась как можно дольше и, прежде всего, старалась не отдаваться полностью; я никогда не видел женщины, которая бы так мучалась от того, что ее удовлетворили. Может быть, это зависело от того, что она наслаждалась гораздо сильнее других? Ты можешь сказать, отчего женщины так болезненно улыбаются, испытывая самое большое наслаждение на земле?

Да, так мы жили вместе. Любить ее было трудно и тревожно, но, верно, оттого я ее и любил.

Да, конечно, мы были счастливы. Мы бродили по лесу, разбивали лагерь, где вздумается, там, где нам нравилось.

У нее не было постоянного жилья, по крайней мере летом; зимой, думается мне, она жила в какой-нибудь пещере. Дичи вокруг было вдоволь, и она убивала ее без труда с помощью нехитрых орудий охоты — лука и стрел, которые делала сама; когда я пробовал употребить их, у меня ничего не получалось, я привык к другому, более неуклюжему оружию. Она была удивительно метким стрелком, ни одна добыча не ускользала от нее, когда она замечала ее зорким глазом, сам же я часто не успевал даже заметить зверя. Не удивительно, что я называл ее Дианой, но она никогда раньше не слыхала этого имени и не знала, кого так звали, впрочем, она вообще ничего не знала.

По вечерам мы жарили дичь на костре, потом она засыпала костер землей и мхом, и мы тут же располагались на ночлег.

Почему она поселилась в лесу, я не знаю. Но в наш век — век войн и чумы, смут и сумятицы — столько удивительных судеб, на что только не идет человек, чтобы выжить, невольно перестаешь чему-либо удивляться. И если ты думаешь, что прошло время, когда случаются невероятные вещи, совершенно непонятные, непостижимые, которые мысль человеческая не может осознать... то ошибаешься. Жестоко ошибаешься. Но это уже нечто иное, нечто совершенно иное...

Может быть, все ее близкие умерли или исчезли во время войны и чумы. А может быть, их у нее никогда и не было? Я не знаю. Этого я так и не понял. Когда я спрашивал ее, она только качала головой, будто и сама того не знает, или пожимала плечами, мол, вопрос этот лишний. Похоже было, что она так и жила всю жизнь.

Когда мне пришлось возвращаться в войско, в лагерь, она пошла со мной. Видно, сделала это потому, что я не был ей безразличен, а может быть, потому, что привязалась ко мне или просто не могла обойтись без того, что познала со мной. Могу только сказать, я был рад этому, но не принуждал ее. То, что я потащил ее за собой, как она потом часто говорила, вовсе неправда. Она сама решилась, как делала всегда. Нет никого на свете, кто имел бы над ней настоящую власть.

Она оставила лес и охотничью жизнь, стала одной из женщин в обозе, ведь, если мы хотели жить вместе, нам больше ничего не оставалось. Что там были за женщины, ты можешь догадаться. Она стала одной из них. Вскоре мы тронулись с места, отправились в другие края на поиски новых ратных дел и новых грабежей. То, что она вскоре стала принадлежать всем в нашем отряде, не моя вина. Конечно, мне хотелось сохранить ее для себя одного, но другие не позволили. Да я и не уверен, что она не хотела спать с другими, со многими, чтобы ею пользовались и ценили, как она того стоила. Кто знает, ведь она так изменилась, что я больше не понимал ее. Впрочем, никто и никогда не мог ее понять. Те, кто теперь спал с ней, вовсе об этом не думали. Стоит ли говорить, что, когда она принадлежала другим, я очень мучался от того, что сталось с ней, много

думал об этом и любил ее сильнее прежнего. Не думай, что когда она стала спать со многими, мы расстались с ней или охладели друг к другу. Вовсе нет. Мы были привязаны друг к другу, и я продолжал спать с ней. Со мной, наверное, у нее все было по-особенному, ведь мы оба вспоминали давнее время, когда жили иначе. Такого она не могла чувствовать с людьми случайными, со всеми подряд. Только у нас с ней были общие воспоминания.

Но то, что мы испытали в лесу, больше не повторялось. Мы по-прежнему дарили друг другу радость, уже не требуя многого, нам уже не нужно было быть настороже, мы больше не боялись друг друга, и теперь, когда я был с ней, она не сопротивлялась, а целовала и ласкала меня. Но Дианой я больше ее не называл никогда.

Война длилась много лет, и в течение этого долгого времени она, как говорится, изнашивалась, опускалась все больше и больше. То же самое было и со мной, хотя поиному, да ведь и все мы изнашиваемся. Она жила в обозе среди грубости, блуда и пьянства вместе с похотливыми девками, которых войско таскало с собой, потом их, изношенных, истасканных, больных гнали прочь, вместо них на дорогах сожженной, разграбленной страны к солдатам приставали новые. Она стала такой, как другие, или почти такой, потому что совсем такой же стать не могла. Черты ее лица изменились, расплылись, юное, крепкое тело обвисло, речь стала наглой и бесстыдной, некогда красивый грудной голос огрубел и охрип от вечного пьянства. Она стала походить на ту, какой стала теперь и становилась мне все более противна, хотя я все еще был привязан к ней и хотел с нею быть. Она по-прежнему немало значила для меня. Для других она была обозной шлюхой, одной из многих, а для меня еще кем-то иным, кого я однажды встретил у ручья в лесу. Иногда я думал о том, что ее лук и стрелы лежат где-то во мху и, наверно, поросли мхом.

И вот война наконец кончилась, если она вообще может кончиться. Нас, солдат, как говорится, распустили по домам, хотя дома-то у нас не было, тогда мы стали бандитами, по крайней мере, часть из нас, банды, шатались по дорогам, грабили то, что оставалось в разоренной, нищей стране. Я примкнул к одной из банд. Что оставалось делать? Чем-то надо было кормиться. Она, как и прежде, пошла за мной. В решительную минуту она всегда держалась за меня, словно без меня чувствовала себя неуверенной, неуверенной и заблудившейся в этом странном, чужом мире, которому она, несмотря на свою грубость, никогда до конца не принадлежала. Казалось, она не могла обойтись без меня, ведь я знал ее прошлую жизнь, знал, кем она на самом деле была. Словно ей необходимо было всегда находиться с тем, кто знал ее когда-то.

Теперь она стала шлюхой в разбойничьей банде, ведь там тоже нужны шлюхи, иной раз ей поручали и другие дела, когда женщина подходила более, чем мужчина. В ней ценили, что она походила на мужчину и могла нам помогать. Мужчины смеялись над ней, но пользовались этим ее качеством. Смеялись и над тем, что она их презирает, не верили ее презрению, ведь она охотно спала с ними. Но это правда. Она презирает нас, мужчин, всех нас. И в то же время хочет быть такой, как мы, ведь, по сути дела, она хочет насиловать нас.

Теперь она сопровождала нас во всех наших зачастую нелегких делах и приключениях и часто приносила нам немалую пользу. Не верю, что ей так уж опостылела эта жизнь — ведь в ней немало заманчивого и веселого — и эта компания, этот сброд, как она их называет. Мне думается, ей хорошо здесь, с этими грубыми людьми, хотя она и презирает их. Я уверен, что она не хочет оставить их, оставить эту жизнь.

И вот мы стали все более отдаляться друг от друга, и мне все меньше хотелось иметь с ней дело. Эта мужеподобная женщина с кривой ухмылкой, дерзкая на язык, с вечно налитыми кровью глазами была слишком далека от той, что я знал и любил когда-то. Вся моя любовь к ней и ко всему, что было связано с ней, умерла и сменилась отвращением, омерзением.

Отвращение и омерзение испытывал я и ко всей этой бандитской и солдатской жизни, к преступлениям, которыми полнился мир, к людям, которые разорили его, разграбили, отдали его на бессмысленное поругание, обрекли на нищету и отчаяние. Отвращение к преступной жизни, которую я сам вел так долго, я и все остальные. Как мог я так жить, так же, как и все остальные? Как мог я выносить все это, как мог пасть так низко? Что это за жизнь! «Как могу я продолжать так жить?» — спрашивал я сам себя, испытывая все более сильное отвращение к этому существованию, к своему позорному существованию, отвращение к себе самому.

И все же я продолжал так жить, не вырвался оттуда, не бросил все, не начал жить по-новому, сначала. Сделать это было непросто, куда пойдешь? Я продолжал вести эту жизнь и презирал себя за это.

И все же мне хотелось все изменить, убежать от самого себя, от всего, что меня окружало. Я ничего не делал для этого, но мысли мои были часто этим заняты. Иногда мне в голову приходило нечто, о чем я когда-то думал или что когда-то читал, так давно, что не мог представить себе это отчетливо, это было смутное воспоминание о прежней жизни, совсем иной, полузабытой, потерянной для меня.

Люди так часто задумываются, *на что* им жить, так много говорят об этом. А *для чего* надо жить? Можешь ли ты сказать мне?

Для чего надо жить?

Он сидел, устремив куда-то далеко взгляд своих светлых глаз.

За окнами бушевала гроза, из темноты до них доносилось тяжелое дыхание паломников, кто-то шепотом читал молитвы. Масляные светильники горели теперь только на столах.

— Ты в самом деле паломник? — спросил незнакомец, немного помолчав.— Как ты стал им?

Человек долго не отвечал. Видно он стеснялся говорить об этом, это было ему неприятно. Прежде чем ответить, он посидел молча, глядя на грубо сколоченную столешницу, истертую и потемневшую от времени, потом провел по ней тощей рукой.

— Не то чтобы я ушел от них,— начал он наконец.— Не скажу, что я бросил эту жизнь, нет. Просто я в тот день бродил без цели, без всякой цели, я тут ни при чем.

Мне всегда нравилось бродить одному в тишине и покое. Быть может, в тот день мне было особенно нужно уйти от них от всех, быть может, в тот день я чувствовал сильное отвращение к этому бессмысленному существованию, к бессмысленности всего. Быть может, в тот день я чувствовал это особенно сильно. Я не замечал, куда иду и откуда. И под конец я заблудился, не знал, где нахожусь. А когда понял, то не спохватился, а продолжал идти. «Рано или поздно вернусь»,— подумал я.

Местность, по которой я шел, была пустынная, я и раньше это заметил, но только сейчас разглядел, до чего же пустынная она была. Вокруг лежала не пустошь, а обработанная земля, но поля были запущены, не возделывались давно, заросли сорняком, кустарником, а кое-где даже подлеском, лес наступал на поля и взял их в плен. Нигде не видно было ни души, никаких следов человека. Одна лишь покинутая земля.

Это не удивило меня, такое я видел во многих местах. Война бушевала здесь много лет и заставила людей забросить землю, а может, их уже не осталось и работать в поле было некому. К тому же после войны чума набрала еще больше силы, потребовала еще больше жертв, и многие края обезлюдели и опустели, но такой опустошенности, как здесь, я еще не видал. Тишина и пустота, царившие здесь, были удивительно странные, думалось мне, эту тишину, не будь она такой пугающей, можно было бы назвать торжественной, эта тишина подавляла человека, проникала в душу.

Ни единого человеческого жилища здесь не было видно. Но поодаль я заметил старые деревья и решил, что они росли в лощине, потому мне видны были лишь верхушки их крон. Это было недалеко от меня, и я пошел поглядеть, что там такое, хотя день уже клонился к вечеру. Там, в узкой и длинной лощине, спряталась небольшая деревенька, незатейливые домишки и скотные дворы выстроились в два ряда вдоль деревенской улицы.

Дома были пусты, почти у каждого из них не было дверей, просто черные дыры, которые когда-то служили жилищем человеку. Земляные полы стали зарастать крапивой и прочими сорняками, которые перебрались через пороги. Я заглянул в несколько домов поглядеть, есть ли там хоть одна живая душа, но, разумеется, никого не нашел. В домах было совершенно пусто, разве что кое-какая поломанная утварь брошена в углу. Видно, эта деревня тоже была разграблена после того, как что-то случилось с ее обитателями.

Должен сказать, что вид этих пустых, покинутых человеческих жилищ подействовал на меня угнетающе, хотя жизнь меня достаточно закалила. Трудно было догадаться, почему именно люди покинули эту деревню, ясно было лишь, что с ними случилось что-то ужасное, что их постигла большая беда. Покинули ли они свой дом в страхе, в отчаянии? Случилось ли это внезапно? Война, страх, голод, смертельная болезнь, любое человеческое горе могло быть причиной тому, что здесь случилось.

Я прошел вдоль всей улицы, не увидев ни малейшего следа человека. Но в самом последнем доме на краю улицы что-то привлекло мое внимание. Это был захудалый домишко, самый маленький в деревне, но дверь в нем не была сорвана. К входу в дом вела по траве дорожка, едва заметная, даже неясно было, дорожка ли это в самом деле. Во всяком случае, по ней давно никто не ходил. Подстрекаемый любопытством, я пошел к домику.

Дверь была прикрыта, я отворил ее и вошел в маленькую комнату, единственную в доме. Видно было, что дом обитаем, хотя признаков тому было немного, все здесь говорило о крайней нищете. Оглядевшись, я увидел у стены кровать, на ней покоилась женщина, лицо ее было обращено к потолку, руки сложены на груди. У ее ног лежала, свернувшись, собака.

Собака поднялась, скуля, и поглядела на меня тусклыми, влажными глазами. Это была маленькая изголодавшаяся жалкая собачонка с грязно-рыжей редкой шерстью. Когда я подошел ближе, она спрыгнула с кровати и стала тереться о мои ноги, потом снова вскочила на кровать и улеглась у ног женщины.

Я склонился над кроватью и увидел, что женщина была мертва.

Ее тело, сильно истощенное, лежавшее на тонком слое соломы, было едва прикрыто рваными лохмотьями. Она была немолода, хотя по ее исхудавшему лицу определить возраст было трудно. После всех страданий, выпавших на ее долю, на лице ее был покой и торжественное молчание. Я стоял и смотрел на нее, охваченный недоумением, подавленный этой неожиданной встречей со смертью, потрясенный ею после блуждания по пустым полям и заброшенной деревне.

Но самое удивительное было не то, что я нашел ее здесь мертвой в крайней нищете и полном одиночестве. Самое удивительное было...

— Что? — спросил незнакомец, когда человек замялся.

— Удивительным было то, что... она была снята с креста.

— С креста? — воскликнул незнакомец, сильно вздрогнув.

— Да, с креста. Следы гвоздей на руках я заметил сразу, когда же я убрал лохмотья с ее ног, то увидал, что ноги были тоже пробиты гвоздями.

— Что ты говоришь!

— Это невозможно понять. Но так оно и было.

— Ты уверен в этом?

— Да. Я видел это своими глазами. Я был так же удивлен и взволнован, как ты. Мне стало настолько не по себе, что я повел себя как-то странно, говоря по правде... Как мало знает человек о себе самом, просто удивительно...

— Что ты хочешь этим сказать?

— Хочу сказать... Я вдруг упал на колени... рядом с ней... перед ней.

— Вот как...

— Да... сам не знаю почему.

Незнакомец сидел молча, беспокойно поглаживая руки тонкими пальцами. Некоторое время ни один из них не говорил ни слова.

— Было ясно, что она умерла совсем недавно. Об этом говорило многое, к тому же в комнате не было никакого запаха. Может быть, оттого, что она была такая изможденная. Наверное, она долгое время лежала голодная, есть ей было нечего. В доме не видно было никакой еды. В печке осталось немного золы и несколько обгоревших поленьев. О том, что случилось здесь, догадаться было невозможно.

День клонился к вечеру, нужно было возвращаться, если я не хотел остаться в темноте с мертвой, которую я даже не знал и никаких дел с ней не имел. Но мне не хотелось оставлять ее. Не хотелось, чтобы она лежала здесь одна в темноте, она и так долго лежала в одиночестве. Ведь кто-нибудь должен был бодрствовать возле нее, возле ее смертного одра. И раз я пришел сюда случайно, раз меня привело сюда что-то, не зависящее от меня, значит, мне надлежало это сделать.

Я сел на скамью у печки, и темнота опустилась на комнату, на мертвую женщину и на меня. А за окном — на деревню, на пустынную местность, где больше не было людей.

Именно тогда, в эту длинную ночь, я решил стать паломником. Когда я думал о ее судьбе, о ее несказанном страдании, о том, как она, должно быть, лежала здесь и стремилась в мыслях к другой Голгофе, где страдал и мучался от ран не просто человек, где страдание сменилось чудом, преображением. Я решил совершить паломничество туда, где, без сомнения, были ее мысли, когда она сама страдала. Я захотел это сделать для нее, это было самое малое, что я мог сделать для нее. Не для себя. Да, конечно, и для себя, это ясно... Но... Это трудно объяснить, я сам этого толком не пойму...

Мне нелегко было понять, что происходило со мной той ночью, когда я принял это решение, да и потом не стало яснее, пока еще не стало...

Нет, я сам толком не понимаю.

Но я сделаю это, должен сделать во что бы то ни стало. Это священный долг. Нет, не долг. Священный обет, данный мною. Данный мною... да, данный мною.

Он сидел, глядя прямо перед собой, нахмурив лоб, мысли, роившиеся в его голове, явно мучили его.

— Это была длинная ночь. Мне казалось, она никогда не кончится. Должен сказать, мне было нелегко, я все время думал о том, о чем я уже рассказал тебе и чего сам не мог понять. Я думал и о ней, лежавшей в темноте, о всех человеческих страданиях и о моем собственном. О непостижимом в судьбах людей.

Было так тихо, будто весь мир вымер. Да и откуда здесь мог раздаться звук, не было ничего, что могло бы нарушить тишину в этом совершенно заброшенном мире.

Но ближе к полуночи я услышал на улице стук лошадиных копыт, я понял, что это была лошадь, причем хромая. На одну ногу она опиралась слабо, это слышно было все более и более отчетливо по мере того, как она приближалась. В конце улицы лошадь пошла по тропинке к дому мертвой, обнюхала его у окошка, обошла вокруг, потом долго стояла у двери, принюхиваясь. Похоже было, что она привыкла приходить сюда и делать это. Может, она знала, что здесь есть еще человек, одно из существ, которые здесь жили. Постояв, лошадь ушла, похромала прочь по улице, неровный стук ее копыт звучал все глуше, пока не исчез.

Наконец стал приближаться рассвет, казалось, он принес мне облегчение. Когда стало совсем светло, собака спрыгнула с кровати и снова начала, повизгивая, тереться о мои ноги. Потом она опять прыгнула на кровать и, скуля, улеглась у ног мертвой. Собака повторила это несколько раз, а я стоял и смотрел на ту, с которой связал свою судьбу, и думал, что же я должен сейчас делать.

А может быть, это она соединила *меня* со *своей* судьбой? Этого я не знал.

Я понимал лишь, что сначала должен похоронить ее. Я поднял ее — она была такая легкая, почти бестелесная — и вынес из дома, стояло прекрасное утро, поистине прекрасное, первые лучи солнца освещали траву и деревья. Неподалеку от дома поднимался склон холма, обращенный к солнцу, я отнес ее туда. Потом нашел лопату в маленьком хлеву возле дома и вырыл могилу. Копая могилу, я заметил, как звонко пели птицы вокруг. Как странно, подумал я, ведь накануне, блуждая по этим пустынным местам, я не слышал пения птиц. Может, тогда они не пели или я просто этого не замечал? Быть может, сейчас они пели, радуясь утру? У них были свои радости. Почему бы им не петь.

Я засыпал могилу и постоял с минуту, опустив голову. Как я мог еще почтить ее? Молитвы или что-нибудь вроде того я не читал, этого я не умею. Потом я пошел прочь, а собака бежала за мной по пятам. Она не отставала и до сих пор не отходит от меня.

И вот мы пришли сюда, чтобы идти дальше вместе с паломниками.

Но я им чужой.

Он закончил рассказ. И сидел, думая о своем.

В темноте слышалось спокойное дыхание спавших. А те, кто, видно, не могли обрести мира в душе, беспокойно ворочались на соломе.

— Да, ты, верно, прав,— сказал незнакомец.— Ты — им чужой. А хотел бы быть с ними?

— Хотел бы, может быть... отчасти. Да я ведь не могу стать для них своим.

— Отчего же?

— Когда они, стоя на коленях, молятся и каются в грехах, я понимаю, что это не для меня. Я не стану этого делать, как бы грешен ни был. Я не люблю стоять на коленях. Этого я никогда не делал.

— Но ради нее...

— Да, разумеется... И это так странно, так непонятно. Ради нее я встал на колени. Почему я это сделал? И перед кем я тогда преклонил колени? Этот вопрос я задавал себе много раз. А ты можешь ответить мне на него?

Незнакомец не ответил. И как он воспринял этот вопрос, понять было нельзя, потому что он смотрел в пол, и Товий не мог поймать его взгляд. Впрочем, Товий ни разу не встретился с ним взглядом и не желал этого. Он был слишком занят своими мыслями, чтобы обратить на это внимание, чтобы разглядеть того, кому он доверился.

— Легко было понять, кто нанес ей эти раны,— сказал он тихо.— Это, верно, ради Него... Верно, перед Ним я преклонил колени. Разве нет? Скажи, что ты об этом думаешь?

— Я? Откуда мне знать?

— Нет, нет, разумеется. Откуда тебе знать. Я просто спросил... спросил, что ты об этом думаешь.

— Что я думаю?

— Да.

— Я думаю, как и ты, что это перед Ним ты преклонил колени. Однако удивительным путем шел Он, чтобы заставить тебя сделать это.

— Я тоже так думаю...

— Чтобы получить над тобой власть.

— Власть надо мной?

— Да, однако странным путем, скажу я тебе.

— Власть надо мной!

— Да, в этом все дело. А ты как думал?

— Власть?

— Да. А ты не хочешь, чтобы Он обрел над тобой власть?

— Нет... Не хочу, чтобы кто-либо имел надо мной власть... Ни Он, ни...

— Но ведь ты пойдешь паломником к Его гробу.

— Ради нее.

— И ради себя самого, как ты сказал.

— Сам я никогда не решился бы на это.

— Нет, не решился бы. Твоя правда. Так оно и есть. Поэтому Он привел тебя к распятой женщине, одинокой и покинутой. Может, это был единственный путь для Него показать тебе свои раны, ведь иначе ты и не вспомнил бы о них. А теперь Он заставил тебя преклонить перед Ним колени. И стал пилигримом. Бросить все и стать одним из тысяч паломников, идущих к Его могиле. А для верности, чтобы ты не забыл свой обет, Он послал с тобой ее собаку.

Человек посмотрел удивленно на него, на незнакомца, сидевшего рядом, ведь раньше он вовсе не обращал внимания на того, с кем говорил. Но в этом тусклом свете он не мог разглядеть его хорошенько, незнакомец сидел, наклонившись вперед, не поднимая глаз, согнувшись над исхудалыми руками, которые он, держа их на коленях, все время сжимал и разжимал.

— Можно подумать, что ты хорошо Его знаешь! — сказал Товий слегка насмешливо и недоверчиво, однако было заметно, что слова незнакомца взволновали его.

Не получив ответа, он продолжал:

— Что до меня, то я мало о Нем знаю. И не могу сказать, что сильно стремлюсь увидеть Его гробницу, Его Голгофу. Я иду туда лишь ради нее, как я уже говорил, ведь она стремилась туда. К чему я сам стремлюсь, того я не знаю. Ведь люди часто не знают, чего они хотят. Но она знала. И верно хотела, чтобы Другой имел над ней огромную власть. Должно быть, она этого хотела. Но я не хочу.

Он вытянул ноги под столом и уселся поудобнее. Потревоженная им собака покрутилась и снова улеглась у его ног уже по-другому. Она еле слышно скулила.

— Ты, видно, в самом деле много о Нем знаешь,— продолжал Товий.— Откуда ты все это узнал?

Незнакомец сделал вид, будто не слыхал вопроса.

— О том, как Он умеет поймать человека в сети и заставить его преклонить перед Ним колени... стать паломником. Неужто Он в самом деле будет так стараться ради одного-единственного человека, до чего же странным кажется мне все это.

— Он будет стараться сколько угодно, когда речь идет о человеке, которого Он избрал.

— Избрал?

— Да. Тогда Он не отпустит хватку. Не отпустит его от Себя никогда. Не даст ему больше свободы... Я вижу, ты не знаешь, что чувствует человек, когда его преследует Бог.

— Преследует?

— Да.

— Бог?.. Разве такое бывает?

Незнакомец молчал. Он молчал как-то по-особому, и оттого слова, сказанные им, казались еще более странными и непонятными. Ведь он вкладывал в них особый смысл. И тут Товий впервые подумал, что у сидевшего рядом с ним незнакомца, должно быть, свои судьба, ведь не для того же он существует, чтобы выслушивать его. Он долго сидел и смотрел на него, на его сгорбленную спину, на худые руки, которые он, положив на колени, сжимал и разжимал.

— Какую власть Он имеет над *тобой*? — спросил он внезапно.

Казалось, эти слова поразили незнакомца, будто молнией. Он распрямился, поднял голову, и вдруг Товий заглянул в его глаза, поймал его взгляд, такого взгляда человеческих глаз он до сих пор не видел; исполненный одиночества, этот взгляд, казалось, шел из другого времени, из другого мира, глаза, которые его посылали, походили на колодцы, высохшие давным-давно.

Другого ответа он не получил, только этот взгляд. Они долго сидели, не говоря друг другу ни слова. Над домом бушевала гроза, в тусклых окнах то и дело вспыхивал огонь, а между горами гремели раскаты грома.

— Ты искал здесь приюта от непогоды? — спросил под конец человек, чтобы что-нибудь сказать.

Незнакомец слегка кивнул головой.

— Я понимаю. Но разве не странно, что тебя загнали именно сюда. Правда, здесь, в горах, нет другого пристанища, только одно это, для паломников.

— Я не пришел бы сюда, если бы здесь был другой приют. И, когда мы спустимся в какое-нибудь селение, я не собираюсь останавливаться в странноприимном доме для паломников.

— А куда ты идешь?

— Я?.. Я?..

— Да. Ведь ты, верно, не паломник? Поди не к Голгофе идешь, и не к какой другой гробнице? И не к каким другим святым местам?

— Для меня нет святых мест, которым бы я хотел поклониться.

— Нет? Но ведь святые места есть на земле. Ты не веришь в это? Я хочу сказать... святые... для других людей?

— Этого я не знаю.

Человек сидел молча. Смотрел на незнакомца.

— И ты не преклонишь колени ни перед кем?

— Нет.

— И даже перед Богом?

Незнакомец не ответил.

— И не коришь себя за то, что не делаешь этого? Как я корю себя... иногда.

— Ни один человек не должен вставать на колени перед Богом.

Человек вздрогнул и резко двинул ногами под столом. Видно, он задел собаку, она жалобно завизжала. Он нагнулся и поглядел на нее.

— Замолчи,— сказал он и толкнул ее ногой.— Скулит и скулит без конца.

Женщина, которую он когда-то называл Дианой, снова подошла к их столу еще более пьяная и села напротив него.

— Эти свиньи опять напились. Я больше не могу их выносить. Даже тот обманщик, что продает им фальшивые талисманы и распятия, тоже пьян, а еще выдает себя за монаха, может, он в самом деле монах, не знаю. А этот Хуберт, который вечно не дает мне покоя, да и все они! Вся их банда, все напились! И на что они будут годиться завтра, если подвернется подходящая работа, просто не знаю. Ведь надо протрезветь, чтобы делать работу как следует, не правда ли? Чудотворное распятие, ты слыхал? Это он их так надувает! И отпущение дает за все грехи, он сам их сочиняет, пишет и продает. А жулить в игре он умеет почти что не хуже меня... Это ты свел меня с этим сбродом, твоя вина, что я спозналась с ними, может, нет? А теперь удираешь, паломником стать собираешься, мол, тебе надо идти ко гробу Спасителя, в Святую землю, меня оставляешь с мошенниками и бандитами, с теми, что грабят паломников и всех, кто собрался туда! Ну и герой, не пойму, почему я связалась тогда с тобой. Даже Хуберт и тот куда лучше тебя, он хотя бы честный мошенник, *просто* мошенник, не то, что ты — полунегодяй, полусвятой обманщик. А он любит меня, если хочешь знать, любит меня в самом деле, хотя меня от него тошнит, как только может тошнить женщину от большого жирного мужика. Тьфу!

— А ты кто такой? — она вдруг внезапно обернулась к незнакомцу.— Ах да, ты и раньше тут сидел, теперь я припоминаю. До чего же чудно́ ты выглядишь, будто умер давным-давно, а почему ты тогда не умер? Правда, мне до этого дела нет. До чего же чудны́е у тебя глаза, просто страх берет.

Ты все больше молчишь, но, видно, человек бывалый. Глаза у тебя умные и до чего же старые у тебя глаза, но мне-то все равно, говорю тебе, все равно, какая мне разница, мне на все наплевать. На все!

Что ты сидишь здесь и пялишься, собственно говоря? Что? И не пьешь ничего. Для чего тут сидеть без дела? Да вот уже старая Елизавета идет, сейчас светильники гасить станет. Этим свиньям она пить больше не позволит, глядите, вот она уже не велит им... Так им и надо! Она наводит в свинарнике порядок. Чистоту и порядок, а если и потом большого порядка не будет, так это уж не ее вина. Разве может она справиться с ними, а? С такими-то людьми? Кто мы такие, что притащились сюда к ней? А? Ее ли вина, что к паломникам прилипает всякая сволочь? Ясное дело, не ее. К паломникам так и липнет всякий сброд. А здесь паломников полон дом. Потому, ясное дело, и всякий сброд сюда тащится. А худший сброд — паломники! Виновата ли она в том? Скажи?

Нет, Елизавета хорошая, ничего плохого в ней нет. Ее я люблю. Правду говорю! Она, скажу я тебе, самый лучший человек из всех, кого я знаю, она одна-единственная такая, каким должен быть человек. Такой вот и я хотела быть, если бы сама решала свою судьбу! Но кому дано решать самому... Кто может сам... решать... как...

Она всхлипнула и утерла нос.

— Вы и представить себе не можете, сколько добрых дел творит она в этом доме уже десятки лет, не делая разницы, богат ты или беден, паломник или грешник, как все мы. Может, даже Господь Бог не успел записать в свою книгу ее добрые дела, все ее добрые дела, понимаешь? Она прожила здесь всю свою жизнь, с того дня, когда ее, запеленутую в лохмотья, швырнули в дверь, вот в ту самую дверь, видишь? Бросила ее женщина, которую потом нашли мертвой на перевале, было то зимней ночью, а может, стояла еще поздняя осень, и с тех пор она день-деньской работала, надрываясь, пока не стала здесь хозяйкой всему, да ведь она уже хозяйкой стала давным-давно, насколько я помню. Чего она только не повидала, чего только не пережила за это время, за всю свою долгую жизнь со всем этим разношерстным народом, что перебывал в этом доме, можешь себе представить, коли захочешь. Чего только не случалось на ее глазах, а? Никому не доводилось повидать столько всякого всего, как ей. Можешь ли ты понять, что и имею в виду, говоря столько всякого всего? Можешь?

К их столу неторопливо подошла тяжелой походкой, прихрамывая, пожилая женщина, она сказала им, что пора отдыхать, гасить светильники. Ее лицо, изможденное и усталое, говорило о том, что она утомилась за день, что ей тоже пора отдохнуть. Она была мала ростом, по-старушечьи располневшая в бедрах.

— Я вижу, ты опять выпила лишнего,— сказала она женщине, сидевшей за столом, поглядела на нее потускневшими серыми глазами и оперлась на стол, словно ей было тяжело стоять.

— Да, милая матушка, твоя правда. Ты сердишься на меня?.. Подумать только, я вечно тебя огорчаю.

И она погладила ее морщинистую руку с синими жилами.

— Да нет, неужто я буду сердиться из-за такой малости. Не стоит из-за этого огорчаться.

— Знаю, ты добрая, простишь меня, а?

— Прощу, прощу.

— Ты всем все прощаешь.

— Вовсе нет. Не все. Хотя люди так думают обо мне. Но где мне судить, пусть Он судит. Может, Он и строже, чем я, но ведь Он знает намного больше. Я же знаю слишком мало, чтобы судить.

— Это ты-то? Да ты знаешь намного больше, чем Бог-Отец!

— Не смей так говорить! Не то я в самом деле рассержусь на тебя.

— Но ведь это правда, пусть он говорит, что угодно. И судит сколько хочет. Мне важно лишь, что ты думаешь, а с Ним у меня мало охоты иметь дело.

— Однако однажды тебе придется иметь с Ним дело, под конец. Остается лишь надеяться, что Он будет милостив к тебе. Может, Он увидит в тебе что-нибудь, что Ему понравится, кто знает.

— Не знаю, что бы это могло быть. Ну, да это Его дело.

— Да, это Ему судить.

Она выпрямилась. Поглядела серьезно и испытующе на странного незнакомца, но, видно, ничто ее в нем не удивило. Ведь она привыкла ничему не удивляться.

— Да, дети мои, время ложиться спать, и свет погасите, ты, Товий, проследи, чтобы погасили.

Она слегка кивнула головой на прощание и ушла в темноту, откуда пришла.

Когда они поднялись от стола, женщина подошла к Товию, погладила его заросшую бородой щеку и сказала:

— Ты не сердишься на меня? — и, почти касаясь губами его лица, прошептала: — Если надумаешь что... ночью, ты знаешь, где я сплю.

Мужчина не отвечал, он нагнулся и задул пламя маленького масляного светильника, стоявшего на столе. Потом пошел, и собака пошла за ним. Незнакомец последовал за ними, они нашли место на соломе у самой двери, где никто не хотел лежать. Растянулись в темноте рядом, почти вплотную. У ног Товия свернулась клубком собака. Спал он беспокойно, часто ворочался, с ним ворочалась и собака, каждый раз придвигаясь к нему ближе и тихонько повизгивая.

А незнакомец лежал, не шевелясь, глядя в темноту широко открытыми глазами.

На следующее утро обитатели постоялого двора поднялись, паломники приникли к тусклым окнам и увидали, что непогода наконец стихла и день обещает быть хорошим. Радостная весть о том, что можно собираться в путь, облетела всех, и каждый захотел глянуть в окно. Кто-то распахнул наружную дверь, и солнечный свет залил комнату. Люди поспешили выйти наз свежий воздух, да, утро в самом деле было чудесное! Все тут же заторопились назад собирать пожитки. Нужно было отправляться как можно скорее, и каждый торопился укладываться.

Большая комната была битком набита людьми, они связывали узлы, запихивали свои вещи в мешки и торбы — одним словом, готовились продолжать путь. Одни переодевались, надевали дорожное платье, другие умывались кое-как водой из ушата, женщины расчесывали волосы после сна, наспех заплетали косы, прятали их под капюшон. Кое-кто обихаживал свои натруженные, стертые ноги перед долгой дорогой, смазывал их мазью, купленной у торговца вразнос, который все еще ходил здесь, пытаясь сбыть остальной товар. Другие торговцы раскрыли свои лотки с талисманами, четками, иконами, надеясь снова открыть торговлю, но времени для покупок уже не оставалось. Мошенники пытались в последний момент выменять у какого-нибудь простачка что-нибудь ценное, менялы с мошной, набитой фальшивыми деньгами, предлагали свои услуги, обещая каждому снабдить его монетой той страны, куда он направляется. Один старик кричал, что его обокрали ночью, он обнаружил это лишь сейчас, собираясь за что-то заплатить, но никто не обращал на него внимания, всем было не до него. В этой суматохе люди носились взад и вперед. Но некоторые из них ходили с бледными, исхудавшими лицами и горящими глазами, не замечая, что творится вокруг, они шептали молитвы, перебирая четки, которые скользили у них между пальцами. Иногда они останавливались и стояли с закрытыми глазами и неподвижным ртом, страстно сжимая распятие. Странный незнакомец, которого никто не замечал, смотрел на все это внимательно и удивленно,— на то, как они сжимали в руках маленькое изображение Человека, распятого однажды на Голгофе, сжимали так сильно, что крест, должно быть, врезался им в руки. Он отвернулся, но мысль об этом не оставляла его.

В стороне от этой толпы стояла глухонемая женщина, которую никто не знал, никому не было известно, откуда она и почему присоединилась к паломникам. Вначале люди ломали над этим голову, потом привыкли, и никто больше не обращал на нее внимания. Она была высокая, бесцветная, с жидкими блеклыми волосами.

Зазвонил маленький колокол, созывая людей на молитву, все бросили суетиться и преклонили колени, торговцы, менялы и мошенники всякого рода тоже сложили руки и повторяли шепотом слова молитвы. Лишь один незнакомец не опустился на колени, но он стоял в стороне, и никто этого не заметил. Глядя поверх коленопреклоненной толпы, он подумал о человеке, с которым так долго говорил накануне вечером, удивляясь, куда тот подевался. Его нигде не было видно, а незнакомцу хотелось его найти.

Настало время трапезы перед долгой изнурительной дорогой, никто не знал, когда им доведется снова подкрепиться. На грубо сколоченных столах, поставленных у дверей, для них был накрыт завтрак, вчерашний пьяный сброд исчез, видно, эти люди подались прочь ночью или ранним утром. Для всех места за столом не хватало, трапезничали по очереди. Хотя здесь ели не все паломники, а лишь те, что попроще, победнее. Богатым накрывали на стол в других комнатах, у них были лошади и кареты, торопиться им было ни к чему, их еще не было видно. За столами было ужасно тесно, одни толкались и хватали куски побольше, стараясь наесться до отвалу. Другие сидели за столом как пришпиленные, ели и пили долго и основательно, покуда их не стаскивали с места те, кому хотелось хоть что-нибудь перехватить. Но большинство из них знало меру в еде, как и подобает паломникам, те же, кто умерщвлял свою плоть, едва притрагивались к еде и шептались друг с другом, глядя с отвращением на это обжорство. Прошло немало времени, покуда все насытились.

Вот проводники разных групп прокричали сбор на поляне возле постоялого двора, и люди потянулись туда. Яркий свет слепил им глаза, когда они выходили из дома. На востоке солнце уже успело подняться довольно высоко над горизонтом и освещало величественный ландшафт пока еще прохладными лучами, наполняя его чистотой и ясностью нового дня, выявляя каждый, даже самый дальний предмет удивительно отчетливо, и казалось, будто видишь все в первый раз. После дождя все дышало первозданной свежестью, словно мир был только что создан этим утром и радовался тому. Повсюду журчала вода, маленькие ручейки и ручьи побольше, сверкая и извиваясь, стекали вниз по склонам или падали с крутизны, наполняя долины своими песнями. Да, это было поистине утро сотворения мира, утро воскресения. Они стояли очарованные и смотрели окрест, благодарные этому чуду, которое связывали в своем воображении со своим паломничеством, принимая его как дар свыше. В вышине, на самых высоких горах, выпал снег, первый снег после лета, и вершины их сияли белизной на фоне неба, словно пели гимн ему. Восхищенные, они тоже запели песнь, песнь паломников, самую прекрасную из тех, какие они знали, о небесном Иерусалиме, парящем в облаках над земным городом, о том Иерусалиме, к которому они стремились, к которому шли. Они стремились туда, как бы ни было прекрасно на земле. В толпе поющих стояла рослая глухонемая женщина, оглядывая прекрасные и незнакомые места. Незнакомец стоял поодаль и смотрел на них украдкой. Их лица, обыденные, невыразительные, излучали сейчас нечто непонятное, что не было присуще им самим, нечто, не принадлежавшее им, что... что же это было? Этого он не знал. Откуда ему было знать! Но ведь он это отчетливо видел. Неужто это были те самые люди, которые только что дрались из-за еды, люди, о которых накануне так скверно говорила пьяная женщина?

Она и сама стояла неподалеку от него и смотрела на них, на эту восторженную толпу. Она была бледная, со впалыми глазами, мрачная и подавленная, совсем не такая, как накануне. Казалось, она кого-то искала в толпе паломников, вот она подошла к молодой женщине и заговорила с ней, верно, это была та, что зарабатывала блудом на свое путешествие ко гробу Господню, да, это точно была она. Хотя она вовсе не походила на девицу подобного рода и собой была нехороша. Женщина, которую называли Дианой, говорила с ней о чем-то тихо, но горячо, она, казалось, была взволнована уходом паломников и никак не хотела выпускать руку девушки из своей руки. Ее лицо с неправильными, довольно грубыми чертами лица не отражало особого вдохновения, а лишь естественную радость от того, что они наконец отправляются, что паломники продолжат свой путь, но, может быть, в ее глазах горел огонь, который было трудно разглядеть на далеком расстоянии. Многое и даже очень важное зависит от того, на каком расстоянии смотришь, и он не хотел отрицать, что в ней могло быть нечто, чего он не разглядел.

Он тоже искал кого-то в этой толпе — человека по имени Товий, рассказавшего ему о своей удивительной жизни. Странно, его нигде не было видно. Здесь его точно не было, здесь все уже были в сборе. В самом деле, странно... Сейчас паломники двинутся в путь. Проводники прошли вдоль колонны, в последний раз пересчитывая людей в своих группах, все были на местах. Две женщины, слишком слабые, чтобы идти пешком, уселись на своих маленьких осликов, а повредивший ногу мужчина давно уже сидел верхом на нетерпеливо бьющем копытом муле. Все были готовы. Не хватало только Товия. Никто не спрашивал о нем и не собирался его ждать, никто не знал, что он паломник, ведь он и в самом деле к ним не принадлежал.

Вот из дома вышла, слегка прихрамывая, старая Елизавета. Ей тоже хотелось поглядеть на шествие паломников. Сколько раз ей и раньше приходилось видеть, как они отправляются в далекий путь, в чужедальнюю страну, о которой она так много слышала и которую никогда не увидит. Хотелось ли ей этого, хотелось ли уйти с ними, оставить вечные хлопоты по дому? Возникало ли в ней хоть раз это желание? Как знать. На ее старом, морщинистом, увядшем лице этого прочесть было нельзя. Ничего не изменилось в нем, когда шествие наконец сдвинулось с места и песня о Иерусалиме снова зазвенела, еще более восторженная и ликующая, чем прежде. Она лишь провожала их взглядом потускневших серых глаз.

Но в глазах у Дианы стояли слезы, она смотрела на паломников, на девушку, которая даже не обернулась, а смотрела вперед, как и все они. Он слышал, как Диана всхлипнула.

Впереди шествия несли большой некрашеный деревянный крест, поднятый высоко над головами. Он выделялся на фоне горного перевала, а когда шествие поднялось на перевал, крест стал четко выделяться на фоне неба. Незнакомец стоял и смотрел ему вслед, смотрел, как он плыл над этим величественным ландшафтом, словно ему принадлежала вся земля, все эти люди, идущие за ним по пути к маленькому городу, к незаметному холму, где он когда-то был воздвигнут. Вот он уже остался один и все смотрел... Неужто он никогда не забудет!..

Он думал об этом и позднее, блуждая в одиночестве по окрестностям, в широкой части долины, где стоял странноприимный дом.

Поистине странно. Так много людей было распято на Голгофе, на этом маленьком холмике, куда теперь устремлялся поток паломников. Да, на том же кресте, что и Он, на кресте, который теперь называют Его крестом, которому поклоняются, как самой большой святыне, на нем мучалось и страдало столько людей и после Него, покуда крест не истлел. А сколько крестов стояло там до и после Него, и сколько людей страдало на них... Но помнят только о Нем, остальные не в счет. О них давно забыли, никому нет до них дела, никто не думает о том, за что они страдали, были виноваты или невиновны. Помнят лишь Его одного. Они мучались так же, как Он, но их страдания не имели смысла и потому были забыты. Только Его страдания имели смысл. И Он знал это. Знал, в чем этот смысл. Смысл для всех времен, для всех людей, верно, душа Его была полна этой мыслью, когда Он шел, чтобы принести Себя в жертву и умереть. Верно, не так уж тяжко было вынести то, что должно было вынести. Если ты полон сознания того, что с тобой творится нечто чудесное и важное. Верно, легче нести свое бремя, если тебе суждено совершить нечто столь великое, столь высокое. Да и не самое это тяжкое на свете: подняться на гору и дать себя распять.

Его страдания и смерть, говорят они, есть самое великое, что когда-либо случалось на земле, самое важное. Да, быть может, так оно и есть, так оно и есть. Но доколе будут страдать люди, мучения которых ничего не значат?

Так он размышлял, блуждая в одиночестве. Он шел, наклонясь вперед, не глядя по сторонам. Да и к чему ему было озираться? Но вот он немного приподнял голову. И тут он увидел в лощине с левой стороны Товия, который ходил вдоль ручья. Берег ручья был усыпан хвоей, по этой хвойной дорожке он и ходил. Товий беспокойно шагал взад и вперед, а за ним по пятам бежала грязно-рыжая собака. Видно, он пришел сюда, чтобы побыть в одиночестве. Незнакомец решил было оставить его в покое, но после недолгого колебания спустился к нему по заросшему сухим кустарником склону.

Увидев его, человек, казалось, хотел сперва быстро удалиться. Однако он не ушел, а только отвернулся, сделав вид, будто не замечает, что кто-то идет к нему. Незнакомец спустился на засыпанную хвоей дорожку и подошел к Товию.

Хотя он стоял, отвернувшись, можно было догадаться, что он взволнован. Видно, появление незнакомца отнюдь не успокоило его. Да и сам незнакомец не был совершенно спокоен, он угадывал причину волнения этого человека, отчасти он и сам был причиной этого волнения.

— Почему ты не отправился вместе с паломниками? — спросил он.

Товий резко повернулся и впился в него взглядом:

— А для чего? Я не паломник и никогда им не стану!

Незнакомец опустил глаза, не желая встречаться с ним взглядом. Но он успел заметить, каким возбужденным было его худое угрюмое лицо.

— А твой обет?

— Какой обет?

— Данный ей...

— Той женщине? И что мне эта женщина? Какое мне до нее дело!

— Нет... Ведь ты рассказывал...

— Рассказывал! Может, и рассказывал. Ну и что из того, мало ли что расскажешь, сидя там... Не пойму, что *тебе*-то надо! Тебе-то уж до этого никакого дела нет.

— Твоя правда. Не мое это дело.

— А раз так, зачем ты пришел, зачем бегаешь за мной по пятам?..

Незнакомец не ответил. Некоторое время оба молчали и избегали смотреть друг на друга.

— Может быть,— начал Товий,— у меня и была мысль стать паломником. Да только я выбросил ее из головы, передумал. Не гожусь я на это. Ведь я ни во что не верю, нет для меня ничего святого, насколько я знаю. Какой же тогда из меня паломник? Держать путь к местам, которые святы для них, но не для меня? Чтобы идти на богомолье, нужно знать, кому молиться. А я не знаю.

— Понимаю. Ты прав. Но ведь ты собирался идти ради нее.

— Разве я должен это делать? Кто может меня к этому принудить? Каждый решает сам за себя! По крайней мере, я это делаю! Надо мной никто не властен, ни они, ни... Может Распятый над тобой имеет власть, похоже на то, но не надо мной! Какое мне до Него дело! До Его ран! Меня от них тошнит, от всего этого меня лишь тошнит... И перед ними я должен преклонять колени! Я? Думаешь, из-за них Он заставит меня встать на колени? Я не преклоню колени ни перед чем, *ни перед чем*, этого я не делал никогда!..

Он был настолько взбешен, что не помнил себя, он сжимал жилистые, волосатые руки, словно от кого-то защищался, от кого? Глаза у него были совершенно безумные.

Собака у его ног потихоньку заскулила, может быть, оттого, что он говорил так громко и горячо. Она смотрела на него водянистыми печальными глазами, словно упрекала. Услышав тихое повизгивание, он взглянул на нее. Охваченный внезапной яростью, он так сильно пнул ее ногой, что она отлетела в сторону. Это случилось неожиданно, в один момент.

Мгновение спустя он стоял, онемевший от своего поступка, не в силах понять, зачем это сделал. Стоял, беспомощно опустив руки.

Потом он бросился к маленькому телу, лежавшему на земле. Удар был страшный и пришелся ей по голове, куда он и метил бессознательно, ведь оттуда смотрели на него ее глаза. Череп треснул, из уха и разинутой пасти текла кровь, маленькие белые зубы обнажились, и верхняя челюсть в болезненном оскале еще дрожала. Один глаз вытек и висел, окровавленный и запачканный, на худой грязно-рыжей шее.

Товий с ужасом уставился на изуродованное животное. Тяжело дыша, он нагнулся над собакой, встал возле нее на одно колено, потрогал ее, словно желая удостовериться, издохла ли она, хотя это и без того было ясно. Собака не подавала никаких признаков жизни, не дышала, грудь ее не шевелилась. Челюсть перестала дрожать. Задние ноги дернулись несколько раз, и тело замерло. А Товий все еще стоял, преклонив колено, хотя помочь ей уже ничем не мог. Он сам не знал, что делает, да и сделать уже ничего было нельзя.

Наконец он поднялся. Бросил взгляд на незнакомца, отчаянный взгляд, говорящий о том, насколько он потрясен. Но он не сказал ни слова. Незнакомец тоже молчал. Но и он был сильно взволнован. Оба они стояли молча. Слышалось лишь журчание ручья.

Так они стояли долго, не решаясь сделать что-нибудь. Под конец Товий затащил тело собаки в заросли сухого дрока на склоне горы и положил на него несколько веточек. Потом они медленно побрели прочь.

Когда они вернулись, на постоялом дворе уже никого не было. Здесь не было видно ни души. Все паломники удалились, даже знатные люди укатили в своих каретах, большой дом был пуст, и в распахнутые двери врывался ветер.

Товий вошел в комнату, лег, растянувшись во весь рост, на скамье и лежал, глядя в пустоту. Незнакомец сел чуть поодаль. Они не говорили друг с другом.

Некоторое время спустя в комнату, по которой гулял сквозняк, вошла Елизавета и увидела их. Она удивилась, что Товий остался, зная, что он собирался идти в Святую землю, она думала, что он ушел вместе с остальными. Она заговорила с ним об этом, стала расспрашивать. Но он не отвечал. Даже она не могла заставить его сказать что-нибудь. И она ушла.

Он пролежал так несколько часов, было уже далеко за полдень, и солнце светило в окна с запада, когда он поднялся со скамьи, с виду совершенно спокойный, и начал укладываться. Собираться ему было недолго, и он скоро управился. Бросив мешок на плечо, он вышел из дома.

Незнакомец последовал за ним. Он не мог оставить его одного в столь странном расположении духа, он сильно упрекал себя и чувствовал ответственность за этого человека с опасным взглядом, какого он никогда не видел в глазах других людей. И то, что случилось у ручья, сильно взволновало его, потрясло, словно разверзло пропасть внутри него, объяснить этого он не мог, просто чувствовал это. И теперь, когда этот человек неизвестно из-за чего — из-за того, что он убил собаку,— решил идти на богомолье, он тоже должен был отправиться с ним. Казалось теперь что-то связывало их.

Товий тоже был не против такого спутника и даже хотел, чтобы после того, что случилось, незнакомец не покидал его, ведь тогда ему не пришлось бы оставаться наедине с воспоминанием об этом. Может быть, он тоже чувствовал, что у них есть

нечто общее после того непостижимого поступка в горах, хотя не понимал, почему незнакомца это так глубоко тронуло.

Они покинули постоялый двор и отправились в путь вместе, как будто так ими и было задумано.

Но тут кто-то окликнул их. Они оглянулись и увидели, что к ним бежит Диана. Значит, она все время оставалась здесь. Товий, не видевший ее целый день, не мог скрыть удивления, что она не ушла со своими, с кем водила компанию. Когда же она стала просить их взять ее с собой, он ни за что не соглашался. Она пришла в отчаяние и рассвирепела, то горько упрекала его и осыпала бранью, то молила взять ее с собой.

— Но ведь ты не собираешься идти на богомолье! — воскликнул он под конец.

— Нет, и не думаю. Вовсе нет! Но я хочу быть с тобой!

Эти слова его не убедили. Но, когда она стала винить его за жестокость, за то, что он поступает безжалостно, оставляя ее на этих негодяев, принуждает ее оставаться с ними, он заколебался.

— И ты хочешь сказать, что ты христианин! — крикнула она с глазами полными слез ему в лицо.

Тут он понял, что она права, что он не должен так поступать, должен взять ее с собой.

Они подождали, пока она наскоро собиралась в дорогу, и наконец отправились вместе с ней.

Солнце все еще светило, но оно уже успело так низко склониться к западу, что подниматься на перевал было уже поздно, но Товий, по-прежнему погруженный в собственные мысли, не подумал об этом, а его спутники этого не понимали. Небо было безоблачное, погода стояла прекрасная, безветренная.

При подъеме на перевал не случилось ничего примечательного, разве что женщина, идя рядом с Товием, вдруг воскликнула:

— А что ты сделал с этой паршивой собакой?

Ответом ей был свирепый взгляд, заставивший ее замолчать, она поняла, что об этом говорить не следует, хотя и не знала почему. Во всяком случае, она порадовалась, что жалкой псины с ними не было, что она не мельтешила перед глазами.

Они уже поднялись высоко, здесь повсюду лежал снег, они прошли по заснеженной долине и вошли в ущелье, которое становилось все у́же. До перевала оставалось совсем немного. Когда они наконец, уставшие от нелегкого подъема, достигли его, уже начало смеркаться, холодный, пронизывающий ветер сдувал со скалистых склонов свежевыпавший снег и кружил его, образуя маленькие смерчи, казавшиеся безобидными тем, кто не знал, что́ они могут означать здесь, в горах. Они продолжали путь, еле различая дорогу, занесенную снегом. Но там, где дорога повернула за скалу, на них налетел леденящий ветер, густой снег завихрился и бил в лицо так, что они не могли ничего различить перед собой. Это случилось столь внезапно, что они остановились, ослепленные снегом, и стали окликать друг друга, чтобы не потеряться. Они стояли, беспомощные, не зная, куда податься. Но Товий, который бывал здесь прежде, знал, что где-то неподалеку есть хижина, в которой останавливаются паломники, застигнутые непогодой. Он думал, что они еще не миновали ее, что она где-то впереди. Правда, он, идя по дороге, был до того занят своими мыслями, что не был уверен, так ли это. Однако теперь он наконец очнулся и стал командовать. Они останутся на месте, а он пойдет искать хижину. Но женщина об этом и слышать не хотела. Они стояли и спорили, стараясь перекричать завывание бури, и тут женщина решила одна отправиться на поиски хижины и ушла в темноту. Темнота сгустилась настолько, что почти ничего разглядеть уже было нельзя. Женщина исчезла, и Товий не знал, как ему быть, ведь незнакомца он тоже не мог оставить одного. Потом они оба пошли в темноту, в ту сторону, куда отправилась она, чтобы найти хижину и не дать женщине заблудиться в горах. Но они не нашли ни хижины, ни женщины.

Немного погодя они услыхали ее крик издалека, она кричала, что нашла хижину, потом она вернулась к ним и провела их туда. Это был бревенчатый домишко, стоявший вплотную к горе с подветренной стороны, она догадалась, что здесь он и должен быть, в надежном укрытии. Они с трудом открыли дверь и чуть ли не повалились на пол от усталости и волнений.

Это была небольшая хижина, выстроенная из грубых, нетесаных бревен. Пошарив в темноте, женщина поняла, что на земляном полу лежал толстый слой чего-то похожего на еловые ветки. Ветер завывал в щелях между бревен, но все же это был надежный приют. Видно, эту хижину построили недавно, здесь так славно пахло свежим деревом. Это место казалось ей прекрасным. Приключение в горах оживило ее, давно ей не было так хорошо. Давно...

Она лежала, вдыхая запах свежего дерева, чувствуя под собой колючую и пахучую хвою. Лежала и улыбалась в темноте... Потом она уснула, усталая и довольная, почти счастливая.

Все они спали.

Они проснулись поздно, было уже совсем светло. Однако, как высоко поднялось солнце — они понять не могли: метель продолжала бушевать, все, что они могли видеть, был снег, с воем круживший над перевалом. Он завалил избушку, чуть ли не похоронив их. Женщина, усердно пытавшаяся разглядеть в маленькое оконце, что творится на перевале, радостно заявила, что в окно уже не так сильно дует. Казалось, ее радовало, что они не могут продолжать путь и вынуждены остаться здесь, засыпанные снегом, раньше с ней такого не случалось. Она достала из мешка немного хлеба и козьего сыра, который успела прихватить с собой на постоялом дворе, собираясь в дорогу, и поделила между ними. Еда показалась им удивительно вкусной, верно, оттого, что ее было так мало, никто из них не наелся досыта. Было очевидно, что женщине хорошо здесь, очень хорошо. Лицо ее посвежело, ясные глаза сияли. Казалось, она была всем довольна. Видно было, что она рада быть снова с Товием, на воле, вдали от людей. Ей не нравилось лишь, что он собирается идти паломником в ту страну, что он упорствует на том. Что ему там делать? Ей это казалось глупым.

— Верно же, я правду говорю? — спросила она незнакомца.

Но тот не отвечал. Они оба умолкли, когда она заговорила об этом.

— Ты тоже туда пойдешь? — удивилась она, глянув в его поистине древние глаза, такие чужие и непонятные, такие непохожие на ее зоркие, земные глаза охотницы.

Он и на этот раз не ответил.

— Ты тоже идешь туда ради Распятого? Какое тебе до Него дело?

Снова не получив ответа, она пожала плечами.

— А Товию? Что ему-то там делать? Никак не пойму!

Товий молчал, но, казалось, думал над ее словами, и они беспокоили и тяготили его.

Потом она начала говорить о чем-то совсем другом, и он явно почувствовал облегчение.

Наконец метель немного унялась, по крайней мере ветер дул уже не так сильно, и они начали подумывать, не пора ли продолжать путь. Они попытались было открыть дверь, но она никак не поддавалась, груда снега, державшая ее, только плотнее сжималась. Наконец им понемногу удалось приоткрыть ее настолько, чтобы можно было протиснуться в эту щель. Им пришлось прямо-таки прорывать себе путь сквозь сугробы между хижиной и дорогой. На дороге же снег был не столь глубокий, и они могли потихоньку двигаться по ней вперед.

Ветер поутих и дул теперь им в спину, но дорогу они по-прежнему видели плохо — снег слепил им глаза, или они почти наугад ступали туда, где проще было пройти. Казалось, женщине было легче находить дорогу, и она шла впереди; теперь они брели по ровной земле, почти не поднимаясь. А после недолгой ходьбы дорога пошла под уклон. Снежинки падали все реже, и по обеим сторонам дороги стали проступать горные склоны, а рядом, на дне ущелья, слышалось слабое журчание воды под тонким покровом льда, веселые, игривые ручейки стали проглядывать по мере того, как корочка льда становилась все тоньше, они стремились спуститься туда же, куда шли путники.

Внезапно снегопад прекратился, и небо прояснилось. Ущелье стало расширяться, и они вдруг увидели далеко внизу перед собой просторную долину, залитую ярким солнцем. Она казалась неожиданным и долгожданным преддверием счастливой страны, в существование которой трудно поверить. Однако она, кажется, действительно существовала: возделанные поля, деревушки, карабкающиеся вверх по склонам гор, теперь уже не столь крутым и непомерно высоким. Страна, созданная для счастья и вечного солнца.

Женщина была восхищена этой картиной. Она шла молча, непривычно долго для нее не говорила ни слова и лишь смотрела вдаль со странной тоской во взгляде. В самом деле, перед ней расстилался иной мир, совершенно иной. Он казался далеким-далеким, хотя был виден отчетливо. Туда, в самом деле, можно было стремиться...

Там же, где они шли, ландшафт еще оставался суровым, и хотя ущелье стало намного шире, горные склоны по его сторонам были еще крупными, между моренами и валунами проглядывал кустарник, росший там, где ему хватало земли. Вот дорога снова пошла вверх по склону, внизу под ними слышался шум небольшого водопада, падавшего со скалы, вода здесь была уже свободной от льда. Снега здесь тоже не было, и снизу, из этой приветливой страны, струилось вверх мягкое тепло. Они шли легко, почти без усталости и вдыхали этот сладостный воздух. Вдруг они увидели впереди большую дорожную карету, сорвавшуюся с крутизны, лишь несколько камней на полпути к пропасти не дали ей свалиться туда. Они поспешили вниз по склону, цепляясь за кусты, выбивая ногами мелкие камни, осыпавшиеся вниз, и таким образом добрались до кареты. Ее передняя часть была сильно изуродована, на разбитых оглоблях висели мертвые лошади с переломанными ногами и страшными ранами, в которых запеклась кровь. Людей здесь не было видно, вокруг царило молчание, что само по себе можно было понять, и в то же время после этой страшной катастрофы тишина казалась странной. Видно, свидетели этого несчастья бросили все, оставили на произвол судьбы.

Но, осмотрев все пристальнее, они обнаружили в полузакрытой карете дворянина знатного рода, лежавшего на спине с перерезанным горлом. Он все еще восседал в своей карете, откинувшись назад, мертвый. Сундука с деньгами не было, он исчез, как исчезли многочисленные слуги и лакеи, которые так старательно прислуживали ему, угадывая каждое его желание, прежде чем он успевал высказать его. Ни одного из них с ним не было, он был совсем один.

Женщина сразу поняла, как это случилось, была почти уверена в том, что это было именно так. Когда напали бандиты, все слуги пустились в бегство, погнали лошадей изо всех сил, им вовсе не хотелось жертвовать жизнью для того, перед кем они прежде ползали, делая вид, что живут только ради него. А бандиты, зарезав его и забрав сундук, над которым он так дрожал, что не расставался с ним, держал его в своей карете, погнали лошадей, и они вместе с каретой сорвались с обрыва, чтобы это выглядело как несчастный случай, хотя перерезанное горло говорило о другом, ну, да они никогда не продумывали все до мелочей.

Так она все объяснила и была права.

— Да, все-таки этот сундук с деньгами так и не попал в Иерусалим,— закончила она.— Что я говорила!

Они стояли и смотрели на уничтоженное величие. От него не осталось ничего, только обломки и смерть. Товий подошел к камням, задержавшим карету от падения, чтобы поглядеть на застрявшую между ними лошадь, ему показалось, что она еще жива, он не хотел, чтобы животное мучилось. Но Товий ошибся, жизнь в ней уже угасла.

Женщина стояла, оглядывая дикое ущелье, один склон, другой, ничто не ускользало от ее зоркого взгляда. Вдруг она увидела, что чистый горный воздух пронзает стрела, пущенная кем-то с противоположного склона, скорее всего из кустов. Видно, стреляли в них, в то же момент она поняла: целились в Товия, мишенью был он. Она вскрикнула, но Товий, смотревший в другую сторону, не понял, в чем дело, и к тому же он, почти зажатый между двумя камнями, не мог сразу же отскочить. С быстротой молнии она рванулась к нему и закрыла его как раз в тот момент, когда просвистела стрела.

Все произошло очень быстро. Незнакомец первый понял, что случилось, и поспешил к ней. Когда Товий обернулся, он с удивлением увидел ее, окровавленную, лежащую на земле со стрелой в груди. Он бросился к ней и вытащил стрелу. Она застонала и поглядела на него с упреком, видно, это причинило ей сильную боль. А ведь, когда стрела впилась в нее, ей не было больно. Он огляделся по сторонам диким взором, словно желая понять, откуда прилетела стрела, что́ же все-таки случилось. Но вокруг все было тихо и недвижимо. Стрелка нигде не было видно, как и прежде, ничто не шевелилось ни на этом склоне, ни напротив. Просто прилетела стрела. В этом и заключалось непонятное. Откуда она взялась? Кто послал ее?

Он наклонился над ней, потрясенный, вне себя от отчаяния, над той, что спасла ему жизнь, принеся свою в жертву ради него. Когда он, захлебываясь от волнения, стал говорить ей об этом, она лишь улыбнулась в ответ бледною улыбкой. Теперь она была очень бледна, и бледность сделала ее лицо прекрасным. Таким же прекрасным, как когда-то, давным-давно. Все в ней снова было прекрасно, никаких следов усталости и порока, ничего безобразного, того, что не было ей присуще, что на самом деле не было ей присуще. Никаких следов.

Она провела ослабевшей рукой по его худой щеке, заросшей щетиной, и сказала тихо низким грудным голосом:

— Я надеюсь, ты попадешь в эту страну, о которой так мечтаешь.

Он гладил ее растрепанные волосы, обрамлявшие бледное лицо густой рыжей гривой. Но не мог вымолвить ни слова.

И тут она прошептала совсем тихо, видно, силы ее покидали:

— Назови меня Дианой... еще... еще раз...

Он пригнулся ниже и поглядел ей в глаза, чего не делал давно. Почему он не делал этого? Почему?..

— Диана... Диана... богиня охоты...

Она улыбнулась почти счастливой улыбкой, он понял, что она услыхала его слова. И испустила дух. Но продолжала улыбаться.

На склоне, ближе к долине, рос старый дуб. Они похоронили ее под этим дубом, чтобы она вкушала покой под своим собственным деревом, деревом Дианы. Товий отнес ее туда на руках, он не хотел, чтобы она лежала в ущелье, где свершилось злодейство. Крона дуба была необычно темная, это был вечнозеленый дуб, настоящий дуб Дианы. Его древняя зелень резко выделялась на фоне остальных деревьев.

После они сидели возле могилы и разговаривали. Товий был угнетен и без конца упрекал себя в том, что виноват в ее смерти, что был несправедлив к ней, не уберег ее, не думал о том, какой она была на самом деле, да, ему было в чем упрекать себя.

К его удивлению, незнакомец сомневался в том, что Товий виноват в ее смерти. Да, конечно, она пожертвовала собой, поспешила заслонить его своим телом, но все же вряд ли он был виновником ее смерти.

— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю.

— Думается, стрела эта была послана не в тебя.

— А в кого же? Он хотел убить меня за то, что я отнял ее у него, как он думал. Это ясно, нечего и гадать.

— Но ты же не заметил никаких следов человека, когда был на той стороне, ничто не говорило о том, что там кто-то был.

— Да, это правда. Это и в самом деле очень странно, скажу я тебе.

— Кто бы из них стал сидеть так долго после нападения? И почему бы он вздумал дожидаться тебя именно в этом месте?

— Да, твоя правда. А кто же тогда стрелял?

— Кто может знать? Я не знаю. Думаю только, что стрела была предназначена ей.

— Ей? Ей? Нет, целились в меня. Ты сам видел.

— Да, так оно и было. Если бы он целился в нее, она не смогла бы умереть за тебя. А это ей было предназначено сделать.

— Ты хочешь сказать?..

— Я ничего не хочу сказать. Говорю, что не знаю. Не могу найти настоящего объяснения. Да, может, его и вовсе нет. Так часто бывает.

— Но ведь не думаешь же ты, что она сама *хотела* умереть?

— Нет, я думаю, стрела хотела, чтобы она умерла. И чтобы она приняла счастливую смерть. И она приняла ее, разве нет?

А про себя он подумал: «Ведь это счастье — принять смерть. Это и значит попасть в страну, куда ты на самом деле стремишься. Страна смерти. Святая земля».

Они сидели молча.

Потом поднялись и пошли дальше.

Когда они дошли до возделанных полей, уже начало смеркаться.

Невысоко на склоне горы раскинулось селение, а быть может, даже городок, во всяком случае, оно было окружено стеной. Стайка домов прилепилась к горе и друг к другу, все одинаковые, почти без окон, с белыми стенами и бледно-желтыми крышами. В лучах весеннего солнца дома казались ослепительно белыми. Они решили заночевать здесь, на небогатом постоялом дворе. За незатейливой трапезой они узнали, что паломники прошли здесь вчера, не останавливаясь на отдых, что они, должно быть, уже ушли далеко. Услыхав это, Товий решил было тут же продолжать путь, но это было невозможно, уже наступила ночь, к тому же они слишком устали. Он спал беспокойно, метался во сне. Утром, расплачиваясь за ночлег, он был так сильно взволнован, что руки у него тряслись, когда он протягивал хозяину деньги, незнакомец понял, в чем дело, но сделал вид, будто ничего не замечает.

Когда они были уже в пути, он сам завел об этом речь.

Она была совершенно права, говоря, что деньги на паломничество он не заработал честным трудом. Они попали к нему бесчестным путем. Он собирается плыть в Святую землю на ворованные и награбленные деньги, если, конечно, сумеет добраться до морской гавани. Ему хотелось бы выбросить эти деньги, отделаться от них, это поистине деньги греха и разбоя, на них кровь... но, если он выбросит их, ему никогда не переплыть море, не попасть в Святую землю, куда он так стремится. Вот какой он паломник.

Он страшился этой мысли, сознавая собственную ничтожность, неверие, тщетность задуманного им. Он страдал, думая об этом.

— Можно ли назвать меня паломником? Настоящим паломником?

Он сел у дороги, опустив голову на руки, подперев руками костистое, исхудавшее, заросшее бородой лицо, он больше никуда не торопился, а сидел молча, уставясь на дорожную пыль.

Незнакомец пытался помочь ему, слушая его, чем еще он мог помочь ему? Он слушал, как тот говорил ему о своих сомнениях, неуверенности, колебаниях. Да, он поистине сомневался во всем.

— Скажи мне, чего я жажду? Сам я этого понять не могу.

Он страдал, мучимый тем, чего сам понять не мог. Не ведая покоя. Внезапно он поднялся и пошел вперед. Теперь он горел нетерпением идти к цели. Казалось, его сомнения и явились причиной этого нетерпения. А быть может, он этим нетерпением хотел заглушить в себе сомнения.

Таким образом, они медлили не раз и двигались намного медленнее, чем следовало. И в каждом месте отдыха, на каждом постоялом дворе, они узнавали, что паломники прошли здесь уже довольно давно.

Наконец, в один прекрасный день они увидели внизу перед собой море, огромное, бескрайнее, и гавань, откуда отправлялись паломники, в бухте, обрамленной высокими

горами. Вид этот наполнял столь многих паломников радостью и страстным ожиданием.

Путь к морю еще был не близкий, но они надеялись к вечеру дойти туда. Товий так загорелся, что торопился изо всех сил. Он шел, не спуская глаз с необъятного водного простора, он никогда прежде не видел моря, и оно поразило его. Оно было темное и довольно бурное, подальше от берега по воде ходили белые гребни — ветер дул с суши. День клонился к вечеру, и когда они пришли в город, было почти темно. Едва они успели войти туда, как городские ворота заперли на ночь.

Они знали, что здесь был монастырь, где останавливались паломники в ожидании отплытия корабля. Он находился где-то неподалеку от гавани, и они, расспросив прохожих, добрались туда.

У ворот перед образом Богоматери горела маленькая свеча. Путники постучали, и к ним вышел один из братьев. Они спросили про корабль, который должен был скоро отплыть с паломниками в Святую землю, монах ответил, что корабль этот уже отплыл в тот же день вскоре после полудня, ветер был умеренный, и все паломники, каких ожидали, прибыли вовремя. То был последний корабль, наступает время осенних штормов, и в зимние месяцы корабли туда тоже не ходят.

Товий стоял, убитый этой новостью. Губы его дрожали, и он едва мог вымолвить слово. С трудом заставил он себя сказать спасибо монаху за его объяснение, за приговор, который тот вынес ему, сам того не зная.

Ибо то был приговор. Безжалостный приговор, иначе истолковать это было невозможно. Именно в тот день, когда он пришел к морю, в гавань паломников, корабль с настоящими, истинными паломниками поднял паруса и отплыл в неведомые моря, к земле, которую они увидят и которой он никогда не достигнет.

Ничего не поделаешь, так оно и должно быть.

Ничего не поделаешь, так оно и должно быть... Он повторил про себя эти слова, и они наполнили его таким отчаянием, какого он раньше не испытывал и не подозревал, что может испытать. То, что было для него потеряно, чего он не сможет достичь, что ему не дано было узреть, казалось ему теперь единственно важным, единственным, ради чего стоит жить и умереть. Лишиться этого — все равно что лишиться души, перестать существовать и здесь, и в загробной вечности, потерять всякую надежду. Он смотрел в темноту, и глаза его были дикими от одиночества и безнадежности, они горели огнем, который не желал затухать, хотя должен был потухнуть отныне и навсегда.

Незнакомец и монах не заметили этого, ведь маленький огонек перед образом Богоматери не освещал его. И тут он внезапно исчез в темноте. Тьма поглотила его, более его не было рядом с ними. Монах поглядел удивленно на незнакомца, тот пробормотал несколько слов, мол, он и сам не понимает... мол, ему нужно найти его. Монах понимающе кивнул, и они расстались.

В переулках поблизости его не было. Он пошел искать дальше, прошел наконец почти весь городишко, но нигде не нашел. Он не мог понять, куда Товий подевался... Он расспросил случайных прохожих, не попадался ли он им навстречу, но никто его не видел. Под конец он подумал, что надо искать в гавани, хотя в этом не было смысла, что там делать сбежавшему в столь поздний час?

В гавани было темно и пусто. Глухой и грозный шум моря раздавался далеко в ночи, видно, сильно штормило, хотя в самой гавани это было менее заметно. Это была хорошо защищенная гавань, созданная самой природой, даже набережную она постаралась создать, люди ее лишь кое-где улучшили. Сначала он не увидел здесь ни людей, ни единого судна, лишь рыбачьи лодки лежали, вытащенные на берег. Но в самом дальнем углу у причала возле горного склона стояла шхуна, по-видимому, поднимавшая паруса. Устанавливая их, там чем-то стучали, что-то колотили, оттого-то он и заметил ее. Он пошел туда.

С рей свешивался фонарь, а на берегу под ним стояло несколько человек, занятых оживленным спором. Он подошел ближе и, к своему удивлению, увидел, что один из них — Товий. Он заметил его не сразу, потому что Товий стоял окруженный незнакомыми людьми. Их было трое, вид их явно не внушал доверия. Сомнительные типы, по всему видно, негодяи. Как Товия угораздило попасть в их компанию?

Он подошел ближе, стараясь держаться незаметно, и прислушался.

Было ясно лишь, что они уверяли Товия, будто отправляются в Святую землю и возьмут с собой его, если он хорошо заплатит. Как он понял, речь шла о плате. Они пытались выведать, сколько у него денег, чтобы, исходя из того, назначить цену. Товий, очевидно, плохо понимал их, но о главном догадаться было нетрудно. Они клялись, что отправляются в Святую землю, и требовали с него большую плату. Товий был сильно взволнован, в неверном свете фонаря его худое лицо казалось воспаленным.

Под конец он достал деньги, очевидно, все, что у него были, и протянул их дрожащей рукой этим людям. Они схватили деньги и принялись жадно считать их. Они явно удивились, что им достался такой куш, хотя сделали вид, что слишком мало, но, мол, они, так и быть, возьмут его с собой.

Потом они вдруг заторопились, начали шептаться, что пора уходить. Последние приготовления к отплытию делались в спешке, и Товия чуть ли не затолкали на борт. Можно было подумать, что по какой-то причине корабль должен был без промедления покинуть гавань. Что за темные причины вынудили его к тому, угадать было трудно, однако ясно было одно, что здесь не все ладно. Корабль дергался на швартовах, ветер нетерпеливо рвал паруса, сам корабль выглядел подозрительно. Эта старая обшарпанная посудина была под стать сброду, составлявшему его команду.

— В Святую землю! — захохотал моряк, принимая на борт трос, и перемахнул через поручни.

Он что-то сказал другому матросу из команды, имевшему такой же бандитский вид, и оба мерзко заржали. Товия больше не было видно.

Судно заскользило от причала, и паруса сразу же наполнились ветром. Ветер крепчал, в открытом море он, должно быть, дул сильно. Быстро набрав скорость, шхуна вышла из гавани и стала погружаться в ночь. Он стоял и смотрел ей вслед, провожал ее глазами в неизвестность. Потом она исчезла, ее поглотила мгла.

— Для чего Ты преследуешь меня? Для чего не оставляешь меня в покое? Для чего не покидаешь меня? Что я сделал Тебе, за что Ты мстишь мне, думаешь денно и нощно о Своей мести? Что я сделал Тебе? Лишь не дал Тебе преклонить голову в моем доме. Сколько людей поступало так же, как я. Но меня Ты не прощаешь. Ведь это было так давно. С тех пор столько людей отказало Тебе в этом, что Ты и запомнить их не можешь. Но обо мне Ты помнишь. И я не забываю о Тебе.

Для чего Ты заставляешь меня вечно думать о Тебе? О том, как Ты шел по улице, неся крест. Что же в том удивительного? Ведь я жил на этой улице с младенчества и видел это тысячи раз. Как мог я выделить из всех Тебя одного? Если живешь на улице, где люди беспрестанно тащат свой крест, как догадаться, кто из них Сын Божий? Как Ты можешь требовать это от меня? Ты безжалостен ко мне, требуя невозможного.

Думаешь, Тебя одного постигла такая судьба, один Ты страдал и был распят? Нет, Ты знаешь, что не Ты один. Ты лишь один из многих в бесконечной веренице. Да, все человечество распято, как и Ты, человек распят, а Ты лишь Тот, на Кого он взирает, думая о своем жребии, о своих страданиях, о своих жертвах, Тот, Кого люди называют Сыном Человеческим. Я это понял, я постиг это наконец. Понял, что человек лежит, одинокий на одре мучений в пустынном мире, принесенный в жертву, покинутый, распростертый на охапке соломы, с такими же ранами, как у Тебя. Что страдания и жертвы испокон веков — доля людей на всей земле, хотя Тебя лишь одного называют распятым, лишь Ты один из всех страдавших стал им, хотя, думая о боли, мучениях и несправедливости, люди думают о Тебе. Будто в мире есть лишь Твоя боль, будто несправедливость испытал лишь Ты один.

Но кто позволил Тебя распять, кто назначил тебе страдания и смерть? Кто принес Тебя в жертву Того, кого Он называет Своим единородным Сыном, кто заставил Тебя в это поверить? Кто потребовал и этой жертвы, как и многих других, жертвы, превыше всех жертв, которая никогда не забудется, жертвы Самого Избранника? Кто принес в жертву Сына Человеческого?

Ты должен знать, каков Он, Тот, Кого ты упорно называешь: Бог-Отец, хотя Он никогда не жалел Тебя, никогда не выказывал Тебе Свою любовь, позволил Тебе висеть на кресте, когда Ты в глубоком отчаянии крикнул Ему: «За что Ты оставил Меня?»

Он приносит людей в жертву! Постоянно требует новых жертв, человеческих жертв, распятий! Вот Он каков, если хочешь знать. Мне же ведомо это, ведь я влачил Его проклятие сквозь века, как Ты влачил Свой крест, но гораздо дольше Тебя. Я носил клеймо врага Божия, неверующего, хулителя, восставшего против Бога. Ведь это Он проклял меня, а не Ты. Я знаю, я понял это наконец. Ты лишь высказал то, что Он велел Тебе. Это Он держит власть и месть в Своих руках. Какую власть имеешь Ты? Ты, который Сам был предан, принесен в жертву, покинут. Теперь я понял это. Ты был моим братом. Проклявший меня — мой брат, который сам был несчастен и проклят.

Теперь я понял все. Ибо теперь я прощен, я проник в святая святых и понял, каков Он есть. Ныне я понял: Он наконец потерял надо мной власть. Наконец-то я взял верх, наконец-то я победил Бога! Я сам снял проклятие со своих плеч, освободился от своей судьбы, победил ее. Не с Твоей и ни с чьей-либо другой помощью, а своей собственной силой. Я сам спас себя. Сам победил. Победил Бога.

И посему я лежу здесь, чувствуя приближение смерти, доброй и милосердной смерти, которой я ждал так долго. Той, в которой мне было отказано.

Я чувствую, как она приближается ко мне, бесконечно милосердная, сестра жизни, так долго не замечавшая меня; она гладит мой лоб прохладной рукой, единственная утешительница, дарующая покой. Как долго меня не ласкал никто. Но я жаждал лишь ласки Твоей руки. Теперь я знаю, Ты не покинешь меня, останешься со мной, возьмешь меня в Свое царство уведешь в Святую землю.

Как долго я лежал в этой обители тишины? Сколько времени прошло с тех пор, когда я пришел сюда, с той штормовой ночи, когда пилигрим, не будучи истинным пилигримом, исчез в ночи на пути к неведомому — к чему? А потом я лежал, прислушиваясь к завыванию ветра над морем, который бушевал все сильнее. Может, этот ветер принес ему гибель? Или он все же достиг цели? Какой цели?

Я не знаю, к чему он стремился. Верно, к чему-то самому важному. Может, он погиб в море, или сброд на том корабле увез его совсем в другую сторону? Но то, к чему он стремился, должно быть, самое важное в этой жизни. Он дал мне это понять. Нечто столь важное, что лучше потерять жизнь, чем утратить в Него веру.

Даже я, враг Божий, хулитель, неверующий, признаю сие. Признаю всем сердцем.

Где-то там, далеко, за всеми богами, за всем, что искажает и огрубляет мир святых, есть что-то недоступное, непостижимое. И все наши тщетные попытки понять это показывают, что оно для нас непостижимо. Ни на что не взирая, за всей этой священной шелухой должно находиться нечто истинно святое. Я верю в это, да, я в это уверовал. Бог для меня ничто. Он мне ненавистен именно потому, что Он обманул меня, скрыл от меня это святое. За то, что Он, думая, будто мы к Нему стремимся, прячет от нас то, чего мы истинно жаждем. За то, что Он отдаляет нас от этого.

Да, Бог — это то, что отдаляет нас от божественного. То, что не дает нам пить из самого источника. Пред Богом я не преклоню колена. Нет, пред Богом я никогда не преклоню колена. Но к источнику я хочу припасть, чтобы напиться из него, утолить жажду, жгучую жажду того, что я не могу постичь и что существует, я знаю.

И, быть может, этот миг для меня настал. Теперь, когда борьба окончена и мне позволено умереть. Теперь, когда я наконец обрел мир. Я не знаю, что скрывается в его темной глубине. Если б знал, то, верно, ужаснулся бы. Но я хочу из него напиться. Быть может, одна лишь эта темная глубина может утолить мою жгучую жажду.

Он лежал, глядя на голые белые стены кельи, которая для его угасающего взгляда не имела границ, а была лишь чем-то чистым и светлым, где он покоился. За окном море перестало шуметь, а быть может, он более не мог слышать этого шума? Быть может, он перестал различать все земные звуки, шум волн жизни? Он лежал в забытьи. В светлом забытьи. Кто-то осторожно отворил дверь и вошел в келью. Он не мог повернуть голову, да и видел уже неотчетливо, но подумал, что это, должно быть, монах, который время от времени заглядывал к нему узнать, не надо ли ему чего. Это, верно, был монах. Хотя он уже не мог его разглядеть. А ему хотелось бы видеть его маленькое морщинистое лицо с неизменною доброю улыбкой, но он уже не мог видеть ее, хотя монах подошел близко к кровати. Печально, что он уже не сможет увидеть эту улыбку. Никогда не сможет увидеть ее. Никогда больше не увидит человеческого лица. Странно, что это его печалило. При жизни он не испытывал особой любви к людям.

В этом маленьком монахе, взявшем его в монастырь и так любовно ухаживавшем за ним, было что-то странное. Ему казалось, что он вроде бы узнает его. Быть может, это ему только казалось. Но, глядя, как он ступает по полу кельи грязными босыми ногами (ведь он все время ходил босиком), умирающий воображал, что все это ему каким-то образом хорошо знакомо, что он это уже когда-то видел. Точно он вспомнить не мог, но был уверен, что так оно и было.

Это был не монах, а послушник, ходивший за больными, и теперь он ходил за ним. Умирающий должен испытывать благодарность за то, что последний человек, кого он видел, был он. Вот он почувствовал, что монах поправил ему подушку. Но видеть он мог лишь что-то черное, тень возле постели.

Вдруг вся комната озарилась ослепительным светом. Это было поистине удивительно. И случилось это так внезапно, что походило на чудо.

— Что это за свет, что это за прекрасный свет? — прошептал он слабеющим голосом, настолько тихо, что монах не расслышал его слов. Он лишь догадался, о чем его спрашивал умирающий. Это солнце вырвалось из туч и проникло в келью через оконце на южной стене, обращенной к морю. Монах наклонился над ним и объяснил, что облака рассеялись и лучи солнца светили прямо ему в лицо. Ведь он не хотел говорить ничего, кроме правды, кроме того, что было на самом деле. И умирающий, казалось, был доволен столь простым объяснением того, что принял за чудо. Он закрыл глаза, но продолжал ощущать свет, чувствовал, что свет продолжал сиять. И, освещенный столь обычным для этого мира светом, он расстался с ним.

Маленький монах долго стоял и смотрел на умершего, на его странное лицо, излучающее сейчас удивительный покой. Совсем иным было это лицо, когда он пришел сюда в ту бурную ночь. Что могло так изменить его? Кто был этот незнакомец, этот странный гость? Он этого не знал, никто в монастыре этого не знал. Был ли он на самом деле паломником? Да был ли он вообще христианином? Никто этого не знал.

Но опочил он в мире. На лице его запечатлелся глубокий покой.

Перевела со шведского **Н. БЕЛЯКОВА**

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

ВСЕГДА ОТЗЫВАЕТСЯ

Из откликов на статьи Льва Самойлова («Нева», 1988, № 5; 1989, № 4; 1990, № 1).

С чувством внутреннего удовлетворения прочитал в первом номере «Страх» Л. Самойлова и почувствовал душевное облегчение: пока такие публицисты на свободе, контрреволюция не пройдет, вероятность возрождения ГУЛАГов не может достичь опасных пределов... Такое выступление — это кислород для всех честных борцов против рабства и насилия. Остается только сожалеть, что оно стало достоянием только полумиллиона читателей. Спасибо автору за гражданскую позицию. Она вполне «тянет» на медаль «За отвагу».

Е. К. СМИРНОВ,
Сочи

Вот лежат передо мной три книжки «Невы» с Л. Самойловым... Впечатление тяжелое, но те письма, выдержки из которых приведены редакцией, принесли маленькую надежду. Год назад мой старший сын был очень близок к тому, о чем пишет Л. Самойлов. Ему грозила тюрьма... Почему же этот сильнейший материал обсуждается не там, где надо? Неужели он в первую очередь представляет интерес для этнографов? А секция отклоняющегося поведения, в социологической Ассоциации да еще Северо-Западного отделения — что она может?.. Может она затормозить конвейер: внутришкольный учет трудновоспитуемых — детская комната милиции — колония — тюрьма — лагерь? Почему молчат те, от кого это зависит напрямую?

...Я хочу видеть и верить, что в моей стране есть силы, способные изменить все, о чем я здесь прочитала! Знаю, что это трудно, догадываюсь — почему. Но вы, печать, имеющая возможность бить в колокол, бейте в него! Заставьте высказаться обо всем этом кошмаре тех, кто в нем варится — на всех уровнях!

Л. КОРОЛЕВА, экономист,
Новосибирск

Что же делать, Лев С-ч? (Простите, у Вас так по тексту). Как жить?

Вырос я до главного конструктора в Н., до главного инженера и зав. лабораторией в П., где и застрял на много лет. Тяжело отсутствие общения, духовное одиночество. Конечно, есть возможность все читать, но это как немота без глухоты — все слышишь, а сказать ничего не можешь... Отсутствуют уши, чтобы выслушали.

Чего достиг? Ну разве что несколько технических статей да десятки изобретений. Есть даже способ разработки, носящий мое имя. Универсальный, полностью автоматизированный, может быть, технология будущего и потому сегодня никому не нужная. Всю жизнь говорил, что думал, а делал так, как думал и говорил. Вы скажете — хорошо, что не посадили, верно? Сейчас рядовой заводской конструктор.

Я долго не мог понять — почему меня отовсюду гонят? Вы сформулировали: страх!.. Страх властей!.. И вот дошло до худшего. Они этому страху нашли выражение и уже начинают натравливать?.. «Правовое государство» — это же тавтология! *Нормальное* государство, нормальное общество... И сколько же лет еще будет нужно, чтобы наше общество им стало?! Вряд ли и нашим детям дожить. Ладно, Бог с ним, Бог с нами...

Ю. Г-ин,
г. П., Сибирь

Дорогой Лев Самойлов!

То, что Вы есть, с Вашим опытом жизни и бесценным умением в самых отчаяных положениях *видеть* окружающую Вас действительность и *размышлять* над нею — даже это не так удивительно... Самое удивительное (самое неудивительное?) — что из ныне обладающих властью (от политика до простого учителя) никто, прочитав Ваши грустные и мужественные мысли... не зальется краской стыда, и земля не будет гореть у него под ногами. Облеченные властью... Вас похвалят и проводят аплодисментами, а сами останутся теми же — сытыми и глухими.

...Если Вы знали, как неизбежно отзовется где-то, в ком-то, что когда-то Вы не струсили, не опустили глаза, не отказались от себя. Всегда отзывается. Вы должны это знать.

И то, что Вы есть такой, позволяет надеяться на лучший исход для всего нашего общества.

Е. БАЛЫШЕВА,
Моск. обл.

Лев
САМОЙЛОВ

РАСПРАВА С ПОМОЩЬЮ ПРАВА

Если сны приснятся этим судьям,
то они во сне кричать не станут.
Ну а мы? Мы закричим, мы будем
вспоминать былое неустанно.

Б. Слуцкий

1. Ночной звонок. Телефон затрезвонил в полночь. Тишину моей квартиры он взорвал резкой и тревожной трелью. Это было девять лет назад, но с этого звонка для меня начались те преследования, тот гон, который в конце-концов привел меня в тюрьму и лагерь, так что это событие врезалось в память прочно...

В тот день я вернулся из Университета поздно, выдохшийся от многочасового чтения лекций, утренних и вечерних. Выпив чаю, с трудом заставил себя сесть за рабочий стол и застыл над рукописью. Работа была спешная. В Оксфорде готовилась к изданию моя большая книга — итоговый для меня теоретический труд. И вот прибыли из Англии первые главы перевода на английский язык. Перевод был из рук вон плох: переводчица не имела представления о предмете книги, не обладала знаниями в моей специальности, да и языком владела неважно. Предстояла серьезная правка. На русском языке издание не предвиделось. От этой работы меня и оторвал внезапный трезвон телефона.

Взял трубку. Сдавленный голос (намеренно сдавленный, чтобы не узнать) произнес всего несколько слов: «Выйдите, нужно поговорить. Очень важно». Несмотря на старания изменить голос, было нетрудно узнать моего соседа по дому... Вышел на заснеженный подъезд. Там жались две фигуры с поднятыми воротниками. В одной я узнал своего соседа, другим был его приятель из дома напротив, почтальон. Говорили они, едва не клацая зубами, то ли от холода, то ли от возбуждения. Оказывается, за этим приятелем вчера приезжали из милиции, увезли с собой и, полупьяного, заставили подписать показания против меня. Якобы я заманил его к себе и то ли изнасиловал, то ли уломал добром. «И вы подписали?» — «Подписал. Я их боюсь. Меня уже не первый раз хватают. Я что угодно подпишу, только бы меня отпустили, не трогали».— «Но ведь вы даже не сможете описать мою квартиру!» — «Не смогу...» Продолжать разговор не было смысла. Я поблагодарил и поднялся к себе. Значит, мне угрожает обвинение в уголовщине, позор. Конечно, обвинение надо еще доказать, но такими методами собрать свидетельства несложно, и если суд не проявит привередливости, то... Передо мной замаячила тюрьма.

Сказать по правде, неожиданностью это для меня не было.

В Университете публикация моих работ за рубежом не вызывала энтузиазма, особенно после того как наши войска вошли в Афганистан и разрядка окончилась. Моя самостоятельная научная позиция и так вызывала раздражение высших авторитетов науки. Московский Академик, возглавлявший нашу отрасль, считал мою деятельность вредной. Не раз возникал и вопрос о моей политической благонадежности.

От диссидентской деятельности, каюсь, я стоял в стороне: подпольных собраний не посещал, Самиздатом не увлекался, воззваний и протестов не подписывал. Но я знал, что компетентные органы все-таки интересуются мной — подозревают в тайном инакомыслии. Да ведь не меня одного. Но на мне подозрения сгущались: я не умел вести себя тихо и скромно, «не высовываться на ходу из трамвая». Или, как выражена та же идея на плакате в одесском трамвае (из анекдота): «Высунься, высунься, ты будешь иметь тот вид!» Похоже, что мне предстояло приобрести «тот вид». Из университетских канцелярий уже повеяло тревожным холодом (я описал эту обстановку в очерке «Страх»).

Незадолго до звонка соседа научный мир Ленинграда облетела тревожная весть: по уголовному обвинению (в хранении наркотиков) арестован видный филолог Азадовский. Он был известен как переводчик и исследователь зарубежной литературы, часто печатался на Западе. Коллеги арестованного передавали, что наркотики ему подбросили при обыске. На допросах некоторых его приятелей пытались обвинить в гомосексуальных отношениях с ним. Видные ученые писали ходатайства за него и протесты.

С Азадовским я тогда знаком не был, но вздорность обвинения была мне ясна: в наркоманию какого-нибудь богемного артиста можно было поверить, но чтобы этим пробавлялся солидный ученый... А по рукам ходила похожая на пародию стенограмма суда над поэтом Бродским. У ленинградской Фемиды была худая слава.

Ныне, совсем недавно, Азадовский полностью реабилитирован, доказана фальсификация обыска [1]. Но тогда Азадовскому предстояли суд, приговор, годы в лагере... Что же ожидало меня?

Когда назавтра после ночной встречи я рассказал о ней своим коллегам, они помрачнели: «Скверный симптом. Явно модель Азадовского». Я и сам это понимал, все шло к тому. Кстати, вскоре после меня был арестован еще один преподаватель — историк Рогинский. Ему предъявили обвинение в подлоге документа — пропуска в архив. Дали четыре года. С Рогинским мы познакомились уже в «Крестах». Для него тюрьма была родимым домом в буквальном смысле: он родился в лагере, отец его был взят в 1937...

Полвека отделяют нас от Большого террора, от бессудных расправ, чинимых «особыми совещаниями» — «тройками». Но государство наше не стало правовым. Правда, с террором покончено, он отставлен и осужден. Нет уже *массовых* расправ — огулом с целыми категориями граждан: справных крестьян, священников, командармов, калмыков, бывших пленных. Нет слепых *безмотивных* расправ, падавших без разбора на того или иного человека. Резко ограничена практика *бессудных* расправ, осуществляемых административно (хотя у милиции остались некоторые возможности этого рода). Накопец, с хрущевского времени центральная власть вообще все реже стала прибегать к расправе, то есть к несанкционированному законом насилию.

Но расправа не исчезла из политического обихода страны. Государство как бы делегировало свои потенции расправы ведомствам и местным властям. Так что если отдельный гражданин навлек на себя неудовольствие этих властей, все равно чем, ему все-таки угрожает расправа. Но не бессудная. Адыловщина возможна лишь кое-где, на периферии; она уязвима — ее легче заметить и искоренить, исправить ее последствия. Сложнее с практикуемой шире расправой по-новому, более хитрой — через суд, с помощью уголовного обвинения. От расправы в ней совсем немного: «некоторая» произвольность уголовного обвинения, «небольшое» смещение вины — из неподсудной она должна стать подсудной: то, что претило норову данной власти, надо представить как прегрешение перед государством, перед народом. Человека надо подтянуть под статью уголовного кодекса. Остальное — дело машины правосудия. Процесс — что надо: с роскошным документальным оформлением, с отличной и вдохновенной игрой, когда полностью разыгрывается все следственное и судебное действо. Тут и дотошные допросы, и тонкие экспертизы, и прения сторон с патетическими речами прокурора и внимательным выслушиванием речей адвоката — словом, все комильфо, все по-европейски, все по-новому. Только тюрьма и лагерь те же. И так же неизбежны.

Наличие у нас политических заключенных старательно отрицалось, но они были. Теперь их, по уверениям администрации, нет (лучше бы сказать осторожнее: почти нет). Не осталось, по-видимому, и «узников совести» — осужденных за принадлежность к некоторым религиозным группам или за самочинную религиозную деятельность, за активное отстаивание своей веры. Теперь за это не сажают. Но правозащитникам рано складывать оружие. Если гражданам СССР не грозит больше участь политзаключенных и «узников совести», значит ли это, что нет у нас осужденных без вины — и не случайно, а намеренно отчужденных? Тех, над кем учинили расправу с помощью права? Просто за то, что они не вписались в систему, не склоняли головы, не теряли чувства собственного достоинства? Как назвать эту категорию заключенных? Узники достоинства?

А коль скоро налаженный механизм такой судебной расправы существует, то он может приходить в действие спонтанно, без толчка сверху — просто потому, что зуд движения обуял какой-то рычажок в этой машине, то бишь какому-то чину захотелось заработать лишние лычки. И тогда в машину может затянуть кого угодно — даже самого верноподданного, самого смирного и послушного (каким я, что греха таить, не был).

Поскольку я прошел через эту машину, сохранив умение анализировать и отображать, мой долг — попытаться на личном опыте осветить и понять общую проблему: в чем суть механизма, на чем он держится. И наметить пути предотвращения подобных личных катастроф. Для этого, конечно, надо прежде всего показать, что суд был не праведным и что это не судебная ошибка, что состоялась именно расправа. А уж потом, проследив ее механизм во всех его звеньях, определить, где в нем надо приложить усилия, какие винты вывинтить, чтобы его сломать к чертовой матери. Чтобы у нас стало в самом деле правовое государство.

Писать мне обо всем этом неимоверно трудно, потому что уголовную статью мне подобрали, так сказать, щекотливого свойства, процесс был закрытым, речь придется вести о вещах сугубо интимных. А рассказать о них надо ясно, доказательно, и в то же время щадя чувства читателя, уважая его деликатность. Да и себя поберечь: мне ведь седьмой десяток. Но говорить необходимо, потому что это касается не меня одного и не только тех, кто

[1] См. в «Литературной газете» (за 9 августа 1989 г., с. 13) статью Ю. Щекочихина «Дело образца восьмидесятых».

был замешан в моем деле, но, по сути,— любого гражданина нашей страны. А значит, всех. И это не какое-нибудь далекое прошлое — все произошло недавно. Мою среду эти события потрясли, как землетрясение, хоть и локальное, и развалы его еще не убраны. Силовое поле, вызвавшее его, тоже не исчезло.

Трудности обусловлены еще и тем, что читатель не обязан верить мне на слово, а последний, пусть и наименее суровый приговор по моему делу еще не отменен. Чем, скажем, гарантировано, что я точно изложил свою ночную встречу с двумя соседями? Ну, сама по себе точность ее описания не так уж важна для сути всего повествования. А дальше придется излагать более важные события — чем гарантирована их достоверность? Сослаться на живых свидетелей? Я мог с ними сговориться, подкупить их, устрашить. Но есть тексты приговоров суда, с подписями и печатями. Это надежные документы. Есть протоколы допросов и судебных заседаний. Есть два тома документации моего дела. С разрешения соответствующих инстанций редакция может с ними ознакомиться. К тому же этой статьей я загоняю себя (но и судейских чинов) в угол: если я перевру цитаты, вырву их из контекста так, что искажу смысл, если неверно перескажу события, то меня можно осудить за клевету. А если ход событий изложен мною верно, то, значит, это был не праведный суд, а расправа (и приговор подлежит отмене).

2. Забытое письмо. Вскоре после ночной встречи с двумя напуганными соседями я получил письмо. Ко мне обращался именно тот человек, который и дал в руки правоохранительных органов первое заявление о моих пороках — повод для начала дознания и следствия. Автор письма — геолог, бывший секретарь райкома комсомола — сам признавал в письме, что был многим мне обязан. Тем горше было ему сознавать свою, по его словам, «подлость»: он оклеветал меня и моих друзей, знакомых, возвел на них напраслину. Какую именно, в письме он не указывал. Но оправдывался тем, что был к этому принужден, запутавшись в своих собственных невзгодах. Точнее, что его вынудили. Невзгоды его были мне мельком известны: один за другим шли следствия и судебные процессы, и позиция его в них менялась: то обвинение падало на него, то он выступал свидетелем, то истцом. Последний процесс разбирался в том же суде, что и мой, и в то же время. Приговор был объявлен через несколько дней после моего. Но результат был другой — геолог выпутался из невзгод.

Заявление геолога было мне показано позже. В нем говорилось, что за 13 лет до того я соблазнил его к гомосексуальным отношениям, о чем теперь, после многих лет в благополучном браке, он вспомнил и просит принять ко мне меры, дабы я не развращал других. Тут же следовал длинный список моих *возможных* жертв с их паспортными данными и адресами. О современности геолог ничего не утверждал. Он лишь говорил о возможности.

Читая его заявление, я без особого труда убедился в том, что в покаянном письме он не врал: заявление было ему продиктовано. В тексте заявления — его почерком — на каждом шагу попадались специфические выражения: «В его адресе проживвет» (в смысле «проживает у него на квартире»), «совершение акта с его стороны». Столь малограмотны бывают порой милицейские протоколы, но специалист, окончивший университет и занимавший пост секретаря райкома по идеологии, подобным слогом выражаться попросту не мог. Зато документы, составленные инспектором милиции Воронкиным,— и те, в которых он фиксировал показания геолога, и другие — пестрят именно этими выражениями: «в его адресе проживают», «совершение акта с его стороны». Я могу указать до десятка таких документов.

Откровенно говоря, бывший секретарь у меня особого уважения не вызывает. И все же не будем к нему чрезмерно суровы: каждый совершает те поступки, на которые у него хватает душевных сил. Ведь все же решился бывший секретарь: написал мне покаянное письмо. Более того, сообщил, что одновременно с этим письмом отправил в органы внутренних дел отказ от своего клеветнического заявления! Многим ведь рисковал — не только партбилетом!

Отказа его не оказалось ни в одном из двух томов моего дела. Заявление есть, а отказа от заявления нет. Но геолог не обманул: письменный отказ был! Во-первых, он упоминается в последующих вопросах следователя и ответах геолога (запротоколированных). Во-вторых, после этого отказа за него взялись снова, и он, что поделаешь, вернулся к своей обвинительной позиции. Снова стал гневным моим обличителем.

Я встретился с ним лицом к лицу на очной ставке. Меня привели под конвоем из тюрьмы, а он пришел сам, с воли. Но *мне* было жаль *его*. Лицо его было покрыто пятнами — белыми вперемешку с красными; на лбу выступали капли пота. Что-то мешало ему говорить, и он все время покашливал, отводя взгляд. Повторяю, мне было его жаль, но я все же попросил его глядеть мне прямо в глаза. Тут следователь схватился с места и прервал меня возгласом: «Прошу не воздействовать на психику свидетеля!» — «Зачем же тогда очная ставка? — недоумевал я.— Зачем тут я? Просто повторить обвинение он мог бы и без меня...» Повторил при мне, покашливая и упорно глядя наискось в сторону, затем исчез.

Интересная судьба постигла его покаянное письмо. Я не успел его никуда предъявить. Оно было обнаружено у меня при обыске и *не было* занесено в протокол обыска. Ну, естественно: оно же разрушало версию обвинения. Однако мы ведь живем в стране, где многое делается тяп-ляп. И судебно-следственная работа — не исключение. По оплошности следователей письмо не уничтожили. Оно попало в вещественные улики и сохранилось в деле — тихо лежит себе в конвертике, подклееном к 177 странице первого тома. И что же? На каждом процессе (у меня их было два) судья брал письмецо в руки, говорил «письмо неизвестного» — и отодвигал в сторону. Я неизменно поправлял судью, говорил, чье оно, просил отнестись к нему внимательно — проверить, если нужно, подпись, почерк... Но процесс мягко перекатывался через этот камушек и мерно катил дальше. Письмо не упоминается в приговорах — ни в первом, ни во втором. Сам геолог задолго до процессов был отпущен и уехал.

...Перед самым арестом, когда многое уже было известно на факультете, ко мне подошел парторг Марков и, глядя в пол, буркнул по-простецки: «Экие неприятности! А на деле ты его хоть трахнул, этого секретаря?» Я взорвался: «Да!! Его и всю его организацию!!» Отвел душу, а потом терзался: а ну, как заявит, куда следует? Не заявил.

3. Действующие лица за сценой. Странно выглядела моя первая встреча со следователем — один из тех немногих эпизодов моего повествования, который я не могу подтвердить документально или ссылками на свидетелей. Если сам следователь Стрельский не захочет подтвердить происходившее, значит, все мне просто померещилось. Но и все-таки расскажу об этом, потому что косвенное подтверждение моей «галлюцинации» нашлось — оно выявилось позже, на суде. Да и Стрельскому все происшедшее (или не происходившее?) не так уж в укор.

Следователя я застал сердитым, насупленным, брюзжащим: «Навязали мне ваше дело, черт бы его побрал. Грязное дело, грязное». Что ж, дела о людских пороках, аморальщине принято называть грязными. Но, похоже, он имел в виду другое, потому что продолжал так: «У меня же была безупречная репутация. Почему именно мне?»

Дальнейшее просто повергло меня в изумление. Допрос начался по всей форме, но, задавая мне стандартные вопросы — о возрасте, месте работы и тому подобном,— следователь что-то написал на отдельной бумажке и подвинул ее мне. Читаю: «Кому вы перешли дорогу?» Я растерялся, сбился с ответа на какой-то вопрос, потом кое-как закончил и сказал: «Ну, а что касается вашего вопроса о том, кому я перешел дорогу...» Следователь сразу же перебил меня, громко сказав: «Вы что-то путаете, ничего подобного я вас не спрашивал!» А сам показывает рукой на стенку и на свое ухо. Мол, что же ты меня подводишь? И у стен есть уши! Сидит, мол, за стеной кто-то, кого нам обоим надо бояться.

Я совершенно смешался, но подумал, что это у него прием такой — старается расположить меня к себе, войти в доверие. Последующее показало, что я ошибался.

К этому времени следователь уже располагал обвинительными показаниями шести свидетелей против меня. Шести! Как удалось собрать столько? Еще недавно был только ничем не подтвержденный «сигнал» геолога. Стало быть, поработало дознание. Хорошо поработало! Добыв «сигнал» от геолога, дознание начало вызывать моих знакомых по списку геолога (или якобы его). Я издавна жил один, но не одиноко. Когда я был начальником отряда, потом — экспедиции, на периоды ее подготовки и возвращения моя квартира превращалась в нечто среднее между штабом, гостиницей и общежитием. Да и вообще у меня часто собиралась молодежь, подолгу гостили приезжие, ухаживали за мной при болезни, помогали вести мое холостяцкое хозяйство. За них-то в первую очередь и взялось дознание. Стали таскать на допросы математика-программиста С., уверять его, что он отдавался мне... *Никаких* поводов для такого обвинения, кроме знакомства со мной, не было. С. все упорно отрицал. Тогда его подвергли судебно-медицинской экспертизе. Эту унизительную процедуру проделывали со всеми, кого коснулось (лишь коснулось!) подозрение, что абсолютно незаконно.

Проводится экспертиза так: человека раздевают, усаживают (мужчину) в гинекологическое кресло и обследуют ему задний проход и прямую кишку. Проходить такое обследование (скажем, по онкологии или проктологии) и то тяжко, когда же оно происходит неожиданно в кабинете судебного эксперта, к болезненности добавляется психологическая травма, шок.

Сойдя с кресла, С., человек нервный и ранимый, впал в глубокую депрессию и с тех пор периодически подолгу лечится в психоневрологической клинике (что именно эта экспертиза послужила причиной его болезни, не установлено, известно лишь, что до нее он не болел). Перед ним, как и перед прочими, даже не извинились.

С другим моим знакомым Андреем П., лихим автомобилистом, было иначе. Незадолго до того он разбился на машине вместе с приятелем. Тот попал в больницу, но скоро вышел; машину починили.

С виной водителя ясности не было, и дело закрыли. Вот эту историю ему теперь припомнили — поставили перед альтернативой: или он даст нужные показания, признает за собой содомских грех со мной — грех вынужденный, за который лично его не накажут,— или же делу об аварии будет дан ход, и тогда — тюрьма. Да еще расследуют, не взятка ли прекратила дело. Три дня уламывали. Наконец, рассказывает Андрюша, чувствую, что уже невмоготу, пал духом, вот-вот сломаюсь. Говорю: «Ладно, вы получите показания, только не сразу, дайте мне три дня сроку, чтобы морально подготовиться, привыкнуть к этой необходимости».— «Давно бы так! — сказали.— Гуляй три дня!» За эти три дня Андрей разделался с делами в Ленинграде, простился с женой и дочкой, сел на свою починенную машину и укатил куда глаза глядят. Нехорошо, конечно, подвел товарищей, которые так на него надеялись. Нашли его только через полгода в отдаленном колхозе Киргизии, привезли во Фрунзе, там допросили, но к тому времени следствие по моему делу было уже закончено, и он никого не интересовал.

Таких поисков было много. Но поскольку они в большинстве оказались безрезультатными, в следственном деле бумаг о них нет. Для дела же были отобраны шесть человек, чьи показания были предъявлены мне в конце дознания, при переходе к следствию. Вскоре половину из них отбраковал сам следователь. Осталось трое: Соболев, Метелин, Дьячков.

Из этих троих на первом же заседании первого судебного процесса двое, Соболев и Метелин, отреклись от своих показаний, данных на предварительном следствии, и рассказали, как из них эти показания выжимались. А третий, Дьячков, от показаний не отрекался, но о приемах следствия на суде бесхитростно рассказал. Нет, ни одного из троих не били, применяли только угрозы, изнурение и шантаж (все три метода запрещены). И, конечно, экспертизу. Для этих оказалось достаточно. Скажете, жидковато нынешнее поколение? Так ведь только трое.

Метелина уверили, что я уже признался в нашем с ним мужеложстве, что если он станет отказываться, то будет привлечен к ответственности за отказ от показаний (том 1, лист 84), а кроме того, тогда его беременной жене будет сообщено, что он педераст, что его использовали как пассивного партнера, сообщат и на работу. «Следователям я говорил правду, мне не поверили... Я надеялся на суд, думал, что всю правду скажу в суде. О том, что Самойлов совершил со мной акт мужеложства, я не говорил, я только подписал показания» (л. 87).

«В протоколе записывали со слов следователя»,— это уже Соболев. Что же сломило этого на дознании? Ему предъявили разоблачение: дознание выяснило, что в Институт он поступил по липовой медицинской справке (он болел астмой, а с помощью липовой справки это было скрыто). Узнали, что справку добыла близкая ему девушка, медсестра (глубоко же копало дознание!). Стали угрожать: девушку посадим в КПЗ к проституткам. Этого Соболев не выдержал, сдался. Победу решили закрепить, для чего от Соболева потребовали дополнительную клятву: «Все, что записано с моих слов на пяти листах, прошу считать истинной правдой с моей стороны и от своих показаний я не откажусь» (т. 1, л. 11). Это что, у всех свидетелей положено брать такие клятвы или только от тех, чьи показания... как бы сказать помягче — не очень добровольны? А стиль? Что-то он напоминает, не правда ли? «Искренняя правда *с моей стороны*»... По поводу этой клятвы в приговоре будет сказано: «Суд считает, что данное заявление со стороны Соболева является искренним и соответствует действительности».

А 5 марта с Соболева взяли расписку: «Меня никто из работников милиции не запугивал» (л. 40). Хотя вопрос о запугивании еще никто и не поднимал. Какая предусмотрительность!

Действительно, все лопнуло. Монологи на суде:

«Когда я узнал, что девушке, которая сделала мне справку, ничего не будет за это, я сразу же и решил говорить правду» (л. 354). «Я устал бояться, поэтому рассказал всю правду» (л. 390). Еще одна деталь: «Следователь Воронкин мне заявил, что если я не дам нужных показаний, то я пойду под статью как соучастник»... (л. 55). И что же? После этого сообщения суду угроза все-таки была приведена в исполнение: Соболев, так и не сошедший с позиций «запирательства», на втором процессе фигурировал уже как подсудимый — вместе со мной.

А теперь послушаем, что рассказал Дьячков — тот единственный, который на суде не отошел от обвинительных показаний. Положение его действительно было трудным. У него, члена партии, комсорга курса, нашли порнографический журнал (как позже выяснилось, порнографией на факультете приторговывал другой партийно-комсомольский активист, ленинский стипендиат). Это и было использовано как повод для шантажа. Все же надо и Дьячкову отдать должное: он держался в течение четырех продолжительных допросов. Адвокат сказал: «Наверное, мне бы хватило трех таких допросов». Лишь после медицинской экспертизы Дьячков был сломлен. Экспертиза, кстати, показала, что он (подобно Метелину) невинен, как младенец. Но этого ему не сказали. А сказали противоположное. Эксперт (явно превысив свои полномочия) и до и после процедуры уговаривал его сознаться. После столь *интенсивной* экспертизы, Дьячков на пятом допросе все подписал. «Мне... дали понять, чтобы я был благоразумным, иначе мой студенческий билет может не понадобиться» (л. 73). И в другом месте: «Я понял, что надо быть благоразумным...» (л. 424). Вдумались? Не честным, не искренним, а *благоразумным*. Став благоразумным, Дьячков начал послушно и старательно угождать следствию. Тем ценнее *его* рассказы, как с ним работали следователи:

«Меня допрашивали в милиции шесть часов». «Давления на меня на этом допросе не было. Просто шестичасовой допрос изнурил меня»... Допрашивать более четырех часов подряд запрещается законом. «Дознаватели говорили, что у них есть данные (никаких данных не было.— *Л. С.*), и я должен сознаться в том, что имел с Самойловым акты мужеложства» (л. 423, 425, 426). О другом допросе: «На допросе присутствовали Воронкин, Сергей Александрович и еще трое мужчин в гражданской одежде. Допрашивали меня все пятеро» (л. 427). И такой допрос (впятером) незаконен, допрашивать должен один следователь, посторонних в кабинете быть не должно. «Когда я отрицал акт мужеложства, следователь на протяжении получаса задавал мне один и тот же вопрос» (л. 73). Такое вот почти гипнотическое внушение: «Было?» — «Не было».— «Было?» — «Не было». Похоже на игру. Но учтите усталость от нескольких часов допроса, добавьте естественный в такой обстановке мандраж и попробуйте растянуть эту игру на полчаса. Как скоро вам станет невмоготу...

На обоих судебных процессах — в 1981-м и в 1982 годах — суд не поверил живому устному рассказу свидетелей, а поверил их письменным показания, полученным в тиши следственных кабинетов. Незаконное давление следствия на свидетелей? Помилуйте, в советском суде, который назван «народным», такого не бывает, такое попросту невозможно!

Один эпизод мог бы навести судей на совсем другое представление уже тогда. Почти на их глазах давление продолжилось в здании суда. Эпизод произошел при открытии первого судебного процесса. С первого же перерыва адвокат возвратился, очень возбужденный, какой-то встрепанный, и потребовал рассмотреть ЧП: только что в вестибюле суда некто неизвестный требовал от свидетелей, чтобы те не вздумали отказываться от обвинительных показаний, данных на предварительном следствии. А между тем свидетели еще не выступали на суде, еще никто и не ожидал, что они откажутся! Ан нет, оказывается, кто-то уже подозревал, беспокоился. Даже в суд прибежал и...

Эту сцену нажима случайно увидели двое моих знакомых, томившихся снаружи, за дверями суда (процесс был закрытым), и, возмутившись, вызвали адвоката. «Типичная провокация родственников!» — тотчас откликнулся прокурор. К слову сказать, родственников у меня в Ленинграде не было. Судья, простодушно положившись на осведомленность прокурора, отреагировал так: «Ну, что ж, значит, родственники сядут на скамью подсудимых рядом с Самойловым!» И затребовал в зал заседаний поодиночке обоих случайных наблюдателей и самих свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства происшедшего. Результат сильно его обескуражил. Все пятеро поодиночке описали неизвестного и одинаково пересказали содержание беседы.

Неизвестного свидетели называли по имени и отчеству: Сергей Александрович. «Позвольте,— изумился адвокат.— Откуда вам известно его имя и отчество?» Свидетели отвечали, что ведь Сергей Александрович вел допросы вместе с очередным следователем. Адвокат был в полном недоумении: «Хотя у Самойлова сменилось пять дознавателей и следователей (видимо, туго справлялись с делом), среди них нет никого, кто бы носил такое имя и отчество!» Судья, который был уже не рад, что затеял это разбирательство, умиротворительно заметил: «Вероятно, это был какой-то помощник». Адвокат возразил: «Но ведь и помощник должен быть записан в протоколе!» Один из свидетелей: «Нет, это следователи ему помогали, а допросы вел как раз Сергей Александрович!» А прокурор сказал: «В прокуратуре вообще нет человека с таким именем и отчеством. Мифическая фигура...»

Я молчал. Я все понял. Ведь того улыбчивого молодого человека, который задолго до следствия и суда так интересовался моими сочинениями о рок-музыке и моей персоной вообще, звали Сергей Александрович Черногоров. Я упоминал его в очерке «Страх». Вот кто, значит, скрывался за стенкой при моем первом визите к следователю Стрельскому! А сменивший Стрельского следователь Боровой после суда и не скрывал своего сотрудничества с Черногоровым, посмеивался: «Слишком ретив оказался, вот и высветился. Нехорошо!»

На суде я не выдал своего знания: боялся, как бы хуже не стало. Но весь эпизод, занявший десятки страниц судебного протокола (т. 2, л. 20—22, 41, 57—58, 80—81 и др.), я, конечно, указывал в своих защитительных выступлениях, адвокат тоже. Тем не менее в обоих судебных приговорах эпизод обойден, о нем — полное молчание. Словно бы и не было его. Может, он мне тоже померещился?

...Когда через полтора года я вышел на свободу, мне рассказали, что тотчас после моего первого суда Черногоров, прикрепленный компетентными органами к Ленинградскому университету, был оттуда убран. Ну, свято место пусто не бывает...

4. Спектакль с участием... Моя первая встреча со следователем знаменовала переход от дознания к следствию. То, что людей таскали, унижали стыдными вопросами, убеждали сознаться в позорных деяниях, угрожали — это все была только прелюдия. Охота шла вокруг меня, кольцо загона сужалось, но я еще не был «поднят». С моего допроса началось форменное следствие, и уж оно-то пошло с чрезвычайной интенсивностью. Задействована была масса людей. У меня было впечатление, что все ленинградские правоохранительные органы занимаются только мною и моими связями, что брошены все другие дела...

На второй день после вечернего допроса я был вызван снова и домой уже не вернулся — был брошен в кутузку. Там ночевал на полу, подложив под себя пальто. Зачем меня арестовали? Чтобы я не сговорился со свидетелями? Так ведь уже больше месяца шла охота — свидетелей вызывали, расспрашивали обо мне, от меня это не было скрыто, они со мной общались. Если бы я хотел, уже бы успел подсказать все, что надо. Странно.

Посидел сутки — отпирают, выводят, усаживают в машину и везут ко мне же на квартиру. Оказывается, будет обыск. Очень странно. Обыск может дать что-нибудь, если он неожиданный, а тут — через месяц после начала «охоты»...

По документации видно, что постановление на обыск было выдано прокурором 4 марта. Казалось бы, ну и явитесь врасплох на следующий день. Но на следующий день, 5 марта, обыска не было, вместо обыска я и был взят под стражу. При этом ключи от квартиры были отобраны у меня под расписку — она есть в деле (т. 1, л. 52). В тот же день моего жильца Соболева выдворили из квартиры и тоже отняли у него ключи от нее, что зафиксировано в деле (т. 2, л. 51). То есть на сутки квартира поступила в полное распоряжение тех, кто меня арестовал. Спрашивается, у кого будет проводиться обыск — у меня или у моих непрошеных «съемщиков»?

Только назавтра, 6 марта, меня повезли из милиции на обыск моей квартиры. В маленькую однокомнатную квартирку ввалилась масса людей — Стрельский, Воронкин, трое молодых людей в гражданской одежде (фамилии их оказались неизвестны даже следователю), двое понятых и я. В квартире сразу стало тесно. Стрельский уселся в кресло и мрачно сидел, не вставая. Обыск проводили Воронкин и еще двое молодых людей одновременно (тогда я еще не знал, что это запрещается, что искать должен один, чтобы понятые и я могли следить за его руками). Вскоре Воронкин выхватил из шкафа пачку фотоснимков и торжественно продемонстрировал понятым: «Вот, полюбуйтесь, чем занимается солидный ученый!» С ужасом я увидел, что это порнография, причем не иностранные журналы (хранение их было бы неподсудно), а плохонькая, самодельная (изготовление — подсудное дело). Тут же второй искатель достает подобный фотоснимок с антресолей: «Э, да они тут по всей квартире!» Воронкин сует мне пачку фотографий в руки: «Ваши?»

Молнией сверкнула мысль: «Подложили! Как доказать?» Я сразу убрал руки за спину и резко сказал, что фотоснимки не мои, я никогда их не видел и к ним не прикасался. Моих отпечатков пальцев на них нет и не будет. Требую дактилоскопического анализа! Стрельский с непонятным мне выражением лица посмотрел на Воронкина (то ли с досадой, то ли с укором) и сел к столу писать протокол обыска. От следствия подписывал протокол не Воронкин, а Стрельский (нарушение: подписывать должен тот, кто производил обыск). Подписал и я (зря, нужно было тут же оговорить все нарушения, но я был слишком не компетентен и растерян; компенсировал это назавтра письменным заявлением). Мне разрешили поесть и увезли назад в кутузку. Вечером вернули ключи Соболеву (это отмечено в деле), а 8 марта меня выпустили на свободу и тоже возвратили ключи (опять же в деле документировано — л. 57 — 58). Вторично, и на сей раз уже надолго, меня арестовали потом, через несколько суток.

Итак, в первый раз меня посадили в кутузку, чтобы спокойно, без помех подложить порнографию: иначе вся операция абсолютно бессмысленна.

Весь обыск вместе с составлением протокола занял всего два часа (это указано в протоколе), хоть квартира битком набита вещами, книгами и рукописями: в подобных условиях настоящий обыск длился бы весь день, а то и всю ночь. Но мои сыщики хорошо знали, где искать желанные «улики».

В своих заявлениях я тогда же обратил внимание следователя и прокурора, а позже судьи, что при обыске у меня не были обнаружены записные книжки с адресами и телефонами. Зная в течение месяца о ежедневных допросах моих знакомых и о характере дознания, я все такие книжки спрятал, чтобы не втягивать в неприятности лишних людей. И судья правильно истолковал их отсутствие: я спрятал. «Но как же,— спрашивал я судью,— зачем же я оставил бы „вещественные улики“ — порнографию, если бы она у меня была, если бы это была моя порнография?! Для удовольствия следователей?»

«Действительно, странно!» — сказал судья и обратился к прокурору: «Товарищ прокурор, в деле есть заявление подсудимого с требованием проделать анализ отпечатков пальцев. Что показал этот анализ?» Прокурор потупился и сказал: «Дактилоскопический анализ забыли провести. Это, конечно, упущение, и виновным мы вынесем взыскание. А проводить теперь уже поздно: слишком захватаны пальцами, анализ бесполезен». (Прямую речь прокурора привожу по своим записям. В протоколе, т. 2, л. 136—137, она изложена сокращенно). «Не поздно, не поздно! — закричал я со своего места.— Дополнительные отпечатки ведь не уничтожат моих, если мои там есть!» Суд, однако, согласился с прокурором. Дактилоскопический анализ решено было не проводить, неприличные снимки уничтожить. Они были уничтожены 8 апреля 1982 года (есть акт). И концы в воду.

В деле есть решение: статью 228 (о порнографии) мне не вменять. Тем не менее снимки упоминаются в приговорах и мельком сообщается о моем заявлении, что они подброшены. Не приведены мои аргументы, так что у читателя приговоров должно создаться представление, что я голословно и злостно отверг очевидные факты, а гуманный суд милостиво снизошел к моим уверениям. Мол, ладно уж, пускай его...

По-моему, всякому, кто ознакомится с документацией, ясно: порнография была мне подложена перед обыском. Тут не может быть иного толкования. Но если бы я был действительно виновен, зачем было бы создавать искусственные улики? Из этого явствует: дознаватели знали, что я невиновен. Мне, как говорится, шили дело. Кто?

Из откровений одного работника милиции много лет спустя: «Вы-то заметили, на чем Вас тогда возили — туда, сюда, к вашей квартире, назад в отделение?» — «Ну, на черной „Волге“,— отвечаю,— по высшему разряду». — «А не задумались, с чего это вам такой почет? Откуда машина? Есть ли черные „Волги“ у отделения милиции или у районной прокуратуры?» И скорчил хитрую мину, означающую: «То-то и оно!»

Один лишь вопрос долго приводил меня в недоумение: к чему был весь этот неуклюжий спектакль, вся эта возня с арестом на время обыска, к чему было убирать меня из квартиры? Ведь снимки смело можно было подбросить во время обыска!

Недавно, ознакомившись с историей Азадовского, я понял, в чем дело. Азадовскому наркотики были подброшены во время обыска квартиры, но неловко — он схватил исполнителя этой акции за руку и призвал понятых. Вот, чтобы избежать подобного казуса, и было решено убрать меня перед обыском из квартиры. По-моему, все равно получился конфуз — даже более крупный: там можно было бы все свалить на чрезмерное усердие одного исполнителя, а тут ведь весь спектакль явно организован заранее. Все всё знали.

В спектакле мне предназначалась роль дурачка-простофили. Я нарушил сценарий, и в дураках оказались другие.

5. Фемида в повязке и без. Фемида изображается с повязкой на глазах — в знак ее беспристрастности. Нет, не была моя Фемида беспристрастной.

Приговоров было два. Первый, результат трехдневного судебного процесса, карал меня тремя годами заключения (и то был успех адвокатов: прокурор запрашивал шесть лет). Но этот приговор, несмотря на всю его пространность, вышестоящему суду (городскому) пришлось отменить. Уж очень нелепо этот документ был сработан. Выдвигалось обвинение в гомосексуальных сношениях со взрослыми людьми, для таких контактов требуется минимум двое обвиняемых, а судили меня одного. Были в первом приговоре и другие перлы судейской мудрости. Один из них достоин более подробного ознакомления. Он показывает, что порою Фемида снимала свою повязку и, вглядываясь в материалы следствия, видела даже то, чего в них нет.

При обыске у меня была обнаружена составленная мною полушутливая характеристика на Соболева. Появилась она так. Принес он однажды характеристику, выданную ему на работе, показал. Документик был идеально стандартным: обтекаемые, шаблонные фразы, подойдут любому. Я пожал плечами: «Типичная липа». Он спросил: «А вы могли бы написать, каков я на самом деле?» С улыбкой спросил, но и с опаской, скрывая самолюбие. Что ж, я взял лист бумаги и начертал (привожу с сокращением по тексту дела, т. 1, л. 188).

«Характеристика (настоящая, не липовая).

Соболев Сергей — толковый, дельный парнишка, с устойчивыми положительными идеалами и иммунитетом к асоциальным поветриям (не пьет, не курит, не водится со шпаной, серьезно и уважительно относится к девушкам). Он доброжелателен к людям, приветлив, вежлив и опрятен. Это человек безусловно и безукоризненно честный, с развитым пониманием долга. Очень скромный и сдержанный, с большим чувством собственного достоинства.

Внешне — не сказать, чтобы писаный красавец, но и не урод, скорее даже симпатичный и привлекательный, чем нева-

метный или неказистый. За внешностью своей ревностно следит и проводит довольно много времени перед зеркалом. Благодаря своему обаянию (в котором просвечиваются его внутренние духовные качества) обычно вызывает симпатии окружающих. Все стараются ему помочь.

Он и сам всегда проявляет готовность помочь другим — и много может, многое умеет. О таких говорят: золотые руки. Всякая рукодельная работа у него спорится.

Гораздо хуже обстоит дело с учебой. Он не имеет навыков систематических занятий — не может и не умеет заставить себя заниматься с книгой регулярно. Его благородные замыслы и далеко идущие планы слишком часто остаются нереализованными из-за того, что он неорганизован, несобран, живет сиюминутными настроениями. Неприятные обязанности честно готов выполнить, но — отложив их на короткое время, а потом еще ненамного, увязает в других заботах и оставляет все, как есть...»

И так далее — еще примерно столько же текста, но уже сплошь критического. Я хотел, чтобы эта «характеристика» помогла Сергею справиться с недостатками, но не привела в отчаяние. А в общем характеристика была верной.

Суд увидел в ней только одно — доказательство гомосексуальности Соболева. Прошу оценить силу доказательства — вот цитата из приговора (первого):

«При обыске обнаружена подготовленная Самойловым характеристика Соболева, в которой указаны черты, несомненно присущие лицам, совершающим пассивные акты мужеложства, в частности: „За внешностью своей ревностно следит и проводит много времени перед зеркалом"» (у меня сказано: «довольно много», но это мелкая неточность.— *Л. С.*).

Вот ведь какие тонкие психологи заседали в судейских креслах! Не читали они, видно, исследований психологов-профессионалов о том, что молодые мужчины вообще чаще глядятся в зеркало, чем женщины. По моим налюдениям, усевшись на скамьи в вагоне метро, девушки украдкой поглядывают на юношей, а юноши упорно и внимательно вглядываются в свое отражение в противоположных окнах вагона. Так сказать, проверяют свою вооруженность. Сколько пассивных педерастов обнаружили бы мои судьи в каждом вагоне! А Соболев тогда ухаживал за девушкой, жениться подумывал — конечно, заботился о внешности!

После отмены этого приговора дело было направлено на доследование, которое новых данных не принесло. Обвинению пришлось обходиться теми же данными, слегка перегруппировав их.

Снова применялась психология, на сей раз прокурором Метелиным, однофамильцем свидетеля Метелина. Показания свидетелей, данные ими на предварительном следствии, были правдивы,— убежденно заявил прокурор.— Ведь свидетели приводят *такие* подробности, говорят о *таких* ощущениях в пассивном партнерстве, которые может знать только тот, кто сам их испытал. Я возмутился: «Но по этой логике те ли это ощущения или не те, тоже может знать только тот, кто сам их испытал. Откуда же их знает прокурор Метелин?» Даже мой конвойный чуть не упал от хохота. Прокурор густо покраснел и смешался. Мне его жалко стало. «Только то мешает спутать вас со свидетелем Метелиным, что не свидетели эти подробности приводили, а следователи о них спрашивали!» Нет, прокурор был не очень опасен, зато судья...

Когда на втором процессе раздался возглас: «Встать, суд идет!» и в зал вошел новый состав суда, я обомлел: впереди, тяжко ступая, шел Московский Академик. Когда он мощной глыбой уселся на центральное кресло с высокой спинкой, я осознал, что ошибся: не он. Значительно моложе, но как похож! И явно умнее прежнего судьи. Второй приговор вдвое длиннее и гораздо искуснее сформулирован. Ляпов в нем уже нет или почти нет.

Теперь Фемида надела на глаза положенную ей повязку и уже не усматривала в материалах следствия того, что в них отсутствует. Но зато теперь она оказывалась слепой всякий раз, как ей это было выгодно, и не видела того, что должна была увидеть. Она не видела вопиющие противоречия, сбивчивость и путаницу в показаниях свидетелей. Взять, например, показания Дьячкова. Напоминаю, у него был найден порнографический журнал, и под давлением этого обстоятельства он делал мелкие шажки навстречу желанию следователей получить обвинение против меня. Вот как менялись показания Дьчкова от допроса к допросу (т. 1, л. 13, 17, 20, 29, 130):

11 февраля — Дьчков заявил, что он приносил мне свой порнографический журнал.

12 февраля — картина изменилась: это я, мол, показывал ему научную монографию, на которой были изображены «скелеты мужчин и женщин, и некоторые скелеты женщин лежат в позе изнасилования» (л. 17).

18 февраля — дальнейшее изменение: я якобы показывал ему фотографии мужчин и женщин, совершающих половые акты в разных позах.

5 марта — изменение небольшое: показаны были-де порнографические открытки с силуэтами мужчин и женщин.

21 апреля — на месте открыток с силуэтами выступает порнографический журнал, теперь уже мой, и я показывал его Дьячкову, чтобы побудить его к половым контактам.

Изменения продолжались и дальше, опустим их и приведем только диалог на втором судебном процессе. Диалог был неправильно записан в протокол (л. 456) — смягчено: я опротестовал эту запись, и суд 16 марта 1982 г. специальным определением (пункт 11) *признал правильность моих претензий и мое исправление!* Излагаю по исправленному тексту.

Дьячков: *Порнографических журналов и вообще порнографии я у Самойлова никогда не видел. Я видел только фотоснимки макетов, схем разных поз. А в моих показаниях почему-то записано «порнография».*

Прокурор: *Это фантазия следователей?*

Дьячков: *Да, это фантазия следователей.*

Прокурор: *Но вы подписали?*

Дьячков: *Да, я подписывал, но я этого не говорил. Это следователи вписывали от себя.*

Еще раз напоминаю, это говорит тот свидетель, который всячески старался угодить следствию и поддержать обвинение, чтобы оно не пало на него самого.

А теперь обратимся к его же, Дьячкова, показаниям о самих сношениях (я избавлю читателя от подробностей).

Когда Дьячков был окончательно сломлен, стал «благоразумным» и решился дать нужные показания, он дал их по отдельности эксперту Беридзе и следователю Боровому. Вот что записано в протоколе. Эксперту он сообщил, что имел со мною интимный контакт осенью 1977 года, а *год спустя* два контакта, один *через несколько дней* после другого (л. 127). Следователю же он сообщил, что после контакта 1977 года через неделю (а не через год) состоялись два контакта, *оба в один день* (л. 130). Так различаются его показания, данные разным лицам *в один и тот же день* — 21 апреля 1981 года! Не ясно ли, что он просто сочинял на ходу, желая угодить следователям? Позже его показания стабилизировались.

Точно так же разноречивы и показания Соболева. Но особенно показателен один факт. В самом начале дознания Стрельскому пришло в голову логичное рассуждение: если в белые ночи я имел многократные интимные контакты с Соболевым, он должен был видеть меня обнаженным. И следователь задал Соболеву вопрос: «Есть ли на теле Самойлова какие-либо приметы: родинки, бородавки, шрамы?» Ответ был: «Таких примет нет» (т. 1, л. 66). Родинок нет? Между тем незадолго до того я был вынужден проходить онкологическое обследование из-за крупной родинки на талии (есть записи в истории болезни). Шрамов нет? Между тем незадолго до того я перенес полостную операцию — она упоминается даже в приговоре (в числе обстоятельств, побуждающих смягчить наказание). В начале дознания Соболев, запуганный и сломленный, еще был послушен следователям и старался угодить им. Если бы знал об этих приметах, сказал бы. Значит, *не знал, не видел.*

Ах, если бы Соболев указал требуемые приметы! С каким торжеством его ответ был бы использован в приговорах — как важнейшее доказательство! Но замысел не удался. Ответ Соболева работает не против меня, а на меня. Элементарная честность требует, чтобы этот ответ был приведен в приговорах и как-то объяснен. Но он вообще не упомянут. Фемида делает вид, что просто не замечает его. Тут у нее на глазах прочная повязка...

Возможно, при чтении этих страниц читателем овладеет чувство, что все это или нечто подобное он уже читал. Очередная публикация о нарушениях норм в нашей системе правосудия. Место ли ей в журнале? Статьи о таких вещах обычно помещают в газеты... Подождите. Здесь казус сложнее. И дело не только в том, что здесь не репортаж корреспондента, что автор пишет о себе. Газеты, как правило, освещают случаи, в которых все ясно, но ведь таких мало. Чаще дела более запутаны и не все можно истолковать однозначно. Глядя на казус изнутри, видя изнанку ситуации, можно понять гораздо больше...

6. Игра в поддавки. Прочтя это повествование и обратившись после него к двум томам моего дела — протоколам допросов, судебных заседаний и тому подобное,— любой непредвзятый читатель запросто путем несложных сопоставлений выявит накладки, противоречия, нарушения законности да и просто приметы сфабрикованности всего дела. Но, чтобы их увидеть, все-таки нужно предварительно ознакомиться с моим повествованием, с моим анализом (если, конечно, не иметь профессиональной подготовки). Потому что издали, с первого взгляда — все гладко: признания, рассказы свидетелей, заключения эксперта...

Более того, в двух томах дела найдутся и такие материалы, которые можно (не будь других материалов) обратить против меня — которые подтвердят обвинения. Как не найтись! Ведь формирование бумаг пребывало целиком в руках создателей версии обвинения, которые к тому же гораздо опытнее нас в делах такого рода, им нередко удавалось обвести нас вокруг пальца. Но главное, мы допускали непростительные ошибки. Каждой из этих ошибок по отдельности могло бы не быть (задним числом легко быть умными), но какие-то ошибки этого же типа были неизбежны. Тип ошибок был запрограммирован ситуацией, соотношением сил, всей

наладкой машины следствия и суда. За ней стоит гигантская практика неправосудных расправ — так сказать, дурная наследственность. Вот этот опыт подсказал машине, что грубые истязания, пытки — это крайнее средство. Можно обойтись без них, если есть достаточно времени на более тонкую обработку. Общая ее стратегия проста, как мышеловка. Нужно лишь породить у подследственных чувство обреченности, предрешенности, безнадеги, а затем поманить их маленькой-маленькой надеждой и подтолкнуть к компромиссу. Такая стратегия срабатывает, даже если подследственный о ней догадывается.

Правда, такая стратегия не ведет к созданию законных оснований для привлечения к суду. Но ведь и задачи ее куда проще — добыть признание. Действовал старый девиз инквизиции: признание — царица доказательств.

Почему свидетели наговаривали позорные вещи на меня, да и не только на меня, но и на себя же? Потому что положение, в которое их поставили угрозами и шантажом,— представлялось им совершенно безвыходным, а собственная роль — ничтожной: Самойлов и без меня пропал, мои показания ничего не изменят. Но если я пойду в чем-то навстречу следствию, мне простят собственный грешок. Правда, признание влечет за собой новую ответственность, но от нее свидетелей избавили очень простым способом: им посоветовали добавить показания о *зависимости* от меня — тогда они не соучастники, а жертвы. Все трое послушно лепетали на допросах о зависимости. С такой формулировкой обвинение и было представлено суду. Поэтому прокурор и требовал для меня 6-летнего заключения. А сами свидетели — все трое — на суде отреклись от показаний о зависимости, объявили, что это чушь, навязанная им следователями... В этой части суд с ними *согласился*! Если уж быть последовательным, то надо бы признать отказ и от остальной части показаний, а на это суд не пошел. Но сейчас не о том.

Сплоховал поначалу Соболев, тянулся к компромиссу Метелин, мелкими шажками бежал за приманкой Дьячков. Но как я могу осуждать свидетелей, молодых тогда людей, за отсутствие выдержки, за оговоры и самооговоры, когда я и сам, с моим-то возрастом и жизненным опытом, на одном из допросов не выдержал и, представьте, согласился признать часть вины, возвести на себя напраслину. Не знаю, как согласились признать за собой групповые убийства обвиняемые по белорусским делам и другим подобным (возможно, их пытали, а может, и нет). Я не был подвергнут грубым истязаниям, меня не били, даже не угрожали этим. И вот же... Правда, позже очнулся и заявил, что это был самооговор, да ведь слово вылетело и легло на бумагу. А бумагу из дела не выкинешь.

Сейчас, когда все белые нитки, которыми шито дело, ярко выступают на поверхности, когда видно, что доказательств вины недостаточно, а те, что предъявлены,— дутые, диву даешься, как можно было пойти на такой шаг — подыграть тем, кто фабриковал дело? Но это сейчас. А тогда ситуация была иной. Право, размышления, которые привели меня тогда к сдаче (пусть на время), могут быть любопытны для тех, кто когда-нибудь окажется в аналогичной ситуации. Да и для судей — чтобы решали без опрометчивости.

Во-первых, мне были тогда предъявлены *шесть* свидетельских показаний против меня. Тогда я еще не мог знать, что три из них будут вскоре забракованы следствием как неподтвержденные, а еще от двух авторы отрекутся в первый же день первого суда. Как я докажу, что это показания ложные, думал я, когда их шесть! Я должен был считаться с реальностью, и мне казалось неизбежным признать хоть что-то — пойти на компромисс, чтобы суд мог мне верить.

Во-вторых, всем ходом событий прежних лет я был подготовлен к мысли о расправе, а характер следствия (приемы обработки свидетелей, очевидная для меня фальсификация обыска) убеждал меня в том, что расправа пришла. Я не сомневался, что со мной решено разделаться, что такое указание получено сверху и что все правоохранительные органы действуют заодно. Я знал, что моя судьба предрешена, что вина за мною будет признана непременно. Оправданий у нас ведь вообще почти не происходило: раз уж машина завертелась, то она должна выдать продукцию — обвинительный приговор. А тут еще одиозность моей фигуры для властей! Надежда брезжила мне только в одном: в заметных стараниях следователей соблюсти приличную форму, создать впечатление объективности, тщательности и даже благосклонности. Если и дальше пойдет так, то суд, знающий, что меня надо осудить, все же должен будет считаться с формальными данными — и тогда частичное признание вины уменьшило бы наказание, проще говоря, сократило бы срок заключения.

Далее я размышлял так. Когда бы мне ни удалось выйти на волю, все возможности заниматься наукой на родине будут для меня навсегда закрыты. Значит, придется уезжать из страны. Решиться на отъезд (навсегда!) трудно, но другого выхода нет, а за границей у меня есть имя, там я сумею продолжить свое дело, это главное. Значит, сейчас моя задача — любыми средствами добиваться, чтобы срок заключения был поменьше. Идти для этого на все. Если надо признать за собой гомосексуальность — признать. Ведь на Западе это не считается преступлением.

Добавилось и еще одно соображение. Как я уже говорил, в это время готовилась к изданию в Оксфорде моя монография. Перевод был катастрофически плох. Мне предстояла сверка с оригиналом и правка — я успел выправить только введение. Так хотелось, чтобы этот капитальный труд, итоговый и, возможно, последний в моей жизни, был доведен до кондиции. Любой ценой. Ради этого и готов был пойти почти на все. А дознаватель, будто зная это, все время внушал мне, что вот-вот меня опять посадят («изберут меру пресечения»), поскольку я сопротивляюсь и мешаю следствию. Вот если я сделаю признание, тогда другое дело — смогу ходить на свободе до суда, а уж затем — как суд определит. Еще несколько месяцев на свободе — стóящая цель!

День 11 марта 1981 года не располагал к трезвым размышлениям. Перед тем, взятый прямо с моих лекций в Университете, я провел трое суток в КПЗ, ночуя на полу в сообществе пьяниц и хулиганов, а днем оттуда меня возили на мошеннический обыск. Сразу по освобождении из камеры меня вызвал декан и вынудил подать заявление об уходе. А назавтра и наступил тот день. В 11 утра начался очередной допрос, затем были проведены две очные ставки. Далее меня повлекли на судебно-медицинскую экспертизу и усадили в гинекологическое кресло. Господи, а меня-то, старика, зачем? Я же обвинялся в активной роли, а какие-то следы можно выявить только у пассивного партнера. Значит, просто хотели еще раз унизить, повергнуть в шок, лишить воли и сопротивления. Затем в коридоре меня неофициально уговаривал признаться дознаватель Воронкин, а с 17 часов начался новый допрос, в присутствии прокурора. Таким образом, интенсивная психологическая обработка продолжалась уже седьмой час. Вот тут мои смятенные мысли и сошлись в решение — взять на себя часть вины.

Я лихорадочно соображал, какую именно выбрать часть из предъявленного мне обвинения. И выбрал: интимный контакт с геологом за 13 лет до того (неподсуден за давностью) и две попытки такого контакта с Соболевым (попытки, полагал я, неподсудны — ошибался!). По ликованию, написанному на лицах работников следствия, я заподозрил, что делаю что-то не то. Но было уже поздно.

Сразу же после того, как я это признание зафиксировал на бумаге, Воронкин испарился, а следователь Стрельский очень твердо, острыми пальцами, взял меня за локоть — так, будто я вырываюсь,— и повел к милиционерам. Оттуда путь известный — КПЗ, тюрьма. Никакой свободы до суда, никакой работы над книгой, прощай все надежды! Вот и урок компромисса. Позже я обращался к властям с просьбой разрешить мне работу над книгой в тюрьме (я провел в ней более года). Не разрешили. Книга вышла в исковерканном виде, потом пришлось к каждому тому прилагать брошюрку с исправлениями. Глаза бы мои этого не видели! На русском языке и так, как надлежит, она не опубликована до сих пор.

Я решил отмести всю маяту с правоохранительными органами и обратиться непосредственно к первоистоку, как я полагал, решений, бедственных для меня. Из тюрьмы написал письмо в высокие партийные инстанции (хоть я и беспартийный). Долго ждал ответа. Он пришел из прокуратуры — о том, что письмо мое в партийные инстанции не пропущено.

Вот тогда я понял, что возни со следствием не избежать, и осознал, насколько мой самооговор затруднит защиту. Написал заявление прокурору об отказе от самооговора. Но, хоть на всех допросах до того дня и на всех допросах после него, как и на обоих судебных процессах — трехдневном и пятидневном,— я отстаивал свою невиновность, в обоих приговорах это мое единственное и дезавуированное признание заняло огромное место, прокручиваясь неоднократно.

Да, я не раз потом горько сожалел о своем самооговоре — а ведь в тот момент он казался мне таким разумным! Но вот другой случай того же плана оставляет меня и сейчас в сомнениях: не поступил ли я тогда рационально. Дело было уже на суде. Перед тем я держал совет с адвокатом. Все шло к тому, что вина за мной будет признана судом — это была реальность, из которой мы исходили. Но *какая* вина и *какое* мне определят наказание?

Вопрос стоял не только о зависимости или независимости от меня других участников процесса, но и о моих побудительных мотивах к якобы совершенным (а для суда, безусловно, совершенным) преступным деяниям. Речь шла о том, склонен ли я к гомосексуализму по своей природе или нет. Если да, то в основе моих действий — болезненность, с которой я не совладал. Если же такой патологической склонности нет, то в основе — пресыщенность, разврат. В уголовном кодексе не обозначены эти различия, но реально судьи учитывают их. Установить различие мог бы эксперт-психолог, разумеется, только с моих слов. Значит, дело сводилось к тому, признаю ли я за собой такие склонности (а это делает более вероятной мою вину) или не признаю (а это отяготит наказание).

Поскольку опровергнуть виновность представлялось тогда нереальной задачей, а сама по себе склонность неподсудна (судят за деяния, а не за склонность),

я решил при беседе с психологом порыться в своей психике, в воспоминаниях отрочества, юности и отыскать в себе нужные признаки для констатации тяги к людям своего пола. Эксперт передал свое заключение суду и в приговор вошла формулировка «*страдает* половым извращением в форме гомосексуализма». Это способствовало уменьшению наказания: отвали те 6 лет, которые запрашивал прокурор; на первом процессе я получил 3 года, а после отмены этого приговора, на втором процессе — полтора (из которых около года было уже отсижено). Тогда это был неслыханно низкий срок по такому обвинению. Те, кого я видел со 121 ст. в лагере, сидели 6, 7, 8 лет (если вменялась вторая часть статьи) или 5 лет (по первой части).

Зато когда стало реальным опровергнуть обвинение в целом, моя беседа с экспертом-психологом выглядела уже ошибочной, как и соответствующая позиция на суде. Впрочем, была ли она такой уж ошибочной? Конечно, читатель может прочесть мне назидание: во всех случаях, при всех обстоятельствах надо придерживаться истины, говорить только правду, в конечном счете это оправдается. Верно. В конечном счете. Но этот конечный счет может наступить слишком поздно для меня. Если бы следствие и суд добивались правды и только правды, тогда само собой. Но коль скоро у меня было совсем другое представление об их целях, и оно, увы, было реалистичным, говорить такому следствию и такому суду правду было бы, может быть, чересчур наивно. Кто же мог ожидать нынешнюю перестройку, гласность да еще так скоро?

Нам навязывали правила игры. Я и сейчас не уверен, что стоило отказаться от игры вовсе. Ведь в этой игре противник принимал и на себя некоторые обязательства, и кое-что в ней все-таки можно было отыграть — хотя бы годы жизни на свободе. Если это не сопряжено с риском подвести других людей и с предательством по отношению к своему делу, то игра, быть может, стоила свеч.

С нашей стороны это была игра в поддавки, да. Но в этой игре я кое-что выиграл: через полгода после последнего суда я был уже на свободе. И на свободе, совсем в других условиях, начал борьбу за свою реабилитацию (которую и сейчас продолжаю). А ведь могло статься, что из лагеря я вышел бы с котомкой только недавно. И хорошо, если бы вышел. Лагерную судьбу осужденных по 121 статье я знал. Мне удалось получить другой статус, но он, как и всякий статус в лагере, был очень неустойчив. Провести под дамокловым мечом, каждый день готовым упасть, полгода или много лет — вот была альтернатива, которую мне надо было решать на суде. Я решил ее так, как решил. Возможно, кто-либо иной решил бы иначе. Такие вещи каждому решать для себя.

Перед вторым судом следователь Боровой, закончив со мной все дела, захлопнул папку и сказал: «А теперь, позвольте дать вам один совет. Признайте на суде все. Ручаюсь, приговор будет: ограничиться отсиженным. Выйдете на свободу прямо из зала суда. В противном случае приговор будет хоть и небольшим, но доснживать придется, и притом — в лагере!» Я сказал: «Что ж, пойду в лагерь. Но буду добиваться полного оправдания». Небольшой срок в лагере меня уже не пугал. К этому времени я проверил себя и поверил в себя.

«К чему? — сказал Боровой.— Вы никогда — понимаете? Ни-ког-да не вернете себе прежнего положения в обществе и науке». Да, вернулось не все. Но всего через три года на всесоюзной конференции в Академии наук зал стоя аплодировал моему докладу о моих новых исследованиях. Жаль, Борового там не было.

7. Презумпция невиновности и «порнография духа». Кое-кто из читателей отложит в этом месте мой текст и подумает: что-то уж многовато признаний — то в действиях, то в склонностях. А может быть, автор и впрямь — того? Дыма без огня не бывает.

Заниматься опровержениями не стану. По многим причинам.

Прежде всего, потому, что это невозможно в принципе. А Вы, читатель, чем Вы докажете, что Вы не такой? Своим браком, наличием детей, мужскими вкусами в одежде и занятиях? У многих осужденных по ст. 121 все это было. Ваше единственное прибежище — презумпция невиновности. Вы и не обязаны доказывать, что Вы не верблюд. И я не обязан. Это обвинители должны доказать обвинение, и если не сумеют, то человек невиновен.

Во-вторых, не в этом суть моего дела. Еще раз напоминаю: склонности неподсудны, судят за преступные деяния. Следствие и суд обязаны были доказать только одно — наличие подсудных деяний. То есть даже не просто гомосексуальных сношений, а сношений одного вида. То, *как* обвинение это доказывало, заставляет любого усомниться в наличии повода для обвинения вообще, заставляет искать другие причины всего дела — догадываться, что это была судебная расправа.

В-третьих, для меня неприемлемо вообще заниматься тем, чтобы отводить от себя лично подобные подозрения. Ведь самими усилиями, стараниями очистить себя от таких подозрений я невольно как бы признаю, что отвергаемое — ужасный порок. Что самое главное — ничем не подтвердить подозрений, уйти в тень, замолчать. Это означало бы предать дело защиты тех, с кем я полтора года делил

мытарства и позор, тогда как многие из них повинны лишь в том, что физиологически, по природе своей, не могут жить так, как другие. А они — люди. По статистике от 2 до 5 процентов мужского населения *не могут* жить иначе. Это миллионы граждан. Надо подумать и об их чувствах и достоинстве. И, конечно, не травмировать подозрениями остальных.

Что же делают ревнители чистоты морали из правоохранительной системы? Нечто прямо противоположное — хватают женатых мужчин, отцов, просто нормальных молодых людей, старательно выискивают скабрезные эпизоды и, были таковые или не были, вытаскивают их на свет божий, предают людей публичному шельмованию. С печалью я наблюдал, как в беззаветной борьбе с этим пороком, производной от борьбы со мной, моралисты из правоохранительных органов готовы были растоптать не только мнимые гомосексуальные прегрешения случайно попавшихся по дороге людей, но их человеческое достоинство, гражданские права и психическое здоровье. Лес рубят — щепки летят.

Такую страстную тягу к поискам и обнажению чужих пороков в интимной жизни Андрей Вознесенский назвал «порнографией духа» и добавил, что она хуже «порнографии плоти».

Когда на собрании в зале
Неверного судят супруга,
Желая интимных деталей,
Ревет порнография духа.

Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся —
Взглянуть при общественном свете,
Когда я двоим это таинство...

Конечно, спать вместе не стоило б.
Но в скважине голый глаз
Значительно непристойнее
Того, что он видит у вас.

Даже если это глаз Фемиды.

Для Соболева последствия могли быть особенно тяжелыми. Когда я узнал, что он из свидетеля превратился в соучастника и подсудимого, что ему грозит арест уже до суда, я представил себе его в камере и пришел в ужас. Написал письмо прокурору. «Что значит для молодого привлекательного парня,— писал я,— попасть с таким клеймом в среду уголовников — неужто Вы не знаете? Его *заставят* предаваться мужеложству! Это было бы не так страшно, если бы он был в самом деле гомосексуалистом. Но он не таков, несмотря на все доводы обвинения...» Я клялся, что Соболев — не гомосексуалист, клялся всем, что есть для меня святого и дорогого. «Прошу Вас, пригласите его к себе, побеседуйте лично, без нажима и угроз, может быть, не о сути дела. Вглядитесь в его лицо, посмотрите в его честные глаза, и Вы убедитесь, что он не может быть преступником» (цитирую по сохранившемуся у меня черновику; чистовика не оказалось в деле — он, видимо, в *отдельном* делопроизводстве).

Адвокат, которого ознакомили с моим письмом, при встрече на судебном заседании, шипел: «Я же вас просил ничего не предпринимать без моего совета! Письмо только увеличит подозрение, что вы влюблены в этого парня!» Как будто надо быть влюбленным, чтобы спасать человека от гибели.

Не знаю, по моим ли призывам, но Соболева оставили на свободе. На суд он пришел сам.

На заключительное заседание я принес с собой из камеры пачку документов, приготовившись защищать себя и Соболева еще и в своем последнем слове. Увидев эту пачку, судья, насупившись, брякнул: «Вот сколько часов вы проговорите, столько лет мы вам и дадим». И тотчас секретарю: «Не записывайте, это шутка». Я все же проговорил часа два.

Затем предоставили последнее слово Соболеву. Повисла тяжелая тишина. Соболев застыл и онемел. Он слегка шевелил губами и широко раскрытыми глазами глядел на судей. Перед его взором явно проносились те сцены насилия в камере, которые я перед тем рисовал суду. Минута проходила за минутой. У судьи, видимо, появилась надежда, что вот сейчас Соболев в отчаянии отбросит свое запирательство и даст долгожданное признание. Но Соболев молчал. А закон запрещает задавать вопросы во время последнего слова подсудимого. «Так вы будете говорить?» — наконец, спросил судья. Соболев кивнул и продолжал молчать. Глаза его были наполнены слезами, которые время от времени скатывались вниз. По-моему, всем было очень тягостно. После второго напоминания судьи Соболев сумел сказать всего одну фразу: «Прошу не лишать меня свободы; я же погибну в тюрьме».

Он получил срок условно.

8. Плутни Фемиды. Ладно. Хватит дразнить читателя и вводить его во искушение, а то и впрямь бог весть что подумает. Хватит сомнений и колебаний. Если подсудимые и свидетели кое-где шли на компромисс с обвинением, так вы, поди, уж готовы всякую запись о признаниях принимать за чистую монету? Остерегитесь. Вернемся к документации дела. По ней видно, как Фемида плутовала. Даже по документам второго процесса, где судья был похож на академика.

На античных изображениях у богини юстиции в руках весы. Аргументы той и другой стороны должны быть скрупулезно взвешены. Ведь за ними — судьбы людей. Но то и дело приходилось ловить Фемиду, как продавщицу из торговой на-

латки: надавливала пальцем на одну чашу весов, и всегда на ту, где лежало обвинение.

Протокол второго процесса начинается изложением простой формальности — выбора формы заседания: открытым оно будет ли закрытым. Записано так:

Соболев: Я прошу *рассмотреть дело в закрытом заседании.*

Обсуждается заявленное ходатайство. Возражений нет (т. 2, л. 335).

Ну, что ж. Все, как положено. Да и понятное дело: предстоит разбирательство интимных сторон жизни, позорных деяний подсудимых. Конечно, они просят о закрытом заседании. Непонятно, правда, почему только один из них, но ведь и этого достаточно...

Но что это? Какая неожиданность! В замечаниях на протокол заседаний осужденный Самойлов отвергает этот текст и просит восстановить истинные слова, произнесенные на открытии суда. И еще бо́льшая неожиданность! На специальном заседании суда 16 марта 1982 года специальным определением замечание Самойлова (пункт 1) ПРИНИМАЕТСЯ. Оказывается, все хорошо запомнили, *как* на самом деле открывался суд, и это тем более нельзя было скрыть, что на открытие его была допущена публика — ее удалили только потом. Вот исправленный и заверенный судом текст:

«На вопрос суда. Самойлов: *Я предпочел бы открытое заседание, но против закрытого возражать не буду.*

Соболев: *Не возражаю против открытого заседания.*

Председатель суда: *Закрытого?*

Соболев: *Открытого.*

Прокурор: *Считаю необходимым не отступать от традиции проводить подобные процессы в закрытых заседаниях.*

Адвокаты: *Согласны с прокурором. Обсуждается ходатайство прокурора. Суд удовлетворяет заявленное ходатайство».*

Чувствуете разницу? Кто хотел открытого разбирательства, а кто — закрытого. Кто боялся гласности, а кто — нет. Мелочь, а показательно. Но главное — как тонко формировались протоколы, как целенаправленно.

В протоколе суда есть длинный пассаж, в котором я якобы говорил о своем былом восхищении качествами Дьячкова, о своем увлечении им. Ничего подобного я не произносил и произносить (да еще на суде!) не мог. Непонятно, откуда этот пассаж затесался в мои речи — его там не было. Суд *согласился* и с этим моим исправлением: да, припомнили, не было там этого пассажа (пункт 5).

Как же составлялся протокол?!

Обнаруживаю новые «описки». Метелин на суде сказал: «Какого числа я был в гостях у Самойлова, я не помню». Но так как суд был убежден, что в гостях у меня нечто произошло, то на л. 403 фраза свидетеля записана так: «Какого числа произошел акт мужеложства с Самойловым, я не помню». Я привел и другие подобные искажения в высказываниях Метелина и напомнил суду, что за все время судебных заседаний Метелин *ни разу не утверждал*, что у нас с ним был акт мужеложства. А в записях он это мимоходом роняет неоднократно! Надо же и это исправить!

Ну, уж тут дудки. Слишком многого захотел — это ведь уже не мелочь. Что тогда останется от всего эпизода с Метелиным? А ведь исправить следовало — и заседатели должны были помнить его позицию, и адвокатов можно было спросить, и самого Метелина. Суд отказался внести требуемые исправления, отверг это мое замечание.

Ничего. Из дальнейших документов все равно явствует, что Метелин ничего не утверждал. Ибо из его показаний, даже со всеми искажениями, суд смог сделать в приговоре вывод лишь о том, что акт мужеложства «по логике вещей» (!) состоялся. То есть фактов нет, но можно предполагать. Вероятно. Наверное. Почти наверняка. И в конце приговора — что факт такой был.

Палец на чаше весов. Как раз в том случае, когда закон требует положить дополнительную гирю на противоположную чашу. Пленум Верховного суда СССР (Постановление от 30 июня 1969 года «О судебном приговоре») разъясняет, что неопределенные данные должны толковаться в пользу обвиняемого. А не в пользу обвинения. Что «обвинительный приговор не может быть основан на предположениях». А тут «по логике вещей»!

Правда, и суд может опереться на оговорку в законе: в случае колебаний, сомнений, неопределенности, говорится в постановлении от 30 июня 1969 года Верховного суда СССР, судья вправе вообще отбросить в сторону факты и решать вопрос «по своему глубокому внутреннему убеждению». «Глубокое внутреннее было, но не в пользу подсудимых.

А теперь перейдем к самой главной, пожалуй, слабости обвинения и к самой тонкой уловке суда. Как бы ни были получены признания, как бы ни были они хитро записаны — все может оказаться зря.

Согласно закону (ст. 77 УПК), приговор нельзя строить только на признании обвиняемого, ведь оно может оказаться выбитым или надуманным по тем или иным причинам (укрывательство подлинного преступника, самообман и тому подобное). Интересы правосудия требуют, чтобы признание непременно было подтверждено другими данными.

Показания (признания) Метелина были неопределенными, он то давал их, то от них отказывался. Показания (признания) Дьячкова были путаными, противоречивыми. Те и другие я всегда отвергал, никогда не признавал. Стало быть, оба эпизода без какой-то поддержки повисают в воздухе. Признание Соболева существовало, хоть и дезавуированное им. На бумаге существовало. И это было единственное признание, которое можно было сопоставить с моим признанием, правда, тоже дезавуированным. Но закавыка в том, что мое признание *не совпадало* с признанием Соболева.

Когда два показания об одном и том же сходятся по сути, но в деталях разные — что делать? Скажем, один из допрашиваемых покажет, что *убито два человека*, а другой — *что десять, и не убиты, а ранены.* Может ли следователь усреднить такие показания? Никак нет! Следствие это понимало. Совершенно необходимо было обеспечить какие-то подтверждения признаний. Вот этому и служила судебно-медицинская экспертиза. Но главным объектом был, конечно, не я, да и не прочие мои знакомые, которых просеивали сквозь экспертизу, как сквозь сито — авось что-нибудь выявится! Главная надежда возлагалась на отцеженную допросами троицу.

Но вот незадача! Один за другим проходили экспертизу те, у кого были добыты признания,— и пшик! Метелин — ответ отрицательный, Дьячков — ответ отрицательный. И только Соболев — ответ положительный...

Когда мне был объявлен последний результат, я похолодел. Этого же не могло быть. Соболева я знал хорошо, он именно таков, каким я очертил его в моей характеристике, не лучше, но и не хуже. Откуда же взялась эта напасть? Потрясение не лишило меня работоспособности и трезвости. Я переписал себе все результаты экспертизы — этих троих и всех остальных. В камере еще и еще раз вглядывался в строки, разрушавшие мою надежду и мою веру. И внезапно просиял: ах ты, черт! Медицинские описания всех троих были практически одинаковы и только диагноз — разный! Я выпросил у надзирателей большие листы бумаги, начертил сравнительные таблицы, получилось очень наглядно: вот — одинаковые признаки, а вот — разные диагнозы.

Кроме того, я подглядел через глазок, что надзиратели, молодые ребята, часто сидят за учебниками, зубрят — явно заочники или вечерники. Подозвав, предложил им помощь по иностранным языкам. Помощь была с радостью принята. Я стал делать за них контрольные работы. Взамен я получил в камеру уголовный кодекс и справочники по экспертизе. Убедился, что как раз основных признаков, которые бы подтвердили педерастию, у Соболева нет!

Этот вопрос рассматривался на второй день первого суда. Должно же так случиться, что судья забыл объявить заседание закрытым (не думаю, что это было сделано намеренно, чтобы меня побольше опозорить; просто забыл). Зал был буквально набит публикой. Я развесил свои таблицы у скамьи подсудимых, как лектор за кафедрой, и в течение часа показывал и объяснял, что у меня получилось. Только когда публика, поняв суть дела, стала бурно выражать свое возмущение, судья вспомнил, что процесс закрытый, и публику удалили. Но скандал уже принял публичный характер, и надо было принимать меры.

Припертый к стенке эксперт Беридзе признал, что ошибся. Он предложил переписать свое заключение, но судья сказал, что это невозможно. И тогда новое заключение эксперта о Соболеве было изложено в виде ответа на запрос адвокатов. В этой бумаге (л. 421) признавалось, что те особенности, которые оказались у Соболева, не ведут непременно к выводу о педерастии, а могли образоваться от обычных кишечных заболеваний (а Соболев ими болел).

Итак, последняя поддержка обвинения отпала. Как же поступил суд? Суд в приговоре (и первом, и втором) вынужден был признать, что у двоих «выраженные признаки» педерастии «не выявлены», а у третьего результат неопределенный. Значит, обвинение не подтверждается? Конечно. Но в приговоре сказано не это, а нечто иное. Формулировка звучит так: обвиняемые не признают за собой вину, но экспертиза... «не исключает» ее. Позвольте, но ведь вопрос о том, исключается ли вина, и не стоял! Такая постановка вопроса была бы юридически неграмотной: экспертиза *в принципе* не в состоянии исключить возможности того, что здоровый человек когда-то был пассивным партнером,— ведь следов может и не остаться. Экспертиза вправе лишь *подтвердить* факт (и то обычно с большей или меньшей вероятностью) или *не подтвердить.* Требовалось именно подтверждение, а его в распоряжении суда не оказалось. Замена желанного «подтверждает» тощим «не исключает» — это, конечно, просто очередная уловка Фемиды.

Довершила победную реляцию обвинителей махонькая справочка из специального учреждения. И гласила сия справка, что я состою на картотечном учете как гомосексуалист не более не менее — с 1968 года. Эта справка приведена во втором приговоре как безусловное доказательство нашей с Соболевым вины: «Вина их полностью подтверждается справкой инспектора...» — справка стоит на первом месте в перечне подтверждения (далее

идут заключения экспертизы и показания свидетелей).

Конечно, бумажка в нашей стране — великая сила. Тем более справка. Что я, человек, против бумажки с печатью! Против справки из ... тсс! А только в приговоре ей не место.

Учет потенциальных преступников, вероятно, нужен. Никто не может позбранить любому сотруднику угрозыска или другого ведомства завести учет своих «клиентов» и даже подозреваемых. Но как только эта картотека приобретает официальный характер — выдает другим учреждениям справки и рекомендации, которые как-то ограничивают права и возможности граждан,— так сразу же встает вопрос о законности подобных действий, о нарушении гражданских прав. Как мне объяснили юристы, постановка на учет в такой картотеке производится автоматически лишь после судебных процессов. Если же процесса не было, а были лишь подозрения или неподсудные факты, то постановка на учет производится так: подозреваемого вызывают, знакомят с поступившими на него материалами (заявлениями, актами и тому подобным) и предупреждают под расписку о постановке на учет. В 1968 году никто никуда меня не вызывал, не беседовал, никаких моих подписей в картотеке быть не может.

Кто же моему дознавателю капитану милиции Воронкину выдал эту справку? На справке есть и подпись выдавшего ее сотрудника: хранитель картотеки... капитан милиции Воронкин. Сравнил я сроки: 1968 год... Наверное, приурочено к показаниям геолога. Там тоже с этого времени все начинается. Вот какая у нас бдительная милиция: только я начал свою преступную деятельность — и сразу на прикоде в картотеке. Только почему же в таком случае за меня не взялись в 1968 году, а ждали 13 лет? И тут уж взялись с таким азартом и остервенением.

А теперь оставим ернический тон. Поговорим серьезно. Допускаю даже, что справка в самом деле отражает наличие моей фамилии в картотеке, что там записаны какие-нибудь слухи или клеветнические доносы. Какова проверка этих сведений?

Подобная справка вообще не может служить каким-либо доказательством и не должна упоминаться ни в каком приговоре. Ведь в ней речь могла бы идти лишь о подозрении, ибо вину-то именно суд и должен установить. Справка же абсолютно голословна, никаких указаний на конкретные факты (хотя бы на какие-нибудь донесения или слухи) не содержит. Нетрудно догадаться: если бы в картотеке было *хоть что-нибудь существенное*, оно бы поступило в дело — ведь суду так нужны были дополнительные доказательства! Их так не хватало!

Что же это получается? Вдумайтесь: глухая ссылка на тайное досье приводится в приговоре, да еще как безусловное доказательство! По закону (статья 240 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР) разбирательство в суде должно быть непосредственным и устным. Пленум Верховного суда СССР пояснил: «В основу приговора не могут быть положены материалы предварительного следствия, не рассмотренные в судебном заседании с соблюдением устности, гласности и непосредственности». Что же можно рассмотреть «устно, гласно и непосредственно» на справке? Подпись Воронкина, печать. Все.

В каких еще тайных картотеках заведены на меня досье? С каких времен? Сколько их? Что в них записано? А главное — насколько эти сведения достоверны? Поневоле поеживаешься, думая об этом.

9. Убежавший приговор. Еще одно загадочное событие в истории моего дела — судьба приговора, вынесенного первым судом. Вообще по нашему закону приговор народного (районного) суда не сразу вступает в силу. Он, хоть и вынесен, но как бы не существует: осужденный получает семь дней для обжалования приговора, и если он или его адвокат действительно подали жалобу, то пауза затягивается — вступление приговора в силу будет отложено до той поры, пока суд более высокой инстанции (в моем случае — городской) не рассмотрит жалобу, а это может наступить и через месяц или больше. И все это время никаких действий, указанных в приговоре, проводить нельзя. Все ждут, что скажет вышестоящий суд. Вот когда он утвердит приговор, тогда и начнется осуществление кары.

Загадка заключается в том, что уже через несколько дней после окончания процесса в районном суде приговор оказался в Ленинградском университете и в Москве в Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Из ВАК стали требовать от Университета немедленного, срочного, спешного рассмотрения вопроса о том, можно ли оставлять такому преступнику научную степень и ученое звание. Подразумевалось, что нельзя.

Как приговор ускользнул из суда? Кому его отдал судья? Кто его выхватил у судьи и поспешно отнес в Университет? Кто отправил в Москву? Кто это все проделал с *еще неутвержденным* приговором? Сейчас это невозможно установить, все отпираются. И понятно: все, кто в этом участвовал, нарушили закон. Вот и не найти концов. Приговор сам убежал из суда.

Бегая, он превратился в призрак, потому что настоящий приговор тем временем поступил, как и полагалось, в Городской суд и 11 августа 1981 года вместо утверждения был... отменен. Исчез. Умер. Его не стало. А его призрак продолжал между тем двигаться своим путем.

На факультете, получив его, собрали ученый совет и приняли решение ходатайствовать о лишении меня ученого звания. Ходатайство направили в Большой ученый совет (совет всего Университета). Этот совет собрался 28 сентября 1981 года и на основании приговора суда (несуществующего приговора!) лишил меня ученого звания; преступник не может его носить. Это решение и отправили в Москву, в ВАК, 22 марта 1982 года.

Так обстояло дело с ученым званием. Иначе, но похоже — с научной степенью. Диссертацию я защищал не в Университете, а в Ленинградском отделении Академического института. Следовательно, ученую степень получил там. Понятно, и лишать меня степени должен был этот институт. ВАК туда и обратилась. Но Ленинградское отделение Института проводить эту операцию отказалось. Однако незадолго до этого в Положение об ученых степенях и званиях была внесена поправка, разрешающая и другим учреждениям лишать степени, если даже присваивали не они. Воспользовавшись этим нововведением, передали и этот вопрос в Университет — в другой его совет, специализированный. Из-за этой затяжки тот заседал уже после вынесения второго, январского приговора, а именно — 7 мая 1982 года, а 21 мая и это решение было направлено в Москву, в ВАК.

И снова были нарушены административно-правовые нормы. По Положению (§ 105) документы о лишении степени, звания должны быть направлены в ВАК в 10-дневный срок с момента решения ученого совета. Достаточно сверить даты, чтобы увидеть, что документы были направлены не в 10-дневный срок, а через 14 дней после решения (о лишении степени) и через полгода (о лишении звания). Следовательно, в Москву были отправлены документы, уже утратившие силу!

Тем не менее ВАК собралась на их обсуждение и 27 октября 1982 года коллегия ВАК утвердила ходатайства о лишении степени и звания. И сделала новое нарушение норм. По Положению я имел право претендовать на то, чтобы дело рассматривалось в моем присутствии — это общий демократический принцип разбирательства личных дел, связанного с тяжелыми последствиями для человека. Принцип этот соблюдается даже в суде, по отношению к преступникам. А ведь осенью 1982 года я был уже на свободе, уже не преступник (понесенное наказание ведь искупает вину, если вина была). В конце сентября 1982 года я направил в ВАК заявление о том, что оспариваю ходатайство и прошу меня вызвать на заседание, где будет решаться мое дело.

Что ж, ВАК выполнила мою просьбу и закон, но очень своеобразно: 26 октября почтой отправила мне в Ленинград извещение о том, что мое заявление будет рассмотрено. Но не сообщила, когда состоится заседание. Впрочем, если бы и сообщила, я бы не успел приехать, чтобы защитить свои интересы: заседание состоялось 27 октября, то есть назавтра. Более тонкое издевательство трудно придумать. Мы ведь не в Англии — почта из Москвы в Ленинград идет несколько дней.

С тех пор я систематически отправляю в ВАК заявления, в которых требую отменить решение ввиду того, что оно было принято с нарушением законности и ряда административных норм. Сначала из ВАК прибыл ответ, что для восстановления моих степени и звания требуются ходатайства ученых советов, которые меня этих титулов лишили. Я возразил, что в этом был бы резон, если бы я добивался *восстановления* степени и звания, которых был лишен справедливо и по всем правилам. Тогда я был бы обязан доказывать, что я заслуживаю прощения. Но я-то требую совсем другого — *отмены* неправильно, незаконно принятого решения ВАК. Все же я приложил позже к своему заявлению ходатайство коллектива своей кафедры, завов трех смежных кафедр, всех докторов наук Ленинградского отделения соответствующего Института АН СССР, бывших в эти дни в городе (14 докторов), ряда видных ученых других академических институтов. Аналогичное ходатайство написал и новый директор Института, сменивший Московского Академика — тоже академик.

Тогда ВАК направила мое заявление и все приложенные документы в Ленинградский университет для принятия решения. Университет создал Комиссию. Ректор, рассмотрев ее отчет и рассудив, что инициатива лишения степени и звания исходила от ВАК, да и вообще вопрос принадлежит к компетенции ВАК, отправил бумаги назад в ВАК, присовокупив, что «Ленинградский университет с должным пониманием воспримет любое решение ВАК по делу Самойлова». ВАК рассердилась и снова направила дело на рассмотрение в Университет. Университет создал новую комиссию для проверки фактов и... снова вернул дело в ВАК без рассмотрения на ученом совете. Обе команды продемонстрировали высокую степень футбольной подготовки.

А теперь поговорим о сути вопроса. Допустим, что я действительно виновен в том, в чем меня обвиняли. Но ведь моя научная квалификация от этого не могла пострадать, как не пострадали музыкальность Чайковского или литературное дарование Оскара Уайлда (прошу прощения за нескромное сравнение). Затем, позволительно спросить, почему это быть

доктором или кандидатом после такого приговора нельзя, а сохранить высшее образование можно? Уж тогда отняли бы у меня не только дипломы о степени и звании, но и университетский диплом. Он у меня почетный, с отличием — конечно, отнять! Да заодно и аттестат зрелости. Очень эффектное наказание — объявить меня малограмотным! Брата тоже лишали степени и звания, потом вернули. И профессора Леваду лишали, когда он чем-то не угодил идеологическому начальству. Вернули. С Сахарова снимали звезды Героя. Не помню, вернули или нет. Но ведь он и без звезд оставался несопоставимо выше тех, кто звездами был усыпан от паха до бровей.

Давно пора нашим властям понять, что у личностей существуют *неотчуждаемые* ценности — те качества, врожденные и приобретенные, которые отнять нельзя. Нельзя отнять имя, фамилию, предков, место рождения, национальность, возраст. Нельзя отнимать заслуги и достижения. Конечно, можно поставить вопрос о лишении соответствующих званий или дипломов, *если они были выданы ошибочно*. Например, обнаружились незамеченные ранее дефекты в диссертации или подлог. Но если такого нет, а лишь последующие деяния человека чем-то не оправдали ожиданий, то с этим надо примириться. За последующие проступки можно покарать, но это не отменяет того, что было достигнуто раньше. Чьи-либо биографии так же невозможно переиграть наново, как историю.

Но наши недавние властители вознеслись до уровня богов и считали, что им подвластно все — будущее и прошлое. Они давали городам новые (часто просто свои собственные) имена и переписывали историю, палачей объявляли героями, а благодетелей человечества — врагами народа и так далее. В таких условиях звания и степени все больше становились не марками истинной квалификации ученого, а всего лишь знаками благоволения к нему начальства. Такие знаки, конечно, можно как дать, так и отнять — своя рука владыка. Но если мы вступаем в новую эпоху, если вещам возвращаются прежние имена, людям достоинство, а действиям — смысл, то я вправе ожидать возвращения степени и звания, которые характеризуют мои способности и которые были мною за-ра-бо-та-ны. Между прочим, совсем не теми методами, которыми свою степень зарабатывал Хватенко, «герой» моего очерка «Страх» (а ведь на его титул ВАК не покушалась).

И все время ваковские чиновники и университетское начальство мне твердили: «Ну, что вы возмущаетесь? Ну, нарушены какие-то там формальности, что ж теперь все переделывать заново, чтобы было правильно? Ведь по сути, по существу все правильно и сейчас — приговор же пусть и другой, все-таки есть. Вот если его отменят, тогда — сразу же...»

А я глубоко убежден, что если бы все формальности были соблюдены — все те, которых требуют закон и административные нормы,— я не был бы лишен степени и звания. Если бы *с соблюдением всех формальностей* вопрос сейчас прошел все инстанции, решение, лишавшее меня заработанных дипломов, отпало бы. Не говоря уж о том, что решение это было неверным и по существу.

А что касается отмены приговора... Ох!

10. Можете жаловаться, можете жаловаться. Очень меня вдохновила отмена первого приговора. Обжаловал и второй — тоже в городской суд, но на сей раз безрезультатно. Дальше из лагеря посылать жалобы уже не стал — из тактических соображений. Мне тогда осталось досиживать только пять месяцев, и было ясно: в случае *успеха* моей жалобы и *отмены* приговора снова отправят на доследование — застряну в тюрьме на куда более долгий срок. Возобновил свои хлопоты уже на свободе.

Я и не представлял себе, какой долгий путь меня ожидал — и ожидает. Есть два основных русла обжалования приговора: прокуратура и суд. По каждой линии инстанций много: после районных и городских следуют республиканские и союзные, а в каждой есть по нескольку ступеней: коллегии, президиумы, председатели. На каждой ступени жалоба задерживается надолго: для рассмотрения, изучения, расследования — это понятно. Но с каждой ступени она направляется не дальше наверх, а вниз: в тот же городской суд или в ту же прокуратуру, на которые человек жаловался. И уж оттуда, по рассмотрении, ответ направляется жалобщику. Так что жалоб я выслал много по разным адресам, а ответ всегда получал из одного и того же суда и одной прокуратуры.

А содержание ответа? Тут искусство отписок доведено до высокой степени совершенства. Нигде — как в суде. Вам отвечают — вежливо, аккуратно и лукаво. У вас полное впечатление, что отвечает кто-то абсолютно глухой и слепой. Но он слеп и глух только к вашим аргументам, а вовсе не к голосу ведомственных амбиций, «высших государственных интересов».

Вы много трудились над своей жалобой, тщательно отобрали факты, изложили аргументы и долго-долго с нетерпением ждете ответа: ну, теперь уж поймут, откроют глаза, разберутся. Наконец, прибывает конверт с серым штампом. Оттуда выпадает листок, на нем опять те же блеклые машинописные фразы. Ни ваши факты, ни ваши аргументы даже не упоминаются — будто их и не было. Или их не читали. Кратко повторены те же факты и те же аргументы, которые были в приговоре. С вами не спорят, вас не опровергают. Ответ сугубо монологичен — как продолжение их собственного обвинительного монолога. Монолога системы.

Во всех жалобах я обращал внимание проверочных инстанций на письмо заявителя, на обстановку обыска, на фигуру загадочного руководителя допросов, на противоречия в показаниях, на неподтверждающую вины экспертизу, на справку без фактов в приговоре и так далее. Эти аргументы разрушают приговор! Во всех ответах они не упоминаются. Ни в одном. Такие ответы можно печатать, не заглядывая в мою жалобу. «Все собранные доказательства оценены судом объективно, полно и правильно... Суд тщательно и всесторонне исследовал доказательства, дал им правильную оценку... Оснований для их переоценки не имеется... Оснований для отмены не имеется...»

Посмеиваются, небось: а он все пишет, пишет.

Вот лежит передо мною мое дело — а они его листали? Какими глазами вчитывались они (если вчитывались) в эти протоколы, заявления, справки? Надеюсь, читатель, вникнувший в это повествование, взглянет на них иными глазами — более зоркими, умными и человечными. Увидит за ними не то, что протоколы изображают, а то, что на самом деле происходило.

11. Синдром Жеглова. Все изложенное выглядит неправдоподобным, несмотря на возможность удостовериться во всех фактах, во всех приведенных ссылках и цитатах, только фамилии участников дела (с обеих сторон — чтобы было справедливо) заменены.

Неужели среди всех причастных к этому делу работников правоохранительной системы не было честных людей? Несомненно, были. Даже скорее всего — большинство. Многим было, вероятно, неприятно заниматься «подправками» истины. Но все эти люди замечали, что в деле есть тайные пружины, и всемерно способствовали его гладкому прохождению, потому что думали, что «так надо». Кому надо? Государству, естественно. Высшие Государственные Интересы, в деталях недоступные знанию простого низового сотрудника, диктуют, чтобы я оказался в тюрьме.

Ох уж, эта готовность вытягиваться во фрунт! Этот священный трепет во всех жилах при одном лишь упоминании о Высших Государственных Интересах и о том, что тут дело по́литическое (с ударением на «о»)! Эта убежденность, что по таким делам простое распоряжение, телефонный совет, да что совет — намек сверху выше закона, глубже совести — и избавляет от любой ответственности! Дознаватель Воронкин понимал, что «там» считают меня вредным для государства и готов был разбиться в лепешку, чтобы снабдить следствие доказательствами моей вины — неважно действительными или сфабрикованными: ведь цель-то государственная! Следователь Стрельский что-то понимал, о чем-то догадывался, сокрушался о своем участии, любопытствовал даже, кому я «перебежал дорогу», но тут же гнал от себя эти ненужные сантименты и делал то, что «надо». Прокурор в упор не замечал свидетельств о появлении на допросах и в здании суда лишней фигуры...

На втором судебном процессе выяснилось, что в деле отсутствует целый ряд документов оправдательного значения, которые должны были в нем содержаться. Куда же они подевались? Оказывается, прокуратура выделила их «в отдельное производство» — для чего? Чтобы начать отдельный судебный процесс — оправдательный? Да нет же. Просто чтобы убрать их из моего дела. Цель была слишком явной. По требованию адвоката суду пришлось прервать заседание, меня отвели в клетку (точно такую, как в зверинце), судьи коротали время в зале, пока курьер ходил в прокуратуру за пропавшими документами.

Но и судьи не были вполне беспристрастны: за их «внутренним убеждением» слишком часто скрывалось предубеждение — иначе как бы попали в доказательства вины голословная справка инспектора и отрицательные результаты экспертизы? Неопределенные данные не толковались бы против подсудимого, а приговор не строился бы на одних признаниях «соучастников», противоречивых, путаных и добытых негодными средствами. Судьи, заседатели пребывали в том же невидимом поле, которое ориентировало всех.

Проверочные инстанции штамповали ответы, повторяющие приговор и обходящие суть моих жалоб,— действовало все то же невидимое поле.

У нас слишком долго культивировалось презрение к правовым нормам, ко всем этим ненужным формальностям, к букве закона — лишь бы дух его был соблюден. Невдомек было, что если закон хорошо продуман и юридически правильно составлен, то дух закона выражен только в его букве, а помимо буквы, вне буквального соблюдения,— это уже дух чего-то другого, а не закона. Не законность тут, а может быть, обыденное неправовое понимание справедливости, правды, а может быть — беззаконие, произвол. Правовой нигилизм давно охватил у нас все общество, проникнув и в правоохранительные органы.

Образ, очень типичный для нашей правоохранительной практики,— начальник

угрозыска Жеглов из телесериала «Место встречи изменить нельзя». Он лихо подбрасывает улику (украденный кошелек) вору по кличке Кирпич, руководствуясь девизом: «Вор должен сидеть». Девиз праведный, но нельзя подбрасывать улики, исходя из своего убеждения, что перед тобой — вор. Ибо твое чутье — не гарантия от ошибок. Подбросив с самыми лучшими намерениями искусственные улики, девять раз ты ускоришь отправку преступника в тюрьму, а на десятый подведешь под расстрел невиновного. Это помнит молодой сотрудник угрозыска Шарапов, и в фильме он должен выступать носителем истинной морали. Но Жеглов произносит свое кредо с такой непобедимой убежденностью, а играет его такой великолепный, неотразимый, обаятельный Высоцкий, что Жеглов становится настоящим героем фильма, а его кредо звучит очень привлекательно.

Главное же, что в жизни синдром Жеглова характеризует многих следователей, убежденных, что их стремление обезвредить преступника, их святая злоба позволяют им не обращать внимания на педантизм закона. Что они, слуги закона, могут позволить себе быть с законом запанибрата. Подразумевается, что отступления от юридических норм — мелочь, ею можно пренебречь, важна суть дела.

Охваченные праведным гневом жегловы-следователи и жегловы-судьи видят врага, заведомого преступника в том, кого им определит начальство, власть. Даст установку, укажет, попросту — науськает. И тогда людей начинают судить не за действительные преступления, а потому, что «так надо». Даниэля и Синявского — по сути, за литературные произведения, которые тогда не укладывались в нормы социалистического реализма. Бродского — за стихи, которые высокому начальству не нравились. Азадовского — по-видимому, за научную позицию, которая тогда считалась неверной, и вообще за самостоятельное мышление. Меня — за нечто подобное (я посвятил этому вопросу отдельный очерк). Других — возможно, за идейно-политическую оппозиционность? Правда, в уголовном кодексе нет подходящих статей, приходится «оформлять» обвинение иначе — за тунеядство, за наркоманию, за гомосексуализм. Не все ли равно, как оформить дело? Важно, что это нехорошие люди, и они должны сидеть.

Только зачем тогда вообще закон? Он для таких расправ не приспособлен. Давайте уж прямо сажать и ссылать тех, кого начальство (разного уровня) считает нужным, угодным посадить или сослать. Без суда и следствия. Как Сахарова — в Горький.

Но уж тогда надо распрощаться с замыслом жить в *правовом* государстве. Тогда надо примириться с жизнью в заведомо *правом* государстве — государстве, которое всегда и во всем право. И в борьбе с другими государствами, и в любых спорах и конфликтах со своими собственными гражданами — всегда право. Разумеется, в лице своих служителей. Если у нас есть идеально *правое* государство, тогда идеально *правового* государства и не требуется. А уж если мы планируем правовое государство, то один из его принципов гласит: в правовом государстве Фемида беспристрастна — права личности и воли государства взвешиваются на одних и тех же весах.

12. Семь гарантий. Надо вместе подумать над тем, как в будущем сделать судебные расправы невозможными. Как сделать, чтобы право не помогало осуществлять расправу, а препятствовало ей.

Во-первых, для этого необходимы, конечно, гарантии невмешательства в дела суда. Никакие строгие запреты, никакие статьи в кодексе против вмешательства не помеха влиянию властей (оно ведь очень разнообразно!). В конце 1988 года «Известия» сообщили о демонстративной отставке судьи Кудрина, возмущенного непререкаемыми распоряжениями партийных властей города, как наказывать демонстрантов. Необходима реальная независимость тех, кто выносит решение о виновности или невиновности. Независимость по всем линиям — административной и партийной подчиненности, финансовой или жилищной обеспеченности, подсудности и так далее. Независимости не только от местных властей (она в новом законе провозглашена), но и от властей центральных, от «телефонного права», от компетентных органов, от некомпетентной прессы, от легко возбудимой и пристрастной публики. Для этого мало убрать прямой телефон из совещательной комнаты, мало передать подбор судей из рук местных властей в руки вышестоящих, мало сделать должность судьи пожизненной. Надо вообще устранить судью-одиночку, судью-назначенца, судью-чиновника от вынесения вердикта.

Я не вижу иного способа сделать это кроме возвращения к суду присяжных. Судьи в таком суде только определяет вид наказания. Вердикт же (виновен — не виновен) выносят 10 или 12 присяжных, избираемых по жребию из большого числа выбранных заранее заседателей. На этих оказать любое давление кому бы то ни было крайне затруднительно — и потому, что их слишком много, и потому, что их участие в конкретном судебном процессе становится известно лишь накануне процесса, и в силу их частой сменяемости. Если бы меня судил суд присяжных, то признать меня виновным потому лишь, что это кому-то угодно,— да с какой такой стати?

Во-вторых, нужно, чтобы суд воспринимал осуждение и оправдание как равно возможные решения. И точно так, как после осуждения процесс не продолжается, он не должен продолжаться и после оправдания. У нас же, когда доказательств недостаточно для осуждения, оправдание не выносилось, а дело направлялось на доследование — искать новые доказательства. Что такое доследование? Это, в сущности, оправдание с оттяжкой, которое легко переходит в оправдание с перекрутом, оправдание с обходом, оправдание с преобразованием в обвинение. Оправдание, подменяемое задачей непременно пробиться к обвинению. К слову сказать, американская юстиция доследования вообще не знает. Нет там такого вида следствия — производимого после суда. Если бы и у нас его не было, я был бы оправдан после отмены первого приговора.

В-третьих, необходимо обеспечить обвиняемому лучшую возможность законной защиты от неправедных действий юридических служб. Типичный прием расправы с помощью права — внезапный арест и содержание до суда под стражей, «мера пресечения». Эта мера разрешается законом к применению в исключительных случаях, а применяется в половине всех дел. При расправе она используется как средство давления на психику — чтобы изолировать и парализовать человека, пресечь его контакты с теми, кто мог бы вступиться за его нарушенные права и быстро доказать его невиновность. Надо резко ограничить применение этой меры — только случаями необходимой, оправданной изоляции. И, конечно, надо, чтобы с момента вызова человека к дознавателю или следователю — в качестве ли свидетеля или подозреваемого — и уж тем более с момента его ареста человек мог пользоваться консультацией своего адвоката. А не так, как у нас,— с момента окончания следствия. Если бы эти условия существовали прежде, когда велось мое дело, не было бы целого ряда нарушений норм следствия, не было бы и всех самооговоров.

Это те общие условия, о необходимости которых я писал в статье «Правосудие и два креста» и которые с тех пор начали входить в нашу жизнь. Но для предотвращения расправ этого недостаточно.

В-четвертых, надо отнять у недобросовестных работников юридических служб возможность злоупотреблять тайными досье на граждан нашей страны. Бюрократия вообще любит окутывать свою деятельность тайной. Государство должно знать о тебе все, а ты о нем — как можно меньше. Этой цели служит, с одной стороны, всяческое засекречивание государственных дел («закрытые темы», цензура, служебная тайна, спецхраны и тому подобное), а с другой — всевозможные тайные досье, картотеки, анкеты и прочее. Наша печать много негодовала по тому поводу, что в США берут отпечатки пальцев у добропорядочных граждан про запас,— и, пожалуй, негодовала зря: отпечатки пальцев способствуют не только розыску преступников, но и опознанию жертв. Добропорядочных граждан это ничем не пятнает. А вот с другими досье дело обстоит иначе. Если сведения из таких картотек могут поступать в государственные или общественные организации и это может наносить гражданину ущерб, приводить к какому-либо ограничению его прав и возможностей, то постановка на учет в такой картотеке должна происходить по строгим правилам, должна регулироваться законом и быть известной самому гражданину. И без проверки, без конкретизации нельзя предоставлять таким сведениям выход в суд и влияние на приговор. Если бы это правило было соблюдено в моем казусе, заседатели могли бы и не поддаться обвинительным настроениям суда.

В-пятых, систему обжалования нельзя строить так, чтобы жалобы возвращались на рассмотрение и расследование в ту же прокуратуру и тот же суд, на которые ты жалуешься. Пока низовые звенья нашей судебно-правовой системы работают так плохо, что жалобы текут лавиной, верхние этажи этой системы должны обладать достаточным аппаратом для самостоятельной проверки жалоб. Дорого? Да! Но судьбы людей дороже. Есть и другой путь проверки жалоб — положиться на новые способности прессы, на ее активность и самостоятельность и на ее возросшую (с привлечением специалистов-адвокатов) компетентность. Чаще привлекать ее к расследованию ошибок и злоупотреблений следствия и суда — судебных расправ. Тогда меньше будет попыток отстоять ложно понимаемую честь мундира (амбиции своего ведомства) — отписаться от жалобщика, обойдя существо жалобы. Если бы эти нормы вошли в жизнь раньше, я бы уже давно добился пересмотра моего дела.

В-шестых, пора изменить порядок наказаний за обнаружение нарушения законности в системе следствия и суда. В кодексе есть и соответствующие статьи — за понуждение к даче ложных показаний, за применение физических мер и угроз при допросах, за фальсификацию материалов следствия и тому подобное. Суровые статьи. Однако нарушений, как мы теперь знаем, была бездна, а к суду привлечены считанные единицы. Практически работники органов, применявшие такие средства, были неуязвимы: ведь они юридически грамотны, работали без свидетелей, доказать их нарушения дьявольски трудно. Ребенку ясно, что пе-

ред обыском фотоснимки были мне подложены, но я же не поймал никого за руку. Даже если фальсификация обыска будет официально признана, кто ее проделал, можно только догадываться.

Далее, жалобы должны проходить массу инстанций. Жаловаться непосредственно наверх нельзя — сначала нужно пройти все нижестоящие инстанции. Это затягивается на многие годы. А уже через два года закон прощает суду судебные ошибки — взыскания за них вынести уже нельзя. Если человек реабилитирован, отсидев много лет, компенсация ему выплачивается не за весь отсиженный срок, а лишь за два месяца — в виде средней двухмесячной зарплаты на прежнем месте работы (для сравнения: даже в случае незаконного увольнения, то есть куда меньшего ущерба,— и то выплачивается зарплата за три месяца). Причем выплачивается за счет государства.

Совершенно необходимо, чтобы человек, незаконно репрессированный, утративший годы жизни, мог взыскать с виновных в своей беде *всю* зарплату за вынужденный многолетний «прогул» плюс все затраты на адвокатов, и за ущерб для здоровья, и за моральный ущерб (на Западе есть и такие иски). И взыскать со всех виновных — со следователей, судей, лжесвидетелей. Доля каждого окажется достаточно велика, чтобы он трижды, семижды задумался, прежде чем нарушить закон в угоду своему сегодняшнему повелителю. Часть расходов должно нести и государство: оно тоже виновато, раз не обеспечило отлаженную систему правосудия. Если бы такой порядок существовал в начале 80-х, мои дознаватели, следователи и судьи проверили бы наличные в своих карманах, прежде чем выполнять заказы «телефонного права».

В-седьмых, для предотвращения судебных расправ необходимо предусмотреть строжайшее соблюдение процессуальных норм. Мне скажут: но это же и так ясно, что же тут особо предусматривать? Ясно, да не совсем. Потому что в случае нарушения этих норм, даже если виновный работник юстиции понес взыскание, результат нарушения не аннулируется! Добытые не совсем законными средствами доказательства идут в дело! Тогда как, скажем, в США если доказательства добыты с малейшим отступлением от процессуальных норм (например, обыск без ордера или с неточно выписанным ордером), то дело прекращается. Надо и у нас ввести такие правила — это подорвет сам резон нарушений. Если бы такие правила существовали у нас, я был бы оправдан по многим основаниям.

Как и всякий детектив, фильм с Жегловым имел «хэппи энд»: невиновный врач был торжественно освобожден, перед ним извинились, настоящий убийца найден, справедливость восторжествовала. Реальные последствия деятельности жегловых, обаятельных и не очень, идейных и не совсем, обычно сложнее.

Отбыв срок заключения полностью, я устроиться на работу не смог: никуда не брали. Будучи официально зарегистрированным безработным, начал заниматься наукой на дому. Постепенно, сначала с опаской, потом с охотой, меня начали печатать — появились небольшие гонорары. Через пять лет мне исполнилось 60, стал я пенсию получать.

Из других участников дела Метелин работает в музее, Соболев и Дьячков — учителями в школе (это одна из причин, по которой я не называю их настоящие фамилии). С Дьячковым я не знаюсь, с Соболевым сохранил добрые отношения. Недавно он со своим отцом были у меня на дне рождения. О прошлом ни словом не вспоминали, говорили о будущем.

Один из моих близких друзей, социолог, не имевший квартиры в Ленинграде и часто живший у меня, попал тогда в список геолога, но чудом избежал следствия. Ныне он ленинградец, преподает в вузе. Сына назвал моим именем. Растет теперь в Ленинграде маленький Лев Нестеренко, лобастый и с серьезными глазами — как у младенца Христа на картинах эпохи Возрождения. Что надо сделать, чтобы он жил в новом мире, где бы ничто не угрожало его человеческому достоинству?

ПРИЛОЖЕНИЕ (ДВА ПОДЛИННЫХ ПИСЬМА):

апрель 1989

И. И. Стре...му

Уважаемый Иосиф Иванович,
если Вы читаете наш журнал, то, вероятно, узнали в публицисте, выступающем под псевдонимом Лев Самойлов, авторе очерков «Правосудие и два креста» и «Путешествие в перевернутый мир» («Нева», 1988, № 5; 1989, № 4), Вашего бывшего подследственного. Редакция подготовила его новый очерк, в котором идет речь о следствии и суде по тому же делу.

В 1981—1982 гг. у Л. Самойлова сменилось несколько дознавателей и следователей, но Вы вели следствие на основном этапе — от начала следствия (после дознания) и до передачи дела из следственного отдела РУВД в прокуратуру. Однако именно о Вас Л. Самойлов пишет, что некоторые подробности, излагаемые им, пусть и не самые существенные, он не может подтвердить документально. В связи с этим редакция с ведома и согласия автора предоставляет Вам возможность ознакомиться с его рукописью и просит, имея в виду интересы читателей, ответить на несколько вопросов:

1. Верно ли в повествовании Л. Самойлова изложены те события, в которых действовали Вы (Ваша фамилия в очерке слегка изменена), и вообще все то, что было в поле Вашего наблюдения?

2. Если все это изложено верно, то, по нашему впечатлению, с самого начала следствия у Вас были подозрения, что истинные причины дела заключались не в преступлении, вменявшемся Самойлову в вину, а в чем-то ином, что обвинительные показания сомнительны. С течением времени эти подозрения отпали или возросли?

3. Какую общую оценку этому делу Вы дали бы сейчас, с дистанции времени?

Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы сочли возможным ответить на эти вопросы.

Главный редактор журнала «Нева»
Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ,
народный депутат СССР

Главному редактору журнала «Нева»
Б. Н. Никольскому

Уважаемый Борис Николаевич!

Очерки Л. Самойлова я читал и, несмотря на псевдоним, разумеется, понял, от кого они исходят. Подобно доктору юридических наук И. С. Быховскому (рецензенту первого очерка) я тоже видел только внешнюю сторону обитания арестованных и осужденных. Л. Самойлов дал в своих очерках истинную картину этих учреждений. Пережитое им и изложенное в очерках не может оставить человека равнодушным, даже самого черствого и бездушного. Не скрою, я потрясен.

Что касается показанной мне рукописи, то я могу пояснить следующее.

Мое участие в деле Л. Самойлова охватывает первоначальную стадию расследования, т. е. от момента возбуждения дела на основании того материала, который поступил из органов дознания, до предъявленного обвинения. После избрания мерой пресечения содержание под стражей дело было направлено в районную прокуратуру, так как предполагались и более тяжелые статьи обвинения. С этого момента я к делу отношения не имел. Следователь прокуратуры тов. Г-ч, проверив материалы дела и проведя соответствующее расследование, не нашла фактических оснований для применения более тяжелых статей, и дело было возвращено в РУВД, но уже другому следователю, не мне. Вероятно, начальство учло мою неохоту вести это дело.

Теперь отвечаю на Ваши вопросы.

1. В изложении фактической стороны моих отношений с подследственным существенных неточностей указать не могу. Однако его истолкование фактов — иное дело. Он вправе высказывать свои предположения, но я не стану подтверждать, скажем, что подвергался непосредственному давлению какого-нибудь Черногорова (как его назвал Л. Самойлов). Впрочем, Вы ведь вряд ли ожидали, что я выступлю с подобными подтверждениями. Я могу лишь указать, что мое непосредственное начальство с необычным вниманием и усердием ежедневно контролировало ход дела и с энтузиазмом приветствовало любое продвижение к осуждению подследственного. Не со всеми решениями своего руководства я был согласен и особенно с арестом Л. Самойлова, так как по составу преступления, вменявшегося ему в вину, он особой социальной опасности не представлял.

2. По представленным следствию материалам (а они были представлены дознанием) у следствия были основания предполагать нарушение закона подследственным. Сомнения вызвали не столько эти материалы (они обычны), сколько обстоятельства их появления, общая ситуация вокруг подследственного. К тому же в ходе расследования цепь доказательств в ряде случаев рушилась. Это меня не оставляло равнодушным и в определенной мере создало почву для разногласий с непосредственным руководством. Словом, я был рад, что это дело от меня ушло. На большее я не мог решиться — это надо понять, учитывая тогдашнюю обстановку в стране и в правоохранительных органах.

3. Как теперь, с дистанции времени, я смотрю на это дело? С огорчением, что мне довелось в нем участвовать. Сейчас для меня ясно, что за этим делом стояли силы застоя и что Л. Самойлова преследовали не за какое-либо преступление, а за нечто иное. Вероятно, за неординарную позицию в науке, за публикацию своих научных трудов на Западе.

Я с интересом слежу за публикациями Л. Самойлова на юридические темы и считаю, что они на пользу совершенствованию нашей правоохранительной системы.

15.05.1989 *И. Стре...ий*

В заключение нам кажется уместной строфа из того же стихотворения Б. Слуцкого, из которого взят эпиграф к этому очерку:

Я судил людей и знаю точно,
что судить людей совсем несложно,—
только погодя бывает тошно,
если вспомнишь как-нибудь оплошно.

Татьяна
НИКОЛЬСКАЯ

ЧТО ТАКОЕ «ЧЕРНЫЕ СОТНИ»?

Что такое «черные сотни»? Вопрос почти риторический. В начале XX века так называли «Союз русского народа» и другие менее прославленные организации ультраправого толка. В наши дни так называют современных правых — прежде всего общество «Память». Те, правда, обижаются — в отличие от своих духовных отцов, которые называли себя «черносотенцами» подчас даже с гордостью.

«„Черная сотня" — это тысячи, миллионы, это — весь Православный русский народ, остающийся верным присяге неограниченному Самодержавному Царю,— писала в 1906 году правая газета «Московские ведомости» и продолжала далее: — Почетно ли это название „черная сотня"? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников, и к этой славной черной сотне присоединился и князь Пожарский с верными царю русскими боярами» [1].

Эту историческую справку следует принять к сведению. Действительно, определение «черная сотня» первоначально имело самый невинный смысл. В черные сотни входили посадские люди русского средневекового города. Разумеется, в начале XX века черных сотен в прежнем понимании давно не существовало. Но название возродилось и, приобретя иной смысл, прочно приклеилось к участникам погромов 1905—1906 гг., а позднее — и ко всем крайне правым.

Сознательная, а затем уж и бессознательная идеализация, даже обожествление «трудящихся масс» долгое время не позволили нам признаться, что нариду с «контрреволюцией сверху» существовала сильная «контрреволюция снизу»; что в 1905 году рост революционного движения сопровождался стремительным ростом контрдвижения, захлестнувшего страну волной погромов; что «Союз русского народа» состоял не исключительно из помещиков, капиталистов и платных агентов охранки; что на пути к республике и парламентской демократии встали не только Трепов и генерал Мин, но и тысячи безымянных и вполне «простых» людей. Какова неблагодарность потомков! — воскликнул бы доктор Дубровин.

Действительно, черным сотням не повезло ни в литературе, ни в историографии. У нас практически нет никаких работ о черносотенном движении, кроме статей и брошюр 1920-х гг., более близких к публицистике, чем к науке. Да, собственно, они и были публицистикой, причем, крайне злободневной. Ведь великодержавный шовинизм не только не почил в 1917 году, но и возродился в новой форме в середине 1920-х гг. Авторы тех брошюр надеялись, что придут более спокойные времена, и тогда будут написаны настоящие исследования. Но случилось так, что и теперь, через 60 лет, мы можем обратиться лишь к той публицистике 1920-х гг. В последующие годы тема черносотенного движения оказалась в опале. Официальная сталинская политика, особенно в 1940-е гг., была настолько близка к воплощению грез Шмакова и Дубровина, что любое исследование о черных сотнях выглядело бы неуместной параллелью.

И поныне наши знания о черносотенном движении находятся на уровне устных преданий. Имея громадную и трагическую историю межнациональных отношений, мы не приобрели никакого исторического опыта. Стоит ли после этого удивляться беспомощности «антипамятных» статей, в которых читатели призываются евреев, «братьев наших меньших, никогда не бить по голове», или тому, что оборона у нас создается через две недели после начала погрома (как это было, например, в Узбекистане).

Настоящее всегда связано с прошлым. И если мы сейчас заговорили о возрождении черных сотен, то надо для начала уточнить, что же это такое. Какую роль в русской истории сыграли черные сотни? Была ли их деятельность эпизодом революции 1905—1906 гг. или имела более значительные последствия? Постараемся разобраться.

Первые черносотенные организации появились в России в период назревания первой революции. Тогда они еще не назывались черносотенными, не были сколько-нибудь массовыми и существовали нелегально или полулегально. Свои листовки они, по примеру революционеров, размножали гектографическим способом. Сведения о нелегальных правых организациях встречаются в полицейских донесениях наряду со сведениями о революционных организациях и кружках. Правительство не было заинтересовано в инициативе снизу — даже в инициативе правого толка. Министр внутренних дел В. К. Плеве не одобрял ни зубатовского энтузиазма, ни тем более энтузиазма никому не подотчетных организаций. Их не преследовали, но и не культивировали. Звездный час черных сотен пришелся на 1905—1906 гг.— время массовых стихийных движений. Когда прежние методы — аресты, ссылки, тюрьмы, даже массовые

расстрелы — уже не приносили нужных результатов, власти разыграли последнюю карту: попытались задушить народное движение руками самого народа.

Следует немного рассказать о черносотенной идеологии, вернее, о том ее идеологическом «костяке», который в 1905 году объединил всех противников радикальных и либеральных перемен. В его основе лежит старый добрый треугольник графа Уварова: самодержавие—православие—народность, который модернизирован злободневными призывами объединяться всем русским патриотам и защищать веру, царя и отечество от внутреннего врага.

А врагов у России было три — инородец, интеллигент и инакомыслящий, причем воспринимались они неразрывно. В многонациональной империи невозможно бороться с революцией, не борясь с национально-освободительным движением. Невозможно подавлять другие народы, не подавляя свою собственную интеллигенцию с ее демократическими и интернациональными традициями. Невозможно ненавидеть интеллигенцию и при этом любить передовые идеи. Все взаимосвязано.

Образ злодея-инородца традиционно использовался в контрреволюционной пропаганде. Однако сам образ менялся. В течение почти всего XIX века злодеем-инородцем был поляк. Но на рубеже веков злодей изменил национальность и превратился в еврея. Правда, и позже поляки считались «неблагонадежной» нацией, но доминирующим направлением правой идеологии стал антисемитизм.

Отчего произошла такая метаморфоза? В XIX веке самым мощным национально-освободительным движением было польское. Его кульминацией стало восстание 1863 года, которое произвело громадное впечатление на всю Россию. Поэтому не случайно именно с польским народом начали связывать революционную борьбу. Кроме того, поляки были католиками, то есть иноверцами. Так сложился стереотип, который активно использовался в консервативной идеологии XIX века.

Иное дело — рубеж веков. Массовое национально-освободительное движение охватывает уже многие народы, и поляки теряют ореол исключительности. Развивается капитализм, в интересах которого — ликвидация национальной обособленности народов и национального неравенства. Между тем в России наиболее бесправной оказалась та нация, которая в числе первых вступила в стадию капитализма. Даже В. Розанов, которого никак нельзя обвинить в нежной любви к евреям, считал их положение в России совершенно невыносимым для любого другого народа: «При такой скованности, гнете, в черте оседлости,— всякий народ впал бы в уныние, тоску, безнадежность. У евреев — ни малейшего подобия. „Отлично себя чувствуют" в нищете, в побоях, среди насмешек. Да что такое? В чем секрет?» [2]

По-видимому, евреи все же чувствовали себя не совсем «отлично», поскольку борьба за эмансипацию, задержавшаяся в сравнении с Европой на 100 лет, все больше вовлекала еврейскую молодежь как в национально-освободительное, так и в революционное движение. Собственно, то и другое было взаимосвязано, ибо только после свержения самодержавия и завоевания демократических свобод евреи могли рассчитывать на равноправие с другими народами.

В начале XX века ультраправый лагерь считал евреев главными виновниками революционной смуты. Конечно, черносотенцы видели, что в революционном движении активно участвовал и русский народ. Но это также объяснялось влиянием евреев.

Действительно ли еврейский народ шел в авангарде революционной борьбы? От этого вопроса не надо отмахиваться. Повышенное внимание к роли инородцев в революции сегодня очень заметно, и это вполне естественная реакция на многолетнее замалчивание данной темы. На одном из митингов в Румянцевском саду летом 1988 года оратор из «Памяти» не без остроумия заметил, что газеты не правы, утверждая, будто «Память» считает евреев «контрреволюционной нацией», так как напротив — «Память» считает их нацией чересчур даже революционной. На такую реплику вряд ли следует спешить с горячими возражениями, что, дескать, еврейский народ неспособен на такую пакость, как борьба за свободу и демократию. Вопрос действительно сложный, и нет никакой крамолы в том, что он вызывает неоднозначные толкования.

Еще В. И. Ленин отмечал, что «процент евреев в демократических и пролетарских движениях эпохи везде выше процента евреев в населении вообще» и объяснял это «отзывчивостью на передовые движения эпохи».[3] В России к этому прибавлялось и бесправное положение, с которым евреи уже не желали мириться. А тот факт, что сам В. И. Ленин познакомился с марксистским учением в кружке студента М. Л. Мандельштама (будущего лидера кадетов), кое-кто вполне может трактовать как развращение евреями русской молодежи.[4] Однако надо учитывать, что приток евреев в передовые движения эпохи был напрямую связан с ассимиляционным процессом. Во времена «Народной воли» революционеров еврейской национальности было немного, и все они были людьми обрусевшими. Да и позднее в революционное движение чаще

и быстрее включались те еврейские юноши, которые тесно общались с русской молодежью (гимназисты, студенты, рабочие и так далее). По-видимому, «разврат» был вполне взаимным.

Добавим, что политическими обвинениями антисемитизм черносотенцев не исчерпывался. Для наиболее последовательных деятелей он перестал быть средством подавления революции и превращался в самоцель. Невозможно воспринимать всерьез, например, следующее сочинение, которое рекомендует своим читателям дубровинская газета «Русское знамя»: «Оригинальная и смелая по своему содержанию брошюра, трактующая о „дьявольском происхождении жидов“. По внешности сходство жида с дьяволом и отличие его от человека весьма характерно,— говорит брошюра. Прежде всего у жидов волос нет, но вместо них курчавая шерсть...» [5]

Книжка, напоминающая средневековый трактат «Молот ведьм», называется «Жиды», написана и издана в XX веке. Оригинальный и смелый автор неизвестен.

Ненависть к евреям (они же революционеры) была неразрывно связана с ненавистью к собственной русской интеллигенции. Называя себя «русскими патриотами», на каждом шагу крича о своей любви к России, черносотенцы не могли смириться с тем, что наиболее ярко и талантливо служат отечеству как раз не они. В свою очередь интеллигенция с ее «мягкотелой» гуманностью не могла принять черносотенной идеологии. Подобно тому, как Дон Кихот не понял бы общества, в котором существует демократическое право бить безоружных, так и русские интеллигенты считали, что безоружных можно только защищать и плюрализма здесь не существует. В литературе, например, даже среди третьесортных писателей считалось позорным открыто проповедовать черносотенные идеи. Противостояние с обеих сторон было непримиримым. Известен даже случай, когда в одной из провинциальных гимназий ученики судили товарищеским судом двух старшеклассников, принявших участие в погроме. Их приговорили уйти из гимназии. И оба мальчика подчинились суровому решению, потому что это было делом чести.

Разумеется, при всей своей обаятельности русская интеллигенция не была однородной массой. И все черносотенные вожди тоже, как известно, не на станках работали. Одному из таких интеллигентов посвящены стихи, помещенные в газете «Двуглавый орел»:

Для народа, родного народа
Посвятили вы честный свой труд,
Не прельстила вас левая мода —
Прогрессивный жидовский абсурд. [6]

Как видно, и тогда были люди, которые не могли поступаться принципами. Но при этом факт остается фактом: в «тюрьме народов» с ее погромами, политикой имперского шовинизма, травлей инородцев, не прижилось ни одного расистского или националистического учения. К черносотенцам не примкнул ни один из выдающихся деятелей русской культуры. Но зато и озлобление против них было сильное. «Христопродавцы», «шабес-гои», «продажные наймиты», «изменники России», «интеллигентская шушера», «ожидовленная сволочь», «жидовствующие», «жидолюбы» и даже «жидохвосты» — такими комплиментами награждались в правой печати Лев Толстой, Чехов, Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Милюков, Набоков, Маклаков, Зарудный...

В страшные дни погромов 1905—1906 гг. русская интеллигенция не избежала удара, обрушившегося на «врагов России». Интеллигентов избивали и убивали на улицах подчас наравне с евреями. Опознать «предателей» в те времена было нетрудно: молодежь носила ученическую форму, взрослые — форму ведомств.

Мы много сейчас говорим об истреблении интеллигенции Сталиным. Но сам стереотип интеллигента-«врага нации» не изобретен в 1920—1930-е гг., а позаимствован из лет более ранних и лишь отчасти модернизирован. Если массовое истребление стало возможным, если народ криками «Ура!» приветствовал казни «гнилой прослойки», то поблагодарить за это надо и тех, кто задолго до 1917 года натравливал народ на интеллигенцию, поливал грязью лучших ее представителей, провоцировал самосуды.

Для черносотенной печати характерны также элементы возрастного консерватизма: недоверие к молодежи, неприязнь к ее вкусам и симпатиям. Рок-музыки в ту пору не было, поэтому выступали против увлечения прогрессивными идеями, против декадентства, а иногда и против образования — особенно заграничного. Вот, например, трогательная забота «Московских ведомостей» о нравственности русских студенток в Париже: «И часто молоденькая девушка, приехавшая из России со здравыми взглядами, воспитанная в строго религиозном духе, становится в ряды „освободительного движения“... а там, смотришь, и сошлась уже с каким-нибудь освободителем-евреем... а там и бросила бомбу или выстрелила в кого-нибудь...» [7]

Современный молодой человек скажет, что все это похоже на «сегодня джинсы он купил, а завтра бабушку убил» (тоже, кстати, терракт). Конечно, возрастной консерватизм присущ не только черносотенцам, но каждый последовательный черносотенец был невысокого мнения о современной ему молодежи. Заигрывание с юношеством для русского шовинизма (в отличие от германского) было нетипично.

Простота, с которой все беды отечества списывались на «внутреннего врага», делала черносотенную идеологию удобной для обывательского сознания. Но полное отсутствие социальных требований свидетельствовало об ее слабости. Гитлер никогда бы не стал рейхсканцлером, если б только искал внутренних врагов и не говорил о тяжелом Версальском мире, о бедственном положении немецкого народа. Сталин не сумел бы достичь безграничной власти, если б только бросал людей в лагеря и не обещал им светлого будущего. Черносотенцы ничего не обещали и ничего не предлагали, кроме как бить евреев, революционеров, либералов, интеллигентов. А этого все же маловато. Русское крестьянство, например, оказалось почти не затронутым черносотенным движением. Почему? Да просто крестьяне понимали, что даже если они перебьют всех евреев поголовно, земля все равно останется в руках вполне «родных» помещиков. К тому же где их, евреев, взять на Псковщине или под Рязанью? Не в Киев же за ними ехать... А всех интеллигентов в деревне — учитель да земский врач — люди, на которых и у разбойника с большой дороги рука не поднимется.

Даже в западных губерниях, где была более благодатная почва для национальной розни, черносотенное движение пошло на убыль уже к концу революции 1905—1907 гг. И здесь сказалось неумение предложить народу хоть какую-то позитивную программу.

В начале XX века существовал целый ряд черносотенных организаций — «Союз русского народа», «Союз русских людей», «Союз Михаила Архангела», «Русская монархическая партия», «Двуглавый орел» и другие. Большинство их появилось в годы первой русской революции. Но организационные формы ультраправого движения — тема для отдельного разговора. Сейчас же нам следует уяснить, что это было именно движение — всячески культивируемое, поощряемое, финансируемое, регулируемое властями, но все-таки движение — со всеми, по крайней мере внешними, атрибутами стихийности. Ведь далеко не все участники погромов 1905—1906 гг. были членами черносотенных организаций. Убийцы Баумана, Караваева, Иоллоса, Герценштейна тоже не разгуливали со значком «Союза русского народа» — это не прибавило бы популярности ни им, ни «Союзу». Поэтому, сведя все черносотенное движение к деятельности соответствующих организаций, мы оставим за кадром все, что не имело очевидной принадлежности к ним. В результате картина получится искаженной, размеры движения существенно сократятся, да и разговор о нем сведется главным образом к определению партийной принадлежности погромщиков или убийц прогрессивных деятелей. Хотя так ли это важно для людей, которые не совершили ничего такого, что шло бы вразрез с черносотенными идеями?

Поэтому правильней рассматривать черные сотни не как совокупность ультраправых организаций, а как движение, причем на определенном этапе — движение довольно массовое.

Конечно, оно не было совершенно однородным. У различных организаций и отдельных деятелей были свои разногласия, раздоры, соперничество. А виднейший пропагандист «Протоколов сионских мудрецов» С. А. Нилус вообще жил анахоретом в Оптиной пустыни и не рвался в политику. Речь сейчас не о том, что их разъединяло, а о том, что их всех тем не менее объединяло.

По мнению самих черносотенцев, их объединял национальный характер движения как движения «истинно русских людей». В своей печати и листовках они обращались исключительно к «триединому русскому народу», куда относили также украинцев и белоруссов, не признавая их самостоятельными нациями. Наличие отдельных коллаборационистов типа Крушевана или Пранайтиса погоды не делало, ибо инородец считался врагом России № 1, а такая идеология не могла быть привлекательной для других наций. Собственно, и русские в 1905 году не были горячими поклонниками абсолютизма, поэтому черносотенная печать всячески напоминала «заблудшим овцам», что приверженность монархии — это чуть ли не русская национальная черта.

«Высочайший манифест 18 февраля... налагал на русских людей всех званий и состояний священный долг — объединить свои силы для ревностной работы на духовной ниве русского национального самосознания. На этой ниве дела так много, а семья деятелей так раздроблена среди бушующих, все более разъяряющихся волн крамольного космополитизма»,— писал Н. Знаменский в статье «Почему нам нужна монархическая партия». [8]

А вот те же самые мысли, высказанные уже без респектабельной сдержанности, открыто и страстно: «Не может Русский человек согласиться с дурацкими выдумками наших юристов-интеллигентов... Не можем мы позволить, чтобы всякая интеллигентская шушера, всякий гнусный жид подкапывались под Царскую Власть и оскорбляли Божьего Помазанника». [9]

Таким образом, постоянно подчеркивая революционность евреев, их стремление к республике, парламентской демократии, к свободе и плюрализму, черносо-

6*

тенцы приписывали собственному народу (кроме «крамольной» интеллигенции) политический консерватизм, покорность властям, ненависть к инакомыслию, неприятие правового государства. «Великому триединому народу» они отказывали не только в праве, но даже во внутреннем желании иметь какие-то иные мысли, кроме верноподданных, и какие-то иные чувства, кроме раболепия.

Конечно, три многочисленные нации не могли поголовно думать так, как хотелось Пуришкевичу. Да и не были никогда политические убеждения ничьим этническим признаком. Черносотенцы это, в общем-то, понимали и к «истинно русским людям» относили не всех русских, а лишь сторонников монархических убеждений, причем наиболее крайних. Следовательно, и движение было все-таки не национальным, а одним из политических. Причем по степени популярности среди русского народа его и близко нельзя поставить с эсерами, хотя те никогда не называли себя русской национальной партией.

Что подкупает в черносотенцах — так это предельная откровенность в выражении своих взглядов. Уж если они ненавидели евреев, то и называли себя антисемитами, а не «борцами с сионизмом». Уж если доктор Дубровин был противником любых ограничений монархии, то он так прямо об этом и говорил: да, я против вашей перестройки, да, и против вашей демократии. Черносотенцы начала XX века были людьми последовательными.

Как известно, все партии и движения славились какой-нибудь особо полюбившейся тактикой. Эсеры — индивидуальным террором. Социал-демократы — стачками. Кадеты — выступлениями в государственной думе. Черносотенцам принадлежит монополии погромной тактики. Именно погромы были кульминационными моментами всех их действий, главным смотром сил и наиболее радикальным средством борьбы с революцией. Совершенно погасить народный гнев в 1905—1906 гг. было невозможно, однако подменить объект ненависти, направить гнев в другую сторону было спасительным ходом для монархии.

Что такое погром — все приблизительно знают. Экзальтированная толпа идет по улицам, громит магазины, лавки, квартиры, избивает и убивает людей, не делая различий между мужчиной, женщиной или ребенком. Погромы происходили в России и раньше, но только в XX веке они приобрели политическую окраску, и только в XX веке они превратились в тактику целого политического движения.

Наиболее распространенными были еврейские погромы, но на Кавказе обязанности евреев исполняли армяне, а в глубинной России — русские интеллигенты и учащиеся. Так, например, уже в начале февраля 1905 года в Баку вспыхнул жестокий армянский погром, а вслед затем произошли избиения студентов и гимназистов в Москве, Тамбове, Курске, Казани, Пскове и других городах [10]. Но и во время вполне еврейских погромов были случаи, когда с интеллигентами расправлялись даже более жестоко, чем с евреями. Об одном таком случае рассказала газета «Сын отечества». Во время Житомирского погрома (весна 1905 года) два молодых человека — доктор Бинншток и студент Николай Блинов — вышли навстречу погромщикам, чтобы уговорить их разойтись. Разъяренная толпа набросилась на безоружных юношей. Но, жестоко избитый и потерявший сознание, доктор Бинншток все-таки остался жив. Блинова же, как «предателя», терзали особенно остервенело. Его труп был найден изуродованным: раны на теле, переломанная нога, штыковые удары в лицо...[11]

В течение всего 1905 года число погромов нарастало, но все это было лишь, извиняюсь за каламбур, генеральной репетицией октября, когда волна погромов захлестнула всю страну. Создавались все новые организации и группы, ведущие погромную агитацию. В условиях всеобщего недовольства, вздорожания жизни, озлобленности она находила свою аудиторию. В погромах участвовали не помещики и капиталисты, а как раз социальные низы общества: мелкие торговцы, ремесленники, крестьяне, рабочие, дворники, просто городской плебс. Мало кто из них был доволен своей жизнью до 1905 года, но все они видели, что от митингов, демонстраций и беспрерывных стачек жизнь не только не становится лучше, но наоборот — все более усложняется. Рост цен, постоянная политическая напряженность, страх локаутов, разорения, беспорядок в работе транспорта, магазинов, активизация преступности, неуверенность в завтрашнем дне — все это способствовало озлоблению против «крамольников», доведших страну до такого состояния. В том, что революционные брожения были не причиной, а следствием общегосударственного кризиса, мог разобраться далеко не каждый.

Добавим, что к 1905 году стереотип трех врагов России (интеллигент, инородец и инакомыслящий) вошел в народное сознание куда более глубоко, чем мы привыкли полагать. А безнаказанный грабеж еврейских домов и магазинов привлекал, как вполне законное средство поправить бюджет.

Но, учитывая все элементы стихийности, следует признать, что они явились лишь почвой, на которую были брошены семена организованности и продуманности. К погромной волне конца 1905 года страна шла на протяжении долгих месяцев. Местное начальство всячески поощряло, а нередко и принимало участие в создании черносотенных организаций. Им предоставлялись помещения для собраний. Разгоняя левые митинги и демонстрации, власти не только не трогали, но даже охраняли митинги и демонстрации черносотенцев. Полную солидарность с ними проявляла и полиция, которая во многих городах занялась формированием погромных дружин. Преследуя появлявшихся на предприятиях и в воинских частях революционных агитаторов, власти всячески поощряли агитацию правых. Кустарные гектографированные листовки были забыты: черносотенцам для печатания воззваний предоставлялись типографии. В Петербурге департамент полиции решил вовсе не утруждать доктора Дубровина и печатал погромные воззвания в своей тайной типографии; для этого использовался сперва станок, отобранный при обыске у революционеров, а потом — и специально приобретенная ручная печатная машина. Листовки печатались в тысячах экземпляров и рассылались потом по всей России. (Случай получил огласку, и по требованию графа С. Ю. Витте деятельность типографии была прекращена.) [12] На протесты интеллигенции против активизации правых экстремистских сил представители властей отвечали: «Вы хотели свободы — вот вам свобода». Такое явное меценатское отношение убеждало черносотенцев, что власти на их стороне и ждут от них только перехода к решительным действиям.

Надо сказать, еще со времени кишиневского погрома (апрель 1903 года) в обществе укоренилось мнение, что погромы происходят с ведома и по указаниям властей. После кишиневских событий по всей Руси великой ходило в списках так называемое «письмо Плеве», которое можно истолковать как индульгенцию на погром. Но если применительно к 1903—1904 гг. причастность властей к погромам была не всегда ярко выраженной, то в 1905—1906 гг. их поощрение стало чем-то вроде государственной политики. Да и сами погромы отличались от прежних в той же степени, в какой действия регулярной армии отличаются от действий партизанских отрядов. Черносотенные организации 1905 года рождения создавались уже не для собраний и листовок, а для вооруженной борьбы с революционным движением.

Контрреволюционная направленность погромов не всегда понятна: ну ладно бы убивали революционеров да студентов-«крамольников», а за что же, как говорится, деточек? На самом деле расчет был довольно точен. Одна часть недовольных срывала накопившуюся злобу на евреях и интеллигентах. Другие — самые революционные — вместо подготовки к восстанию начинали исполнять обязанности бездействовавшей полиции, пытаясь защитить мирное население. Колеблющиеся, ужаснувшись зверствам погромов, восклицали: «Вот к чему приводит гласность и перестройка!» Черносотенцы были не так сильны, чтобы разгромить революционное движение, но ослабить его они сумели.

17 октября 1905 года вышел знаменитый царский манифест, даровавший демократические свободы. Страна ликовала. Многим правительство Витте представлялось переходным этапом к республике. И основания для таких надежд были. Стачечное движение достигло своего апогея. Во многих городах народ разоружал городовых и создавал милицию. Петербургские советы стали восприниматься как почти альтернативное правительство. Казалось, перевес революционных сил был очевиден.

И тогда на сцену вышли черные сотня. 18 октября до провинции дошла весть о царском манифесте, а уже вечером того же дня, словно по сигналу, в городах начались погромы. Не ограничившись чертой оседлости, они прокатились везде, где была революция. Как правило, погромам предшествовало введение в город армейских частей. Но сохраняя нейтралитет к погромщикам, войска жестоко подавляли всякую попытку самозащиты. Жертвы погромов конца 1905—1906 гг. трудно сосчитать. Многие современники, причем не только из левого лагеря, задавались потом вопросом: как могло случиться, что обычные люди — не садисты, не бандиты — истребляли других людей с такой бешеной ненавистью? Сейчас, на фоне миллионных жертв сталинизма, жертвы погромов начала XX века, возможно, покажутся кому-то не столь уж большими. Но в те времена люди думали иначе, и погромы каждый раз вызывали целую бурю общественного негодования.

Умышленно не цитирую революционные издания. Но вот как отзывался о погромах епископ Антоний, не страдавший юдофильством: «...в это самое время за стенами храмов пьяная, озверевшая толпа врывалась в еврейские дома, грабила имущество жильцов, терзала людей, не щадя старца и младенца. Бесчестили женщин, разрывали грудных младенцев в глазах матерей и трупы их выбрасывали из окон на улицу вместе с товарами еврейских магазинов. А там жадная толпа, не замечая окровавленных тел, бросалась через них к одеждам и украшениям и хватала себе все, что попадалось под руку; грабители обогащались вещами, облитыми кровью несчастных жертв!» [13]

Неизученность погромного движения в наше время приводит к неформальному процветанию самых невежественных объяснений их причин — вплоть до того, что погромы организовывали сами евреи, во всяком случае, еврейская буржуазия (по другой версии — сионисты).

Подобные утверждения не выдерживают никакой критики (видимо, поэтому их никто и не критикует). Сионизм в России был распространен по преимуществу среди еврейской бедноты, наименее защищенной от погромов. И сионисты, как могли, старались дать отпор погромщикам, пополняя ряды самообороны. В России, где хватало других причин для еврейской эмиграции, она не нуждалась в искусственном стимулировании — тем более таком диком, как организация погромов. Что же до еврейской буржуазии, то она не питала хронического отвращения к республиканскому строю и не настолько любила самодержавие, чтобы ради его спасения жертвовать жизнями тысяч соплеменников, а заодно и личным имуществом (материальные убытки от погромов были громадными). В Москве, например, когда распространились слухи о готовящемся погроме, в министерство внутренних дел обратилась депутация влиятельных московских евреев с настоятельной просьбой остановить погромщиков. И погром был отменен. Как видно, еврейская буржуазия не горела желанием исполнять роль мальчика для порки.

Надо сказать, в начале XX века даже самым лютым антисемитам не приходило в голову приписать евреям организацию погромов. Эта «научная версия» получила ход значительно позже — в сталинское и послесталинское время,— когда лозунг «Цель оправдывает средства» прочно вошел в человеческое сознание, и люди стали считать самоистребление вполне приемлемым методом для достижения великой цели. Проще говоря, мы стали приписывать другим собственное мышление.

Особую жестокость погромов объясняют также присутствием среди погромщиков уголовных элементов. Это верно, но не всегда. В Томске, например, толпа погромщиков окружила и подожгла здание управы, где собрались местные интеллигенты. Быстро приехали пожарные, но тушить пожар толпа не давала. Выбегавших из огня людей убивали или зверски избивали. От расправы спаслись те, кто успел броситься ко второму выходу, находившемуся за фасадом здания. Там орудовала шайка мазуриков, которые обирали людей до нитки, после чего... помогали им выбраться в безопасное место. Сии отечественные робин гуды кажутся ангелами-хранителями по сравнению с теми «идейными борцами», кто, не принимая участия в грабежах, деловито убивал «врагов русского народа», не щадя даже детей.

Некоторых пояснений заслуживает версия, которая, учитывая связь черных сотен с властями, контрреволюционную направленность погромов 1905—1906 гг., их подготовленность, считает, однако, что непосредственным поводом к расправе над мирным населением послужило некорректное, вызывающее поведение революционной молодежи — прежде всего еврейской.

Что тут сказать? Даже сами по себе многотысячные митинги и шествия с «нескромным» лозунгом «Долой самодержавие!» шокировали и возмущали людей монархических убеждений. Не говоря уж о том, что революционные собрания действительно мало напоминали рекреацию в институте благородных девиц. Если сейчас мы только учимся демократии, то что говорить о начале XX века, когда народ впервые услышал это слово. Случалось, что ораторы в самом деле допускали выражения, обидные для людей «старых взглядов». При этом поведение русской и еврейской молодежи мало чем отличалось. Да было бы и странно, если б революционеры еврейской национальности кричали: «Долой деспотизм!», а революционеры русской национальности чинно распевали: «Боже, царя храни!» Все-таки речь идет о людях одной среды, одного воспитания и одинаковых убеждений. Другое дело, что евреи по понятным причинам больше бросались в глаза.

Кроме того, революционная молодежь везде вела себя, в общем-то, одинаково, но погромы вспыхивали только там, где черносотенцы были уверены в собственном перевесе сил. В Харькове революционная молодежь дошла до такой «наглости», что забаррикадировалась в университете и высылала оттуда вооруженные отряды, патрулировавшие улицы. Между тем именно это «некорректное поведение» спасло город от погрома. В Петербурге не было даже попытки погрома, хотя там в советах лидировал наглый юноша Лейба Бронштейн (известный миру под псевдонимом Троцкий), который писал невежливые письма графу Витте и призывал к вооруженному восстанию и другим неприличным вещам. Тем не менее, зная настроения питерских рабочих, местные черносотенцы справедливо полагали, что если они тронут нахала хоть бы пальцем, то сами падут жертвой погрома. В Москве же оказалось достаточным умаслить начальство, чтобы «народное возмущение» угасло в самом зародыше.

Историю погромов 1905—1906 гг. еще предстоит изучить, но уже сейчас известно, что черные сотни действовали в согласии с властями и получали от них материальную и моральную поддержку. Ненависть к «крамольникам», имевшая и объективные причины, искусственно подогревалась в течение многих месяцев, и совсем не случайно «возмущение жидовской наглостью» вспыхнуло по всей России день в день. Такие вещи случайно не происходят. Они готовятся, причем долго и тщательно. Вот как, например, определяла фронт «работ на духовной ниве» листовка «Александровской русской боевой дружины»: «Так вставай, подымайся, великий русский народ, образуй дружины, запасайся оружием, косами, вилами и иди на защиту своего царя, родины и веры православной. Но помните, что враг наш, кто стоит за жидов, за нынешние политические забастовки, ходит с красными флагами и называет себя социал-демократом и революционером. Итак, истинно русские люди... по первой тревоге собирайтесь с оружием, косами и вилами на площади у народного дома и вступайте под русские трехцветные знамена сформированной Александровской русской боевой дружины, которая ринется с портретом царя и святой иконой на врагов наших краснофлажников».[14]

Листовка предельно откровенная и открыто призывает постоять за веру православную не только со святой иконой, но и с предметами, далекими от воплощения христианской любви. Но, как это ни кощунственно, погромщики действительно не считали неуместным нести иконы впереди разъяренной толпы. Нередко погрому предшествовал молебен, и тогда черносотенцы шли грабить и убивать прямо из церкви, сопровождаемые священниками.

Конечно, погромная практика настолько расходилась с заповедью «не убий», что, казалось бы, это само по себе исключало участие в погромах людей верующих, а тем более — служителей церкви. Но здесь мы сталкиваемся с нравственным парадоксом: среди громивших, убивавших, насиловавших было больше набожных людей, чем среди тех, кто помогал жертвам укрыться или защищал их в отрядах обороны.

Разумеется, служители церкви непосредственного участия в бесчинствах никогда не принимали. Но случаи их присоединения к погромной толпе, а то и подстрекательские проповеди производили тяжкое впечатление на современников. Не прибавляли авторитета православной церкви и случаи невмешательства священников в трагические события, их нейтралитет, который можно было принять и за молчаливое одобрение. Да и высшие церковные иерархи ограничивались осуждением уже свершившихся погромов, не протестуя против использования авторитета православной церкви для пропаганды вражды и насилия. Поспешившая отлучить от себя великого гуманиста Льва Николаевича Толстого церковь, видимо, не считала кощунственным, что имя

Архангела Михаила использовано в названии одной из крупнейших черносотенных организаций.

Но были и служители церкви, решительно выступавшие против черносотенного движения и особенно — против погромов. Вот случай, происшедший в 1905 году во время томского погрома: «Против одного из учебных заведений убили студента и добивали другого. Это увидел заведующий учебным заведением молодой монах. Он бросился из своей квартиры к погромщикам, поднял крест, который имелся у него на груди, и громко сказал: „Зачем вы бьете моего брата?“ Толпа беспрекословно отошла в сторону...»[15]

Однако понимание погромщиками христианской веры было таково, что попытки священнослужителей остановить погром приносили порой самые неожиданные результаты. Вот случай прямо-таки трагикомический. Киев, 19 октября 1905 года: «В этот второй день погрома, когда бесчинства и разнузданность толпы достигли своего апогея, преосвященный Платон, епископ Чигиринский, обратился к разъяренной толпе с пасторским увещанием, чтобы прекратить избиение и ограбление евреев... Умоляя толпу пощадить жизнь и имущество евреев, владыка несколько раз опускался перед ней на колени. Во время одного из таких увещаний к епископу из толпы подскочил какой-то громила и с угрозой крикнул: „И ты за жидов“. Большинство, казалось, поддавались уговорам и мольбам преосвященного, но тут же раздавались голоса, что нужно бежать в соседний еврейский магазин и взять оттуда кусок материи, чтобы разостлать ее на земле перед владыкой, и немедленно часть сборища отправилась туда для исполнения задуманного» (Из всеподданнейшего отчета сенатора Турау).[16]

Хотя черносотенные погромы 1905—1906 гг. происходили под флагом защиты веры, царя и отечества от революционеров, это не надо понимать буквально, что черносотенцы брали косы и вилы и шли против рабочих и студенческих дружин, вооруженных худо-бедно револьверами. Во-первых, косы и вилы имели место главным образом в листовках, а в жизни погромщики пользовались огнестрельным оружием. Во-вторых, с революционерами они по возможности предпочитали вовсе не связываться — те объединялись в отряды обороны и пытались дать вооруженный отпор. В таких случаях черносотенцы просто отходили в сторону, уступая место войскам.

Дружины, защищавшие мирное население от погромов, иногда называли «обороной», а иногда — «самообороной». Думается, что дружины 1903—1904 гг. правильней называть самообороной (так как

их функции ограничивались еврейской самозащитой), а дружины 1905—1906 гг.— обороной, поскольку это были уже более широкие объединения прогрессивной молодежи разных национальностей, созданные для вооруженного отпора черносотенному террору.

После кишиневского погрома, который убедил евреев, что власти не намерены их защищать, во многих городах еврейская молодежь стала создавать дружины самообороны. Впервые самооборона показала себя во время гомельского погрома (август 1903 года). Разумеется, ее активные участники немедленно оказались на скамье подсудимых рядом с теми, от кого они защищались. По составу подсудимых мы можем представить, какой тогда была самооборона. Это — исключительно евреи, почти все — простолюдины, кроме сына петербургского купца первой гильдии Янкеля Слезингера. Взрослых было немного, преобладали юноши 16—23 лет.[17]

Оборона 1905—1906 гг. была более пестрой по составу: рабочие, студенты, гимназисты, ремесленники, интеллигенция, все — люди разных национальностей. В некоторых местах (например, в Харькове) обороне удавалось предотвратить погром или значительно ослабить его размах. Но в большинстве случаев необученные и плохо вооруженные дружины оказывались бессильными перед армейскими частями, приходившими на помощь погромщикам. Слабость обороны показала общую слабость революционного движения 1905 года. Контрреволюция перешла в наступление тогда, когда движение оказалось еще недостаточно созревшим для перехода к вооруженным формам борьбы. Может быть, до созревания оставалось совсем немного времени, но его уже не было у слабых, только начинавших формироваться отрядов и дружин.

Впрочем, участники обороны об этом не думали. Они исполнили то, что сочли долгом. Они не выбирали, что сейчас важнее: накопление сил ради победы революции или спасение беззащитных людей. Для них просто не существовало подобного вопроса — они приняли заведомо неравный бой, чтобы защитить людей.

Помимо массового террора, черносотенцы использовали и террор индивидуальный. В октябре 1905 года в Москве был убит большевик Н. Э. Бауман. Впоследствии развернулся террор против депутатов Государственной думы, были убиты прогрессивные депутаты М. Я. Герценштейн, Г. Б. Иоллос и А. Л. Караваев. Черносотенная печать принимала эти убийства на «бис».

«В октябре месяце, когда московские интеллигенты и жиды таскались с красными флагами и оскорбляли Веру, Царя и народ, по Немецкому рынку ехал на извозчике опаснейший бунтовщик, еврей Бауман, размахивая красным флагом и крича слова, оскорбительные для Государя Императора.

Все русские люди чтут и любят Царя! Все согласны в том, что оскорбить Царя — это значит совершить тяжкое преступление, достойное смерти.

Но в этот день московские интеллигенты и жиды были вполне безнаказанны. Начальство попряталось,— и сволочь с красными тряпками расхаживала по улицам, нагло насмехаясь над русским народом. Михалин не стерпел, чтобы при нем оскорбляли Царя. Он бросился на жида Баумана и ударил его по голове железною палкой.

Бауман был найден мертвым, но кто его убил, до сих пор неизвестно; Михалин ли или другие, тоже бившие оскорбителя Царя».[18]

Помимо изысканности стиля, можно заметить, что автор, считая убийство Баумана почти подвигом, не спешит, однако, украсить этим подвигом своего героя, а тем более — сообщить о наличии у него соратников. Такая позиция, характерная для черносотенцев и в дальнейшем, резко отличалась от позиции эсеров, которые никогда не скрывали своей причастности к террактам, не отрекались от своих боевиков, равно как и боевики не отрекались от своей партии и от того, что сделали. Эсеры верили в свою правоту и в поддержку народа. Черносотенцы же знали, что вконец скомпрометируют себя, если заявят о своей причастности к убийствам Иоллоса или Караваева. Убийца Караваева был даже предварительно исключен из «Союза русского народа», чтобы в случае чего «Союз» мог от него отречься. Сталину, отрекшемуся от Меркадера — убийцы Троцкого,— было у кого поучиться.

Что ж, скажет кто-то, классовая борьба есть классовая борьба. Эсеры убивали царских министров, черносотенцы — революционеров и думских либералов. Но вот небольшая заметка, опубликованная в 1912 году в газете «Гроза». Член «Союза русского народа» Батвков заметил на кладбище Тихвинского монастыря в Екатеринбурге необычный памятник: «...из памятников выделяется один с надписью золотом следующего содержания: „Вася Иванов — 16 лет. Ученик художественной школы, павший жертвой от рук хулиганов и черносотенцев 19 октября 1905 г.“ ...путем правой печати предъявляю к администрации Тихвинского монастыря дать объяснение, почему допущено такое содержание на памятнике, а чинов екатеринбургской полиции надлежит спросить: если им о сем известно, то почему не уничтожат означенный памятник?»[19]

Это уже не классовая борьба. Речь уже не о Баумане, не об Иоллосе. Русский патриот и православный христианин негодует на полицию и служителей монастыря, как это они до сих пор не догадались осквернить могилу русского православного мальчика — безвинно погибшего. Увы, это не перегиб, в логическое завершение черносотенных идей. Тут уж ничего не поделаешь.

Победа реакции, которая, казалось бы, должна была упрочить позиции черносотенцев, принесла им глубокий кризис. Если раньше народ призывался на борьбу с революцией, то теперь эта задача по мере сил была выполнена. Возник вопрос: а что же дальше? Революция задушена. «Антирусская» дума разогнана. Революционерами забиты все тюрьмы. Евреев убито столько, что самим тошно. А жить все равно не легче. Многие простые люди поняли, что защищали чужие интересы, и отошли от движения.

С другой стороны, зверства погромов, убийства безвинных детей, женщин, стариков ужаснули даже правоверных монархистов, не говоря уже о либеральной части общества. С этого момента выражение «черные сотни» стало употребляться в резко негативном смысле. Членам черносотенных организаций не подавали руки, считая, что их руки запачканы кровью. Под влиянием общественного мнения правительство вынуждено было провести расследования по делам о погромах и наказать часть виновных. Черносотенцы почувствовали себя в положении слуг, которым обещали заплатить — и выгнали, не заплатив. Они видели, что к ним брезгливо относятся даже те, кто раньше использовал их для борьбы с революцией. Член «Союза русского народа» М. Н. Волконский с горечью писал: «Видите ли, меня, Мавра, не гнали, когда я „делал дело“, то есть, когда я был нужен, когда эти циники, гонящие меня теперь, нуждались во мне».[20]

Одновременно назревали распри и внутри черносотенного лагеря. В 1910 году личные амбиции лидеров и споры из-за правительственных субсидий привели к расколу крупнейшую черносотенную организацию «Союз русского народа». Возникли две организации с одинаковым названием, одну из которых возглавил А. И. Дубровин, а другую — Н. Е. Марков (Марков-второй).

Соперничество между двумя союзами проходило довольно остро. Впоследствии Марков недобрым словом вспоминал дубровинцев, «всегда нас травивших за то, что мы с правительством и с бюрократией».[21] Во время VI монархического съезда, созванного марковским Союзом в феврале 1913 года, организаторы опасались не столько еврейских козней, сколько козней доктора Дубровина. На всех мероприятиях съезда усиленный контроль тщательно проверял каждый входной билет. Тем не менее «агентам доктора Дубровина» удалось перехватить всю волынскую делегацию числом около 300 человек и направить ее на свой собственный съезд, что вызвало справедливый гнев марковцев.[22]

Самолюбивые распри лидеров, казнокрадство (ибо значительная часть правительственных субсидий, отпускаемых организациям, оседала в карманах наиболее ловких лидеров) приводили к тому, что из организаций уходили наиболее честные люди монархических убеждений, считавшие, что чистое дело должно делаться чистыми руками.

Некоторый всплеск черносотенного движения произошел в 1913—1914 гг. в связи с празднованием 300-летия дома Романовых, делом Бейлиса, а затем — началом первой мировой войны. Но этот всплеск показал не столько силу ультраправого лагеря, сколько его вырождение. Если в 1905 году черносотенцы оценивали политическую обстановку вполне здраво, то есть понимали, что их кумиру — монархии — угрожает опасность со стороны революционеров и что именно с ними надо бороться, то в 1913 году ни о каких здравых оценках не было и речи. В черносотенных газетах 1913—1914 гг. доминирует юбилейная эйфория и патологический антисемитизм. В то время когда не только либералы и революционеры, но и здравомыслящие монархисты говорили о необходимости перемен, черносотенцы предлагали лишь следующие образцы законотворчества: «Желая ослабить Россию, жиды добиваются законов о безнаказанности выкидышей. Чтобы проверить основательность жидовских домогательств, необходим закон об обязательности выкидышей для всех жидовок поголовно».[23]

Это не юмор, а вполне серьезное предложение, сделанное в 1914 году за несколько месяцев до тяжелейшей войны, когда «рука роковая» уже не чертила, а дочерчивала последнюю букву. Неприятие любых реформ, даже когда их необходимость была очевидна обществу, приводило к тому, что реформатор уже казался черносотенцам более опасным врагом монархии, чем даже революционер. Бешеную ненависть вызывал у них С. Ю. Витте — «покровитель жидов и женатый на жидовке».[24] Негативно была встречена аграрная реформа Столыпина. Впрочем, и П. А. Столыпин не горел любовью к черносотенцам. Как свидетельствовал Н. Е. Марков, этот царский министр хотя и давал деньги «Союзу русского народа», но «относился по существу враждебно».[25] Так что причислять П. А. Столыпина к лагерю черносотенцев, как это иногда делается в наше время, не вполне правильно. Не всякий монархист — черносотенец.

Осталось сказать немногое. Начавшаяся летом 1914 года первая мировая война выдвинула на первый план более глобальные задачи, более серьезные проблемы, чем могли предложить черносотенцы. Ура-патриотизм первых дней постепенно затухал и сменялся усталостью. По мере ослабления сил правого лагеря в нем наметились тенденции к объединению. Но это уже мало помогло. К 1917 году черносотенное движение практически не имело никакой реальной силы.

Если в 1905 году «патриотам» удалось повести за собой часть народа, то в феврале 1917 году монархию, кроме войск, уже никто не защищал. После Октябрьской революции черносотенцы примкнули к антибольшевистскому лагерю, однако серьезной роли там не играли. Легитимистам было ясно: чтобы снова сделать монархическую идею привлекательной для народа, ее надо очистить от всего одиозного, наиболее скомпрометировавшего себя. А наиболее скомпрометировало себя как раз черносотенство.

В модернизированном виде черносотенные идеи возрождались впоследствии не раз. Немало у российских шовинистов позаимствовал Гитлер. К прямым их последователям следует отнести и Сталина. Ведь не Сталин первым начал списывать все ошибки и неудачи на «внутренних врагов». Не Сталин первым объявил интеллигентов и инородцев «неблагонадежным элементом». Не Сталин первым начал заигрывать с русским народом, чтобы сделать его оружием в своих руках. Не Сталин первым объявил добродетелью единомыслие и пороком — любое инакомыслие. Все это уже было.

В наше время носителями черносотенных идей являются организации типа «Памяти». Мы привыкли говорить: история учит... Видимо, история не всех учит, раз и поныне есть люди, уверенные, что можно сделаться счастливыми за счет другого народа. Нельзя! Чтобы восторжествовал шовинизм, всегда оказывалось мало убить Иоллоса и Герценштейна. Надо было еще убить и русского студента Николая Блинова, и юного художника Васю Иванова... Война с «врагами нации» неизбежно перерастает в войну с собственной нацией. Потому что, пока русский народ живет, пока он мыслит, чувствует, дышит, пока жива его совесть,— всегда будут находиться люди, не приемлющие дарованного сверху права быть тюремщиками и палачами других народов. Потому что в этом и заключается подлинная национальная гордость, которой славились лучшие люди России.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Московские ведомости» № 141, 3(16) июня 1906 г.
2 «Русское знамя» № 77, 4 апреля 1914 г.
3 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 122–123.
4 Мандельштам М. 1905 год в политических процессах, М., 1931. С. 15.
5 «Русское знамя» № 77, 4 апреля 1914 г.
6 «Двуглавый орел» № 33, 9 февраля 1914 г.
7 «Московские ведомости» № 116, 22 мая 1907 г.
8 «Московские ведомости» № 125, 9(22) мая 1905 г.
9 «Московские ведомости» № 141, 3(16) июня 1906 г.
10 Материалы к истории русской контрреволюции. Т. 1, 1908. С. 27.
11 «Сын отечества» № 73, 12 мая 1905 г.
12 Материалы к истории русской контрреволюции. Т. 1, 1908. С. 96.
13 К кишиневскому бедствию. Слово епископа Антония. Кишинев. 1903. С. 7.
14 Материалы к истории русской контрреволюции. Т. 1, 1908. С. 90.
15 Там же.— С. 449
16 Там же.— С. 235
17 ЦГИА СССР, ф. 857, оп. I, д. 1388, л. 9.
18 «Московские ведомости» № 141, 3(16) июня 1906 г.
19 «Гроза» № 435, 20 июля 1912 г.
20 «Земщина» № 81, 6 сентября 1909 г.
21 Падение царского режима. Т. 6, М., 1926. С. 192.
22 «Земщина», 27 февраля 1913 г.
23 «Русское знамя» № 42, 21 февраля 1914 г.
24 «Земщина» № 1708, 27 июня 1914 г.
25 Падение царского режима. Т. 6, М., 1926. С. 194.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МОТОРИН

КРАСОТА, ИСТИНА ИЛИ ДОБРО?

Многие, вероятно, рассердятся на А. Моторина. Он осмеливается посягнуть на самые наши неколебимые мнения, усвоенные за партой раз навсегда. Он позволяет себе открыто утверждать, будто любимый герой школьного преподавания — сам Тарас Бульба! — не может в конце двадцатого века в цивилизованной стране считаться образцом благородства и примером для подражания. Мысль тем более нестерпимая, что верность ее, в сущности, очевидна. Ничего хорошего автору статьи ожидать не приходится. На подобные тезисы у нас почему-то до сих пор принято отвечать бранью и разнообразными обвинениями. Пытаясь увернуться от наиболее зловещего из них, А. Моторин доказывает, что сам Гоголь и не думал идеализировать своего героя, что это литературоведы и педагоги напутали. Может быть, и это правда (хотя бы отчасти), но приводимые аргументы, на мой взгляд, не безупречны. Что из того, что Тарас носится на Чорте? Допустим, это намек на связь с нечистой силой,— но такая связь порочит старого полковника ничуть не серьезнее, чем простосердечного кузнеца Вакулу. Что из того, что Тараса перед его мученической кончиной оглушили обухом (верно, обухом какой-нибудь там секиры)? Допустим, опять-таки, что и в самом деле дородный мужчина, распятый на дереве, под которым разведен костер, может напомнить свиную тушу — и что Гоголю даже такой оттенок внятен,— что же, разве сострадание, ужас и восхищение не вспыхивают ярче всего именно на этой странице?

И уж совсем напрасно, по-моему, уверяет нас автор статьи, будто Гоголь в «Тарасе Бульбе» устранился от повествования. Ну, обмолвился пасечник Рудый Панько в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Диканьки»: дескать, «был у нас один рассказчик», о котором не к ночи бы поминать,— но ведь тут же и добавил про его страшные истории, что «нарочно и не помещал их сюда». Какое же основание приписывать этому страшному рассказчику повесть из следующей книги? Да, в этой повести слышны разные голоса. Но среди них явственно различим и трезвый голос адъюнкта по кафедре истории при императорском университете: «Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукочующем углу Европы», и т. д. Вот и незачем, по-моему, сочинять лишние сложности. Гоголь ясно видел, разумеется, что его герой — варвар, свирепый, бесстрашный, коварный, одержимый жаждой разрушения. Видел и другое: ведет этого хищника некая центростремительная сила; Тарас Бульба все-таки человек — правда, лишь отчасти, в одном-единственном ракурсе, поскольку лишь один образ любви ему известен: к братьям по оружию; эту единственно возможную для него семью он без конца воссоздает, только ради нее живет, убивает и гибнет; а на такие семьи у Провидения свой таинственный расчет... И чем же, спрашивается, лучше запорожских казаков были какие-нибудь крестоносцы?

Но Гоголь писал для образованных читателей. Ему и в голову не могло прийти, что через сто пятьдесят лет русским малышам станут внушать в классе, будто надо «делать жизнь», руководствуясь примером кровожадного дикаря. Такое возможно лишь в обществе, созданном гражданской войной. Тут А. Моторин прав: советская школа внедрила гоголевского героя в свою, особенную мифологию. Так и видишь картину: старый Тарас дремлет на берегу Днепра, облокотясь на саблю, а Павлик Морозов читает ему «Донские рассказы» Шолохова...

С. ЛУРЬЕ

В последнее время много говорят об изменении законодательных механизмов, призванных регулировать хозяйственную и прочую деятельность. Но законы исполняются и пишутся людьми. «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло». Мы еще слишком мало обращаем внимания на свои удручающие провалы в деле духовного устроения человека, конечно, не сплошные (иначе ничто бы не устояло), но достаточно опасные и с годами накопившие грозную энергию готовой сорваться снежной лавины.

Рассмотрим частный, но весьма характерный эпизод школьного воспитания; он возобновляется каждый год, когда на уроках литературы в седьмых классах «проходят» повесть Гоголя «Тарас Бульба». Вот уже в течение десятилетий практически каждый гражданин нашей страны, когда приспевает ему время, участвует в этом эпизоде в качестве ученика.

«Я тебя породил, я тебя и убью!» — сказал Тарас Бульба Андрию и привел приговор в исполнение. «Пророком, пророчествующим на стогнах», «пророком и героем, собирающим силы нации», «несгибаемым львом», «Нестором-летописцем», «оратором» и т. п. именует Тараса современный критик И. Золотусский («Поэзия прозы». М.: 1987) и тем самым поддерживает славословия школьного учебника.

У нас принято прощать Тарасу убийство сына, поскольку сын изменил делу отца, изменил тому, что Бульба называл «товариществом», «родиной», «верой», «христианством». Но одинаково ли с гоголевским героем и, с другой стороны, с самим Гоголем понимаем мы эти слова? Да, Андрий изменил делу отца, но дело это — битва, убиение врагов: «Он все придумывал, как бы поднять Сечь на отважное предприятие, где бы можно было разгуляться, как следует, рыцарю». Ради этого Бульба идет на страшное клятвопреступление, и не только сам, но подбивает к нему всех казаков — а клялись-то они своей христианской верой жить в мире с турецким султаном. «Мир» же, смирение — основное понятие столь почитаемого казаками христианства. Чтобы привлечь людей на свою сторону, Тарас нечестным приемом смещает совестливого кошевого и ставит другого, «умного и хитрого». Бульба специально спаивает своих «товарищей», и вот они уже готовы нарушить мир с помощью традиционной в таких случаях провокации.

По воле Гоголя-творца лишь после всеобщего клятвопреступления и согласия на войну появляется человек, который рассказывает о зверствах жидов и католиков-поляков, так что распаленная уже жажда крови поворачивается в противоположную от «Турещины» сторону и только по видимости окрашивается в патриотические тона.

Знакомый (через Духовную академию) с античной риторической наукой, Тарас умеет и любит произносить речи; но риторика восходит к древнегреческим софистам, которые учили доказывать все, что угодно, в том числе и прямо противоположные мнения об одном и том же предмете. Цель — соблюсти личный интерес; и главное — кто переспорит, кто с помощью софизмов, словесных ловушек, красноречия убедит противника в своей «правоте». «Воплощенным единством слова и дела» называет Тараса И. Золотусский. Но это не гоголевский Бульба. Надо видеть в демагогии идеал, чтобы не почувствовать лукавости таких, например, слов Тараса: «Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы?» Так увещевает Бульба совестливого кошевого и даже не очень заботится (что для него не характерно) о прикрытии своих подлинных интересов красивыми словами. Идеология Бульбы — это утверждение силы и насилия, в конечном счете, утверждение себя самого, своей воли.

Прибегая к традиционному сравнению «Тараса Бульбы» со «Словом о полку Игореве», И. Золотусский не видит, что Гоголь осуждает своего героя как раз за то, за что и автор «Слова...» — князя Игоря: противопоставление общим интересам своих, тщеславных, опасную смуту и, получается, невольную измену Отечеству. А между тем даже значение имен, избранных для героев, подсказывает нам авторскую точку зрения (Гоголь верил в Промысел, в частности, в то, что имя дается человеку не случайно). «Тарас» в переводе с греческого означает «волнующий», а волнение — это переменчивость, изменчивость. Тарас изменяет всему, о чем говорит красиво; призывая к братскому единству, он на деле все время сеет раздор, смущение, смуту; и в конце концов гибельным для казаков оказалось подготовленное его усилиями разделение войска во время осады польского города. Не изменяет Бульба только бранному делу — насильственному утверждению своего господства.

Так ли уж далеко упало яблоко от яблони? Андрий — достойный сын Тараса. Он не изменил бранному делу (в переводе с греческого его имя означает «мужественный»), но еще в отрочестве усвоил от отца своего самое главное: умение лукаво руководить другими, достигая собственных целей. Андрий изменил отцу как своему господину и в столкновении с ним был уничтожен, потому что оказался слабее. Другое дело Остап (полное имя — Евстафий, что в переводе с греческого означает «хорошо построенный»). Этот сын во всем послушен отцу, и Бульба не перестает им восхищаться.

Со школьных лет помним мы наизусть выспреннюю речь Тараса о «товариществе». В школе нас приучили не обращать внимания на вопиющее расхождение слов героя и его дел. Исподволь нам внушили самое страшное: считать такое лукавство естественным и полезным. Школьная хрестоматия стыдливо (а может быть, с лукавым намерением?) опускает описания таких, например, «подвигов» Тараса: «„Ничего не жалейте!“ — повторял только Тарас. Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки подымались из огненного пламени к небесам, сопровождаемые жалкими криками, от которых подвигнулась бы сама сырая земля 〈...〉. Но не внимали ничему жестокие козаки и, подымая копьями с улиц младенцев, кидали к ним же в пламя».

Опущенные фрагменты все равно незримо присутствуют в усеченном хрестоматийном тексте, потому что подлинно художественное творение едино и целостно, и все в нем взаимообусловлено. Жестокость Тараса неразрывна со всеми его словами и делами, и гораздо опаснее, когда эта жестокость прививается в школе в гомеопатических, действующих на подсознание дозах — в свернутом, неотпугивающем, неотвратительном виде.

Всякому, кто внимательно, непредвзято прочитает полный текст повести, трудно будет согласиться с оценками школьного учебника или, скажем, И. Золотусского, который пишет: «Гоголя всю жизнь попрекали за то, что он изображает только смешное. В „Мертвых душах“ он вынужден был обещать, что примется за картины с описанием достоинств русского человека, картины, где его, Гоголя, идеал явится во плоти живых образов. Не дождавшись, когда ход действия поэмы подведет его к желанному „чистилищу“, когда откроется перед нею вдали сверкающий „рай“, он создает параллельно одной поэме другую поэму, в которой русский реквием покрывается русским апофеозом». Тут уместно напомнить, что «апофеоз» в переводе с греческого означает «обожествление». Так что же в характере русского народа «обожествляет» критик И. Золотусский?

А теперь прислушаемся к гипнотическому нашептыванию школьного учебника. Вот вопросы для контроля знаний: «О каком настоящем деле для своих сыновей мечтал старый Тарас?»; «Чем дорог и близок нам Тарас?» В сопроводительной статье учебника говорится о «горячей любви Тараса Бульбы к родине и его мужестве», о том, что он «верный товарищ и храбрый воин», что «его любят и ценят казаки 〈...〉 и беспрекословно подчиняются его распоряжениям в бою»; говорится о том, что «он суров, иногда жесток, решителен в поступках»; что своим сыновьям он говорит: «А видите эту саблю? Вот ваша матерь!» (о том, какое отношение к родной матери — не к сабле — внушил он сыновьям, не упоминается, а между тем отсюда один шаг до отношения к родине-матери и к отцу).

Что с нами стало? Почему поколениям и поколениям своего народа мы внушаем жестокость, кривду представляем правдой, безобразие — красотой, зло — добром? Чтобы хоть чуть-чуть разобраться в этом, необходимо пуститься в отвлеченные (на первый взгляд) рассуждения, а потом вернуться к проблемам современной критики в той ее области, где она соприкасается с историко-литературными исследованиями и школьным преподаванием литературы.

От извечного вопроса о смысле жизни не уйти, хотя в наш просвещенный век задавать такой вопрос как-то стесняются, может быть, видя в нем потуги серой полуобразованности охватить неохватимое. Но вот беда: отворачиваясь от главного вопроса, человек незаметно для себя оказывается рабом мелочей и бессмыслицы. Только осознав главное, можно понять, например, такую мелочь, как неспособность нашего великого народа, несмотря на уверенность в обладании истиной, накормить себя хлебом насущным и достойно прикрыть телесный срам одеждой.

Попытки постичь смысл жизни издревле привели людей к триединому представлению об Истине — Красоте — Добре.

Итак, что есть Истина? В самом распространенном о ней представлении — это то, что есть. Истина — совокупность всего сущего в противоположность тому, чего нет в действительности, то есть неистинному, ложному.

А что же есть Красота? Красота — это гармония всего сущего, истинного; это лад, соразмерность, со-меренность, с-миренность, мир всего со всем. Красота — образ, противостоящий безобразию, безобразности, несоразмерности, неладности, хаосу.

И, наконец, что же есть Добро? Это принцип красивого, ладного, с-миренного сосуществования всего истинного, сущего. Добро всему дает право на жизнь; все хранит и лелеет. Оно — принцип сохранения Истины и Красоты. Оно противоположно злу как началу разрушения, уничтожения, низведения образа до безобразия.

С точки зрения разума, логики в триединстве Красоты, Истины и Добра все три ипостаси равноправны, и каждая являет через себя две другие. В нашем языке это триединство обозначается емким словом «Мир».

Но логика — это еще не вся жизнь. Если в объединительном и как бы надчеловеческом понятии «Мир» все три ипостаси, кажется, равноправны, то в производном от него понятии «смирения» (понятии, характеризующем жизнедеятельность человека) явно верховенствует нравственный уровень смысла: поклонение Добру; и уже как производные отсюда предстают Красота (лад, со-меренность смиренного человека со всем миром), а также Истина (смиренное соприкосновение человека с мировой сущностью, дарующее миропознание).

Такая иерархия уровней в понятии «смирения» утверждалась веками, веками же проверялась она и в жизни народов. Оказывается, человек только тогда может сохранить в своем представлении (и со-

блюдать в своей деятельности) триипостасное единство Красоты, Истины и Добра, когда воспринимает Истину и Красоту через Добро и никак иначе. Слагаемые формулы меняются местами, когда человек противопоставляет свои эгоистические интересы окружающему его миру. Чтобы хоть временно преуспеть в индивидуалистическом предприятии, необходимо собственные интересы прикрыть видимостью заботы о всем и о всех. Такое прикрытие гораздо легче выстроить, основываясь на представлении об Истине или Красоте, нежели на кристально чистых и четких заповедях безотносительного Добра.

Превознесение Истины или Красоты дает простор субъективизму, эгоизму. Поклонение Истине и поклонение Красоте близки друг другу. Это два родственных извода единой субъективности. На Истину уповают философы-рационалисты и политики. Часто они объединяются в достижении общей цели — господства над умами и телами. Но Истина бесконечна, а человек смертен, ограничен в своих умственных способностях; ему доступны только частные, относительные истины, которые он в своих интересах (и на свою беду) норовит возвести в ранг Абсолюта, выписать с большой буквы, выписав одновременно с нее же и себя. Тогда человек начинает поклоняться рукотворным кумирам — своим собственным раздробленным отражениям (будь то портретно-скульптурно-литературный образ любимого вождя или же какая-нибудь кумиротворческая идея, вроде коллективизации сельского хозяйства, поворота рек вспять и прочего).

Добро, воспринимаемое сквозь линзы относительных истин, преломляется, дробится и оказывается столь же относительным. Все, что не укладывается в пределы избранной относительной истины и обслуживающего ее частного представления о Добре, естественно и неизбежно объявляется неистинным, несуществующим, недобрым, а потому подлежащим искоренению — акту раскрытия, доказательства *ничто*-жности всего запредельного, «чужого».

Желание подчинить мир своему разумению — это желание властвовать; в пределе играния таким желанием человек приходит к жажде уничтожения мира, ведь только в этом случае может реализоваться полнота власти. Правители, склонные к самообожествлению и «творческому» господству над миром, не останавливаются перед уничтожением человеческого «материала». Естественным при их противоестественном правлении оказывается сыноубийство. Так поступили Иван IV и Петр I, в этом духе относился Сталин к собственным детям и к родственникам своих ближайших подчиненных. Таков же и гоголевский Тарас Бульба (во время работы над повестью Гоголь преподавал историю в Петербургском университете и мог профессионально заинтересоваться этой проблемой; несколько раньше он откликнулся восторженной рецензией на пушкинского «Бориса Годунова». У Пушкина правитель убивает опекаемого им царевича, и на этом злодеянии заметны отблески совершенного еще Иваном Грозным сыноубийства).

В пословицах и поговорках народ издревле выражал свое недоверие к истине, правде, доступной человеческому разумению. Вот несколько примеров из сборника Даля «Пословицы русского народа»: «Правда твоя, правда моя, а где она?»; «Всяк правду любит, а всяк ее губит»; «Правда свята, а мы люди грешные»; «Правда у Бога, а кривда на земле».

Осознав изначальную порочность человеческого разумения истины, Достоевский заметил: если бы ему доказали, что Истина не с Христом (олицетворением Добра, в представлении писателя), то он предпочел бы быть с Христом, а не с истиной.

Достоевский в России как бы противостоял своему немецкому современнику — Ницше, в философии которого индивидуалистическое упование на Истину и Красоту нашло одно из крайних воплощений. Истина и Красота, по Ницше,— это сила; идеал — сверхчеловек, провозгласивший смерть богов и посмеявшийся над смирением: «И когда я кричу: „Проклинайте всех трусливых дьяволов в вас, всегда готовых жалобно скулить, складывать крестом руки и поклоняться" — они восклицают: „Заратустра, безбожник!» 〈...〉 Эти учителя смирения! Всюду, где есть ничтожество, болезнь и струпы, ползают они, как вши; и только отвращение мое мешает мне давить их» («Так говорил Заратустра»).

Случилось так, что идеи Достоевского в русской литературе временно отодвинулись на задний план, а ницшеанство выдвинулось вперед и нашло яркое воплощение, например, в творчестве Горького. Нам со школьной скамьи памятен монолог Сатина: «Человек — свободен... он за все платит сам 〈...〉 Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! — это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном! 〈...〉 Это огромно! В этом все начала и концы... Всё — в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» («На дне»).

Можно спорить, насколько слова шулера близки убеждениям Горького, но нельзя не заметить, что в той же пьесе внутренне близкий Сатину Лука занимается проповедью сознательно выдуманно-

го им бога, а Горький спустя несколько лет всерьез займется «богостроительством» — построением религии самообожествляющегося человечества. Но главное даже не это, а то, что поколения советских людей чуть ли не наизусть заучивают в школе слова шулера и видят в них гимн Горького в честь человека и венец человеческого самосознания.

Духовное настроение самообожествляющегося человека Горький назвал «гордостью», вкладывая в это слово сугубо положительное значение. Но человечество издревле (во всех основных мифологиях и религиях) понимало «гордость» прямо противоположным образом, и это понимание запечатлелось, в частности, в перлах русской народной мудрости: «Гордым быть — глупым слыть. Спесь — не ум»; «Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать»; «Не ищи мудрости, ищи кротости»; «Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился; а мы гордимся, куда годимся?» (В. Даль. «Пословицы русского народа»)

Гоголь, наиболее традиционный, христианский из писателей послепетровской «просвещенной» эпохи, в заключение своего итогового произведения — «Выбранных мест из переписки с друзьями» — назвал два главных вида гордости, поразивших человечество в новое время: «гордость чистотой своей» и «гордость ума». Имея в виду «чистоту» нравственную и знаменательно отождествляя ее с душевной «красотой», Гоголь указал на неразрывную связь между эгоистическим раздроблением Истины, Красоты и раздроблением Добра.

Как христианин Гоголь видел в гордости и смирении не только психологические, но и мистические реальности. «Духом гордости» назвал он «диавола» («Выбранные места из переписки с друзьями»). По преданию, сатана, некогда верховный, светозарный ангел, обольстился своим могуществом и возомнил себя превосходящим самого Бога-Творца. Тем самым он положил начало гордыне («гордость» этимологически восходит к словам, означающим набухание, возвышение над положенным уровнем, нарушение меры, со-мерения, с-мирения всего со всем). Гордость — болезнь, нарыв, надрыв и отрыв; это отпадение от мировой гармонии, красоты; сатана, положивший тому начало, первый и обезобразился, превратился из блистающего светом в черного, в «князя тьмы». Гордость приводит человека к поклонению «истине» и «красоте» — этим опорам самолюбия.

Красота, если ее положить краеугольным камнем мировоззрения, так же, как Истина, легко становится податливой, текучей, удобной для разных частных толкований. «О вкусах не спорят». «На вкус, на цвет товарища нет». На спасительность Красоты чаще полагаются люди искусства. На деле это оборачивается обоснованием собственного эгоцентризма.

Красота предполагает точку зрения индивидуума, определяющего гармонию мироздания по отношению к самому себе. Здесь так же, как и в случае с Истиной, портит все неизбежная ограниченность, ущербность субъективной точки зрения. Красота связана с человеческим самоуслаждением, хотя бы и «не заинтересованным» (Кант). Всякое наслаждение, даже «бескорыстное», коренится в эгоизме, коль скоро оно осознано и становится именно наслаждением. Красота, не управляемая Добром, так же, как Истина, дробится и дробит Добро на мириады нравственных норм, призванных обслуживать интересы отдельных людей или группировок.

Такая красота расставляет перед человеком множество нравственных ловушек. Она оборачивается безобразием, злом. Она страшна, зловеща, гибельна. Это красота панночки, которая по ночам оказывается старой ведьмой; это красота живого трупа: «страшная, сверкающая красота!» («Вий»). Красота полячки заставляет Андрия забыть и предать все на свете — и Бога, и родину, и родителей: «Отчизна моя — ты! 〈...〉 И все, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну». Андрий сотворил из девушки кумира собственного вожделения («как прекрасная статуя смотрела она ему в очи»). Или, например, в «Невском проспекте» неотразимым очарованием влечет к себе художника Пискарева красота продажной женщины, но все кончается самоубийством художника, поклонившегося красоте. Так же понимает самодовлеющую красоту и Пушкин, когда изображает в «Египетских ночах» Клеопатру, торгующую собой в обмен на жизнь любовников.

Только Добро в его четких и немногих заповедях, лучше всего сформулированных в Евангелии, не позволяет человеку уклонять поступки и мысли к самодовольству. Добро обязывает преодолевать неизбежную ущербность частной человеческой точки зрения на мир, заставляет полюбить мир, думать о нем, заботиться о нем, быть с-миренным. Любовь эта может быть поначалу вынужденной, но зато уж она всегда объективно действенна: явлена, реализована в словах, делах, чувствах.

Если практика в деяниях человеческих оказывается критерием Истины, то Добро — критерием практики, ее истинных целей. Заповеди Добра не позволяют выведения какого-то среднеарифметического блага, составленного из добрых и злых поступков. Заповеди Добра либо нарушаются, либо нет. Зло всегда опознаваемо,

всегда порождает только зло и не может быть средством к достижению Добра.

Там, где забывается безотносительность Добра, там утверждаются ущербные разумение истины и чувствование красоты. И тогда вновь и вновь возникает безобразие духовной инквизиции, присваивающей себе полное право рассуждать, судить и осуждать; тогда прекрасные иконы колются на дрова или, что, может быть, еще безобразней, делаются предметом постыдного торга; тогда взрываются чудесные храмы или, что, может быть, еще отвратительней, отдаются под склады мыла с надлежащей вывеской, гордо повествующей о характере «арендатора». И как знамение всеобщего безобразия нелепый штырь царапает низкое скорбное небо над Казанским собором в Ленинграде, а новгородское Ярославово дворище превращается в печальное кладбище «памятников архитектуры». Туристам это кладбище представляют родником национальной духовности. Кого этим обманывают? Себя. Людей, имевших возможность приобщиться к таинственной благостности и красоте живого богослужения в знаменитых соборах Италии, Франции, Германии, не привлечешь намертво заколоченной дверью и табличкой с датами. Вместо того, чтобы вернуть град Китеж на свою землю, мы отпугиваем гостей упорным нежеланием соединиться с ними в доверительном прошении о благе всего мира.

Можно посмотреть на проблему и с другой стороны: религия сохраняет заповеди безотносительного Добра, а от их сохранности зависит полнота умственной жизни народа и, как заметили практичные американцы, уровень экономического развития страны.

Но вернемся к «Тарасу Бульбе». Ясно, что толковать эту повесть как «русский апофеоз» можно только в русле эстетического (жаждущего красоты) или же рационалистического (уповающего на истину) понимания действительности. Если в школьном учебнике «Тарас Бульба» оценивается с точки зрения «истины», а именно — того представления о ней, которое выкристаллизовалось в эпоху сталинизма, то И. Золотусский в своих оценках более склоняется к эстетизму. Впрочем, подходы эти родственно взаимопроникают и приводят к одинаковым выводам. Выводы сделал уже Белинский сразу после выхода повести Гоголя. Школьный учебник превратил Белинского в кумира, И. Золотусский также многое усвоил из творческих принципов этого критика.

Белинский мечтает о временах, когда в России, как и в Западной Европе «законы изящного» будут определяться с «математической точностью» («О русской повести и повестях г. Гоголя»). Оценивая «Тараса Бульбу», Белинский уже готовился в глубине души к принятию идей социализма и революционного насилия. А для этого надо было лишить заповеди Добра их абсолютности и суметь, когда необходимо, посчитать любовь и смирение злом, а ненависть и разрушение — благодеянием.

Все в «Тарасе Бульбе» восхищает Белинского, во всем он видит огненное играние чистой красоты, «драгоценные перлы поэзии». С восторгом пишет он о «героической гибели старого фанатика, который не чувствовал своих ужасных мук, потому что чувствовал одну жажду мести к враждебному народу». «Ослепленный» яркими «красками», критик, конечно, не обращает внимания на такую «мелочь», как удар обухом, дважды обрушившийся на голову кричащего Тараса в то время, как под ним уже разгорелся костер. Если бы писателю нужна была высокая героическая смерть, он не осложнил бы ее такой деталью, как не сделал ничего подобного при описании казни Остапа.

Обухом глушат свинью перед тем, как заколоть и палить тушу. Свинья в мире Гоголя — животное нечистое и в таковом виде действует в сборнике «Миргород» в двух повестях, следующих за «Тарасом Бульбой». Алчный задранный пятачок свиньи, ее раскормленная плоть стали древним символом гордыни, символом телесной оболочки, несущей в себе нечистых духов, которые и ведут ее к погибели. В начале повести подчеркивается дебелость Тараса: «Бульба вскочил на своего Чорта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст». Не случайно и то, что гордый, лукавый герой носится повсюду на коне по прозвищу Чорт, то есть как бы водится с чертом.

Известна евангельская история о том, как Христос изгнал злых духов из бесноватого человека и позволил им войти в стадо свиней; свиньи, ведомые бесами, понеслись к обрыву и пропали. Достоевский взял этот евангельский фрагмент эпиграфом к роману «Бесы». Он соотнес взбесившихся «свиней» с типом «бесноватых» людей, которые говорят одно, делают другое и думают только о своих интересах, о своей власти над народом. Несомненно, этот психологический тип нашел воплощение уже в «Тарасе Бульбе».

Белинский, Золотусский и многие другие толкователи Гоголя не обращают внимания на то, что в «Тарасе Бульбе» есть два уровня оценки, осознания событий и характеров: один, лежащий как бы на поверхности текста, принадлежит некоему «повествователю», от лица которого излагается сюжет. Это уровень эстетической по преимуществу оценки; в большинстве случаев именно она привлекает к себе внимание и не позволяет заметить, что в повести есть и другой, глубинный уровень мировосприятия, свойственный уже реальному автору — Гоголю; на этом уровне все осознается в понятиях нравственности.

И. Золотусскому мнится, что «дух Гоголя летает среди битвы ⟨...⟩, хочет защитить своих», что это Гоголь «не может молчать, видя их неразумие или грозящую им опасность: „Не добивай, козак, врага, а лучше поворотись назад!“». Но если следовать принципу поверхностного восприятия текста, то получится, что и в «Страшной мести» при описании боя с поляками сам Гоголь восклицает в упоении: «Руби, козак! гуляй, козак! тешь молодецкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны ⟨...⟩ Коли, козак! гуляй, козак! но оглянись назад ⟨...⟩». А между тем в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Диканьки» сказано, что повесть эту, входящую в состав цикла, «рассказал» некий «страшный» повествователь, имя которого «издатель» Рудый Панько даже боится на ночь поминать. Отождествлять стиль, взгляды этого повествователя с Гоголем — все равно, что отождествлять писателя с любым из героев повести, например, нечестивым колдуном.

Цикл «Миргород», в состав которого входит «Тарас Бульба», представляет собой, как указано в подзаголовке, «повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“», а значит, цикл этот построен по тому же принципу не прямого, а двухуровневого повествования, когда реальный автор скрыт за спиной рассказчика и не совпадает с ним по взглядам.

Кто не учитывает этой особенности, кто очарован «эстетическим» уровнем повествования, тот должен приписать Гоголю любование такой, например, «красивой» картиной: «А Кукубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь и выкрасила весь, обшитый золотом, желтый кафтан его». При таком понимании Гоголь должен бы сочувствовать своему Бульбе во всех его «блистательно» описанных делах и помышлениях, например, в намерении отомстить возлюбленной своего Андрия: «Не поглядел бы на ее красоту, вытащил бы ее за густую, пышную косу, волок бы ее за собою по всему полю, между всех козаков. Избились бы о землю, окровавившись и покрывшись пылью, ее чудные груди и плечи, блеском равные нетающим снегам, что покрывают горные вершины». Есть в этом мечтании какое-то затаенное наслаждение, а оно — первый признак и главное условие восприятия «красоты».

Эстетизм заставляет И. Золотусского восхищаться красотою духа Тарасова, когда казак, объятый пламенем разложенного под ним костра, кричит: «Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!..» При взгляде на «дальние и близкие народы» как на объект «покорения» вся жизнь становится битвой. Битва — это «пир», «бал», «поэзия», «труд»: словно жемчуг на нитку, нижет сравнения И. Золотусский. Тарас стремится к состоянию непрерывной войны, потому что именно тогда он, подобно кошевому (которым втайне руководит), превращается из «робкого исполнителя ветреных желаний вольного народа» в «неограниченного повелителя», в «деспота, умеющего только повелевать». Остается догадываться, на какие «великие дела» призывает Гоголь (по мнению И. Золотусского) Россию, и что за «государственная идея» выражена писателем.

А между тем Гоголь, перерабатывая «Тараса Бульбу» для второго издания, ввел в текст несколько принципиальных подсказок насчет того, как воспринимать краски эстетизма, играющие на поверхности повествования. Из подсказок назову важнейшие. В финальном абзаце появляются птицы, отраженные «речным зеркалом», и среди них — «гордый гоголь». Это намек на стиль, художественное мировоззрение «рассказчика» — того неистинного «Гоголя», гордого, эстетствующего, от лица которого передаются события.

Глядеться в зеркало на собственное отражение — излюбленный у Гоголя символ гордого взгляда на мир, когда человек склонен учитывать только собственные прихоти. В первой книге Гоголя — «Вечерах на хуторе близ Диканьки» — любуются своим зеркальным отражением капризные красавицы: Оксана, Параска; «зеркальной» образностью проникнуты «Майская ночь» и «Сорочинская Ярмарка», повести, «рассказанные» гордым паничем Макаром Назаровичем — а рассказывал он, выставив перед собой палец и глядя на его кончик; он, словно богтворец, порождал свой мир из себя самого, выводил его из пальца, не заботясь о слушателях.

Другим дополнением-подсказкой стала сцена богослужения в католическом храме осажденного польского города: «Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра

⟨...⟩. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кадильный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. ⟨...⟩ В это время величественный стон органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые раскаты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко над сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса ⟨...⟩». Всею силой, всею внушающей энергией художественных образов Гоголь убеждает нас: Правда, Красота, Бог не с Тарасом и «товарищами», а с теми, кто несчастен и слаб, с людьми, которые искали спасения от Тараса в алтарях.

Главная причина искажений в толковании «Тараса Бульбы» и многих других произведений Гоголя кроется в недостаточном внимании к смыслу, который писатель, следуя древнерусской традиции, вкладывал в слово «гордость». И. Золотусский, исходя из поздних сочинений и писем Гоголя, довольно точно понимает смысл гоголевского слова «смирение». Но вот гордость для И. Золотусского едва ли не положительное качество души. Он, например, замечает, что в «Тарасе Бульбе» «все бешено»: и горелка «бешеная», и Тарас Бульба «бешеный», и конь его — Чорт — бешеный, и «бешеной веселостью полыхает Сечь». И с точки зрения критика это хорошо. Он не чувствует то, что весьма значимо для Гоголя: в слове «бешеный» корень «бес»; «бешеное» то, в чем угнездился нечистый дух, что подчинилось бесу, подобно бесноватому и свиньям из евангельской притчи.

«Гордость» и «смирение» — понятия парные, соотносительные. И если гордость И. Золотусский понимает не по-гоголевски, то в конечном счете ущербным у него оказывается и понимание смирения. Толкуя сочинения Гоголя, И. Золотусский не обращает внимания на то, что писатель одновременно с прославлением смирения развенчивает гордость в разнообразных ее проявлениях. Порою принимая развенчание за похвалу, а подлинную похвалу не замечая, критик буквально выворачивает наизнанку смысл гоголевских произведений, не всех, но многих.

Подобная идеология вновь и вновь воспроизводится в популярных переизданиях книг И. Золотусского о Гоголе и вступает в противоречие с публицистическими высказываниями критика. Так, в споре с А. Ланщиковым И. Золотусский выразил близкую Гоголю мысль о необходимости примирения противоположных точек зрения во имя достижения большей полноты истины: «Храм Христа Спасителя ⟨...⟩ объединил под своим куполом горе, величие, боль. Там соединились и грешные, и негрешные, именитые и безымянные. Всех их соединила идея согласия, близости, уважения к каждой человеческой жизни, а не идея раздора, размежевания, сведения счетов» («Литературная газета», 1989, № 1). Эта справедливая мысль находится в странном несоответствии с многим из того, что И. Золотусский написал о Гоголе: в книгах Гоголя критик нередко не желает видеть подлинного смирения и, напротив, принимает за смирение самую отъявленную гордыню.

Восприятие классики, словно зеркало, отражает духовное состояние народа. Особенно болезненно и чувствительно на развитии общества сказываются те толкования, которые навязываются подрастающим поколениям в школе. С Гоголем, как видно, дело обстоит крайне неблагополучно. Но идеология едина, и можно с уверенностью предположить (а предположение легко проверить!), что сходным образом в школьных учебниках объясняются и другие писатели, например, Пушкин.

Пушкин и Гоголь — две равновеликие и близкие по духу личности; они, если воспользоваться мыслью Гоголя о Жуковском и Пушкине, заложили «страшные граниты» в фундамент нового храма русской словесности. И крайне отрадно, что о Пушкине появилась-таки книга, которая сейчас так необходима. Ее написал Валентин Семенович Непомнящий и называется она «Поэзия и судьба» (первое издание — 1983 год, второе, дополненное,— 1987).

Автор смотрит на большой мир и на духовный мир Пушкина с точки зрения заповедей Добра, то есть с той единственной точки зрения, которая не уклоняет от Истины и Красоты и которую единственную только признавал и выражал в своем зрелом творчестве сам Пушкин (как признавал и выражал ее чуткий ученик Пушкина — Гоголь).

Расширенный вариант книги В. Непомнящего о Пушкине появился одновременно с последней, итогово сжатой книгой И. Золотусского о Гоголе, чем оказалось еще более подчеркнутым духовное противостояние авторов. Противостояние это выразилось уже в заглавиях книг, включающих в себя одно и то же слово «поэзия» (в значении искусства, творения красоты). Контексты заглавий придают общему, казалось бы, значению весьма различные оттенки.

У И. Золотусского — «Поэзия прозы». Художник исключительно своею творческой силой преобразует «прозу» жизни в «поэзию», из хаотичной материи созидает красоту (так и Тараса Бульбу критик ценит за то, что тот «воле провидения» противопоставляет собственные «силу и волю духа»). И. Золотусский любит повторять мысль Гоголя о возведении «презренной жизни» в «перл создания», но

забывает, что у Гоголя в тех же «Мертвых душах» она поправляется другой: человек без помощи свыше, без «божьего чуда» ничего не может. Художник у Гоголя — пророк; он пророкает то, что вложено в его уста действительным Творцом всего сущего, всей Красоты, Истины.

Именно так понимал созидание Красоты и Пушкин. В. Непомнящий не прошел мимо этого понимания и вынес указание на него в заглавие своей книги: «Поэзия и судьба». Творение Красоты, по Пушкину, есть смиренное, послушное служение сверхличным велениям. В. Непомнящий убедительно показывает, как Пушкин пришел к такому взгляду в зрелом творчестве, как этот взгляд вполне обозначился уже в «Пророке» (1826) и через десять лет нашел итоговое выражение в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

«Судьба» — это Про-мысел, «божья воля», божья мысль («Веленью божию, о муза, будь послушна...»); это надчеловеческая воля, мысль, понимание Истины. Красота, Истина являются узкому человеческому сознанию исключительно как «воля божия», и заключена эта воля в заповедях Добра, требующих от человека неукоснительного исполнения. В смиренном служении Добру открывается людям истинная Свобода (которой они тотчас лишаются как только отступают, отпадают в хаотическую, исполненную нелепых случайностей и безобразных, унизительных неожиданностей область зла):

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

В служении Добру состоит Правда искусства и «нерукотворная» его Красота, неподвластная всему только «земному», только «человеческому»: «толпе», «черни», «власти» («Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа»). Смиряясь перед истинным величием, поэт возносится над ничтожеством, претендующим на величие.

В таком состоянии человек не обращает уже внимания на субъективные, односторонние, ограниченные и в конечном счете ложные помыслы об Истине (и только о ней):

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
(«Из Пиндемонти». 1836).

Неизбывной «глупости» человека самого в себе Пушкин противопоставляет обретенное им мудрое ведение Бесконечности:

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца;
Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца.

Александр
РУБАШКИН

РОЖДЕННЫЕ «ОТТЕПЕЛЬЮ»

В 1954 году с легкой руки Ильи Эренбурга пошло гулять слово «оттепель», обозначившее целую эпоху. Оно опередило время. Рубежом стал Двадцатый партийный съезд, хотя оцепенение сталинских лет начало спадать чуть раньше. Для тех, кто едва кончил институты или учился в них в середине пятидесятых, «оттепель» явила новые представления о мире и жизни. Усвоенное в школе оказалось ложью, сказанное сегодня стало горьким откровением.

Сложилось так, что с начала шестидесятых я стал причастен к литературному процессу не только как критик, но и как редактор книг своих сверстников или тех, кто был на несколько лет моложе. Молодые шли к нам, в «Советский писатель», на третий этаж Дома книги. В «Художественной литературе» их не ждали. Да и в Лениздате — тоже. Во всяком случае, судьба всех тринадцати поэтов, чьи произведения собраны в книгу «То время — эти голоса. Ленинград. Поэты „Оттепели"» (1990), связана с издательством, которое выпустило сборник, составленный Майей Борисовой.

В аннотации сказано, что это стихи, «в большинстве своем никогда не публиковавшиеся в книгах». Таковы были реалии тогдашней жизни. Авторы сами не предлагали некоторые свои произведения из-за их «непроходимости». «Мне было пять неполных лет. Я вдруг стал сын „врага народа". Могли ли мы с Вадимом Халуповичем предлагать такие строки главному редактору в 1967-м? Понятно, что книга «И нет мне отпуска» вышла без этих стихов, да и всей темы, столь органичной для Халуповича. Я перелистываю «свои» книги тех лет — М. Борисовой, В. Халуповича, С. Давыдова, А. Городницкого, Л. Агеева. Мы не покривили душой, но порой шли на уступки обстоятельствам. Я не диктовал свою волю: все, что можно было (и кое-что сверх того), приходило к читателю. Но позволю себе привести слова из дарственной надписи Леонида Агеева на книге «Лица встречных» — «политое общей кровью творенье — павший не смертью храбрых автор...» Сейчас не упомню наших общих потерь. Но, подписывая книгу в печать после смещения Н. С. Хрущева, мы уже недосчитывались «Встречи поэтов с 1937 годом» с пронзительными завершающими строками: «Нагруженные хмелем и стихами, про время вспоминали с петухами... А будущее их уже стояло, примкнув штыки за тоненькою дверью». Впрочем, не только эти стихи Агеева, но и другие явно противостояли официальному отображению жизни. Теперь они воспринимаются как документ эпохи.

Так же естественны в сегодняшнем нашем восприятии и стихи Халуповича «Реабилитация», «Не удивляйся подлости людской...» Мне доводилось выступать с этим поэтом, помню, как апробировал он на аудитории рискованные тогда стихи о «маскараде» в общественной жизни, о своем погибшем в лагере отце, наконец, о вынужденных отъездах, эмиграции людей из страны:

Обиды, зажатые в горсть,
Душе дай умножить стократно,
Уехать за тысячи верст,
Без права вернуться обратно,—
Как будто исчезнуть навек
Для этого мира и неба,
Для этого черного хлеба,
Для этих медлительных рек...

(1968)

Много ли таких, украденных у читателя стихов? Чтобы ответить, представим рояль без какой-то клавиши. В той или иной мере звук искажался, представление о творчестве было неполным. Цикл Халуповича называется «Птенец надежды», цикл Александра Кушнера — «Из запасника».

Сейчас имя Кушнера не нуждается в рекомендациях. Журналы ждут его стихов, он ездит по приглашению за границу — в Штаты, во Францию. Но я помню то время. Каждая его книга шла с трудом. Сборничек «Первое впечатление» (1962) по выходе в свет получил хлесткие удары за «мелкотемье». К своим подборкам в сборнике 1990 года авторы написали короткие предисловия. Вот признание Кушнера: «...Провести черту между опубликованными и неопубликованными стихами нельзя: многое из того, что удалось напечатать в книгах, могло и не увидеть свет; просто мне повезло с редактором И. Кузьмичевым, старавшимся опубликовать даже то, что другому на его месте показалось бы невозможным». К Кушнеру недоверчиво относились наши «соседи по этажу», «горлитовцы»: чувствовали некасенность, неординарность, раскованность его поэзии. Уже после напечатания некоторых вещей шли сигналы в партийные органы. Помню, Ф. Абрамов сказал мне, что объяснялся то ли в обкоме, то ли в горкоме по поводу стихотворения Кушнера, в котором говорилось, как мерзнут на ветру статуи Летнего сада. «Я повторял, что в стихотворении нет никакого второго плана, а эти ценители пытались убедить меня, что речь идет о нашей общей атмосфере, в которой даже скульптурам холодно. Еле отбился...»

Кушнера упрекали в отсутствии гражданственности. Он ответил на эти упреки утверждением: «...Я не мог бы провести черту меж „гражданственными" и „негражданственными" стихами. По-моему, все стихи — гражданственные, по любой строке поэта, даже если в ней идет речь о любви или о дожде, можно сказать, как поэт относится к тирании и что он думает по поводу гражданских свобод». Ответил Кушнер и стихами, хранившимися долгие годы в письменном столе, такими, как «Заснешь с прикушенной губой...», посвященными И. Бродскому еще в 1964 году, или «Вижу крашеные доски...» с эпиграфом из О. Мандельштама («Мы с тобой на кухне посидим») и более чем прозрачными строками:

Как назвать эпоху эту,
Высшей милостью своей
Разрешившую поэту
Прямоститься у дверей?

Давно уже видно, что поэзия Кушнера, как и стихи его товарищей, помогали приходу иной эпохи. Не случайно отношение к этому поэту как к старшему — и у Халуповича, и у Городницкого, хотя родились они года на три-четыре раньше. Но сама поэзия не знает старшинства. Сила ее — в индивидуальности голоса. А он свой у Кушнера и Халуповича, В. Сосноры и В. Британишского, Н. Слепаковой и А. Городницкого.

Александр Городницкий — Алик Городницкий — известен был своими песнями, исполняемыми под гитару. Их пели в экспедициях, на студенческих вечерах, в пригородных электричках. Иногда они становились предметом пародий. Помните? «Над Пекином небо сине, вдоль трибун вожди косые...» У Городницкого было «над Канадой» и без всяких вождей. Но все решали последние строки: «Хоть похоже на Россию, только все же не Россия». Смеялись не над поэтом...

Мы готовили с Городницким первый его поэтический сборник — «Атланты», названный по одноименному стихотворению. «Атланты держат небо на каменных руках» — кто тогда не знал этих слов? Работали мы без горячих споров, автору стихи-песни нравились, а меня несколько беспокоил дальнейший путь поэта: как бы он не остался у костра с гитарой, не стал повторяться. Время становилось все жестче, романтические надежды оттепели таяли, как дым. Отрезвление наступило в августе 1968...

Однажды Городницкий пришел, возбужденный сделанным ему предложением выступить по телевидению. Тогда авторов этого сборника на радио и телевидение не очень звали, там звучали иные голоса. Поэт удивился реакции своего редактора. Я сказал:

— Кажется, придется выбирать — или выступление или книга. Кому-то не понравятся песни, кто-то позвонит в издательство. И все.

Это не было перестраховкой. Ленинградцы помнят, как *кто-то* выставил из города Сергея Юрского. Тоже из-за выступления на телевидении. А вот мои опасения о будущей судьбе поэта оказались напрасными. Городницкий не остался автором романтических песен. Он пошел дальше. И то, что он поет,— не просто тексты. К сожалению, я не нашел в сборнике таких стихотворений, как «Перечитывая Фейхтвангера», «Ах, зачем вы убили Александра Второго». Но с волнением читал стихи о Кюхельбекере, Ахматовой, о таких непохожих памятниках Гоголю («Два Гоголя»). Я встретился здесь одновременно с Городницким прежним и новым.

В начале шестидесятых трех поэтов называли вместе — А. Кушнера, Г. Горбовского и В. Соснору. Между тем они вовсе не походили друг на друга: вроде бы традиционный Кушнер, топорщущийся, нервный Горбовский; не всегда и себе понятный, яркий, перегруженный метафорами Соснора. У них был общий редактор, но первые два поначалу проходили с трудом, а Виктору Сосноре повезло — его сразу поддержали Н. Асеев, Д. Лихачев и К. Симонов, благословив «Январский ливень» (1961). Всех трех молодых поэтов одинаково не любил руководитель нашей писательской организации А. Прокофьев. Однажды, после конференции молодых писателей, я даже сказал с трибуны, что Александр Андреевич еще будет гордиться тем, что примет в наш союз этих поэтов. В Союз писателей Прокофьев их принял, а чуть позже взял позор на свою голову, участвуя в травле И. Бродского...

В начале шестидесятых, когда начался поход против интеллигенции и доставалось всем подряд — от Эренбурга и Абрамова до Сосноры и Э. Неизвестного, Виктор читал мне стихи из своего греческого цикла, полные горечи и иронии. Понятно было, почему поэт вспомнил о Прокрусте, который «длинные ноги обрубит, короткие ноги дотянет». Конечно же, вызовом «эгидодержавным богам» становились такие стихи 1963 года:

Мы, эллины, бравшие бури,
Бросавшие вызов затменьям,
Мы все одинаковы будем,
Все — метр шестьдесят сантиметров.
Рост средний. Вес средний. Мозг средний.
И средние точки зренья...

Сегодня такими стихами никого не удивишь — и не то читаем, но это — страница истории нашей поэзии, да и недавней жизни. А что, если вновь появятся в ней Прокрусты?

Тот, кто знакомится лишь сегодня с Глебом Горбовским, прозаиком и поэтом, солидным и внешне спокойным, не представит себе тогдашнего молодого человека, живущего редкими публикациями и такими же редкими заработками. Такое существование диктовало жесткие строки, запоминавшиеся сразу и навсегда: «Я на солнце гляжу раскаленными злыми глазами, а потом закрываю глаза на железный засов».

Меня не удивили в большой подборке Горбовского ни «Песенка бедных художников», ни «В ресторане», ни «Кафе „Уют"». Так или иначе эти настроения прошли через все раннее творчество поэта.

На лице твоем порода
Чуть наметила скулу...
Это плачет непогода,
Слезы льются по стеклу.

Читая «пропущенные стихи» поэта, вижу прежде всего то, что оставалось за кадром. Тут некоторые вещи кажутся программными. Таково, например, звучащее как манифест неподвластности художника какому бы то ни было нажиму стихотворение «Мне говорят». В 1962-м ни один редактор не «пробил» бы его. Оно дождалось свего часа.

Мне говорят: пиши о Ленине,
пиши, дурак, и процветай! —
как будто я — иного племени.
Я свой! И душу — не замай.

Отвергает поэт и призывы — «пиши о Родине» («как будто можно... не о ней?!») или же — «пиши об Истине». Он стоит на своем: «А вы попробуйте, чтоб искренне, хотя бы букву о себе!» Горбовский писал, не слушая, что ему посоветуют, писал искренне, не однажды возвращаясь к мысли о времени и судьбе и даже о бренности существования. Десятилетие разделяет стихотворения «Памяти поэта» («В середине двадцатого века на костер возвели человека...»), посвященное Пастернаку, и «На лихой тачанке...» (1970). Трагедия одной человеческой жизни в первом и целого поколения во втором оказываются связанными. Сжигающие на костре и стоящие от него поодаль не счастливее обреченного на заклание.

На лихой тачанке
я не колесил,
не горел я в танке,
ромбы не носил,
не взлетал в ракете
утром, по росе...
Просто жил на свете,
мучился, как все.

Не увидим здесь «пессимизма», «очернительства», подумаем о глубинных причинах подобных настроений.

У Олега Тарутина от первой публикации до первой книги «Идти и видеть» (1965) прошло десять лет. И. Бродский смог напечатать лишь несколько стихотворений прежде, чем был выдворен из страны. Авторы сборника, к счастью, не разделили судьбы своего младшего собрата. Но ими, как пишет О. Тарутин,— «за право быть собой, за немыслимость предать свой талант заплачено сполна».

Видеть смешное в обыденном, озадачивать читателя (и критика), быть одновременно веселым и грустным умеет Тарутин. Он на «ты» с Наполеоном и Бисмарком, с героями тайной вечери, он чувствует трагедию бесполезной жизни шпиона, умирающего от болезни в чужой стране, к которой успел привязаться («Финал»). «Выступал в стенной печати, уважал перцовку. И женился очень кстати с целью маскировки». Думаю, стихотворение насторожило возможностью иного его прочтения, при котором можно было представить себе судьбу нашего, скажем так, разведчика...

Поэт сближает далекие понятия, переиначивает известное, добиваясь неожиданного эффекта: «Волхвы не боятся могучих владык до самого крайнего случая». Людям без фантазии такие странности непонятны, они на всякий случай (не дожидаясь крайнего) сдерживали молодой порыв. Не это ли повернуло бывшего геолога к прозе? Его стихи шестидесятых — продолжение и обновление той линии поэзии, которая почти исчезла у нас после обериутов.

Из всех поэтов, ощутивших нравственное влияние выдающегося наставника и учителя молодых Глеба Семенова, я в свое время «пропустил» одного — Владимира Британишского. Встречал его изредка в издательстве, но не больше того. Даже не читал толком. Тем дороже обретенное знакомство. Каким стремительным было повзросление студента-горняка, обнаружившего, что после школы у него «обоями ходячих истин оклеен череп изнутри». Может претендовать на хрестоматийную законченность такая характеристика оттепели, которая дана была Британишским через год после смерти тирана.

Весна растет неудержимо,
И, гордость прежнюю забыв,
Обломки старого режима
Уходят льдинами в залив.

Поэт поторопился, все мы тогда оказались слишком большими оптимистами. Эти обломки и сейчас не снесены до конца. Но важна решимость, позиция, а вот она подтверждается всей подборкой Британишского и, может быть, более всего стихотворением «Другой». В нем — резкое отрицание человека с чужим недобрым взглядом, глядящего сверху вниз на всех, не облеченных властью. Вкушающий в казенной машине «необъятным задом пружиннокожаный покой» сей персонаж дается почти фельетонно. Но это — вызов всему, что теперь называют «административно-командной системой». В 1956-м поэт мечтал, что еще разберется, в чем же разница между ним и тем, «другим».

Когда я всю ее пойму,
Ох, будет весело ему!

Как говорят, устами поэта — пить бы мед...

Наиболее полное представление о поэзии Нонны Слепаковой читатели, на мой взгляд, получили из ее книги «Петроградская сторона». В настоящем сборнике Слепакова опубликовала две поэмы — «Мста» и «Мойка, осьмой час утра». Обе написаны в начале шестидесятых. Первая — своеобразные воспоминания детства, поэма семейная с вставным, рискованным для тех лет сюжетом (сын знакомых служит в Москве, в «органах», приводит в исполнение приговоры), другая — изложение легенды о Николае Первом, будто бы посетившем дом Пушкина в дни его умирания. Чувство эпохи передано так, что хочется верить этим переживаниям августейшего монарха, в которых проявляются некоторые человеческие чувства. Думаю, принеси эту вещь в редакцию более маститый автор, она бы не залежалась так надолго в запаснике. Хотя бдительный цензор мог бы и здесь поживиться, прочитав, скажем, «пусть родичи, любовники, друзья становятся полицией друг друга». Достоверно и... страшновато.

Согласимся, однако, с автором — ее вещи «не утратили своей молодой страстности» и потому читаются, словно бы написанные сегодня.

«Главным стихотворением» Майи Борисовой в этом сборнике следует считать самый замысел издания и его осуществление. Себя составитель представил не очень широко, благородно уступая место другим. Обращу все-таки внимание читателей на «Мраморщика», утверждающего независимость художника, отмечу и другое — «Правда искусства», задорное, вызывающее: «в литературные казармы пора впускать лукавый бунт». Мне же за этими стихами увиделось время, когда выходила первая в Ленинграде ее книга «Каменный берег». Что там «Мраморщик», если у цензуры вызвала возражение «Песня онежских деревянных церквей», в которой увидели проповедь религии («мы — озорные байки, озёрные баньки. Ты душу-то усталую помой, пары!»). Я не согласился с «соседями». Защищать «крамольные» стихи А. Н. Чепуров ездил опять-таки в Смольный...

Двенадцать авторов написали к своим разделам вступительные заметки, в одном случае ее не оказалось. Татьяна Галушко раньше всех ушла из жизни. Она не успела сказать о своих стихах, представить их. Это сделали ее товарищи. Они любовно собрали стихи, которые не входили в сборники и посвятили «То время — эти голоса» — «светлой памяти Татьяны Галушко...»

Галушко в издательстве (как и В. Британишского) редактировала Минна Исаевна Дикман. Отношения ее с Таней складывались по-особому. В отличие от почти всех авторов, Галушко не обременяла собой издательство, она исчезала на долгие месяцы, занимаясь своей основной работой в музее Пушкина. К Тане время от времени, выполняя просьбу редактора, посылали нарочных. Иногда эти обязанности я брал на себя, поскольку мы жили рядом. Я высоко ценил ее стихи о сыновьях, об Армении, ставшей ее судьбой. Иногда она читала еще ненапечатанное. И все же в сборнике, ей посвященном, открылись для меня новые стороны ее дарования. Тут и удивительная афористичность в стихах о переводах («О иностранцы, как вам повезло!»): «из Гете, как из гетто, говорят обугленные губы Пастернака...», тут и до боли совестливое «Прощание с другом. 1972». Снова — посвящение И. Бродскому.

Прощай. Всю жизнь прощай нам боль и стыд,
Душевный вой и тявканье в гортани,
Как тезка твой библейский. Фаворит,
Пророк иноязычников, годами
Средь подвигов и почестей святых,
Мечтал простить предателей своих.

Строки вряд ли справедливые, но свидетельствующие о высоте нравственного начала автора.

В сборник включены произведения еще двух поэтов, открывающие (Сергей Давыдов) и завершающие его (Лев Гаврилов). Я высоко ценю первого, примыкающего все-таки к фронтовому поколению, и второго, чьи сатирические произведения не всегда могли вовремя увидеть свет. Однако, мне кажется, публикация Давыдова и Гаврилова в данном случае не вполне органична. Они принадлежат к другим кругам (разным), и были по своим интересам несколько отдалены от поэтов «семеновского гнезда». Это не мешает мне отметить стихи Давыдова «С улыбки той убитой», «Страх», как и впервые услышанное мной на выступлении в далеком Омске стихотворение Гаврилова «Душа». Иные из вещей поэта-сатирика, к сожалению, не потеряли своей актуальности. Таково «Изобличать я никого не стану». После констатации, что «от Сталина остались пьедесталы, на каждом полустанке

пьедестал», следует тревожащее душу предупреждение: «я обещал, что обличать не стану, но забывать я тоже бы не стал».

Стихи обоих поэтов важны для характеристики времени, но, повторюсь, их произведения в сборнике стоят особняком.

Остается вновь назвать еще два имени, которые так или иначе проходят через всю книгу. Это поэт и наставник многих, начинавших в пору оттепели,— Глеб Сергеевич Семенов, и другой поэт, биографию которого, по выражению Анны Ахматовой, сделали своими гонениями власти предержащие,— Иосиф Бродский. Ему довелось поднять древко свободной поэзии. Товарищи его, пусть и не разделившие судьбы изгнанника, выдержали тяжелый пресс, не уступили давлению, поддержали древко. Различна сила их голосов, мера художественности, но велика искренность, стремление сказать о своем по-своему.

Книжку эту хочется читать, она вызывает раздумьи о том и этом времени. Она уже стала фактом истории нашей литературы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Андреев Л. Н. Драматические произведения. В 2-х томах. Л.: Искусство, 1989.

Леонид Андреев — автор вроде бы известный, но толком не читанный несколькими поколениями. Двухтомник, включающий две трети «большеформатной» драматургии, отделяет от предшествующего сборника пьес целое тридцатилетие.

Знавший толк и в бытовом жанре, и в комическом гротеске, Андреев главной для себя считал экзотическую для России форму философской пьесы-диспута, где сталкивались, решая вечные проблемы жизни и смерти, бунта и смирения, герои-идеологи. Не случайно в числе его последователей составитель и автор вступительной статьи Ю. Н. Чирва числит Брехта, Сартра, Ануя. Многие андреевские сюжеты тяготеют к трагедии. Правда, читая о раскольниковски долгой и мучительной подготовке к убийстау героя «Мысли», думаешь, что представления о трагическом за истекающий век весьма изменились. Что-то такое, впрочем, казалось уже Толстому: «Он пугает, а мне не страшно».

Содержательное предисловие заканчивается на неожиданной ноте. Напоминая расхожие определения метода Л. Андреева (символист, экспрессионист, реалист), автор предлагает свой ключ к разгадке — «романтическая природа творчества писателя». А уже на следующей странице Андреев объявлен «величайшим романтиком яачала XX века».

Может быть, может быть... Но Б. М. Эйхенбаум в конце жизни так ответил на популярный у литературоведов вопрос о «переходе от романтизма к реализму»: «Научное обсуждение вопросов о романтизме и реализме... требует коренного пересмотра традиционной и совершенно обветшалой системы историко-литературных понятий... Где у Пушкина, Гоголя или Мицкевича „переход от романтизма к реализму“? Это знают только авторы школьных учебников».

Двухтомник появился в недавно начатой серии «Библиотека русской драматургии». В ней уже вышли Чехов и Гоголь. А в ближайших планах — Гумилев, И. Крылов, Сухово-Кобылин, Плавильщиков. Громкие имена и просто фамилии — в одном ряду. Демократическая установка. Хотя сегодня в издательствах все чаще возникает вопрос типа: кому он нужен, этот Плавильщиков? Культурный слой должен наращиваться и в смутные рыночные времена. Пока есть бумага...

И. СУХИХ

Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Издательство Воронежского университета, 1990.

Первая в нашей стране книга, целиком посвященная Мандельштаму, включает неизданные воспоминания о последнем периоде жизни поэта, материалы о его воронежском окружении, фотодокументы, статьи М. Л. Гаспарова, Вяч. Вс. Иванова, М. Б. Мейлаха, В. Б. Минушевича... И все же не приоритет, не статьи известных ученых и даже не «Комментарий...» Н. Я. Мандельштам к стихам тридцатых годов, впервые изданный в СССР, делают воронежский сборник важнейшей вехой мандельштамоведения, а публикация машинописного свода «Новых стихов» (1930—1937), подготовленного И. М. Семенко (1921—1987). Дело не в том, что машинопись с двойной сетью поправок вдовы поэта и пометок исследовательницы дает полный и окончательный текст. Читатель не найдет здесь, например, «оды Сталину» («Когда б я уголь взял для высшей похвалы...») и «изменнических» (словцо Надежды Яковлевны) стихов савеловского цикла, посвященных Е. Е. Поповой; читатель может не согласиться, скажем, с предлагаемой конструкцией комплекса стихотворений, написанных на смерть Андрея Белого, в котором предпочтение отдано ранней редакции... Дело даже ие в том, что текст, подготовленный И. М. Семенко, на сегодняшний день (пишу эти строки до выхода объявленного «Худлитом» двухтомника) предстввляется наиболее правдоподобным и авторитетным, снимающим очевидные несуразности и дефекты, которыми изобилуют западные и периферийные издания — вашингтонское, ардисовское, таллиннское, тбилисское, петрозаводское...

Дело, прежде всего, в том, что публикация отражает настоятельную потребность в академическом, щедро комментированном собрании стихов Мандельштама. Она показывает кубическую сложность текстологических решений, возникающую на скрещении сложной поэтики, трудного человеческого характера и драматической судьбы текста, дошедшего до нас в незавершенных автографах, чужих списках, неточных припоминаниях и тенденциозных присочинениях. Эта специфика требует не столько установления «канонического» текста, сколько определения свода подлинных вариантов, очищения от пристрастной позднейшей ретуши. «Варианта „губить“ не было (он придуман Н. Я. М.)»,— комментирует И. М. Семенко строку «Будет будить разум и жизнь Сталин». В подлоге, совершаемом из самых благих побуждений, и не может быть ничего, кроме вреда, кроме позора: мертворожденное социально-заказаное стихотворение, гальванизированное «как бы живым» словом, становится вурдала-

ком, чья жертва — автор. И, напротив, «оду Сталину» нельзя отменить, забыть, посчитать небывшей, согласуясь с благоразумными пожеланиями, ибо эти страшные — да!, трагические — да!, безумные — да!, стихи — увы, гениальны.

Именно сращение всенародной и личной драмы с трагической судьбой текста и образует драматический сюжет публикации. Катарсисом, прояснением может стать только академическое издание.

А. ПУРИН

Анатолий Бергер. Подсудимые песни. М.: Прометей, 1990.

Мандельштам сказал как-то, что в нашей стране поэзию ценят гораздо выше, чем в других — за нее расстреливают.

В 1969 году, когда выпускник Ленинградского института культуры Анатолий Бергер был арестован и судим, за поэзию уже не расстреливали, но сроки давали немалые. Стихи молодого автора были оценены в шесть лет: четыре года печально знаменитых мордовских лагерей и два года сибирской ссылки. Этими-то «подсудимыми песнями» и открывается первый его сборник. Названные в приговоре «пасквилями», «песни» эти — прежде всего о России. Боль за свою родину, сыновнее к ней отношение подкупают в стихах тогда еще молодого поэта:

> Знаю, дней твоих, Россия,
> Нелегка стезя,
> Но в в этя дни крутые
> Без тебя нельзя.

У Бергера не встретишь, однако, никакой рифмованной слюнотечи на патриотическую тему. Он знает, что в России жить плохо, что в ней «запустенье, а величья нет», и тем не менее для него это земля, к судьбе которой он причастен.

Тюрьма и лагерь, переломившие жизнь поэта, не оставляют его и после освобождения, возвращаются к нему в снах. Сны тревожны, мучительны, а дневная жизнь — такая же, как у всякого среднего советского человека. Здесь и знакомый всем «лекарственный дух поликлиник» и маленькие радости вроде поездки за грибами. Эти мотивы в творчестве Бергера можно, пожалуй, назвать поэтическим оправданием обыденности.

Находит ли этот небольшой сборник с изображением колючей проволоки на обложке заинтересованного читателя?

Насколько мне известно, да.

С. СТРАТАНОВСКИЙ

Оклянский Ю. Дом на угоре (О Федоре Абрамове и его книгах). М.: Художественная литература, 1990.

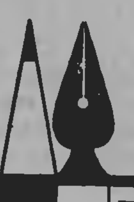
Даже нынешняя ее свирепость, ей же давшая повод поговорить о гражданской войне в литературе, не мешает критике нашей сохранять малую горсть имен, вокруг которых продолжает она прежнее, излюбленнейшее свое соцсоревнование: кто жарче поклянется в любви! И если, скажем, В. Васильев из «Нашего современника» клянется, что «новаторство и традиционность Ф. А. Абрамова, как художника и мыслителя, в тетралогии „Братья и сестры“ я вижу в серьезной и художественно состоявшейся попытке... создания современной „Войны и мира“», то А. Турков, критик совсем иного толка, спешит нас уверить, что «мировая литература знает много замечательных любовных сцен. Абрамов пополнил эту галерею...»

Охотно допускаю, что все произносимые хвалы вполне искренни — тайное их небескорыстие все-таки очевидно: взвинчивая градус комплиментарности, каждый из критиков пытается нам внушить, что «Абрамов с вами, он наш»; пытается приписать его к своему лагерю и противопоставить чужому. Не столько понять, сколько использовать.

На этом фоне книга Ю. Оклянского радует именно тем, что для него Ф. Абрамов не литературное знамя, а художник, чья судьба требует прежде всего осмысления, понимания. В этой книге трудно сыскать громокипящие клятвы в любви, хотя написана она с очевиднейшей любовью — той истинной любовью, которая не унижается до вычитывания «сияющего» и пропусков «темненького». Ю. Оклянский не обходит ни службы Абрамова в органах СМЕРШ, ни послевоенного участия в походе на «космополитов», ни статьи «В борьбе за чистоту марксистско-ленинского литературоведения»; не ищет он для подобных поступков и «смягчающих обстоятельств», житейского оправдания — что было, то было. Но важно понять — почему. Анализируя абрамовские романы, он беспощадно указывает на любой едва заметный след той соцреалистической лжи, которую сам Абрамов брезгливо именовал «пасторальным романтизмом», но из липкого плена которой не мог, конечно же, вырваться разом.

Перед нами не очередной сусальный портрет «современного классика», но попытка рассказать о мучительно сложном пути талантливого и совестливого сына жестокого века — века, презиравшего талант и отбрасывавшего «химеру совести». Талант и совесть раз за разом заставляли Абрамова вырываться из его железных идеологических объятий, но вырываться можно было лишь обдирая до крови бока, неся жестокие потери... Такое понимание пути героя и делает, по-моему, книгу Оклянского актуальной и интересной.

В. КАВТОРИН



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

С. МАРКОВ

В ПЕЩЕРАХ У КАЗАНСКОГО СОБОРА

Имя замечательного советского поэта и прозаика Сергея Николаевича Маркова (1906—1979) широко известно в нашей стране. Много раз переиздавались его исторический роман «Юконский ворон», художественно-биографические повествования о Чокане Валиханове, Миклухо-Маклае, популярностью среди любителей отечественной истории пользуются книги «Земной круг», «Вечные следы», «Летопись» — обширные своды сведений о географических открытиях, совершенных русскими людьми, о неожиданных находках, заставляющих по-новому взглянуть на многие события истории.

Сергей Марков родился на костромской земле, в посаде Парфентьеве (ныне — районный центр Парфентьево, где его именем названа одна из улиц), жил в Сибири, на русском Севере, в Москве. Но и на берегах Невы он бывал неоднократно. Последний раз — незадолго, буквально за несколько дней до смерти. Был он тогда и гостем в моем доме. И, как всегда в последние годы, супруга писателя — Галина Петровна — с блокнотом в руках записывала его устные рассказы. Сергей Николаевич был до того «начинен» различными сведениями, воспоминаниями, что далеко не все успевал сам положить на бумагу. Постепенно скопилось немало таких записей. И вот одна из них, расшифрованная, пришла из Москвы в большом конверте...

Илья ФОНЯКОВ

Приехал я из Новосибирска в Ленинград в самый разгар нэпа. Моя бабушка, урожденная Леонтьева, в ранней юности в Вологде была школьной подругой известной в то время писательницы Екатерины Павловны Летковой-Султановой. И вот, когда я приехал в Ленинград, то разыскал ее в общежитии Пушкинского дома.

Екатерина Павловна заплакала, усадила меня, расспросила о моей жизни, а потом целый вечер рассказывала о своих поездках за границу, о встречах с Тургеневым, о последних месяцах его жизни в Париже, о Полине Виардо. Рассказывала — и все удивлялась тому, что вот поколения встречаются и находят общие интересы. Любопытно, что на известной картине художника К. Маковского «Свадебный пир» Екатерина Павловна изображена в роли невесты во всей своей ослепительной молодой красоте. У нас с бабушкой всегда была мечта купить литографию картины Маковского, но нам почему-то это не удавалось. Помню, что с этой целью я просматривал газетные объявления в приложениях к журналам.

Через Екатерину Павловну я установил кое-какие связи с ленинградской интеллигенцией: и со старшими по возрасту, и с более молодыми. Я познакомился с выдающимися, замечательными журналистами того времени — с Чагиным, с великолепным Кугелем. Узнал поэтов Аполлона Коринфского, Дмитрия Цензора.

Однажды прихожу в Ленинградский Союз писателей и вдруг вижу человека с моноклем в глазу. Федин всем объясняет: это наш товарищ — Булгаков, прошу любить и жаловать, это высоко одаренный человек! Это говорилось тогда, когда далеко еще не все вещи Булгакова были напечатаны, да и не все написаны. Но Федин уже тогда высоко ценил его. Познакомился я и с высокообразованным человеком, потом на долгие годы забытым, писателем-маринистом Сергеем Колбасьевым, а также с Николаем Семеновичем Тихоновым. Помню, как ходил с ним в Народный дом Паниной. Автор «Орды» и «Браги» приблизил меня к журналу «Звезда» и помог напечатать в нем стихи.

Участник монгольской народной революции А. В. Бурдуков, член-корреспондент Академии наук СССР, печатал свои очерки о Монголии в «Сибирских огнях», но жил в Ленинграде. Здесь я с ним и познакомился и остался от этого человека под таким сильным впечатлением, что задумал написать роман о гражданской войне в Сибири и Монголии, о кровавом бароне Унгерне. В романе противодействующей барону силой решил вывести Тихона Турсукова, прообразом которого являлся Бурдуков. Алексей

Васильевич Бурдуков — сын полуграмотных тобольских родителей, приехавший в качестве представителя купца в Монголию, всю жизнь свою связал с этой страной. Любопытно, что этот бесстрашный революционер был в прошлом... толстовец. Алексей Васильевич прожил в Монголии тридцать лет, знал в совершенстве язык, культуру, быт и обычаи народа. Мне удалось написать лишь часть задуманного романа под названием «Рыжий Будда».

А вот очерк о буддийском храме в Старой Деревне, где с двух сторон от «колеса веры» стоят священные антилопы и сияет позолотой огромный Будда, я написал. На согнутой руке великана — надпись: Гамбург, такой-то год. Там отливали статую. У Николая Тихонова про эту статую уже тогда были написаны стихи:

Сюда, в этот северо-западный сон,
Сквозь жгучие жатвы, по льдинам седым
Каким колдовством занесен?

Мой очерк был вскоре напечатан в журнале «Красная нива».

...Пробиться в «Вечернюю красную газету» мне, начинающему, было не так-то легко. Там было очень много квалифицированных журналистов, на все существовала очередь, и даже сами журналистские занятия связывались с какой-то очередью. Обычно претенденты толпились в коридоре, ожидая, что их пригласят внутрь редакции, простаивали и просиживали часами — и ничего зачастую не добивались.

Однажды вышел заведующий редакцией незабвенный Иона Кугель, крупнейший в прошлом киевский журналист. Иона поманил меня пальцем. Я в этой компании был самым юным и подумал, что он, видимо, решил мне помочь.

Иона Кугель (с седой прядью, спадавшей на лоб) спросил:

— Сколько вам лет?

Я ответил:

— Двадцать один год.

Он спросил еще что-то, кажется, по тогдашним правилам — о происхождении. Я рассказал, кто я и что я, после чего он, успокоенный, сказал:

— Вы журналист, я вам долго объяснять не буду. Около Казанского собора лежат горы песка, поскольку там идет какой-то затянувшийся ремонт. В песчаных горах вырыты пещеры, а в пещерах живет множество беспризорных. Это явление я считаю социальным, вы сами как журналист поймете, что вы должны делать.

Я говорю:

— Понимаю вас, Иона Рафаилыч.

Я пошел, объяснил своему квартирному хозяину положение. Тот достал с чердака старый трепаный костюм, в котором делали белильные работы. Я надел этот костюм и пошел во время сумерек к Казанскому собору. Там я без труда отыскал эти песчаные норы, попросил разрешения войти, а может быть, даже вползти в одну из нор и переночевать.

Мой вид не возбудил ни у кого ни подозрения, ни удивления, и меня впустили. Внутри пещеры горел какой-то костерок, кто-то там варил себе что-то, кормился, как мог, и я провел с ними целую ночь. С теми, кто не спал, я беседовал, разумеется, стараясь не провалить себя, не выдать своих целей, а представляясь им таким же, как и они, беспризорником. Невысокий рост и щуплое сложение тому способствовали.

Когда я вернулся и написал очерк, Иона, откинув свою седую прядь, прочитал и сказал:

— В набор, в набор. Гордитесь, молодой человек,— и стал после этого поручать мне некоторые темы. Я давал в «Вечернюю красную газету» художественные очерки, основанные на фактических материалах. Там было и тогдашнее городское дно, и цыганский табор под Лугой, и многое еще. Мои очерки получили в редакции хорошую оценку, и там я сблизился с рядом интересных и старых, и новых писателей.

В Ленинграде я оказался под покровительством Лидии Николаевны Сейфуллиной. В то время она со своим мужем Валерианом Правдухиным жила в бывшей кордегардии Зимнего дворца.

О Лидии Николаевне я слышал еще от писателей-сибиряков. Когда я уезжал из Новосибирска, кто-то из них дал мне к ней письмо. В доме Сейфуллиной и Правдухина я был принят сердечно и дружески. Помню, Лидия Николаевна очень много занималась общественной работой, к ней стремились начинающие писатели. Она была очень простая в жизни, любила помогать людям.

В одном из помещений бывшей кордегардии был устроен тир с разлинованными мишенями. И были легкие, хорошие спортивные ружья со специальными зарядами, к которым я не только пригляделся, но даже приноровился.

— О,— она мне говорит,— вы навскидку умеете бить!

— Пробую.

— Вот и продолжайте,— и сама, вскинув ружье, всадила пулю в самый центр мишени.

Лидия Николаевна была нерусской национальности, о чем можно судить даже по ее фамилии. Я высказал предположение, не из нагайбаков ли она, и она удивленно спросила, откуда я это знаю. Я ответил, что в детстве был в Верхнеуральске, на родине моего отца, и хорошо помню станицы нагайбаков под Верхнеуральском, Орском, Челябинском. Дело в том, что во время войн на территориях, о которых я говорю, накапливались пленные сумарского происхождения. Там были разные народы, даже афганцы. Они оседали в станицах, и таким образом образовалось несколько нагайбакских станиц. Народностью это, пожалуй, нельзя назвать. Говорят они по-тюркски, обычаи близки татарским, слово «нагай» по-тюркски означает «татарин». Это условное название племени. Мы очень много говорили о нагайбаках.

Лидия Николаевна была небольшого роста, с челкой на лбу, с большими азиатскими черными глазами. В прошлом сельская учительница, она начинала свою литературную деятельность в «Сибирских огнях». Совершенно случайно, как она сказала, написала рассказы, вложила в книгу, а книга была возвращена по принадлежности Емельяну Ярославскому, чьей библиотекой она пользовалась. Емельян Ярославский строго допросил ее о том, чьи это рассказы. Она ответила: «Это мои». «Вам надо писать»,— сказал Ярославский.

После того, как Лидию Николаевну заметил Ярославский и другие литераторы, она написала повесть «Виринея».

В ту незабываемую пору я снова встретился с еще одной своеобразной женщиной-писателем — Марией Михайловной Шкапской. Бывшая революционерка-эсерка, она бежала в Париж от царизма, но в Октябрьскую революцию была уже на родине. Говорю, что встретил ее «снова», потому что впервые с Марией Михайловной познакомился еще в редакции «Советской Сибири». Вот как это было. Был летний день, по-видимому, 1926 года. Масленников, один из первых русских авиаторов, живший тогда в Сибири, позвонил мне накануне и сказал, чтобы я готовился к встрече датского капитана Ботведа, летевшего в Китай. Я уже собрался на аэродром, как вдруг меня вызвал к себе редактор. В его кабинете я увидел сначала крупную женщину в лиловом платье, а затем высокого юношу в полотняном костюме. Он стоял у огромной карты Сибири и както близоруко рассматривал коричневую гряду Горного Алтая.

— Шкапская, Мария Михайловна, корреспондент ленинградской «Вечерней красной газеты»,— сказала лиловая женщина, протягивая мне руку.

Юноша у карты даже не взглянул на нас.

— Мартынов тоже хотел ехать с нами,— сказала мне Шкапская, когда мы уже мчались в автомобиле на аэродром,— но у него какое-то срочное дело в редакции.

— Так это Мартынов стоял у карты? — спросил я.

— Да, мы встретились с ним в Омске и приехали сюда вместе,— объяснила Шкапская и рассказала мне, как Мартынов водил ее по Омску от Железного моста и Белого дома до Волчьего хвоста — дальнего омского предместья. Потом мне с Марией Михайловной довелось встретиться на Алтае. От Новосибирска до Алтая ехать было долго — пароходом до Бийска, а от Бийска лошадьми в Чемал. Это был уже Горный Алтай. Там я познакомился с алтайцем — бывшим православным священником. Назовем его Добрак. У него были прекрасные отношения с местными шаманами. Он хорошо знал предания и песни своего народа и был деятелем-посредником между шаманами и любознательными путешественниками. И вот однажды мы с Добраком сидели у костра в обществе старого шамана по имени Чон. Он был служителем горного владыки подземного мира Эрлика. При своих соплеменниках Чон курил длинную хрипящую трубку, а с нами дымил папиросы «Осман». Сейчас Чон вырезáл из большой консервной банки фигуры каких-то выпуклых рыб, выпрямлял их молотком и пробивал гвоздем по два отверстия на каждом изображении. Можно было догадаться, что Чон готовил новые украшения к шаманскому наряду.

Вдруг к стуку молотка примешался какой-то другой звук.

— Чичке-пут,— обратился ко мне Добрак, явно желая угодить шаману, ибо «чичке-пут» означало «тонконогий» — насмешливое прозвище европейца.— Чичке-пут, у тебя взор помоложе, погляди, кого нам бог посылает сейчас? Колокольчики звенят!

Я вгляделся в пыльную дорогу и без труда различил на ней тарантас, запряженный тройкой коней. В тарантасе же сидела Мария Михайловна Шкапская. Такая же лиловая, как и во времена первой нашей встречи в Новосибирске. Я познакомил неутомимую путешественницу с Добраком и шаманом...

Но вернемся снова в Ленинград.

Я работал много и, как говорят, хорошо, журнал «Мир приключений» напечатал мой рассказ «Камень Черного калмыка», редакция присудила мне за него поощрительный гонорар. Писал очерки, стихи, рассказы. Послал в горьковский журнал «Наши достижения» очерк об Ойротии «Обновленные письмена», написанный еще по сибирским впечатлениям. Очерк этот был напечатан в первом номере горьковского журнала.

Вскоре мои друзья стали упорно говорить мне, что мною интересуется Алексей Максимович. Сначала это показалось сказкой, но потом я собрался и поехал в Москву. Так закончилась моя ленинградская юношеская эпопея — недолгая, но запомнившаяся на всю жизнь.

Публикация Г. П. МАРКОВОЙ

Штрихи к портрету

В. ФРЕНКЕЛЬ

АЛЕКСАНДР ФРИДМАН

Что мы знаем о Вселенной, включающей нашу Галактику с нашей звездой — Солнцем, вокруг которого вращается наша планета — Земля?.. Знаем достаточно много, а задумываться о Мире наши далекие предки стали задолго до того, как были установлены простейшие законы механики. Теперь мы должны привыкнуть к мысли о том, что в ряду величайших умов человечества, продвигавшихся по пути познания Вселенной, рядом с именами Аристотеля, Платона, Коперника, Ньютона, Эйнштейна должно стоять имя нашего соотечественника — Александра Александровича Фридмана.

Исследуя полученные Эйнштейном уравнения общей теории относительности, он пришел к выводу, что расстояние между астрономическими объектами нашей Вселенной не остается в среднем постоянным, а меняется со временем. Он имел смелость и дерзость поставить вопрос о возрасте Вселенной — и даже оценил его в десять миллиардов лет, что примерно в полтора-два раза меньше нынешних оценок. Он говорил о Начале и Конце Вселенной, показал, что она может расширяться и что фаза этого расширения может затем смениться фазой сжатия, когда вся ее чудовищная масса сконцентрируется в точку. А после этого вновь наступит фаза расширения. Вселенная ведет себя наподобие гигантского маятника, совершая своеобразный колебательный процесс,— или же непрерывно расширяется. Ньютон говорил о божественном «часовщике Вселенной», который завел управляющий ею механизм. Фридман показал, оперируя данными науки, что «часовщик» этот — сама Природа. Замечательно, что его открытие, полученное «на кончике пера», нашло экспериментальное подтверждение в 1929 году, когда американский астроном Э. Хаббл установил факт разбегания галактик. Тогда-то и возник привычный ныне термин «расширяющаяся Вселенная». А в 1965 году американские физики Вильсон и Пензиас обнаружили существование так называемого реликтового электромагнитного излучения, свидетельствующего о произошедшем Большом взрыве — предсказанном Фридманом рождении Вселенной из точки (модель Большого взрыва была разработана в США учеником Фридмана по Петроградскому университету Г. А. Гамовым).

Величие открытий Фридмана, практически вся сознательная жизнь которого связана с городом на Неве, находится, можно утверждать, в вопиющем противоречии со скудостью биографических сведений о нем. Разумеется, краткие заметки об Александре Александровиче есть во всех изданиях энциклопедии и в справочниках об ученых разных специальностей — астрономах, математиках, механиках, физиках. Он и впрямь был «един в четырех лицах», внеся существенный вклад во все эти науки. Но даже дата его рождения указывается в этих изданиях неточно, оставаясь, правда, в пределах июня 1888 года. А ведь сведения о Фридмане, так сказать, лежат на поверхности — и можно лишь посетовать, насколько, говоря словами Пушкина, «мы ленивы и нелюбопытны». Материалы, обнаруженные в различных ленинградских архивах, как бы «расконспектируют» и уточняют автобиографию, написанную Александром Александровичем за несколько месяцев до своей кончины и публиковавшуюся в 1927 и 1966 годах.

Точная дата его рождения устанавливается по документу, находящемуся в Государственном историческом архиве Ленинграда, где хранится обширный фонд 2-й Петербургской гимназии: сведения о гимназистах и преподавателях, протоколы заседания педагогического совета, толстые тетради когда-то зловещих кондуитов... К заявлению о приеме Александра Фридмана в гимназию, поданному его отцом, приложена метрика, гласящая: «В метрических Консисторских книгах Введенской церкви Лейб Гвардии Семеновского полка за 1888 г. в первой части о родившихся в статье под № 182 мужеского пола значится: Императорских С.-Петербургских театров у артиста балетной группы Александра Александровича и жены его Людмилы Игнатьевны Воячек, обоих православного вероисповедования, тысяча восемьсот восемьдесят восьмого года июня четвертого дня родился и двадцать девятого июня крещен сын Александр. Восприемниками были: Императорских С.-Петербургских театров артист балетной группы Александр Александрович Облаков и дочь губернского секретаря девица Мария Александровна Фридман».

Итак, если верить протоиерею Сергею Богоявленскому и «первопсаломщику» Ивану Федорову, скрепившими своими подписями сей документ 26 января 1889 года (а не верить им, конечно, нет оснований), то Фридман родился 16 июня 1888 года по новому стилю, и именно в этот день следовало бы отмечать столетний его юбилей.

Ленинградцу эта метрическая запись может кое-что сказать. Фамилия его матери хорошо известна в городе — прежде всего потому, что в нашей Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова долго работал генерал-лейтенант медицинской службы, Герой Социалистического Труда, действительный член Академии медицинских наук профессор Владимир Игнатьевич Воячек. Его именем еще при жизни была названа руководимая им клиника отоларингологии при академии. Совпадение отчества матери «нашего» Фридмана и профессора Воячека не оставляет сомнения в том, что они — брат и сестра. Человек, интересующийся музыкальной культурой Петербурга, возможно, вспомнит, что одним из дирижеров Императорского оперного театра был Игнатий Каспарович Воячек, композитор и дирижер (преемник Направника!). Это, очевидно, дед Александра Фридмана...

В книге «Весь Петербург» на 1905 год, когда Александр Фридман заканчивал гимназию, зафиксированы оба его деда, отец и даже тетушка, каковой являлась одна из его восприемниц, упомянутая в метрике.

Дед Фридмана по отцовской линии, Александр Иванович, в школе кантонистов перешел из иудейской в христианскую веру, закончил лекарскую школу в Петербурге. Женился на солдатской дочери Елизавете Николаевне и вскоре начал работать лекарским помощником при Придворно-медицинской части императорского двора, обслуживая солдат роты дворцовой охраны и членов их семей. У них было трое детей: отец «нашего» Фридмана, Александр Александрович, его брат и сестра. Александр Александрович Фридман-старший шестнадцати лет поступил в балетное училище, стал потом артистом балета. Одновременно учился и закончил Петербургскую консерваторию по классу композиции (у Н. А. Римского-Корсакова), написал музыку к двум балетам, поставленным на императорской сцене, сочинил несколько военных маршей и стал капельмейстером оркестра лейб-гвардии Преображенского полка. Девятнадцати лет от роду женился на пианистке Людмиле Воячек. Семейная жизнь их, однако, не сложилась, и в 1897 году супруги разошлись. Документ о церковном расторжении брака хранит следы трагедии и взаимного озлобления. Мальчик остался жить с отцом. После его смерти отклонил предложение матери о встрече. Только уже после революции они увиделись, а последние свои годы Фридман жил с матерью. Отзвуки этой трагедии я почувствовал, когда в 1970 году встретился с В. И. Воячеком,— по той настороженности, с какой он отвечал на мои вопросы.

В первом классе гимназии Александр Фридман учился на сплошные тройки: исключение составлял закон божий. Но уже со второго класса все резко изменилось, и до окончания гимназии он разделял со своим товарищем, Яковом Тамаркиным, первенство в классе. Поведения Фридман был примерного, и поиски его имени в кондуитах к успеху меня не привели. Видимо, очень рано он «посерьезнел», увлекся математикой. Только один раз они с Тамаркиным все же были удалены с уроков,— в последнем, восьмом классе. Но когда учитель узнал о причине необычайного возбуждения двух друзей, он решил не делать записи в кондуите: утром этого дня они получили из Германии письмо, в котором знаменитый профессор Д. Гильберт извещал, что их статья о теории чисел принята к публикации одним из ведущих математических журналов мира.

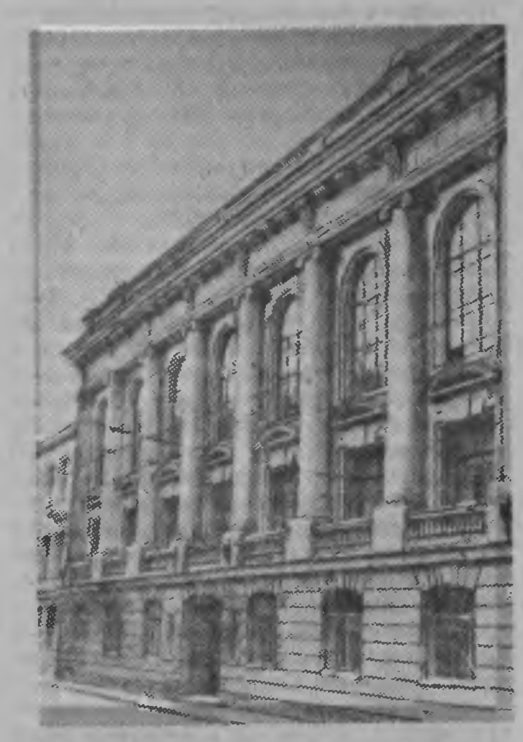
Видимо, ни учителя, ни родные Александра не догадывались, что наряду с уже тогда проявлявшейся фанатической преданностью науке и необычайным трудолюбием он находил время и силы для революционной работы. Они с Я. Д. Тамаркиным были членами Центрального Комитета Северной социал-демократической организации средних школ, тесно сотрудничавшей с Петербургской социал-демократической рабочей партией, занимались печатанием и распространением прокламаций. У Фридмана, по обычаю тех лет, была партийная кличка «Лиловый», под нею он и был известен среди своих товарищей по гимназическому движению. Листаю протоколы заседаний педагогического совета 2-й гимназии, относящиеся к бурным дням 1905 года: сходки, забастовки гимназистов, их требования к дирекции, изложенные во вполне «взрослых» (то есть умело составленных) резолюциях. В отчетах о событиях, составленных преподавателями или директором, встречается и имя Фридмана, оче-

видно, одной из центральных фигур гимназической жизни.

Приход Фридмана на математическое отделение физико-математического факультета университета был вполне закономерен. Случайным и счастливым для него оказалось одно совпадение: в это же время в Петербург из Харькова был переведен профессор математики Владимир Андреевич Стеклов, впоследствии вице-президент Академии наук СССР. О Стеклове написано у нас немало, но все же изданное, мне кажется, еще не передает в должной мере масштаба его личности,



В квартире 4 на Мойке, 35, А. Фридман жил со своим отцом в конце прошлого — начале нынешнего века



Здание 2-й петербургской гимназии на бывшей Казанской улице

мощности интеллекта, спектра его дарований. Он был не только блестящим математиком, главой петербургской математической школы, но человеком очень музыкальным — ему прочили карьеру оперного певца. Обладал он и недюжинными литературными способностями — недаром Н. А. Добролюбов был его родным дядей. Эти литературные дарования проявились и в написанных Стекловым биографиях Галилея и Ломоносова, и в опубликованных заметках о поездках за границу. В архиве АН СССР в Ленинграде хранятся также дневники Стеклова: ежедневно, делая исключения только для летних отпусков, он заполнял странички записных книжек.

Начиная с 1908 года, когда Фридман учился на третьем курсе, в них часто стала мелькать его фамилия — рядом с фамилиями его товарищей по факультету — В. В. Булыгина, М. Ф. Петелина, В. И. Смирнова, Я. Д. Тамаркина и Я. А. Шохата. Из дневников Стеклова и сохранившихся в зарубежных и советских архивах писем Фридмана явствует, что Александр вел аскетическую жизнь, бедствовал, в поисках средств к существованию (после смерти отца и ухода на пенсию деда) занимался литературным трудом. Другой источник сведений — материалы архивного университетского фонда: ежегодные отчеты Фридмана-аспиранта («оставленного для подготовки к профессорской деятельности» — так это тогда называлось), отзывы о нем Стеклова. В одном из таких отзывов Владимир Андреевич пишет: «Замечу, что выпуск 1910 г. составляет какой-то исключительный случай. Из выпуска 1911 г. и среди студентов 4-го курса предстоящего выпуска нет ни одного, равного по знаниям и способностям с гг. Тамаркиным, Фридманом, Булыгиным, Петелиным, Смирновым, Шохатом и др. Не было ни одного такого случая и за мою 15-летнюю преподавательскую деятельность в Харьковском университете. Этим благоприятным случаем необходимо воспользоваться для пользы Университета».

Ежегодные отчеты самого Фридмана свидетельствуют о необычайно напряженной работе. Списки книг по математике, механике, астрономии, ежегодно штудировавшихся им, просто устрашают: откуда у него и у его товарищей хватало времени, чтобы все это изучить? Одновременно с этим под руководством Стеклова шла интенсивная научная работа, подготовка к трудным и ответственным магистерским экзаменам — выдержав их, можно было думать о профессуре.

Параллельно Фридман начинает и преподавательскую деятельность в Институте инженеров путей сообщения и в Горном. Способного молодого человека замечает академик Б. Б. Голицын, директор Главной физической обсерватории, и с 1913 года Фридман со все большей страстью, присущей его натуре, отдается изучению атмосферы — стихии для него чем-то притягательной. В 1913—1914 довоенных годах он совершает исследовательские полеты на аэростатах, руководит запуском исследовательских шаров-зондов, несущих различные приборы...

Август 1914-го. С первых недель войны Фридман добровольно уходит в армию, служит в авиации, налаживает на Северо-Западном фронте авиаразведку и военно-метеорологическую службу: сначала она нужна была для определения безопасности полетов, а позднее, когда начали применять отравляющие вещества,— для прогнозирования газовых атак. В рукописной автобиографии 1925 года Фридман указывает, что за участие в боях осенью 1914 года получил Георгиевский крест (об этом же пишет в своих дневниках Стеклов), но в печатном тексте 1927 года упоминание об этом опущено: в то время, очевидно, боевые награды, полученные в царской армии, являлись, скорее, предметом осуждения, а не гордости. (Кстати, этот Георгиевский крест у Фридмана не единственный: есть основания полагать, что второй был им получен в Галиции; а в одном из писем он замечает, что был представлен также к Георгиевскому оружию.)



А. А. Фридман. Снимок 1910-х гг.

В некрологе Фридману, написанном Стекловым, говорится, что известный немецкий метеоролог, профессор Г. Фиккер, приезжавший в СССР на празднование двухсотлетия Академии наук, рассказал Владимиру Андреевичу, что наиболее удачное прямое попадание авиабомбы на один из объектов крепости Перемышль, зафиксированное Фиккером, было сделано с самолета, на котором летел Фридман. Припоминаю, что меня, когда я впервые прочел эти строки, удивила такая осведомленность: откуда Фиккеру это знать? Дело разъяснилось после просмотра ленинградских газет с откликами на кончину Фридмана. Корреспондент «Вечерней Красной газеты» (предшественницы «Вечернего Ленинграда») взял у Фиккера интервью, и тот сообщил, что когда он впервые увиделся с Фридманом в Германии в конце лета 1923 года, то, разговорившись, они быстро выяснили, что оба служили в авиации — только по разные стороны линии фронта. Фиккер рассказал Фридману, как буквально на его глазах попала в цель бомба, сброшенная на Перемышль. Фридман спросил, не было ли это такого-то числа: он запомнил день своего удачного полета. Запомнил эту дату и Фиккер. «Во время моего первого знакомства с А. А. Фридманом в Берлине выяснилось точно время и место столь необычного и неприветливого нашего знакомства на поле брани»,— закончил немецкий метеоролог свое интервью. Товарищ Фридмана по университету, позднее работавший с ним в военной

авиации, А. Ф. Гаврилов (впоследствии профессор математики) пишет, что если бомбы над позициями противника падали на цель, то австрийцы говорили: «Летает Фридман». Какими-то неисповедимыми путями это становилось известным!

В конце 1916 года Фридмана направляют в Киевскую летную школу. В Киеве он пишет и издает первое пособие по аэронавигации, занимается подготовкой военных летчиков, усовершенствованием авиационных и метеорологических приборов, участвует в работе физико-математического общества, выступает на его заседаниях с докладами, читает лекции в университете и становится его приват-доцентом.

В военные годы Александр Александрович бывает по делам в Петрограде — и всякий раз заходит к Стеклову. Все эти визиты комментируются Владимиром Андреевичем в его дневнике. Как правило, пишет он о своем ученике доброжелательно, с гордостью за его военные успехи и уважением к его мужеству. Но есть и исключение. 14 февраля 1916 года Стеклов пишет о визите к нему приехавшего с фронта Фридмана и о том, что «высказал ему свое неудовольствие на развивающееся фанфаронство и бахвальство, на зачатки стремления к карьеризму... Сказал, чтобы следил за собой и, по возможности, сдерживал себя, уничтожал эти низменные инстинкты, кои у него есть-таки в натуре... Полезна все-таки проборка ему. Может, и подействует немного».

Так ли уж «виноват» был Фридман, чья жизнь в течение одного-двух месяцев 1914 года столь круто изменилась? Из книжного человека, воевавшего разве что с уравнениями, он превратился во фронтового летчика, подвергавшего свою жизнь смертельной опасности. Его товарищи по-прежнему работают над книгами и рукописями, он — работает в небе над Перемышлем. И при этом не прекращает научной деятельности! В перерыве между боевыми вылетами готовит к публикации статьи, развивает теоретическую аэродинамику! Из нищего студента и аспиранта, с трудом сводящего концы с концами, он к 1916 году превратился в человека, чье жалованье иногда превосходило жалованье профессора. И не хвастался, хочется думать, Александр Александрович своему учителю, а просто рассказывал с внутренним удовлетворением и законной гордостью, кем он был и кем стал, полагая, что Владимир Андреевич разделит с ним эту радость. Да и Стеклов-то отчитал Фридмана лишь потому, что любил его. Будь он равнодушен к своему ученику, окажись Фридман не в меру самодовольным, ограниченным человеком, махнул бы на него Стеклов рукой. А он только по-отечески предостерег. И Фридман понял это, не прервал отношений с учителем, по-прежнему обращался к нему за советом и поддержкой: свидетельством тому их дальнейшая переписка и теплые отношения, сложившиеся по возвращении Фридмана в Петроград...

Летом 1917 года, после полуторагодичной работы в Киеве, Фридмана командируют на московский завод авиационных приборов «Авиапром», где он работал в контакте с Н. Е. Жуковским. Затем полтора года Александр Александрович профессорствует в Перми и, наконец, весной 1920 года возвращается в Петроград. Один из первых его визитов, конечно, к Стеклову (запись в дневнике от 20 мая). Гражданская война близится к окончанию, город начинает жить мирной жизнью. Одна из главных задач — восстановление промышленности. Оно немыслимо без развития науки, без подготовки кадров. А специалистов так мало! Не случайно к осени 1920 года Фридман оказывается на преподавательской работе сразу в нескольких петроградских вузах: он — научный сотрудник Главной физической обсерватории, член Атомной комиссии при Государственном оптическом институте, ученый секретарь Петроградского математического общества. Семь книг и учебников за пять лет, огромная работа по созданию сети метеорологических станций в стране, по консолидации усилий геофизиков, метеорологов, климатологов!

Из письма Фридмана голландскому теоретику П. С. Эренфесту (август 1920 года) явствует, что он уже тогда начал задумываться над проблемами теории относительности. Этому способствовали семинары, проходившие в Физическом институте университета. В них участвовали профессора В. Р. Бурсиан, Ю. А. Крутков, В. К. Фредерикс, еще совсем молодой в те годы будущий академик В. А. Фок. И, разумеется, Фридман! В 1922 году он изложил результаты своих исследований по космологии в немецком журнале «Zeitschrift für Physik», одном из самых в те годы авторитетных. Именно в этой статье Александр Александрович показал, что из уравнений общей теории относительности следует возможность существования мира, где расстояния между его объектами изменяются во времени. Интересно, что эти выводы позднее, в тридцатых годах, оказалось возможным получить на простом языке ньютоновской механики. Судьба Вселенной (бесконечное во времени расширение или колебательный процесс: расширение—сжатие—Большой взрыв—расширение) оказалась зависящей от средней плотности материи в ней. Величина этой плотности точно не установлена и сегодня.

Внешнее сходство этого целиком материалистического, бесконечно далекого от какой-либо мистики вывода с религиозными предрассудками и мифами об «акте

творения» (начало расширения) и «конце света» (сжатие в точку), неожиданность такой картины, были настолько впечатляющими, что даже сам автор теории нестационарной Вселенной в своей книге «Мир как пространство и время» (Петроград, 1923) говорил об этом как о своеобразном курьезе.

Более чем курьезом — прямой ошибкой счел выводы ученого из Советской России творец теории относительности Эйнштейн. Он быстро откликнулся на появление статьи Фридмана краткой заметкой, направленной в тот же журнал, где, как ему представлялось, показал источник ошибки Фридмана. Эйнштейн пользовался непререкаемым авторитетом, и его суждение было большим ударом для Фридмана. Однако, проверяя собственные выкладки и анализируя аргументы своего оппонента, обсудив все это с петроградскими коллегами, Александр Александрович пришел к выводу, что в ошибку-то впал не он, а Эйнштейн. Он написал ему об этом в Берлин чрезвычайно аргументированное и вежливое письмо. (Копия письма, написанного на немецком языке, сохранилась в архиве Эйнштейна и была прислана мне его душеприказчиком, директором Отто Натаном. В 1972 году письмо было опубликовано в выходящем у нас в стране ежегодном «Эйнштейновском сборнике».) Шли недели, ответа не было. И когда в начале 1923 года в командировку в Германию и Голландию был направлен петроградский товарищ Фридмана — Ю. А. Крутков, Александр Александрович попросил его встретиться с Эйнштейном, еще раз довести до его сведения контраргументы и прояснить сложившуюся ситуацию. Встреча состоялась весной в Лейдене, в доме П. С. Эренфеста. В Ленинградском отделении архива Академии наук СССР я обнаружил письма Круткова к сестре и дневниковые записи, из них следовало, что после нескольких обсуждений Круткову удалось убедить Эйнштейна в правильности выводов (и выкладок) Фридмана. Почему же Эйнштейн не отозвался на его письмо? Его попросту не было тогда в Берлине: он несколько месяцев путешествовал по Азии, Ближнему Востоку и Европе (именно во время этого путешествия Эйнштейн узнал о присуждении ему Нобелевской премии). 7 мая Крутков написал сестре, что начал с Эйнштейном обсуждение статьи Фридмана, а 18-го записал в дневнике: «Победил Эйнштейна в споре о Фридмане. Честь Петрограда спасена!».

Несколько дней спустя в редакцию «Zeitschrift für Physik» поступила вторая краткая заметка Эйнштейна, где он снимал прежние возражения против статьи Фридмана и писал, что после разъяснения г-на Круткова признает результаты Фридмана «проливающими свет» (очевидно, на проблемы космологии). А поздним летом в Берлин приехал сам Фридман. Из его писем оттуда жене — Наталии Евгеньевне Малининой в Петроград видно, как усиленно он пропагандировал в Германии (а потом в Норвегии) результаты советских исследований по метеорологии, рассказывал о своих работах и работах своих учеников, закупал оборудование, научные журналы и книги для Главной геофизической обсерватории (ГГО). Шла речь и о его исследованиях в области релятивистской космологии, но, к сожалению, ни тогда, ни годом позже, снова оказавшись в Германии, он так и не встретился с Эйнштейном.

Письма Фридмана содержат живые и острые наблюдения, повествуют о встречах с выдающимися учеными. Эта переписка пока еще не опубликована — в значительной степени из-за ее сугубо личного характера. В письмах Фридман предстает человеком сильных чувств, глубоких, мятежных переживаний. В первый брак он вступил еще в университетские годы. Сохранилось заявление, в соответствии с тогдашними порядками направленное им ректору университета, где он испрашивал разрешения на брак с Екатериной Петровной Дорофеевой. Эта женщина стала его помощницей на долгие годы, ее роль в жизни Фридмана высоко оценил Стеклов. Но вот произошел трагический разрыв, и его отголоски видны в переписке с Малининой. Обе женщины в возникшей сложной и деликатной ситуации вели себя безупречно, и это усугубляло нравственные страдания Фридмана, поставленного перед проблемой выбора. Он прямо пишет Малининой об изнуряющей его душу раздвоенности, сравнивает себя с маятником: «На моем пути, как символ крайних точек моих колебаний, встала ты и Екатерина Петровна». В другом письме: «Покончить с собой сейчас не могу — не хватает душевных сил». Иногда письма Фридмана трудно читать — так сильны выплеснутые на их страницы страдания...

В феврале 1925 года Фридман становится директором Главной геофизической обсерватории и работе в ней отдает большую часть времени. Он готовит и проводит Всесоюзный метеорологический съезд, продолжает свои исследования по метеорологии, руководит группой талантливых учеников (в их числе будущие академики Н. Е. Кочин, П. Я. Полубаринова-Кочина, член-корреспондент АН СССР И. А. Кибель). По объемистой книге приказов, хранящейся в ГГО имени А. И. Воейкова, легко проследить характер и темп работы Фридмана — предпринимавшиеся им преобразования, частые командировки в Москву. Запись от 16 июля 1925 года напоминает язык во-

енных приказов, усвоенный Фридманом в 1914—1917 годах: «Отбывая 16-го сего июля в служебную командировку в полет на аэростате с научной целью, временное исполнение обязанностей директора ГГО передаю помощнику директора по административно-хозяйственной части Л. Д. Дашкевичу».

К полету Александр Александрович готовился загодя. Его партнером был знаменитый летчик-аэронавт П. Ф. Федосеенко. Полет состоялся, и о нем написали оба его участника. Эти статьи, особенно статья Федосеенко, показывают нам мужество Фридмана, сохранявшего спокойствие и продолжавшего работать даже в критических ситуациях, когда на воздушном шаре произошел взрыв, не хватало кислорода...

Федосеенко и Фридман установили всесоюзный рекорд: поднялись на высоту семь тысяч четыреста метров. Вылетев из Ленинграда в семь часов десять минут утра 17 июля, они приземлились в семнадцать часов тридцать одну минуту того же дня в одном из районов Нижегородской области прямо на поле, где еще работали крестьяне. Фридман рассказал потом, в газетном интервью, что некоторые из них очень испугались, а две женщины даже потеряли сознание! Но молодежь и тем более члены Осоавиахима не была напугана появлением небесных пришельцев. Фридман прочел крестьянам импровизированную лекцию о полете в атмосферу, его значении и задачах и, как указывается в одной из посвященных Александру Александровичу статей, вступил в переписку с деревенскими комсомольцами. Федосеенко совершил несколько полетов в атмосферу, и после 1925 года в одном из них он и его товарищи погибли. Урна с его прахом установлена в Кремлевской стене...

Летом 1925 года Фридман побывал в Крыму, едва ли не впервые использовав трехнедельный отпуск. 17 августа он снова в Ленинграде. Среди главных текущих дел — помощь Стеклову в подготовке к приему советских и иностранных гостей, прибывавших в начале сентября для празднования двухсотлетия Академии наук. И вдруг... 2 сентября в журнале Обсерватории появляется его приказ о передаче директорских обязанностей своему заместителю. Этот документ Фридман подписал уже нетвердой рукой, видимо, лежа в постели. Две недели, прошедшие после возвращения из Крыма,— это как раз инкубационный период брюшного тифа. Фридман нелепо заразился им, отведав на обратном пути немытых фруктов.

Состояние его — уже в больнице — ухудшалось, и 16 сентября он скончался. «Вечерняя Красная газета» опубликовала два дня спустя несколько материалов об Александре Александровиче. В их числе необычное по нынешним понятиям и довольно подробное интервью с лечащим врачом, сообщавшим, что в последний день жизни Фридман впал в беспамятство, температура была очень высокой, он бредил, говорил о студентах, лекциях, вспомнил о полете, старался сделать какие-то вычисления. Порой казалось, что он читает лекцию.

Фридман умер, не дожив до триумфа своего космологического открытия. Его прижизненная известность — в этом плане его научную судьбу можно считать счастливой — сменилась посмертным признанием и славой. В 1931 году работы Александра Александровича по гидродинамике были удостоены премии имени В. И. Ленина, его идеи в области метеорологии успешно развивали его ученики, а с середины 1960-х годов космологические работы Фридмана как бы получили второе рождение, стали необычайно широко обсуждаться не только в научной, но и в научно-популярной литературе. Ныне, когда так огромен интерес к проблемам космологии, когда необычайные по смелости теоретические идеи подкрепляются новыми астрофизическими открытиями, работы Александра Александровича Фридмана по праву считаются не только вошедшими в золотой фонд науки, но и питающими ее современное стремительное развитие.

Изыскания

А. СТЕПАНОВ

ПЕТЕРБУРГ АХМАТОВОЙ

В поэзии Анны Ахматовой личность автора непосредственно нам не дана. Ахматова предстает перед нами в ролях, соотносящих ее с прообразами, которые она заимствует из освященных той или иной традицией текстов («Мне с Морозовою класть поклоны, С падчерицей Ирода плясать, С дымом улетать с костра Дидоны, Чтобы с Жанной на костер опять»). Среди них и тексты о городе. Ахматова избирает из них те, что могут дать ей готовые роли для лирического самовыражения. Это, прежде всего, «петербургский текст» русской литературы (Петербург Достоевского, «Медный всадник») и «Апокалипсис» (как основной дешифрующий текст «петербургского»). Под личинами города, живущими в «петербургском тексте», скрывается подлинное «Я» Ахматовой. Такова экзистенциальная природа ахматовского Петербурга.

Однако в читательском сознании ахматовские образы Петербурга выходят за границы поэтического мира и приобретают бытийную самостоятельность. Тогда читатель чувствует себя причастным особой породе людей с особым родом самосознания: он обнаруживает в себе «петербуржца». Так Петербург Ахматовой превращается в миф, ибо начинает жить мыслью, говорить речами, действовать поступками «петербуржцев».

В автобиографии Ахматовой есть такое воспоминание: «В марте 1914 года вышла вторая книга—„Четки". Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города». Это свидетельство кладет хронологический предел нашим наблюдениям: они охватывают только ту часть творческого наследия Ахматовой, что относится к допетроградской эпохе.

Как это ни удивительно, но в первом сборнике ее стихов, вышедшем в 1912 году, петербургских реалий нет. Из этого, однако, не следует, будто в 12-м году Петербург Ахматовой не существовал. В своих мемуарах она пишет: «Первый (нижний) пласт для меня — Петербург 90-х годов, Петербург Достоевского. Он был с ног до головы в безвкусных вывесках — белье, корсеты, шляпы, совсем без зелени, без травы, без цветов, весь в барабанном бое, так всегда напоминающем смертную казнь, в хорошем столичном французском языке, в грандиозных похоронных процессиях и описанных Мандельштамом высочайших проездах». Примечательно здесь определение Петербурга Достоевского как «нижнего» пласта. Конечно, это прежде всего нижний слой памяти, глубина души. Но ведь впечатлениям детства не запретишь вторгаться в настоящее. Они активно влияют на наше восприятие действительности, и тогда то, что идет от нижнего слоя памяти, оборачивается одной из сторон действительности. В этом смысле Петербург Достоевского — не только эпоха детских воспоминаний Ахматовой, но и «нижний» пласт того Петербурга, каким она его знала уже в 10-х годах, «нижний» пласт мира ее юности. «Нижний» — в противоположность высшему или возвышенному, не знающий ничего сокровенного, бесстыже выворачивающий наизнанку исподнее, насквозь искусственный, щегольской, мертвый. «Нижний», как непостижимый хаос, как преисподняя. Представ перед Ахматовой в таком обличии, Петербург поначалу не вмещался в ее поэтический мир.

Как заметил в 1916 году Жирмунский, формальное совершенство и художественное равновесие в акмеистских стихах достигалось «не победой формы над хаосом, а сознательным изгнанием хаоса»: «Все воплощено, оттого что удалено невоплотимое, все выражено до конца, потому что отказались от невыразимого. [...] сужение душевного мира [...] дает возможность быть графичным, четким и рассудительным. У Ахматовой это сужение проявляется в отказе от погружения в единую, целостную и хаотическую глубину души». Так говорил Жирмунский, и Ахматова тогда признала его правоту.

Но ведь изгнать хаос еще недостаточно для того, чтобы создать форму. Надо сосредоточиться на таких переживаниях, которые по самой природе своей взывают к акмеистической форме. Надо в отталкивании от страшных петербургских впечатлений, как от антиформы, выстроить поэтический мир, который был бы противоположен Петербургу, как отпечаток противоположен печати. Но это значит, что для того, чтобы изгнать петербургский хаос из стихов, его надо-таки было включить в круг непосредственных переживаний. Все это наводит на мысль, что Петербург не просто присутствует в ранних стихах Ахматовой, но и существенно определяет собой их образность.

Каков же этот анти-Петербург Ахматовой? Зная, какое большое значение придавала она композиции своих стихотворных книг, нельзя пройти мимо того факта, что, составляя свой последний прижизненный сборник «Бег времени» (1965), Ахматова поместила первым номером книги «Вечер» (а следовательно, и всего сборника) стихотворение «Молюсь оконному лучу...», написанное в 1909 году, но не входившее в прежние издания «Вечера». Заметим, что в автографе оно идет под заглавием «Interieur», а в «Беге времени» заголовок снят. По-видимому, тема интерьера, интерьерности настолько важна для постижения начального момента «Бега времени», что, открывая ею этот сборник, Ахматова сочла нужным предоставить читателю право понять эту тему без подсказки.

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,

А сердце — пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.

«Оконный» луч не столько освещает, сколько освящает интерьер, превращает его в храмину, вызывает молитву и, в своей невинности и простоте, дарует на исходе дня праздник и утешение. Единственный высвеченный лучом предмет — старинный символ девственной чистоты, как в благовещенских иконах. В Петербурге все напоказ, все публично, а здесь — целомудренное уединение. Петербург весь в барабанном бое, а здесь царит тишина. Там тебя постоянно сопровождает мысль о смерти, а здесь дарован на исходе дня золотой праздник. Там столичная церемониальная пышность, а здесь все пусто и просто. Для полноты противопоставления здесь, правда, недостает зелени, травы, цветов. Но с 1911 года в стихах Ахматовой за белым окошком, за полуоткрытой дверью интерьера расстилается тенистое великолепие царскосельских парков. Источником страдания является здесь лишь любовь, и как ни зла бывает любовная мука, душа находит исцеление в ощущении непосредственного родства с умирающей и воскресающей природой и с населяющими безлюдные сады мраморными изваяниями. Время человеческой жизни сливается с вечностью очеловеченного камня:

...А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.

И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану...
Холодный, белый, подожди,
Я тоже мраморною стану.

Сопоставим первое стихотворение «Вечера» с заключительным стихотворением этой книги, впервые поставленным на свое место тоже не сразу, а только в 1914 году, когда стихи «Вечера» были включены в качестве последнего раздела в сборник «Четки»:

Туманом легким парк наполнился,
И вспыхнул вв воротах газ.
Мне только взгляд один запомнился
Незнающих, спокойных глаз.

Твоя печаль, для всех неявная,
Мне сразу сделалась близка,
И поняла ты, что отравная
И душная во мне тоска.

Я этот день люблю и праздную,
Првду, как только позовешь.
Меня, и грешную в праздную,
Лишь ты одна не упрекнешь.

(апрель 1911)

Это первое стихотворение Ахматовой, посвященное конкретному лицу — Вере Ивановой-Шаарсалон. Посвящение переносит читателя из замкнутого круга переживаний «пастушки», «королевны», «монашенки» в объективное «здесь» и «сейчас». Сердечная тайна открывается не мраморному двойнику, а подруге-сверстнице, чей пароль — «для всех неявная» печаль. Парк упомянут лишь как место встречи. Вместо чудесного луча, заглянувшего в пустую храмину,— вспыхнувший на воротах парка газ. И если в начальном и заключительном стихотворениях сборника сказано о празднике, то благодаря этому лишь сильнее чувствуется противоположность душевных состояний: в начале «Вечера» — молитвенное утешение, в конце — утешение в грехе и праздности. Все это, как мы сейчас увидим, предвещает вторжение Петербурга в поэзию Ахматовой.

Однако прежде чем непосредственно приступить к ахматовскому Петербургу, бросим взгляд на еще один антипетербургский образ. Речь идет о стихотворении «Венеция», написанном в 1912 году:

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.

Столько нежных, странных лиц в толпе,
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.

Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое...
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Если, по собственному признанию Ахматовой, ее итальянские впечатления были подобны сновидению, какое помнишь всю жизнь, то не Петербург ли был той действительностью, в сравнении с которой Венеция казалась обворожительным видением? Надо мерить Венецию петербургским масштабом и отталкиваться от традиций одического воспевания российской столицы, чтобы оценить человечность архитектуры собора святого Марка и выразить свое впечатление о нем с такой трогательной иронией: «золотая голубятня у воды». Надо помнить Неву и невский ветер, чтобы назвать венецианскую воду ласковой, млеющей, а ветер Адриатики — соленым ветерком. Надо знать публику петербургских набережных и площадей, чтобы восхититься легкостью, ощущаемой в тесной и многоликой венецианской толпе...

Первое из опубликованных стихотворений Ахматовой о Петербурге датировано

1 января 1913 года. В автографе оно идет под заглавием «В „Бродячей собаке"» с зачеркнутым посвящением «Друзьям». Еще до «Четок» оно было напечатано в «Аполлоне» под названием «Cabaret artistique»:

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки.
Что там — изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Через пятьдесят лет Ахматова вспоминала в мемуарах «ворота, в которые мы когда-то входили, чтобы по крутой подвальной лестнице сойти в пеструю, прокуренную, всегда немного таинственную „Бродячую собаку"...». В «Беге времени» она опускает заглавие, указывавшее место действия, и тем самым придает всей сцене и деталям символическое значение. На фоне интимной лирики «Вечера» и «Четок» неожиданно резко звучит обобщение «все мы». Интерьер «Бродячей собаки» превращается в чрево некоего нового Вавилона. Апокалипсическое настроение навевается архаизмами «бражники», «блудницы», мыслью о смертном часе, об аде (при подготовке текста «Бега времени» намечался новый вариант первого стиха: «Все мы вышли из небылицы» — еще откровеннее выражавший фантасмагоричность, призрачность петербургского бытия). Цветы и птицы Судейкина навсегда заточены в петербургской преисподней, окошки навсегда забиты, реальное время («что там — изморозь или гроза?») течет где-то «там», вне замкнутого пространства, чьи узники, выражаясь словами Иосифа Бродского, «плывут в тоске необъяснимой». Трудно вообразить более полную противоположность «пустой храмине» 1909 года. Перед нами «нижний пласт» Петербурга, только воспринимаемый теперь не извне, как в первых воспоминаниях Ахматовой, а изнутри. Из круга непосредственных переживаний петербургская преисподняя переводится, наконец, в расширяющуюся сферу поэтического творчества. Ахматова становится истинной петербуржанкой.

Начиная с того же 1913 года над «нижним пластом» Петербурга вырисовываются в ее стихах и другие лики столицы. Свидетельство тому — два стихотворения, объединенные под заголовком «Стихи о Петербурге»:

1

Вновь Исакий в облаченьи
Из литого серебра.
Стынет в грозном нетерпеньи
Конь Великого Петра.

Ветер душный и суровый
С черных труб сметает гарь...
Ах! своей столицей новой
Недоволен государь.

2

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого, что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,—

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий.
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

Петербург дарит блаженство, утоляющее любовь, и надежно хранит память о ней. Арка на Галерной, воскресающий над Летним садом месяц, Исаакий, вновь облачающийся в зимнее серебро, освящают любовь и свидетельствуют о ней перед вечностью. Поэтому-то и оказывается возможным назвать стихи о любви в Петербурге стихами о самом Петербурге как о колыбели высокой любви и сокровищнице любовной памяти. Мерный ритм стиха («Сердце бьется ровно, мерно») утверждает спокойную гармонию между душевным состоянием героини и строем петербургских пространств. Лексика архаически высока: «облаченье», «грозное нетерпенье», «блаженный миг чудес».

Но символы блаженной памяти омывает темноводная Нева. Для поэтического мышления 10-х годов характерно отождествление Невы с Летой, позднее использованное Ахматовой в «Поэме без героя». Стало быть, жизнь человеческая в Петербурге мыслится на пороге между вечной памятью и полным забвеньем. Отсюда исключительно острое переживание «бега времени»: «вновь», «нетерпенье»,

«сердце бьется», «долгие года», «навсегда», «навеки», «миг», «воскрес», «ожидания», «завтра», «вчера».

Но и это еще не весь Петербург. Зловеще чернеют трубы, душный и суровый ветер сметает с них гарь, и взор вновь и вновь обращается к апокалипсическому видению — к стынущему в грозном нетерпенье Медному Всаднику, помнящему «тяжелозвонкое скаканье» по петербургским мостовым в кошмаре пушкинского героя.

Итак, три ипостаси Петербурга — алтарь любви, подтачивающая его река забвенья и уготованный всем и каждому ад — сосуществуют в противоречивом единстве. Каждая стремится утвердиться в человеческой душе как единственно истинное лицо Петербурга, однако истинно петербургское самосознание не выбирает что-либо одно. Предельная полнота бытия достигается в безумном с точки зрения здравого смысла стремлении испить до дна чашу блаженной незабвенной любви, и ниспосланную судьбой чашу греха и возмездия, и чашу забвенья, приникнув к которой человек оказывается по ту сторону добра и зла. Единственное состояние, в коем это стремление вполне осуществимо,— поэтическое, художественное творчество. И никакой другой город не позволяет творческой личности с такой ясностью видеть себя «на пороге как бы двойного бытия». Воистину, Петербург — это и обреченный Вавилон, и «город райского ключаря».

Таков ахматовский Петербург, в трех ипостасях которого расподоблено подлинное «Я» Ахматовой 10-х годов. В созданных ею образах Петербурга читатель находит источник возвышенно-трагического переживания бытия как бы на границе жизни и смерти, блаженства и гибели, памяти и забвения. Это переживание и по сей день накладывает особую печать на духовный облик жителей Северной Пальмиры.

В. КОГАН

«РОССИИ ОН СЛУЖИЛ»

Скромный поселок Суйду, расположенный в нескольких километрах от Гатчины, ежегодно посещают тысячи людей, чтобы увидеть бывшее родовое имение Ганнибалов. Подолгу молча стоят они у могилы «арапа Петра Великого», проходят по тенистым аллеям старого парка, ведущим к небольшому деревянному дому... Именно здесь, в этих местах, скрестились когда-то, столетия назад, дороги пришельцев из Эфиопии с русским дворянским родом Пушкиных...

Ибрагим Ганнибал, впоследствии переименованный в Абрама, несчастный маленький арапчонок, волею судеб перенесенный из далекой Африки в заснеженную Россию, спустя многие годы стал здесь одним из виднейших военных деятелей своего времени. Талантливый инженер-фортификатор, он получил чин генерал-аншефа, был награжден высшими орденами Российской империи, с почестями принят при царском дворе, удостоен дружбы и уважения многих прославленных людей. Однако Ганнибалу мало было всего этого. Заветной мечтой его, поднявшегося силой обстоятельств и таланта на неаиданную высоту, было сравниться с блестящими вельможами, заставить титулованную знать позабыть о его низком происхождении, встать с нею на одну ступень. Сын своего века, Ганнибал болезненно переживал свою неродовитость и всячески старался скрыть ее от окружающих. С этой-то целью он и начал постепенно скупать старые родовые имения под Петербургом, некогда подаренные царем своим верным сподвижникам (Головину, Апраксину и др.), чьи беспабашные потомки равнодушно проматывали теперь достояния отцов и дедов. Одним из первых приобретений «арапа» и стала Суйда, за нею последовала покупка других сел и деревень. Так начинал Абрам Ганнибал строить свое родовое гнездо, откуда должен был пойти его будущий российский род...

Наш рассказ пойдет, однако, о другом, не менее знаменитом человеке, владевшем Суйдой с 1782 года, после смерти Абрама Петровича. Перенесемся на некоторое время в Москву, на Кропоткинскую улицу, в Государственный музей А. С. Пушкина. Со старой картины, написанной известным портретистом XVIII века, академиком Д. Г. Левицким, смотрит смуглолицый, уже немолодой мужчина, одетый в генеральский мундир. Умное, открытое лицо, добрые, проницательные глаза... Перед нами старший сын Абрама Ганнибала — Иван Абрамович, один из достойнейших представителей блестящей плеяды «екатерининских орлов», человек, по словам Александра Сергеевича Пушкина, уважаемый всеми замечательными людьми своего времени.

Иван Абрамович, «наваринский Ганнибал», родился 5 июня 1736 (по другим данным, 1737) года в Эстляндии (нынешней Эстонии), в деревушке Карьякюла, неподалеку от Ревеля (Таллинна), где тогда служил его отец. В 1735 году, рас-

ставшись со своей первой женой Евдокией Андреевной Диопер, ревельский опальный губернатор женился вторично на Христине-Регине Матвеевне Шеберг и имел от нее несколько сыновей и дочерей. Первым его отпрыском был Иван. Нелегко жилось мальчику в родительском доме. Вспыльчивый и сумасбродный, легко впадающий в беспричинную ярость, Абрам Петрович был настоящей грозой всего дома. Но, несмотря на все это, «арап», широко образованный человек, отлично знал цену таланту и, видя проявлявшиеся уже с юных лет исключительные математические способности сына, стал приискивать ему достойное поприще. В 1744 году Иван по обычаю того времени был зачислен на военную службу в сухопутное ведомство. Вскоре после этого семья Ганнибалов переехала в Санкт-Петербург, и юноша был отдан сперва в Артиллерийскую школу, а затем в Морской шляхетский корпус. Одаренный от природы, он с отличием окончил сей корпус, был произведен в офицеры и отправлен для прохождения службы в полевую артиллерию. Блестящие математические способности Ивана Абрамовича, его хладнокровие и выдержка, отличное знание своего дела, а также честность и природное благородство вскоре выгодно выделили сына «арапа» из среды одногодков. Следствием этого стал быстрый рост в чинах, и уже в 1769 году Иван Ганнибал из подполковников полевой артиллерии был произведен в цейхмейстеры морской артиллерии, что обещало широкие возможности...



Наступил 1768 год, когда Оттоманская империя объявила войну России. Нашей стране нужен был выход к Черному морю, а его преграждали турки и крымские татары. Борьба за южные рубежи Русского государства длилась уже не одно столетие. Теперь, когда на Дунае русская сухопутная армия в кровопролитных боях пробивала себе путь в Крым, Екатерина II решила провести еще и дерзкий морской рейд во вражеский тыл; русская эскадра под командованием контр-адмирала Г. А. Спиридова была отправлена из Кронштадта в самое сердце Османской империи, в Средиземное море, чтобы поднять там восстание порабощенных греков и тем оттянуть с главного театра военных действий часть вражеского флота. На одном из кораблей можно было увидеть и Ивана Ганнибала — командующего эскадренной артиллерией...

Плавание было долгим и тяжелым, штормы, качка, болезни косили людей; но, преодолев все лишения, в 1770 году русские корабли вошли в Средиземное море и начали боевые действия против превосходившего их во много раз по численности вражеского флота. Для создания опорной базы в Средиземноморье было решено захватить сильную турецкую крепость Наварин. Дело было не из легких: высокие крепостные стены, тысяча солдат гарнизона и сорок две пушки, способные пустить на дно любое неприятельское судно, появись оно в наваринском порту.

Первая попытка — князя Долгорукова — взять крепость штурмом окончилась неудачей, и тогда Спиридов, отлично знавший своих офицеров, отправил в десант Ганнибала с тремя кораблями и двумя сотнями солдат. Ранним утром русские суда подошли к Наварину; тотчас же шлюпки начали перевозить на берег людей и орудия. Благополучно установив на берегу восьмипушечную батарею и не обращая внимания на турецкие ядра, Ганнибал открыл огонь по крепости. Вскоре русская артиллерия пробила в стене большую брешь, достаточную, чтобы в нее могли пролезть люди. Увлекая за собой солдат, со шпагой в руке, Иван Абрамович первым бросился на приступ. Не выдержав лобовой атаки, начальник турецкого гарнизона почел за лучшее спустить флаг и сдаться на милость победителя. Вскоре турки, почти впятеро превосходившие русских по численности, бесславно покинули Наварин.

Во второй половине июня 1770 года турецкий флот, напуганный недавним страшным поражением в Хиосском проливе, всячески избегал встреч с русскими. Бой у острова Хиос чуть было не стал последним в жизни Ганнибала: в разгар сражения мачта с горящего вражеского корабля упала прямо на пороховой погреб

русского флагмана «Святой Евстафий», и от взрыва крюйт-камеры погибло более пятисот моряков. Только железное самообладание Ивана Абрамовича, выброшенного взрывной волной за борт, помогло ему спастись от почти неминуемой смерти. Вскоре, оправившись от контузии, он был снова в строю...

Тем временем эскадра донесла, что турки притаились неподалеку, в Чесменской бухте Эгейского моря. Спиридов срочно собрал военный совет. Мнения моряков расходились. Турецкий флот, насчитывающий более семидесяти кораблей и транспортных судов, представлял собой грозную силу, и решиться на лобовую атаку было делом рискованным. Однако решение адмирала свелось-таки к открытию боевых действий. На командира эскадренной артиллерии была возложена самая сложная задача — подготовить брандеры для поджога вражеских судов и скорректировать огонь русских пушек.

В ночь с 25 на 26 июня 1770 года флотилия Спиридова бесшумно подошла к Чесменской бухте и блокировала выход из нее. Вражеские корабли были надежно заперты в узкой, неудобной для маневрирования акватории. Не давая туркам опомниться, Спиридов подал сигнал к атаке. Брандеры огромными факелами устремились к неприятельскому флагману. Один из них промахнулся, второй взорвался, не достигнув цели... Третий, ведомый лейтенантом Ильиным, угодил прямо в борт османского корабля! Страшный взрыв потряс ночь. Лишившись своего командира, турецкие суда беспорядочно заметались по бухте, наталкиваясь друг на друга, ломая снасти и ведя беспорядочный огонь. А по ним, сотрясая воздух, прицельно били русские пушки. Ганнибал, правильно рассчитав траекторию полета, сконцентрировал все орудия на поражающий огонь. К утру все было кончено, на поверхности бухты плавали мачты, снасти и обломки некогда грозного оттоманского флота. В эту ночь Блистательная Порта потеряла семьдесят судов и более десяти тысяч человек, Россия — ни одного корабля, а из личного состава пострадало всего одиннадцать человек. Русская экспедиция в Архипелаг благополучно завершилась.

Спустя несколько месяцев петербуржцы восторженно встречали в Кронштадте героев-моряков, вернувшихся из Средиземного моря. Среди тех, кто принял в тот день орден из рук Екатерины II, был и Иван Абрамович Ганнибал, произведенный в генерал-цейхмейстеры русского флота и избранный членом Российской Адмиралтейств-коллегии. Ростральные колонны в Гатчине и Царском Селе, Чесменская церковь и дворец в Санкт-Петербурге (творения Антонио Ринальди и Юрия Фельтена), дюжина батальных полотен в Чесменском зале Большого Петергофского дворца, написанные Филиппом Гаккертом,— вот далеко не полный список архитектурных и живописных шедевров, созданных в память того сражения...

Мирная жизнь Ивана Абрамовича в Петербурге продолжалась недолго. В 1778 году, когда русско-турецкая война шла к завершению, пора было подумать о создании Черноморского флота. С этой целью в Северном Причерноморье, на месте старого укрепления Александр-шанц, построенного еще П. А. Румянцевым в 1737 году, неподалеку от развалин древнегреческого Херсонеса Таврического, было решено заложить новый город-крепость Херсон — опорный пункт для строительства и базирования русских кораблей. Комендантом будущего города и начальником строительства назначили Ганнибала.

Работа была трудной и изнуряющей. В раскаленной степи, под палящим солнцем люди почти вручную таскали огромные камни, копали рвы, возводили крепостные стены. Вдали, на степных курганах маячили татарские разъезды, можно было ожидать нападения. Однако год спустя Ганнибал уже рапортовал в столицу о том, что молодой город на Черном море возведен, и судоверфи готовы начать строительство кораблей.

Постройка Херсона была последним крупным делом в служебной деятельности Ивана Ганнибала. Тяжелый климат, подрывавший здоровье, болезнь отца, а также нелады с Г. А. Потемкиным, деспотичным всесильным фаворитом императрицы, заставили его решиться на отставку. В 1784 году он подал официальное прошение и вскоре в звании генерал-лейтенанта удалился в Суйду, где почти безвыездно прожил до самой кончины — пятнадцать лет. Роскошь и пышность дома в Суйде, щедрость и хлебосольность хозяина, бездетного холостяка, его благородство, ясность ума, честность, открытая душа привлекали многих. Среди тех, кто был особенно дружен с Ганнибалом,— А. В. Суворов, писатель М. Н. Муравьев, герой Архипелагской экспедиции А. Г. Орлов-Чесменский...

А вокруг Суйды творилось неладное... С горечью и обидой наблюдал старый генерал, как его беспутные братья разоряли отцовские вотчины, бесшабашно проигрывая в карты и продавая имения, пуская на ветер все мечты Абрама Петровича о создании родового гнезда Ганнибалов. Он пытался повлиять на своих родственников, помогал им деньгами, всячески стараясь исполнить отцовский наказ, но все было тщетно: земли Ганнибалов под Петербургом таяли. Когда его брат Осип бросил свою семью на произвол судьбы, оставив жену и малолетнюю дочь Надежду почти без средств к существованию, Иван Абрамович забрал женщин к себе в Суйду и стал их верным другом и опекуном. Там же, в простой деревянной церкви Суйды, в 1796 году Надежда Осиповна венчалась с молодым небогатым офицером Сергеем Львовичем Пушкиным. Благословил их брак и дал приданое все тот же Иван Абрамович, сказавший о Пушкине: «Он небогат, зато умен и образован, будет хорошим мужем». Впоследствии Ганнибал стал и крестным отцом Ольги Сергеевны Пушкиной.

12 октября 1801 года сердце старого генерал-лейтенанта перестало биться, а спустя несколько лет коллежский асессор В. Цигарев купил Суйду, навеки похоронив мечту «арапа Петра Великого» о создании родового дома Ганнибалов...

На Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры сохранилась могила Ивана Абрамовича Ганнибала:

Зной Африки родвил,
Хлад кровь его поконл.
России он служил,
Путь к Вечности устроил.

Не дело!

И ВНОВЬ ТИНУКСЕНЬЯРВИ

Идет третий год с начала «освоения» прибрежной зоны озера Тинуксеньярви военным садоводством «Лазурное» (см.: «Нева», 1990, № 2). Работают краны и экскаваторы. Из гигантских балок и многотонных бетонных плит у берега сооружаются бункеры-подвалы и вырастают высоченные дачи.

Расстроенные и возмущенные люди идут к нам, в комитет по защите озера:

— Как же так? Что они сделали с озером? Почему вы ничего не добились? Вам же было поручено!

Что им ответить? Что не возымели никакого действия ни обращения в депутатскую комиссию Леноблсовета, ни в адрес двух сессий народных депутатов г. Всеволожска, ни к сессии Ленсовета (старого созыва), посвященной вопросам экологии? Объяснять, что слишком неравными оказались силы, что в условиях действующей системы власти фактически бесправны и Ленкомприрода, и Госкомприрода РСФСР, и даже Госкомприрода СССР, что, пока в исполкомах заседают те же люди, нет никаких предпосылок изменить что-то?

Коротко о развитии событий после очередного обращения общественности к сессии Леноблсовета. Вместо создания независимой депутатской комиссии в конце июля состоялась встреча представителей комитета с командиром воинской части 33491 Г. Н. Самариным и сотрудником отдела землепользования и землеустройства Леноблисполкома Н. В. Еремцовым. И опять, как и следовало ожидать, не получилось делового разговора. В ответ на требование прекратить разрастание садоводства по крутому, обращенному к озеру склону и приступить к выполнению обещанных водоохранных мероприятий, мы услышали: садоводство вместе с озером будет обнесено забором. Богатые возможности у военных садоводов — вероятно, за счет расходов на оборону. Командир воинской части Г. Н. Самарин заявил также, что, если комитет по спасению озера будет отвлекать занятых важными делами людей на разбор жалоб и обращений, он (командир) обратится в суд с требованием привлечь членов комитета к ответственности *за клевету*. Вот так. Ни больше, ни меньше.

А ведь, пожалуй, только гласное судебное разбирательство помогло бы пролить свет на истоки этой истории. И выяснить статус земель спецназначения, «перепрофилированных под садоводство». И были бы, наконец, четко определены границы разрастания садоводства. И прекратились бы порубки леса. И строительство на многострадальном склоне. Тогда, возможно, были бы названы фамилии и должности людей, получивших на этом склоне участки под застройку. Стало бы известно, кому и почему выгодно раздавать прибрежные участки. Заодно прояснился бы вопрос и о прямом назначении бетонных плит и балок, используемых для сооружения бункеров-подвалов, а ведь они стоят немалых денег.

Так что, комитет по спасению Тинуксеньярви за судебное разбирательство. Только вряд ли в этом заинтересован командир части полковник Георгий Николаевич Самарин. Хотя бы потому, скажем, например, что он является таким хозяином дома с бункером на крутом склоне. Второго от берега. Пока второго.

Столбы пыли несутся к озеру. Неудержимо ползут вниз огороды, холмы вынутого грунта, метастазы котлованов. Нет, это не просто ошибка чиновников, не способных понять, что живая природа не прощает глупости и некомпетентности!

Б. СМИРНОВ,
член комитета по защите озера Тинуксеньярви

Письма из прошлого

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ

В своих «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам писала: «О⟨сип⟩ М⟨андельштам⟩ приучил меня верить, что история есть проверка в действии и на опыте путей добра и зла. Мы проверили пути зла. Захотим ли мы на них возвращаться? Не крепнут ли среди нас голоса, говорящие о совести и добре? Мне кажется, что мы стоим на пороге новых идей».

После публикации в «Новом мире» А. И. Солженицына Надежда Яковлевна передала А. Т. Твардовскому рукопись первой книги «Воспоминаний». Хотя наше знакомство с Н. Я. Мандельштам про-



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Главный редактор

Телефон К 4 57-01

9 февраля 1968 г.

Глубоксуважаемая

Надежда Яковлевна!

Большое Вам спасибо за предоставленную мне возможность прочесть Вашу рукопись.

Не собираюсь писать на нее "внутреннюю рецензию", вряд ли и Вы в этом нуждаетесь, - скажу только, что прочел я ее "одним дыхом", да иначе ее и читать нельзя - она так и написана, точно изустно рассказана в одну ночь доброму другу, перед которым нечего таиться или чем-нибудь казаться. Словом, книга Ваша счастливым образом совершенно свободна от каких-либо беллетристических претензий, как это часто бывает в подобных случаях. А между тем написана она нередкость сильно, талантливо и с собственно литературной стороны - с той особой мерой необходимости изложения, когда при таком объеме ее ничто не кажется лишним. Даже своеобразные повторения, возвращения вспять, забегания наперед, отступления или отвлечения в сторону, вбок - все представляется естественным и оправданным.

Трагическая судьба подлинного поэта, при жизни до крайности обуженной, внутрилитературной известности, вдруг захваченного погибельной "водовертью" сложных и трагических лет, под Вашим пером приобретает куда более общезначимое содержание, чем просто история тех испытаний, какие выпали на Вашу с Осипом Эмильевичем долю.

Мне хочется сказать Вам, что книга эта явилась как выполнение Вами глубоко и благородно понятого своего долга, и сознание этого не могло не принести Вам достойного удовлетворения, как бы ни трудно было Вам вновь и вновь переживать пережитое. Именно так нужно расправляться со всем, что есть самого трудного и горького в жизни - делиться им с добрыми людьми, а они всегда есть на свете и все поймут и будут признательны за то, что им помогли понять. Правда, это - привилегия таланта, -

изошло в конце 1967 г., и мы были дружны более десяти лет, мне не известно, состоялась ли их встреча или рукопись была передана кем-то. Не знаю я и как вернулась рукопись к Н. Я. Мандельштам вместе с публикуемым письмом А. Т. Твардовского. Судя по заклеенному конверту, в который было вложено письмо и отсутствию почтовых отметок, рукопись «Воспоминаний» с письмом А. Т. Твардовский возвратил не сам и почте его не доверил.

После выхода книги в Нью-Йорке, Н. Я. Мандельштам, опасаясь обыска и боясь подвести А. Т. Твардовского, передала мне подлинник и одну ксерокопию публикуемого письма в надорванном ею конверте, чтобы оно сохранилось «до лучших времен». Наступило, наконец, время для его публикации на Родине. Увы, на Западе оно уже опубликовано (Вестник Русского студенческого христианского движения, Париж, 1973, № 108—110), возможно, у Н. Я. Мандельштам была не одна ксерокопия.

Е. К. КРАНДИЕВСКАЯ

2.

бог Вас наградил им, - но всякий читатель, взволнованный талантливой книгой - как бы соавтор ее.

Я ни на минуту не сомневаюсь, что книга Ваша должна увидеть и увидит свет, - потому и называю рукопись книгой, - только относительно сроков этого, к сожалению, я не могу быть столь же определенным.

Я хорошо понимаю, что гораздо более, чем мои покамест "платонические" суждения и оценки Вашей книги, Вас интересовали бы в первую очередь мои сообщения относительно сроков выхода книги О.Мандельштама в "Библиотеке поэта", где и я числюсь одним из редакторов. Здесь я могу только заверить Вас, что эта поистине ужасная волокита - не есть следствие чьей-нибудь из редакторов "Библиотеки" злой воли, в том числе и В.Н.Орлова. Может быть, если люди, полагающие, что и я не печатаю в "Новом мире" уже многим известный в списках роман Солженицына из опасения потерять "место". Что делать!

Могу еще сказать Вам, что на самом последнем этапе непосредственной причиной задержанию книги Мандельштама уже в сверстанном виде послужили мои замечания насчет слишком явных несовершенств подготовленного издания, в частности, - что особенно обидно и стыдно, - по сравнению с американским изданием.

Еще раз спасибо Вам, Надежда Яковлевна.

С глубоким уважением

А. Твардовский

(А.Твардовский)

Хранится в Ленинграде

Д. АЛЬ

ДОПЕТРОВСКАЯ РУСЬ В ГРАДЕ ПЕТРА

Ключи к разгадке «тайн» и «загадок» опричнины

Из-за отсутствия достаточного количества сколько-нибудь надежных свидетельств об опричнине, в трудах историков постоянно встречались такие выражения, как «загадка опричнины», «тайна опричнины» и тому подобные... Только

два момента ее истории считались бесспорными. Во-первых, что опричнина — всего-навсего учреждение карательное, созданное Грозным, обладавшим маниакальной подозрительностью, для расправы с заподозренными в измене и их пособниками.

При слове «опричники» в сознании обычно возникали вооруженные до зубов всадники в черных монашеских рясах, надетых поверх богатых одежд и доспехов, седла которых «украшены» своеобразной эмблемой — метлой и собачьей головой. Эмблема эта должна была символизировать назначение таких отрядов — выгрызать измену и выметать ее из страны. Согласно распространенным представлениям, опричники занимались только тем, что по приказам Грозного царя потоками лили кровь ни в чем не повинных князей и бояр, казнили и пытали всех заподозренных в измене по поводу и без повода. Слово «опричник» — в смысле царский каратель и палач — стало нарицательным. Во-вторых, считалось, что опричнина, как учреждение в государственном смысле бесполезное, искусственное и даже вредное, просуществовав всего семь лет, была упразднена самим своим создателем — Иваном Грозным. Вывод этот был сделан историками на том основании, что росписи отдельных опричных полков и должность «воевода из опричнины», появившиеся в разрядных книгах после 1565 года, исчезли из разрядных записей начиная с 1572 года.

Сообщаемые источниками факты, «не желавшие» укладываться в эти устоявшиеся представления, казались странными и необъяснимыми. Их и пришлось зачислить в «загадки» и «тайны» опричнины.

Так, например, с точки зрения того, что опричнина была создана Грозным для уничтожения непокорных и «изменных» бояр, невозможно было объяснить, почему опричный террор обрушился не только на родовитых бояр и вельмож, но и на представителей всех сословий и классов.

В последние годы, благодаря уже знакомой нам[1] Официальной разрядной книге, историки оказались обладателями небывалого по полноте комплекса документальных материалов об опричнине. Богатство и разнообразие этих материалов создают столь яркую и рельефную картину реальной деятельности опричнины как учреждения, а также «опричных поручений», даваемых конкретным опричникам, что прежние представления об этом приходится решительно пересматривать. Опричнина предстает в качестве важнейшей формы организации политической власти.

Разрядная книга документально засвидетельствовала, что на протяжении всего времени ведения Ливонской войны, начиная с момента учреждения опричнины, наиболее ответственные командные должности в царском войске занимали «воеводы из опричнины» (позднее — «воеводы из Двора»). Каждый второй воевода был опричником. Мы видим многочисленные случаи, когда «земскими», то есть общегосударственными, полками командовали воеводы из опричнины, но не встречаем ни одного случая, когда бы воевода «из земского» командовал опричным полком.

В 1568 году был раскрыт большой военный заговор боярина Ивана Петровича Федорова — фактического главнокомандующего русской армией. Заговорщики хотели во время похода в Ливонию окружить земскими силами, находящимися под их командованием, царские опричные полки, перебить опричников, а самого Грозного выдать польскому королю. Заговор был раскрыт. Он показал, что изолированное положение опричных полков и опричного командования от остальной, «земской» армии таит в себе огромную опасность. После этого Грозный начал особенно густо «прослаивать» земское командование воеводами из опричнины. В большинстве случаев опричные воеводы назначались в Передовой полк, который вел разведку, первым вступал в бой, а также в Сторожевой полк, который охранял тылы армии, препятствовал, если в этом была необходимость, отступлению полков первой линии.

Помимо замещения командных постов в штабе войска и в полках, опричники выполняли особые поручения, к исполнению которых другие служилые люди не привлекались. Они направлялись в разведку и на рекогносцировку местности. Им поручалось выявлять состояние обороны вражеских городов, определять места для расположения каждого из полков войска, артиллерии и самой царской ставки. Они возглавляют войсковой авангард, который начинает осаду вражеского города с перекрытиями всех ведущих к нему путей. Они ведут от имени царя переговоры с осажденными. Опричные воеводы, и только они, организуют принятие и перевод посланий от начальников вражеских гарнизонов, принимают капитуляцию вражеских крепостей, ведут среди пленных розыск их скрывающихся военачальников.

Так, например, посланные под город Владимирец с целью захватить гетмана Полубенского, командовавшего польско-литовскими силами, опричники Богдан Бельский и Деменша Черемисинов писали в царскую ставку, «чтобы государь велел к ним прислати, хто знает Полубенского в роже», то есть в лицо.

Опричники конвоируют и охраняют пленных, первыми входят в захваченные

[1] См.: Нева. 1989. № 2, 5, 7.

города. Из них составляются гарнизоны этих городов. Им поручается охранять порядок и имущество в занятых городах. Они выбирают здание, где располагаться царю, они же охраняют царскую ставку. Опричники ведут допросы пленных военачальников. И все это особо доверенные люди царя — «свои». В разрядной книге появляется специальное наименование для них — «дворянин свой».

Ярче всего особые функции опричного двора, его подлинная сущность как верхнего этажа власти, проявляются в том неусыпном надзоре, который ведут вошедшие в его состав доверенные люди царя, «те, что слугуют — по выражению Грозного — близко», за действиями воевод и состоянием войск, то есть за всеми остальными «кто слугует подале».

Вот характерный случай такого надзора.

В сентябре 1577 года, во время большого Ливонского похода, царь и его штаб направили под ливонский город Смилтин воевод — князя М. В. Ноздроватого и А. Е. Салтыкова. Немцы и литовцы, засевшие в городе, сдаваться отказались, а царские военачальники, как сообщает разрядная книга, «у городу же никоторова промыслу не учинили и к государю о том вести не учинили, что им литва из городу говорит. И государь послал их проведывать сына боярского Проню Балакирева... И Проня приехал к ним ночью, а сторожи у них в ту пору не было, а ему приехалось (обратим внимание на это чудесное слово.— *Д. А.*) шумно. И князь Михайловы Ноздроватого и Ондрея Салтыкова полчане и стрельцы от шуму побежали и торопяся ни от кого (то есть без причины, никакого врага не было тут.— *Д. А.*), и после тово остановилися. И Проня Балагирев приехал к государю, все то подлинно сказал государю, что они стоят небрежно и делают все не по государеву наказу. И государь о том почал кручинитца, да послал... Деменшу Черемисинова, да велел про то сыскать, как у них деелось».

Знаменитый опричник Деменша Черемисинов расследовал на месте обстоятельства и доложил царю, что Ноздроватый и Салтыков не только «делали не гораздо», не по государеву наказу, но еще и намеревались завладеть имуществом литовцев, если те оставят город: «Пущали их из города душою и телом», то есть без вещей. Черемисинов быстро навел порядок. Он выпустил из города жителей «со всеми животы, и литва тот час город очистила».

Князя Ноздроватого «за службу велел государь на конюшне плетьми бить. А Ондрея Салтыкова государь бить не велел». Тот «отнимался (оправдывался) тем, будто князь Михайло Ноздроватый ему государеву наказу не показал. И Ондрею Салтыкову за тое неслужбу (тоже весьма емкое слово! — *Д. А.*) государь шубы не велел дать».

В этом и во многих подобных эпизодах, рассыпанных по страницам разрядной книги, как в капле воды, отразилось место опричника в структуре царской власти. Они — особо доверенные «лутчие люди» — осуществляют контроль за действиями военачальников, в том числе весьма именитых.

Одновременно с усилением опричной прослойки в командовании армией происходила «пропитка» опричниками и всего административного аппарата государства, начиная с Боярской думы. Постепенно в опричную столицу царя — Александровскую слободу — переместилось все управление страной.

Благодаря Официальной разрядной книге, количество «загадок» и «тайн» в истории опричнины значительно поубавилось. Но, быть может, не меньшую ценность для изучения вызывающей неизменный интерес исследователей и широкого читателя эпохи Ивана Грозного и его опричнины имеет другая «находка».

Речь идет о рукописи того же Эрмитажного собрания Государственной публичной библиотеки под номером 542. Она также числилась в описях этого собрания XVIII и XIX веков, но внимания исследователей опричнины не привлекла. И можно понять почему.

История науки — науковедение — пользуется термином «парадигма». Он обозначает установившееся в данной науке по тому или иному вопросу мнение, принимаемое как незыблемое. Как известно, наука движется вперед путем преодоления своих парадигм. Однако происходит это преодоление не скоро и, как правило, не безболезненно. Для примера достаточно напомнить парадигму о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Этот вывод Птолемея держался веками и не только потому, что был взят под защиту инквизицией, а прежде всего потому, что вращение Солнца вокруг Земли «очевидно» любому и каждому.

Для исследователей эпохи Грозного такой парадигмой было убеждение, что опричнина была отменена в 1572 году, поскольку ни в разрядных книгах, ни в других официальных документах слово «опричнина» после 1572 года будто бы не встречается. Именно это убеждение и помешало тем, кто записывал в инвентари и описи названую рукопись, а также и тем, кто эти инвентари и описи просматривал в поисках материала об опричнине, заподозрить в этом огромном списке служилых людей Ивана Грозного список опричников. В заголовке документа, который она содержит, читаем: «Лета 7081 (1573), марта в 20 день государь

царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии пометил боярам и околничим и дияком и приказным людям свое жалование по окладу».

Исследование рукописи показало, что обнаруженный документ — не что иное, как список опричников Двора Ивана Грозного. Употребляя современное выражение, его можно назвать «ведомостью зарплаты», выдаваемой им в очередной раз на 1573 год. В этом списке отмечены все «новики», то есть те, кто взят на дворовую службу впервые, «в умерших место». Таких в списке немногим более 70 человек. Все остальные — почти 1800 — те же лица, что составляли царский Двор в Александровской слободе в предыдущем 1572 году, то есть, в бесспорно «опричное» время. В отношении одного из вновь принятых на дворовую службу некоего Меньшика Недюрева написано: раньше он служил в «землском» и получал «жалования» 50 рублей, а здесь, в «опричнине», ему оклад еще не назначен.

Как видим, в абсолютно официальном документе 1573 года прозвучало и само слово «опричнина», якобы исчезнувшее из обихода с 1572 года.

Значение этого исторического источника для истории Руси XVI века и для начального этапа истории самодержавия невозможно переоценить. Он документально подтверждает вывод, обоснованный также и многими другими данными, о том, что опричнина вовсе не была «отменена» через семь лет после ее основания как учреждение «бессмысленное» и не оправдавшее себя, а, напротив, продолжала существовать и выполнять свои функции аппарата власти самодержавия на начальном этапе его становления. Кроме того, благодаря этому документу мы впервые узнали поименно персональный состав ближайшего окружения Ивана Грозного. В Списке перечислено 1854 опричника. В этой связи интересно напомнить, что за двести лет изучения опричнины общими усилиями ученых всех поколений удалось установить достоверно не более 200 имен служилых людей XVI века, которых можно считать опричниками.

Не менее важно и то, что в документе указаны оклады служилых людей царского Двора, что свидетельствует о положении каждого из них на служебной лестнице.

В первой части Списка поименован 671 опричник. Это руководство опричнины и состав вооруженной опричной охраны царя. Все они феодалы-помещики. Поэтому земельное владение в их годовом окладе не указано. Высшие денежные оклады получают хорошо известные нам виднейшие опричники — окольничий Василий Умной Колычев, князь Борис Давыдович Тулупов, Василий Григорьевич Зюзин, Богдан Яковлевич Бельский. Интересно, что оклад знаменитого Малюты Скуратова-Бельского, погибшего в предыдущем 1572 году при осаде крепости Пайда,— «400 рублев» — получает его вдова — «Марья Малютина жена Бельского». Это единственный известный для того времени случай выплаты пенсии, или, быть может, лучше сказать, пособия вдове за погибшего мужа.

Остальные опричники, согласно окладам, разделены на различные группы. Первая, наиболее высоко оплачиваемая, получает по 50 рублей годового жалованья. В числе 14 человек, получивших этот оклад, находился в 1573 году молодой в то время опричник, будущий царь — «Борис Федоров сын Годунов». Далее оклады постепенно снижаются и после пометки: «ниже всех статей» — идут опричники, получающие 5 рублей в год.

Во второй части списка перечислены лица, «прибранные» в обслугу царского дворца.

Опричный Двор, как мы узнаем из этого документа, включал в себя четыре Приказа: Постельный, ведавший обслуживанием помещений дворца, гардеробом и предметами обихода царской семьи; Бронный, производивший и ремонтировавший оружие для царя, царевичей и опричной дружины; Конюший, ведавший огромным конским хозяйством царского двора и опричной гвардии, и Сытный приказ, занимавшийся заготовками муки, мяса и других продуктов питания, хлебопечением и приготовлением пищи.

В Постельный приказ входило 188 истопников, сторожей и слуг. В его ведении находились и мастера различных профессий — шатерники, плотники, столяры и даже — «чемоданник». 16 портных обшивали царскую семью. Один из них — Иван Бут — был, надо полагать, мастером высочайшего класса. Помимо обычного оклада приказного человека — 5 рублей деньгами, 24 алтына «за сукно», то есть в оплату за одежду, пять полтей (полть — примерный вес молодого барана) мяса, 5 пудов соли,— этот портной был также «поверстан» 50 четями земли, то есть помещичьим имением.

Кроме портных, встречаем в составе Постельного приказа, колпачников, чеботников, скорняков, «пугвичника», «гвоздочника» и двух «рожечников». Трудно сказать, имеются ли здесь в виду мастера по производству рожков для дворцового оркестра — заметим, что Грозный любил музыку и даже сам сочинял ее для церковного песнопения,— или же речь идет об изготовлении инструментов для подачи звуковых команд в походах и сражениях или во время охоты.

В Бронном приказе, согласно Списку опричного Двора, числилось 115 бронников, во главе которых стояли братья Угрим и Десятой (имя собственное) Непоставовы. Первыми и здесь названы три оружейных мастера-помещика (видимо, большие мастера), один шеломник и два сабельника — братья Офоня и Муха Горусины. И остальные оружейники распределены по различно оплачиваемым группам, в зависимости от их мастерства. Среди них — юмшанники (юмшан — панцырь), наводники (точильщики оружия), чищельники. В особую группу выделены «самопальные стрельцы» и мастера «самопальных пищалей». Все они помещики. Один из них — Иван Поздеев, видимо, особо искусный стрелок или мастер — получал оклад 15 рублей деньгами, «да сукно доброе, да тафта, да 300 четей поместья».

Конюший приказ включал в свой состав 432 человека. В нем служило 66 помещиков, что и понятно: эти люди составляли значительную часть конной свиты царя и царевичей при выездах и охотах, входили в опричную гвардию с постоянным заданием — конюшенной службой.

Для черной работы, которой в конюшнях всегда очень много, в Приказе состояло 356 простых приказных, которым платили небольшой оклад и выдавали «корм» — хлеб, мясо и соль.

Самым большим из дворовых Приказов был так называемый Сытный дворец. В нем состояло 476 «сытников» — всякого рода ключников, подключников, стряпчих, хлебников, помясов, коровников, куретников, масличников. Ни один сытник не получал корма. Учитывалось, что «слугуя» на продовольственных складах и кухнях, они будут сыты и без специально выдаваемого им «корма».

В состав опричного двора, и особенно Сытного дворца, людей отбирали необычайно строго. В дошедшей до нас Описи Царского архива есть запись: «Ящик 200, а в нем сыски родства ключников, подключников и сытников и поваров, и помясов и всяких дворовых людей».

Принцип подбора «по родству» четко выражен в Списке. Среди опричников мы видим целые большие семьи, лучше сказать, едва ли не в полном составе целые роды, например, Воейковых, Канчеевых, Безобразовых и многих других весьма известных в последующих столетиях дворянских родов.

Система отбора в опричнину «по родству» должна была, с помощью родственной круговой поруки, обеспечить верность службы каждого опричника. Изменив или заслужив царскую опалу, он ставит под удар весь свой род.

На примере Официальной разрядной книги и Списка опричников можно видеть, как с помощью всего двух рукописей высвечивается целый пласт исторической жизни из эпохи, вроде бы хорошо всем знакомой, а в действительности знакомой лишь весьма приблизительно. Мифы, легенды, «загадки» и «тайны» уступают место знаниям, полученным из документальных источников, реальным представлениям о людях и событиях далекого прошлого.

Стало, например, очевидным, что опричнина вовсе не была «отменена» через семь лет после ее учреждения, а продолжала существовать и действовать. Главное же — четко определились задачи этого учреждения и его историческое значение. Стала еще более очевидной несостоятельность модной в свое время оценки опричнины с помощью тех или иных «ярлыков». Кровавый опричный террор, опираясь на который устанавливалось и укреплялось самовластие, так же мало заслуживает оценки «прогрессивного», как и введение с помощью опричнины крепостного права. При этом суть дела не меняется от того, что конкретные размеры опричного террора в сочинениях современников-иностранцев, а так же таких непримиримых врагов Ивана Грозного, как бежавший за границу князь Андрей Курбский, преувеличены, порой же, до невероятных масштабов. Так, например, некоторые иностранцы сообщают, что Грозный и его опричники уничтожили во время карательного похода на Новгород около 700 тысяч человек. Между тем все население Новгорода в то время, по самым вольным подсчетам, не могло превышать 30 тысяч. Преувеличение в данном случае, как говорится, астрономическое. Преувеличивать, однако, было что.

В последний год жизни Грозный приказал составить списки жертв опричного террора — так называемые синодики — и разослать эти списки по монастырям для поминания. Многие синодики до нас дошли. В одном из них читаем запись: «По Малютине скаске (донесению.— *Д. А.*) новгородцеа отделал 1490 человек да 15 человек ис пищалей отделано». Это отчет о карательном походе на Новгород передового отряда опричников. Примерно столько же новгородцев было убито после прихода в Новгород самого царя с главными силами опричнины.

Неправомерно, однако, объявлять опричнину «учреждением бессмысленным» и сводить ее функции к одним лишь карательным действиям. По существу, обе названные точки зрения — две стороны одной медали. От того, что на одной ее стороне опричный террор назван «прогрессивным», а на другой «бессмысленным»,— дело не менялось. В обоих случаях упускалось из виду главное — роль опричнины как необходимой начальной формы аппарата государственной власти самодержавия, устанавливавшего свой режим в ожесточенной борьбе и с традиционно сложившимися органами управ-

лений, с вековыми правами и привилегиями высших именитых кланов, с претензиями на государственную власть со стороны церкви, обладавшей огромным влиянием в народе, с вечевыми вольностями крупных городов, таких, как Новгород, Псков, Тверь. Наконец, создание единого, централизованного войска, управляемого из единого центра, интересы ведения войны, а также интересы организованного подавления феодалами сопротивления жестоко эксплуатируемой ими крестьянской массы и городского посада — все это вызывало необходимость создания особой политической организации, способной подавить все виды и формы сопротивления царской власти и обеспечить твердую государственную дисциплину всех служилых людей, независимо от «чина».

Как и всегда, указывает В. И. Ленин, когда «складывается государство, создается особая сила, особые отряды вооруженных людей».

Именно поэтому тот факт, что опричный террор был направлен не против одних только вельможных бояр, отнюдь не обессмысливает опричнину, а напротив, свидетельствует о ее действительной цели: борьбе за подчинение единовластию царя всех сословий, всех властей и служб, за превращение всех жителей страны, независимо от рода и звания, в верноподданных монарха.

Признание исторической значимости опричнины и даже необходимости появления такого учреждения на этапе становления царизма не имеет, таким образом, ничего общего с каким-либо оправданием террористических методов правления Ивана Грозного и его «лутчих людей» — опричников.

Последний царь, Николай II, заслужил в народе прозвище «Кровавый», а его палачей, карателей и тюремщиков называли «опричниками». В этом проявилась тонкость народного исторического чутья, верно отметившая исторические корни самодержавия, которое утверждало свою власть и на протяжении всего своего исторического пути методами террора и насилия, жестоким подавлением всякого сопротивления и инакомыслия.

Антресоли

Саша ЧЕРНЫЙ

МИРНАЯ ВОЙНА

Сказка

За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять — не более двух тамбовских уездов.

Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинках толокно хлебали.

Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак: парад на лужке принять, да кой-когда — министры ежели промеж собой повздорят — чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало.

Был у них на самой границе павильон построен, чтоб далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.

Сидят они как-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шапки играют, каждый на свою землю поплевывает. Стража на полянке гурьбой собрамшись,— кто в рюхи играет, кто на поясках борется. Над пограничным столбом жучки вьются,— какой из какого королевства и сам не знает.

Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос, затрубил протяжно — спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.

— Неладно, ваше королевское величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке... Ась?

Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.

— Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий, крылом сбил, али сам проиграл... Гони дальше!..

— Гусь? А энто что?..— и с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял.— Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизываешь.

— Я каптенармус?..

— Ты самый. Ставь шашку на место.

— Я каптенармус?!.. От каптенармуса и слышу! — вскочил младший король с табуретки и всю игру полой халата наземь смахнул.

Побагровел старик, за левый бок хватился, а там заместо меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, каки там мечи!

Хлопнул он в ладоши:

— Эй, стража!

Русый тоже распетушился, кликнул своих.

Набежали, туда-сюда смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем,— бердышей, пищалей давно не носили, потому очень безопасная жизнь была.

Постояли друг против друга короли,— глаза, как у котов в марте,— и пошли каждый к себе подбоченясь. Стража за ними: у кого синие штаны — за сивым королем, у кого желтые — за русым.

Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы — пики куют, печи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских запасных штанов моль веничком выбивают, мундиры штопают — слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.

Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет... Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосы волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава!

Призадумались короли. Однако по ночам не спят, ворочаются — война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время весеннее, боронить-сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строют, ниток однех на амуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступиться никак невозможно: амбицию свою поддержать кажному хочется.

Докладывает тем часом седому королю любимый его адьютант: так-то и так, ваше величество, солдатишка такой есть у нас завалящий в швальне, солдатские фуражки шьет. Молоканского толку, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад вашему величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никакого секрета не открывают. Как, мол, прикажете?

— Гони его сюда. Молокане, они умные бывают.

Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом — даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза, как у кролика — ан смотрит весело, не сморгнет.

— Как звать-то тебя?

— Лукашкой, ваша милость. «Трынчиком» тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.

— Фуражки шьешь?

— Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время — лечебницу для живой твари содержу.

— Какую еще лечебницу?

— Галчонок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу...

— Скажи, пожалуйста... Добрый какой!

— Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг себя утишаешь.

Повел король бровью.

— Ишь ты, Чудак Иванович! А каким манером, ты вот похвалялся, бескровно и безнадежно войну вести можно?

— Будьте благонадежны! Только дозвольте до поры-времени секрет мне при себе содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.

— Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают... Чего ж ждать-то?

— Не извольте беспокоиться! Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет: в энтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали — наши, мол, тоже не возьмут... И королевскую большую печать для правильности слова приложите. Да на военный припас три рубля мне, пожалуйста, только всего и расходов.

— Ладно! Однако смотри, Лукашка!.. Ежели на смех меня из-за тебя, галчонка, подымут — лучше бы тебе и на свет не родиться.

— Не извольте пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать...

С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.

Стянулись к приграничной меже войска — кто пеший, кто конный. Оружия, действительно, как условились, не взяли. Построились стеной, строй против строя. Шепот по рядам, как ветер перекатывается. Не зубами ж друг друга грызть будут... Ждут, чего дальше будет.

Короли, насупившись, кажный на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.

Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.

Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки круг за кругом толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены.

Стал Лукашка на пень, ладони лодочкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал:

— Вот, стало быть, братцы, посередке каната для заметки синий флажок завязан. Пущай кажное войско на своей стороне, в затылок стамши, за канат берется.

Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку... Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто!.. Полей не перетопчем, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пущай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему то есть населению!.. Ежели господа короли согласны, нехай кажный со своей стороны батист-платочком взмахнет — и валяйте! А чтобы веселей было тянуть, пущай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют.

Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, осклабились ротные, у солдат — рот до ушей. Пондравилось! Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздух взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достигают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали... А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: «Не сдавай, ироды, наяривай! Еще наддай, родненькие, так вас перетак!..».

Лукашка клячу свою отпрег, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает — чтобы обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: «Отставить! Воюешь, так воюй по правилу!..».

Вспотели кавалеры, дух над шеренгой, будто портянки в воздухе поразвесили — птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, кажный в свою сторону наддает-тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обоих фронтов потрескивают.

Короли, и те не выдержали. Повскакали с барабанов, кажный к своему концу бросился... Музыканты трубы покидали.

И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке: так оба войска гуськом наземь и попадали. Пыль винтом! Отдышавшись, озираются... Как быть?

Кличет седой король Лукашку.

— Эй, ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?

А Лукашка громким голосом на всю окрестность объявляет:

— Ничья взяла! Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Кажный король суседское войско угощает. А назавтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.

Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручки трясут, целуются. По всей границе кóзлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильон за свои шашки сели, честно и благородно.

Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул,— шаровары-брюки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как, рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издали смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у кажной бабы в подоле нитка-иголка припасена.

Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.

— Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точеным крыльцом построить?

Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:

— Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соблаговолите лучше, Ваше Здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разоряли. Боле ни о чем не прошу!

Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем!..

Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка немалая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буеркам разбрелись — портки полопавшиеся на воинах пострадавших чинить,— мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число!

Судьба человека

В. БОРЕЙКО

СЛАВНЫЕ СЫНЫ СЕМЕНОВА

Беспримерна история города на Неве, мужество его защитников — уникальнейший в истории монолит: сплав пролетарской твердости, российской терпеливости и высочайшей ленинградской культуры.

Эвакуироваться братья Семеновы-Тян-Шанские не захотели.

— Город сдан не будет,— заявил старший, Андрей, и оказался прав, хотя так никогда и не узнал об этом: оба они умерли весной 1942 года в блокированном городе...

История семьи Семеновых неотделима от истории России. Семеновы участвовали в суворовских походах, сражались под Бородином, путешествовали по Тянь-Шаню, первыми из европейцев одолели горный массив Хан-Тенгри, с 1906 года за особые заслуги к их фамилии было добавлено высочайшим указом звучное «Тян-Шанские»...

В характере, да и во внешнем облике двух братьев было много несхожего. Светловолосый, кучерявый Андрей увлекался поэзией, открыл России лирику Квинта Горация Флакка. Высокий, худощавый, с бородкой, Вениамин души не чаял в музыке, учредил кружок «Любителей музыки Римского-Корсакова». Настойчивый, немного педантичный Андрей всерьез интересовался военно-морскими делами, числился одно время в председателях Российского морского союза. Вениамин остался в памяти современников человеком мягким — даже, пожалуй, застенчивым. Он неплохо разбирался в живописи (в Государственном центральном географическом музее экспонировались сто сорок его полотен), обладал феноменальной памятью (запросто называл все станции российской железной дороги), исколесил с отцом — знаменитым путешественником — почти всю страну, подготовил к печати многотомное географическое издание «Россия». Андрей особой страсти к путешествиям никогда не питал. Он стал зоологом, описал более девятисот различных видов и родов жуков и, опубликовав более тысячи научных работ, позднее сменил отца на посту председателя Русского энтомологического общества, будучи при этом членом еще двадцати трех зарубежных и российских научных обществ. Отдыхали братья тоже по-разному. Андрей, особенно в молодости, не пропускал ни одной тяги вальдшнепов, Вениамин оставался ярым поборником рыбалки.

Но все же общее у них было. Андрей и Вениамин стали активными членами Постоянной природоохранной комиссии при Русском географическом обществе, учрежденной 5 марта 1912 года. «Цель комиссии — возбуждать интерес в широких слоях населения и у правительства к вопросам об охранении памятников природы России и осуществлять на деле сохранение в неприкосновенности отдельных участков или целых местностей, важных в ботанико- и зоогеографическом и вообще в физико-географическом отношениях, охранение отдельных видов растений, животных и пр.»,— так было записано в Положении о ней.

— В деле охраны природы нельзя обойтись без известных жертв со стороны государства,— взывал Андрей Петрович со страниц научно-популярных журналов «Любитель природы» и «Природа», солидной петербургской газеты «Новое время».— И следует только вовремя принести эти жертвы, так как чем позже, тем будут дороже обходиться эти жертвы и тем труднее будет на них решиться.

Он впервые заговорил о защите зеленых насаждений в столице России, предложил взять под охрану одну из последних в Европе колоний бобра, что на речке Усманка в Воронежской губернии (при Советской власти там будет создан заповедник).

Осенью 1915 года Постоянная природоохранная комиссия поручила Вениамину Петровичу составить проект сети будущих заповедников России. Дело обещало быть серьезным, аналогов не имеющим. Никто еще не подходил к созданию заповедников комплексно, по-научному. Заповедники создавались в основном спонтанно, волею «просвещенных личностей» да патриотически настроенных меценатов: Фридриха Фальц-Фейна, графини Паниной, Карамзиных. Своеобразными заповедными участками становились и земли монастырей — Соловецкого, например.

Товарищ председателя Постоянной природоохранной комиссии академик И. Бородин был доволен выбором: Вениамин Петрович отличался особой склонностью к всевозможному упорядочению и системам. По предложению Семенова комиссия разослала в различные уголки страны специальные анкеты с просьбой сообщить, есть ли где природные участки, достойные заповедания. Много ценных советов подали и друзья-единомышленники Г. Кожевников, В. Талиев, Н. Кузнецов, Д. Сосновский. Будущих заповедников набралось немало — сорок шесть. Прекрасный топограф, Вениамин сам вычертил большую карту России, ярким цветом обозначив заповедные участки в различных географических зонах, и вместе с Андреем сделал обстоятельную записку к ней: «О типах местностей, в которых надлежит учредить заповедники типа американских национальных парков».

Журнал «Природа» в 1917 году ввел специальный раздел «Охрана природы», популяризирующий деяния Постоянной природоохранной комиссии. Первый этап совместных заседаний Русского географического общества и Министерства земледелия России должен был состояться 17 октября 1917 года в 19.00 в особняке общества.

Братья собрались из дому Андрея пораньше: в последнее время в ночных

переулках частенько постреливали, и извозчики уже не рисковали поджидать седоков. Шли молча и быстро. Шуршал за спиной осенний дождь, гудели мокрые пролеты мостов. Оба думали о главном. Это же главное обсуждалось и в жарко натопленной зале собрания, куда прибыли уже почти все приглашенные. Веселый, общительный московский профессор зоологии Г. Кожевников что-то нервно объяснял председателю Географического общества Ю. Шокальскому. Худой, со впалыми щеками украинский ботаник В. Талиев метался от одной группы к другой. Всеобщая нервозность и ожидание близких решительных перемен передались даже всегда спокойному и уравновешенному президенту Русского ботанического общества, академику И. Бородину. Обсуждали сегодняшний отказ Петроградского гарнизона подчиняться Временному правительству — кто с восторгом, кто с опаской, говорили об усиливавшемся влиянии большевиков, спорили о судьбах русской природы в связи с наступающими переменами.

Звонок пригласил в зал заседаний. Первым был объявлен доклад приват-доцента Харьковского университета Валерия Ивановича Талиева. Кажется, еще больше похудевший от волнения, быстро поднялся он на трибуну. Андрею вдруг вспомнилось: Сукачев шутя назвал Талиева апостолом, пророком, «пришедшим в мир возвестить новую идею». Талиев слыл искусным оратором. И на этот раз он завладел вниманием моментально.

— На первый взгляд, революционные события, выдвинувшие на передний план основные вопросы государственного устройства, должны были бы на время совершенно отвлечь внимание от забот о сохранении природы. В действительности дело обстоит как раз наоборот. Решение аграрного вопроса, выдвинутое в радикальной форме русской революцией и глубоко всколыхнувшее море народной жизни, поставило ребром вопрос и о мерах, направленных к охране русской природы от безвозвратного разрушения ее в нерегулируемом ходе земельного движения. Если сейчас не будет сделано все возможное в этом направлении, то момент будет упущен, и мы будем нести большую ответственность как перед нашим потомством, так и перед общечеловеческой цивилизацией.

Ему хлопали все. Даже представители министерства земледелия, не так давно выступавшие против избрания Талиева в члены Постоянной природоохранной комиссии («полноте, господа, как можно, ведь, говорят, в 1905 году его видели в Харькове на баррикадах!»). Вскоре «земельники» удивили ученых еще раз. После доклада члена Постоянной природоохранной комиссии С. Завадского о законопроекте, касающемся охраны памятников природы, и А. Семенова-Тян-Шанского «Основные задачи природоохранения в России» представитель управления Главного земельного комитета В. Никитин перестал возражать против обеспечения земельным фондом будущих заповедников и даже согласился поддержать ходатайство об активном вмешательстве, если памятникам природы грозит уничтожение.

— Чувствует, что либералом нынче быть спокойнее,— наклонился к Андрею рядом сидевший Кожевников.

На четвертый, последний день заседаний подошла очередь Вениамина Петровича. Его доклад ожидался с нарастающим нетерпением, ибо мудрый Бородин специально отодвинул сообщение о будущих заповедниках под конец: нужно было подготовить почву, дать дозреть аудитории.

И вот долгожданный миг настал.

Свой рассказ о перспективной сети заповедников России ученый начал с Тютчева:

Не то, что мните вы, природа —
Не слепок, не бездумный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Хибины и Кавказ, Средняя Азия и Дальний Восток, Украина и Поволжье — все регионы были учтены в проекте, обогнавшем свою эпоху. Что такое тридцать отведенных строгим регламентом минут, чтобы понять, вникнуть, осмыслить всю ту колоссальную работу, что проделал Вениамин Семенов-Тян-Шанский с подвижниками!

В феврале 1919 года, по предложению профессора А. Борзова, Вениамина Петровича назначили председателем организационного комитета Государственного центрального географического музея, первого в мире. Выбор был для него совершенно неожиданным, но тем не менее он с воодушевлением взялся за новое дело.

Собранные в бывшем особняке графа Бобринского шестнадцать тысяч интереснейших экспонатов занимали четырнадцать залов, представляя все географические зоны Земли. Говорят, впечатление было настолько сильным, что даже случайные посетители, попавшие в музей, признавались после: «Теперь я понял, что такое география». Любимым детищем директора был специальный раздел, посвященный памятникам природы. О нем Вениамин Петрович с гордостью сообщил на I Всероссийском съезде по охране природы. В дальнейшем раздел был расширен за счет выставки, проведенной в Ленинграде в конце 20-х годов Комиссией по охране природы при ленинградской группе Центрального бюро краеведения.

Вместе с ботаником Н. Кузнецовым Вениамин Петрович подготовил к очередному Всесоюзному съезду по изучению производительных сил при Госплане новый проект перспективной сети заповедников.

— Самой важной задачей охраны природы в пределах СССР,— говорил он на съезде,— нельзя не признать планомерное распределение сети заповедников по всей территории страны.

И дальше — весьма актуальное и в наши дни: «Никакая правильная индустриализация страны немыслима без планомерной постановки охраны ее естественных производительных сил в виде заповедников».

Все прекрасное — редко. Красота природы — это еще и «фабрика» искусства. Неповторимые для Пушкина болдинские места... Старые яснополянские липы...

— Нет, уважаемые товарищи, вы меня опять не совсем поняли,— доказывал в Ленсовете Вениамин Петрович.— Мы должны сохранять «пушкинский уголок» не только потому, что он замечателен и связан с именем великого поэта. У заповедной рощи есть и другие стороны. Она представляет совершенно свежий, нетронутый объект для новых исканий, новых вдохновений в искусстве и науке. Эти аллеи должны служить источником вдохновения и через сто и двести лет...

Вениамин Петрович добился своего. Но не только «пушкинские уголки» обязаны ему вторым своим рождением. Возродить память о Михаиле Ломоносове и Афанасии Никитине, наладить работу комиссий по чистоте русского языка — в этом и во многом другом он, как и его брат, был пионером...

Записка Вениамина Семенова-Тян-Шанского о будущих заповедниках России, доложенная им всего за пять дней до Октябрьской революции, не стала достоянием общественности. Гениальный по содержанию и прекрасный по смыслу документ так и не был опубликован. Семьдесят лет — целую человеческую жизнь! — люди почти ничего не знали о нем, хотя некоторые ученые в своих трудах и ссылались на этот проект, превратившийся со временем в легенду. Он был найден Г. Аваковым и Ф. Штильмарком в архивах Всесоюзного географического общества и опубликован совсем недавно...

Старейшему работнику Лапландского заповедника Олегу Измайловичу Семенову-Тян-Шанскому я обязан двумя фотографиями.

На одной — высокий, добродушный, в кожанке, с большущей папкой под мышкой — Вениамин Петрович. На другой запечатлен усталый седой человек в пенсне: Андрей Петрович отдыхает, удобно расположившись в любимом кресле. Разглядывая, сравнивая эти два снимка, я вдруг поймал себя на мысли, что отыскал еще одну существенную деталь, характерную для братьев. Только они могли так глубоко и мудро улыбаться.

М. РЫЦАРЕВА

«КАСАТЕЛЬНО ДО ВОЕННЫХ ПРИУГОТОВЛЕНИЙ...»

В журнале «Нева», 1986, № 5, 6 опубликована интересная статья А. С. Мыльникова «Я, великий государь». События, описываемые в этой статье, переплетаются с загадочным эпизодом в жизни Бортнянского, находившегося в Италии с 1768 по 1779 год...

Эти слова в автобиографической записи известнейшего русского композитора Дмитрия Степановича Бортнянского (1751—1825) относятся ко времени, когда ему было восемнадцать лет. Запись короткая, поэтому приведем ее полностью из формулярного списка 1805 года.

В шестой графе требовалось ответить на вопрос: «В походах против неприятеля и в самих сражениях были или нет и когда именно?».

Ответ Бортнянского: «В походах военных не бывал, а во время шествия флота в Архипелаг часто был употребляем Главнокомандующим оного графом Орловым в бытность его в Венеции для переговоров с греками, албанцами и прочими народами касательно до военных приуготовлений с великою опасностию от тамошнего правления».

«Шествие флота в Архипелаг» имело место в 1769—1775 годах. Бортнянский был командирован в Италию за год до этого. Семнадцатилетним юношей он поехал продолжать учебу вместе со своим учителем — маститым итальянским композитором Бальдассаре Галуппи, возвращавшимся в Венецию после трехлетней придворной службы в Петербурге.

В середине июля 1768 года Галуппи во время прощальной аудиенции высказал императрице положенные комплименты и заверения в том, что он был счастлив служить при ее дворе. При этом он выразил искреннее сожаление по поводу предстоящего расставания со своим учеником Бортнянским. В ответ «Ее Величество удостоя помянутого капельмейстера к руке... пожелала ему благополучной дороги вместе со своим учеником».

Спустя два дня Бортнянский был приглашен к управляющему придворными театрами и музыкой Ивану Перфильевичу Елагину. Во время беседы Елагин обратился к нему с напутствием:

— Господин Бортнянский! Ее императорское величество милостиво согласилась с моим предложением направить вас в Италию для совершенствования ваших успехов в музыке. Вы первый природный русский музыкант, которого мы надеемся в скором времени видеть во главе других русских капельмейстеров. Правда, старше вас и более подготовлен господин Березовский, но он обременен семьей, и его поездка не может быть достаточно длительной. От вас же мы ждем совершенствования особого рода. Мы не будем отягощать вас инструкциями и рапортами по примеру Академии художеств, полагаясь полностью на господина Галуппи во всем, что относится до вашего музыкального мастерства. Наша надежда в том, чтобы вы развили свои способности и к другим искусствам — живописи, скульптуре, театру. Только тогда, когда овладеете глубоко музыкальным искусством и широко всеми другими, сможете оправдать надежды ее императорского величества, на вас возлагаемые. От ваших успехов будет зависеть судьба последующих вам молодых музыкантов. Не буду наставлять вас насчет непременности достойного себя содержания в чужих краях. В этом не настает нужды. Жалованье ваше будет скромным, но достаточным для умеренной жизни, учебы и путешествий по Италии. Маркиз Маруцци имеет указание ее величества касательно вас. На экипировку вам из Кабинета ее величества будет выдано триста рублей. На дорогу получите деньги в Театральной дирекции. Учитель ваш будет вознаграждаться из Кабинета. При возникновении экстраординарных расходов дозволяется вам отнестись к господину Маруцци.

Не сразу сумел собрать себя взволнованный юноша.

— Ваше превосходительство! Не знаю, как выразить свою благодарность ее величеству государыне императрице и вам — моему благодетелю. Ласкаю себя надеждой оправдать доверие и честь, оказываемые мне столь щедро. Осмелюсь спросить, ваше превосходительство, к какой службе должно мне себя готовить во время своего учения?

— Об этом рано думать. Равновозможны для вас русский музыкальный театр и придворная вокальная музыка. Во всех случаях надеемся видеть вас капельмейстером — сочинителем музыки российской, приемлемой народом нашим и по красоте своей не уступающей никакой иной. Храни вас бог, мой юный друг.

24 июля 1768 года Галуппи и Бортнянский выехали из столицы.

Первый год учебы молодого композитора в Венеции проходил весьма успешно. Год этот совпал с крупными событиями государственной важности, странным образом повлиявшими на ход его учебы...

25 ноября 1768 года русского посла в Турции Алексея Михайловича Обрескова позвали к великому визирю, где ему в ультимативной форме было предъявлено требование об изменении некоторых политических обязательств России в европейских делах. Обресков отказался принять этот ультиматум и немедленно, вместе со своими сотрудниками (одиннадцать человек), был заключен в подземелье башни Едикуль Семибашенного замка. Так Турция объявила войну России.

До этого было известно, что Оттоманская Порта, подстрекаемая внешними силами, готовится к такому шагу, поэтому случившееся не оказалось неожиданным. Боевые действия начались вскоре.

В окружении императрицы возникло предложение использовать флот для отвлечения части сил противника с основного фронта. Имелось в виду, что появление русского флота в Средиземноморье, и в частности в Архипелаге, будет стимулировать восстание порабощенных Оттоманской империей народов, стремившихся к независимости. Эта идея была реализована, несмотря на огромные технические, дипломатические и военные трудности.

Возможность появления русского флота в восточном Средиземноморье представлялась за рубежом и особенно в Турции нереальной. Известны высказывания ответственных турецких деятелей того периода о том, что имеющиеся в распоряжении России плавсредства пригодны только для перевозки дров, а не для плавания вокруг Европы...

Не будем останавливаться на ходе подготовки грандиозной морской операции. Этим событиям посвящено много исследований, в том числе монография Е. В. Тарле «Три экспедиции русского флота». Отметим лишь одно событие, сравнительно незначительное, но связывающее увлеченного своими музыкальными занятиями в Венеции Бортнянского с крупнейшей стратегической задачей флота.

28 апреля 1769 года пограничная комендатура Риги зафиксировала, что в тот день через границу проследовал «князь Ерья Долгорукий с находящимися при нем под именем российских подданных купцами и тремя служителями». Так обеспечивалось инкогнито генерал-майора князя Юрия Владимировича Долгорукого, «подполковника артиллерии Лецкого, Николая Иваныча Маслова и Федора Васильевича Обухова».

До этого в Италии уже находились граф Алексей Орлов с братом Федором.

Алексею Орлову было поручено руководство действиями флота по прибытии кораблей в Ливорно, а также привлечение к активным действиям против общего противника естественных союзников России — жителей Балкан. Если верить Долгорукому, Орлов соглашался на это назначение только при условии, что к нему на помощь будет прислан он — Юрий Долгорукий. Тарле это утверждение высмеивает.

Перед отъездом Долгорукий был принят Екатериной II, и она повторила поставленную перед ним задачу, особо подчеркивая важность одновременных действий флота и восставших народов.

Точная дата прибытия Долгорукого в Пизу, где находился Орлов, известна: не позднее конца мая или начала июня 1769 года.

Эскадра адмирала Г. А. Спиридова была готова к выходу из Кронштадта 18 июля 1769 года. Накануне ее посетила Екатерина II. Перейдя из Кронштадта к форту Красная Горка, корабли в течение нескольких дней принимали на борт «сухопутные войска и артиллерию». Поход в Архипелаг, тяжелый и длительный, начался 26 июля.

К намеченному сроку корабли не пришли. Орлов, видя разочарование восставших народов, лишенных обещанной помощи, жаловался Екатерине. Она его подбадривала. «Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход. Все закоснелое и гнилое наружу выходит, и он будет со временем круглехонько обточен». Спиридову она писала иначе: «С крайним прискорбием вижу я медленность, с которой Вы идете с эскадрой... мешкаете... Когда Вы в пути съедите всю провизию, да половина людей помрет, тогда вся экспедиция Ваша обратится в стыд и бесславие Ваше и мое».

Из пятнадцати крупных кораблей Спиридова треть не дошла даже до Англии, а многие требовали серьезного ремонта. В отличие от Франции, поощрявшей Турцию к войне, Британия не только оказывала техническую помощь архипелажской экспедиции, но и потребовала от Франции не препятствовать проходу русских кораблей.

Спиридов на флагмане «Евстафий» прибыл к итальянским берегам 18 ноября, остальные корабли его эскадры прибывали постепенно, в течение четырех месяцев. Остальные же четыре эскадры прошли этот путь за срок вдвое меньший. Прогноз Екатерины оправдался...

Орлов, ожидавший эскадру Спиридова в сентябре, до ее прихода основное внимание уделял экспедиции группы Долгорукого в Черногорию. С помощью уполномоченного в Венеции были приобретены нужные припасы для черногорцев и наняты суда.

В своих воспоминаниях Долгорукий писал: «У нас было 26 славян, живущих по разным местам в Италии, коим я приказал идти... к Драшкевичу, с коим я был в переписке... и приказал для меня заготовить два судна... а сам поехал в Венецию для получения денег от графа Маруцция». Он перечисляет пофамильно девятерых: «Подполковник Ляцкой, полковник Герсдорф, майор Розенберх, секретарь Миловской, бывший в нашей службе черногорец капитан Пламенц, венецианский подданный граф Войнович, унтерофицеры Акиншин и Сыромятников, камердинер и слуга Лукезиц». Не упоминаются Маслов и Обухов, выехавшие вместе с ним из России. Видимо, у них были другие задания.

Несмотря на наличие в группе нескольких военных, она не была ориентирована на участие в боевых действиях. Остальные были гражданскими лицами, находившимися в Италии по своим делам. Одним из них и был Дмитрий Бортнянский, направленный к Долгорукому маркизом Маруцци. Возможно, что там же был и Максим Березовский, выехавший в Италию через месяц после Долгорукого. Оба музыканта отлично знали итальянский язык. Миловской, Войнович и Пламенц хорошо владели сербским.

Долгорукий не указывает дату выхода кораблей с участниками экспедиции и припасами. С. Соловьев в «Истории России» пишет, что это произошло в самом конце июля 1769 года, первую встречу со Степаном Малым датирует 2-м августа, а арест самозванца — 7-м.

Глигор Становеич в статье «Штепан Мали», опубликованной в Белграде в 1957 году, сообщает о результатах своих исследований в венецианских архивах: «Из Синигалье русская экспедиция вышла 4 августа и достигла черногорского приморья 11 августа... и пристала 12 августа близ Спича». Потом последовал и сбор в Цетинье (монастырь и административный центр Черногории), арест Степана и его заключение в соседнюю с Долгоруким келью монастыря, служившего резиденцией всей группы. Далее югославский исследователь пишет: «На Преображенье 17 августа... капитан Миловски огласил перед собравшимися черногорцами текст манифеста царицы Екатерины II».

За столетие до Становеича в тех же архивах работал Викентий Макушев. Его статью «Самозванец Степан Малый» опубликовал «Русский вестник» в 1869 году. Он сообщает интересные сведения, отсутствующие у других авторов: «11 августа в деревню Зоаш близ турецкого порта Спича... прибыли из Анконы два судна... под командованием бывшего плац-майора Будвы, Луки Кьюды. На этих судах находились кн. Ю. В. Долгорукий с тридцатью человеками свиты, в чис-

ле коих был Иван Васильевич Княжевич... Немедленно по прибытии их в порт, спустился с гор отряд черногорцев в 600 человек с вьючными лошадьми. Навьючив около ста бочек ружейного пороху и столько же вьюков олова, они поднялись на горы. Вместе с ними отправился Долгоруков со свитой, а корабли немедленно вышли в море». Далее Макушев сообщает: «17 августа собралась в Цетинье Скупщина. На ней были прочтены верительные грамоты о посольстве Долгорукова, манифест Екатерины и грамота, уличающая Степана в самозванстве. Степан был вскоре закован в кандалы и посажен под охрану в одну из келий».

Начались трудные будни экспедиции. Подъем среди черногорцев не мог продолжаться долго без активной поддержки мощных сил, с нетерпением ожидавшихся после манифеста и разъяснений Долгорукого. Проходили недели, а флота не было.

Оживились агенты Оттоманской империи, и это порождало отмеченную Бортнянским «великую опасность от тамошнего правления». Долгорукий в своих записках уточняет, в чем заключалась эта опасность. В сентябре была сделана попытка отравить приезжих, позднее — взорвать запасы пороха, находившиеся в погребе монастыря, непосредственно под помещениями, занятыми членами экспедиции. В октябре, с приближением зимы, когда тропы в горах делались непроходимыми, стало ясно, что дальнейшее пребывание в Цетинье не только бесполезно, но и гибельно. Донесения Долгорукого, посылавшиеся Орлову через Маруцци, оставались без ответа. В свою очередь, донесение Маруцци в Петербург с предложением отправить самозванца в Россию тоже не привело к конкретным действиям. Видимо, не до того было. Вследствие сложившихся обстоятельств Долгорукий принял единственно правильное решение. Рассудив, что действия Степана Малого против турецкой власти объективно помогают России, узнав, что самозванство было инициативой «тамошнего архимандрита Феодосия», он, говоря его словами, «из под караула призвал Степана Малова, дал ему патент российского офицера, нарядил его в мундир русского офицера, отдал ему привезенный мною порох, сукно и прочее, оставив письменное повеление, что до моего возвращения поручил управление Черной горы Степану Малову. Он меня проводил до берега моря... Я бы верно в пропасть свалился, если бы привычный к тем местам Степан Малов, так сказать, на руках не вынес...».

Произошло это, по словам Становича, «ночью, тайно, 25 октября 1769 года», а по данным Макушева — «ночью 24 октября Долгоруков со своей свитой сел на венецианский корабль у мыса Язи, в расстоянии одной мили от Будвы. Степан сопровождал его до берега. При прощании они обнялись...»

«Происшествие черногорское с нашим ген.-майором кн. Долгоруковым, по-видимому, недостойно большого уважения»,— писала Екатерина II. Долгоруков оправдывался тем, что «несколько месяцев напрасно ожидал» прибытия флота и «что можно было, то моя экспедиция произвела. Не пошли в армию окрестные паши и Босняки».

Необычайный эпизод в «итальянском периоде» Бортнянского продолжался около четырех месяцев. Упоминание им греческого и албанского народов — свидетельство того, что экспедиция в Черногорию не единственный случай участия его в широкой деятельности Орлова среди балканских народов.

В последующие годы, уже в России, знакомство Бортнянского с Орловым и его братьями продолжалось. По стечению обстоятельств дом, купленный Бортнянским у графини М. Н. Скавронской (ныне улица Халтурина, 9), ранее принадлежал В. Г. Орлову.

Библиофил

Дмитрий ЭЛЬЯШЕВИЧ

«РОССИЮ Я ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ...»

Как-то в букинистическом магазине я приметил на книжной полке хорошо сохранившийся старинный корешок с тисненной золотом надписью на датском языке: «Х. Банг. У дороги». Книга эта, в обычном для Скандинавии конца XIX — начала XX века полукожаном переплете, увидела свет в Копенгагене в 1904 году. Давно мечтая иметь в своей библиотеке оригинальное прижизненное издание Х. Банга, я купил ее.

Херман Банг... Имя мало знакомо советскому читателю. А между тем в начале нашего века произведения замечательного датского писателя-импрессиониста, театрального деятеля не уступали в России популярностью книгам Ибсена и Гамсуна. Были изданы два десятитомных собрания сочинений этого «датского Чехова» — так отечественная критика называла Х. Банга. Выходили они и отдельными изданиями, в том числе в популярнейшей «Универсальной библиотеке» книгоиздательства «Польза» В. М. Антика.

Творчество писателя, родившегося в 1857 году в небогатой пасторской семье на острове Альс, очень многогранно: романы, повести, новеллы, рассказы, стихотворения, книги воспоминаний. Наиболее значительны — повесть «У дороги», рассказывающая о судьбе незаурядной женщины в мещанском обществе, и роман «Тине», где действие разворачивается на фоне событий 1864 года, когда маленькая Дания вела неравную борьбу с Пруссией и Австрией. Поражение в этой войне стало для родины Банга национальной трагедией. С горечью описывает он, основываясь на собственных детских воспоминаниях, те печальные события, беспощадно изобличает трусливое лицемерие дворянства и с гордостью рисует простых людей, являющих примеры героизма и любви к родине.

Импрессионистические тенденции, заметные во всех произведениях Х. Банга, достигли кульминации в романе «Белый дом», а сам образ белого дома — символ безвозвратно уходящего времени, прежней жизни — литературоведы часто сравнивают с чеховским вишневым садом.

Х. Банг был известен также как один из крупнейших режиссеров своего времени. Он работал в театрах Копенгагена, Парижа, Берлина, Мюнхена, Праги, Вены. Его постановка «Кукольного дома» Г. Ибсена в Парижском театре Г. Режан послужила образцом для Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Писатель оставил воспоминания о великих актерах, с которыми ему приходилось встречаться,— среди них С. Бернар, Г. Режан, Й. Каинц.

В 1911 году по инициативе книгоиздательства «Польза» в Дании был куплен фильм «Четыре черта», поставленный по знаменитому рассказу Банга и имевший у нас большой успех. По поручению этого же издательства переводчик Я. Сегалл пригласил писателя, уже побывавшего в 1885 году в России, вновь посетить нашу страну. Х. Банг принял приглашение и в начале декабря 1911 года приехал в Петербург, а оттуда — в Москву. Замечательный декламатор, он в обоих городах выступал с чтением своих произведений на немецком и французском языках, встречался в деятелями литературы и театра, в том числе с Ф. Сологубом, О. Дымовым, К. Станиславским, Вл. Немировичем-Данченко, регулярно посылал в датские газеты рецензии на увиденные им в Мариинском, Большом и Московском Художественном театрах спектакли, блестящие эссе о Ф. Шаляпине, К. Станиславском, О. Книппер. Особое восхищение вызывали у него московские постановки чеховских пьес. Когда кто-то из газетчиков спросил у Банга, почему он, профессиональный режиссер, великолепный знаток театра, сам ничего не пишет для него — ведь столь близкий ему Чехов подарил сцене многое,— Банг ответил: «Именно потому, что для сцены надо писать так, как Чехов,— или не писать вовсе». В письмах Х. Банг делится с друзьями: «Москва — это сказка, постичь которую мысль не может... И тот, кто не видел Кремля, не видел в своей жизни ничего. Как-то вечером я стоял у его стен и смотрел на искрящийся заснеженный город — этого впечатления мне не забыть никогда. Россию я очень-очень люблю».

К сожалению, «никогда» оказалось недолгим: уже в январе 1912 года Х. Банг, отправившийся после посещения России в США (он намеревался в качестве корреспондента ряда европейских газет совершить пятимесячное кругосветное путешествие), внезапно умер от сердечного приступа — умер в расцвете творческих сил, полный новых замыслов и идей, и его самой заветной мечте — поставить на сценах Копенгагена и Парижа «Вишневый сад» — не суждено было сбыться.

Еще будучи в нашей стране, он находился в плену тяжелых предчувствий. В опубликованном в «Русском слове» некрологе с интригующим заглавием «Загадочная смерть Германа Банга» его друг О. Дымов сообщает, что незадолго до отъезда писатель сказал ему следующее: «Дымов, я из поездки не вернусь, я умру по дороге. Я говорил вам, что цифра восемь является в моей жизни роковой. Она всегда приносит мне несчастье.

Слушайте: я решил предпринять кругосветное путешествие — это было моей давнишней мечтой. Теперь обстоятельства сложились так, что я могу ее осуществить.

И вот, я отлично помню: когда я мысленно решил ехать, в ту же секунду, как молния, мелькнуло в голове: „Ты умрешь“. Я так явственно и точно услышал это, будто кто-то произнес эти слова — „Ты умрешь“. Это было утром.

Я отправился к моему доктору, который меня постоянно пользовал и который, как я внутренне надеялся, не разрешит мне поездки. Но он выслушал меня и сказал: „Вы можете ехать“.

Я послал купить билет.

Все проданы.

Я вздохнул облегченно. Но из какого-то упрямства обратился письменно к одному из директоров пароходства Гамбург — Америка.

Через два дня получаю ответ. Кто-то из пассажиров возвратил билет, и я могу плыть. Мне предоставляется каюта № 8. Цифра 8, и не в какой-нибудь комбинации, а именно 8. Разве это не смешно?

В тот же день врач сказал: „Если можно, то лучше не ездите“.

Я удивленно посмотрел на него и решил ехать. Было поздно отступать».

В творчестве Х. Банга звучат и русские мотивы: к примеру, действие написанной в 1905 году в Берлине и посвященной Йозефу (Осипу) Мельнику новеллы «Бархан умер» из цикла «Странные рассказы» разворачивается в Петербурге, писатель называет даже районы и улицы, где живут его герои. Откуда такая осведомленность? Не мог же Банг запомнить названия со времен своего мимолетного посещения России в 1885 году. Заинтересовавшись, я прежде всего решил разузнать что-либо об адресате, которому посвящено произведение. После долгих поисков в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) я нашел письма этого человека и черновики ответов ему Акима Львовича Волынского, известного критика и искусствоведа. Им оказался Йозеф Мельник, в конце XIX века уехавший из России и обосновавшийся в Берлине, где сотрудничал в газетах (в том числе в «Берлинер тагеблатт» — это важно) и переводил произведения художественной и искусствоведческой литературы с русского на немецкий. Если вспомнить, что Х. Банг тоже много времени проводил в столице Германии и что О. Дымов упоминает некоего «господина М.— ближайшего берлинского друга Банга», то все встает на свои места. Но самое интересное — как раз в январе 1905 года Й. Мельник по издательским делам наезжал в Петербург и жил в гостинице «Пале-Рояль» на Пушкинской улице — той самой, названной в новелле! То, что герои Банга читают «новую книжку „Северного вестника"... Волынский написал статью „О красоте" — длинную статью...», тоже вполне объяснимо: Аким Львович, друг Й. Мельника, действительно часто писал статьи, затрагивающие вопросы «красоты», и печатал их на страницах петербургского журнала «Северный вестник», выходившего в 1885—1898 годах (фактически он сам его редактировал). Нередко бывал он и в Берлине. А вот еще одна деталь: повествование в новелле ведется от лица некоего Ивана Ивановича, навсегда уехавшего, как и Й. Мельник, из России. Она снимает последние сомнения в том, что при написании «Бархан умер» Банг широко использовал рассказы Мельника о нашем городе — о Пушкинской улице, о «районах за Финляндским вокзалом», о «дачной местности за рекой Сестрой», о «Северном вестнике» и Волынском (хотя вполне возможно и личное знакомство Банга с последним), о доме графини Уступовой (в этой фамилии легко угадывается Юсупова), о картине И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван»: «...его лицо было серо, как камень... Да, именно так изобразил Репин Ивана Грозного, когда тот смотрит в лицо своему полузадушенному сыну» (фактическая ошибка простительна иностранцу). Благодарностью за все эти сведения и стало посвящение.

Но и это еще не все! В том же Рукописном отделе я нашел письма... Пауля (Павла) Бархана! Выяснилось, что он — тоже русский, жил в Берлине, работал фельетонистом, в частности — в «Берлинер тагеблатт», переводил на немецкий язык русскую художественную литературу, например произведения Ф. Сологуба. П. Бархан неоднократно приезжал в Петербург и был приятелем Мельника и Волынского. Почти наверняка знал он и Банга. Вот откуда появилась в новелле датского писателя эта редкая даже для России фамилия!

Тема «Х. Банг и Россия» обширна. Датский писатель всегда с огромным уважением отзывался о русской литературе и считал себя ее знатоком. В предисловии к переводам рассказов «Четыре черта» и «Ее высочество» Ф. Сологуба, помещенных издательством «Шиповник» в «Северных сборниках», он пишет: «Забуду ли я когда-нибудь те часы, те дни и глубокие ночи, когда я до рассвета читал в первый раз Достоевского? Это было откровение, это было зрелище целого народа, обширного, как мир, это был взгляд, брошенный прямо в душу, взгляд столь глубокий, что каждая душа превращалась в миры. Мне кажется, только с этого времени и научился я познавать Россию. Правда, Тургенев еще задолго до этого уже был мне близок и знаком... Но Достоевский стал для меня совершенным откровением. Его знание человеческого сердца было столь же удивительно, сколь необыкновенна была и его душа. Он открыл мне и целый народ, и весь его дух. А все же Гоголь казался мне более великим. Потому что этот изумительный человек стоит выше своего произведения („Мертвые души".— *Д. Э.*), которое может быть названо — сама Россия, и каждый стремящийся описывать человека и человеческое общество должен смиренно, с благоговением склониться к его ногам. А Толстой? Какая мощь письма! Или Чехов? Какая скромность в этом величии всепонимания!

...Теперь, когда некоторые из моих книг будут читаться на том языке, на котором они писали, я приношу им мою благодарность, благодарность моим учителям и наставникам. К читателю же, воспитанному ими, я подхожу с уважением.

Все, что можно почерпнуть в моих книгах, есть лишь весть из маленькой страны, ограниченной и затерянной в этом мире. Только одно следует понять далекой и обширной России: что и я — по силе возможностей — писал под тем же знаменем, которое развевается и сверкает над всей русской литературой — под священным знаменем любви к своей родине. Посылая весть из маленькой Дании, я шлю ее из страны, которую люблю».

Да, Херман Банг любил свою родину, и люди, ее населяющие, ее природа встают прекрасными поэтическими образами со страниц его произведений, лучшие из которых в полной мере сохранили свою ценность для современного читателя.

Но вернемся к тому, с чего мы начали,— к повести «У дороги» в полукожаном переплете. Принеся покупку домой, я обнаружил на шмуцтитуле написанное красивым росчерком слово «villig», что по-датски означает «охотно». Почерк показался знакомым.

Когда я взял с полки современное датское издание, где приведено факсимиле рукописи Х. Банга, и сличил почерки, сердце запрыгало от радости: короткая надпись сделана рукой автора. Вероятно, кто-то из почитателей таланта Банга попросил писателя оставить автограф на издании одного из самых лучших его произведений...

Есть такой анекдот...

В этом номере мы печатаем анекдоты, присланные читателями в ответ на публикации политических частушек и анекдотов («Нева», 1989— № 6, 1990 — № 2, 5, 6, 7). Выражаем искреннюю признательность М. Бронштейну, В. Дементьеву, Н. Иванову, И. Овчинниковой, Е. Сальковой, Н. Сенько, П. Судакову, П. Супруненко, М. Филонову, В. Яковлеву, В. Яни и другим.

...Вскрываю конверт, читаю: «В разделе «Седьмая тетрадь» журнал начал печатать анекдоты. Это очень хорошо, потому что даже в самые страшные годы анекдоты все равно рассказывали, хоть за это грозило, самое малое, 10 лет, а то и расстрел. Сообщаю несколько...» И концовка: «Не хочу подписываться, потому что в Киеве (письмо из Киева.— *Вл. Б.*) за такие вещи сажают в психиатричку. Киевское КГБ делает это быстро и квалифицированно. А мне туда не хочется».

Концовка другого письма (Москва, и тоже без обратного адреса): «Встретимся на нарах!» Из Таллинна: «Я последние 15 лет работал в Норильске... Там мы жили политически относительно свободно... В узком кругу мы, конечно, рассказывали политические анекдоты». И все-таки: «Меня иногда полушутя спрашивали: «Не боишься, что сошлют?» Я отвечал: «Дальше Норильска не сошлют!»

Пришли письма, подписанные инициалами, вообще не подписанные и даже письма с ложным обратным адресом. Вот тебе и демократия, вот тебе и гласность, и свобода слова!

А с другой стороны,— ведь написали, выразили свое суждение и отношение к напечатанному!

Одобряя и дополняя наши материалы, авторы писем единодушно восстали против одной фразы в подборке февральского номера: «Анекдоты про Горбачева пока в основном идут из среды «недовольных алкоголиков». (Предполагалось, что затем последуют и другие). «Лукавит ваш автор,— возмущается читатель.— Чтобы не быть голословным, прилагаю один из анекдотов, хотя на 100 % уверен, что он вам известен, коль дошел к нам в провинцию». В другом (анонимном) письме просто приведены два анекдота и приписано: «Как видите, не только на алкогольные темы анекдоты!» Порадуемся: это не только отстаивание истины, но и борьба с так называемыми зонами, закрытыми для критики.

А анекдотов о Горбачеве, как и о некоторых других руководителях партии и государства (чаще о Ельцине и Лигачеве), существует довольно много. Их немало ныне в моем собрании. Только нужно иметь в виду, что после введения известного Закона о защите чести и достоинства президента печатать такие анекдоты снова стало рискованно. Убежден: анекдоты о высших руководителях, кем бы они ни были, как и критика в их адрес, могут и должны иметь место на страницах любой газеты и журнала. Хотя, разумеется, допускать какие-либо оскорбительные личные выпады не следует. А уж история сама рассудит — как это было со Сталиным, Хрущевым или Брежневым.

В читательских письмах находим не только подборки острых политических анекдотов, но и размышления о их значении, содержании. В одном письме говорится о зарубежном издании анекдотов и предлагается делать ссылку на него как на источник. Но автор, по-видимому, не понял, в чем смысл наших публикаций: это подлинные записи того, что жило и живет в народе, это не перепечатка, а как бы первичные документы. По этой же причине почти не использованы те анекдоты, которые как-то обработаны, переделаны в более развернутые диалоги, сценки, новеллы.

Автор этого письма честит меня на все корки. В статье «Народное мнение», гово-

рит он, «нет народного мнения. Тут мнение Бахтина ... Статья не объективна, не научна, вопрос освещает односторонне и с долей злопыхательства. Фольклор, в котором нет хулы советского образа жизни (оригинала не правлю.— *Вл. Б.*), наша жизнь не сводится к примитиву, вами отрицается начисто. Растушевка экстремистская. Собрали себе в кулек заплесневелую блевотину, которую изрыгали из своей волчьей утробы кулаки и монархисты полвека назад, и выдаете ето за жемчужину фольклора. О кулаках у вас нет ни одной прибаски».

Вопрос о коллективизации, об отношении к ней — сегодня один из коренных в дискуссиях о судьбе русского (да и не только русского!) народа. Не для оправдания, а для разъяснения этой проблемы рискну повторить несколько фраз из той заметки, исключив примеры: «...в целом народ принял Октябрь и на многие годы вперед выдал кредит на доверие, который, к сожалению, постепенно превратился в острый дефицит его. Это очень хорошо видно по частушке... И про колхозы поначалу с энтузиазмом пели... Но дальше все шло хуже и хуже... Трудолюбие было нравственной категорией («Говорят, что не работаю Работы полевой. Наговаривают дролечке, Не верит дорогой»). А вот в частушках советского времени эти зачины постепенно выходят из употребления, заменяются другими: «Я работала в колхозе, Заработала пятак...». «...словом, это тот малопроизводительный принудительный труд, о котором нынче так часто пишут экономисты».

Я бы еще добавил, что частушки, осуждающие коллективизацию,— подлинно народные, а те, что славят Сталина, вольный колхозный труд, поносят кулаков и буржуев,— в значительной степени являются продуктом заказного творчества, творчества профессиональных поэтов, самодеятельных хоровых коллективов и т. п. (примеры подобных фальсификаций тоже приведены в той заметке).

Завершая свои обличения, читатель пишет: «В одной из рекомендуемых вами к изданию частушек есть слова: «Вставай, Ленин, вставай, милый...» Их можно повторить, только в другой интерпретации. Вставай, Ленин, вставай, милый... Может, экстремистские рыцари пера вспомнят о Вашей работе «Партийная организация и партийная литература», где сказано, что при советской власти все издания должны работать на нее. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков!

Свое авторство показывать не хочу. Не все ли вам равно, кто написал вам, Котельников ли, Шатров ли. Так вам напишут многие».

Думается, тут все ясно — и кто экстремист, и кто сверхчеловек. Грустно, что люди прожили жизнь, так и не разглядев страшной лжи, что снова и снова нужно доказывать очевидное: колхозы сталинской формации довели крестьянина и до сумы, и до тюрьмы и — еще горше — до деградации.

Другое письмо — от калининградки Девиной: «...как можно на страницах Вашего уважаемого журнала печатать анекдоты о главе нашей страны? Прошу (от имени многих подписчиков) извиниться...».

Писем, не одобряющих публикации «Невы», всего два. Но оба автора говорят от имени «многих» (Между прочим, в «Литгазете», напечатавшей в 1988 году мою первую подборку политических анекдотов, на 222 отклика «негодующих» было около десяти процентов, примерно такое же соотношение).

Намереваясь обнародовать политические частушки и анекдоты (а в последующем — и фольклор интеллигенции, и лагерный фольклор), я прежде всего был озабочен восстановлением исторической правды; я надеялся доказать, что в народе, во всех его слоях и прослойках, несмотря ни на какие гонения, жило, развивалось, усиливалось здравое и критическое отношение к советской действительности. Да, поначалу была вера, было искреннее стремление — любой ценой, с любыми жертвами и потерями — как можно скорее построить новую, счастливую жизнь. Но энтузиазм постепенно спал. Его заменил страх. И одобряли все, уже не веруя, а боясь...

В письмах читателей «Невы» открылся мне другой, главный смысл публикаций политического фольклора: он помогает нам (всем нам, хотя и в разной степени!) освобождаться от страха, от холодного и привычного недоверия к переменам, к возможности действительного обновления страны. Политический фольклор в устном бытовании — это свободная мысль. Политический фольклор на печатной странице — это свободное слово.

Владимир БАХТИН

«ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ ТАМ ПЕРЕСТРАИВАЮТ?!»

Приехали иностранцы, пошли в Кремль. Зашли к Микояну. Тот сидит за столом, пишет, а чернильница — на окне. Каждый раз, когда надо обмакнуть перо, Микоян бежит к окну. Спрашивают, почему бы чернильницу не поставить на стол.

— Мои чернильница, где хочу, там и ставлю! — отвечает Микоян.

Зашли к Орджоникидзе — то же самое. Потом — к Сталину. Рассказали, что увидели, и выразили свое удивление. Сталин говорит:

— Ишаки!

— Так зачем ишаков на такие посты ставить?!

— Мои ишаки, куда хочу, туда и ставлю!

Ленин сказал:

— Построим социализм — и никаких гвоздей!

Социализм построили, гвоздей не стало.

Большевики — меньше хлеба, меньшевики — больше хлеба.

Социализм — это лунное освещение, солнечное отопление, заочное питание и полное молчание.

— Как поймать льва в Африке?

Сотрудник КГБ отвечает:

— А зачем вам ловить льва в Африке? Поймайте зайца в Подмосковье, соответственно допросите, он сам и признается, что он — лев из Африки.

Идет война в Корее. На заседании Совета Безопасности ООН происходит диалог между представителями США и СССР — Джоном Даллесом и Андреем Вышинским.

Д. Даллес: Мистер Вышинский, прошу вас осмотреть этот предмет и сказать, что это такое.

А. Вышинский: Это пулемет, мистер Даллес.

Д. Даллес: Это пулемет советского производства.

А. Вышинский *(осмотрев пулемет)*: Да, мистер Даллес.

Д. Даллес: Но этот пулемет мы захватили в Корее!

А. Вышинский: Возможно, так как при выводе наших войск из Северной Кореи после победы над Японией все вооружение было оставлено КНДР.

Д. Даллес: Но на пулемете обозначен год выпуска: 1950-й!

А. Вышинский: Мистер Даллес! Неужели вы не знаете, что уже тогда наша промышленность, перевыполняя план, работала в счет 1950 года?

Подходят к Мавзолею дедушка и внучек. Внучек спрашивает:

— Каким был Ленин?

— Хорошим.

— А Сталин?

— Плохим.

— А Хрущев?

— Умрет — узнаем.

Решил Н. С. Хрущев выйти в поле, посмотреть, как работают крестьяне. Подошел к косцу, понаблюдал за его работой и говорит:

— А ведь у тебя есть неиспользованный резерв! Ты косой косишь, а назад она вхолостую идет. Приделай еще одно лезвие, чтоб смотрело в правую сторону, и холостого хода не будет...

Через некоторое время снова вышел Н. С. Хрущев в поле, глядит, крестьянин косит двулезвийной косой. Понаблюдал за ним Хрущев, подошел и говорит:

— А ведь есть и еще ресурс! Тебе же после косьбы сено надо ворошить? Так вот, привяжи сзади грабли, и не надо будет возвращаться...

На следующий день Н. С. Хрущев снова вышел в поле. Глядит, крестьянин косит двулезвийной косой, сзади грабли привязаны. Увидал крестьянин Хрущева и бегом прятаться в кусты. Догнал его Хрущев и спрашивает:

— Ты чего от меня бегаешь?

Крестьянин отвечает:

— Знаю, знаю, Никита Сергеевич! что мне скажешь: есть, мол, неиспользованная возможность — привяжи ко лбу фонарь и коси и день и ночь...

Встретились Хрущев, Кеннеди и Неру. Заспорили, чья система управления лучше. Решили — кто по своей системе раньше кошку напоит касторкой, того система и лучше.

Неру, с позиции неприсоединения, уговаривал кошку и гладил. Не пьет.

Кеннеди, с позиции силы, кричал на кошку и топал ногами. Не пьет.

Никита Сергеевич — дерг кошку за хвост! Кошка: «Мя-а-а-а-в!» Он ей в пасть и влил касторку.

— Вот так,— говорит,— у нас всегда: добровольно и с песнями!

Что успел и чего не успел Н. С. Хрущев.

Успел:

Выдать замуж Терешкову.

Дать Героя Советского Союза Гамаль Абделю на всех Насеру [1].

Соединить ванну с туалетом.

Посадить кукурузу за Полярным кругом.

Не успел:

Выдать замуж Загладу.

Дать Героя Советского Союза Николаю Второму — за создание революционной ситуации в России.

Соединить пол с потолком.

Скрестить корову с медведем, чтобы круглый год сосала лапу и давала молоко.

— Можно ли завернуть слона в газету?

— Можно, если в ней напечатана речь Хрущева.

---

[1] Намек на известную эпиграмму: «Лежит на солнце, Греет пузо...»

Хрущев и Дуайт Эйзенхауэр совершают поездку на автомобиле по Соединенным Штатам. Неожиданно за ними увязались гангстеры. Началась стрельба, донеслись крики:

— Стой! Жизнь или кошелек!

Эйзенхауэр выбросил на дорогу сто тысяч долларов, надеясь, что гангстеры отстанут. Но те продолжают погоню. Эйзенхауэр выбросил еще сто тысяч долларов и, видя, что бандиты вот-вот их догонят, обратился к Никите Сергеевичу:

— Господин Хрущев, бросьте вы им хоть рублик! Увидят они незнакомые деньги и отстанут!

Хрущев попросил остановить машину, не спеша вылез и смело направился к притормозившим гангстерам. Что-то им сказал, и те, развернувшись на 180 градусов, моментально исчезли. Хрущев все так же неторопливо сел, и автомобиль помчался вперед. Удивленный Эйзенхауэр не выдержал:

— Что вы им такое сделали, господин Хрущев? Они так быстро удрали, что я диву дался!

— Да пару ласковых! — небрежно ответил Хрущев.— Сказал, что эта дорога ведет к коммунизму...

Прихожу с работы. В почтовом ящике — газеты с речью Брежнева. Включил телевизор — читает речь Брежнев. Включил радио — читает речь Брежнев. Утюг я включать не стал...

Шесть парадоксов социализма:

Все хотят работать — никто не работает.

Никто не работает — план выполняется.

План выполняется — ничего в магазинах нет.

Ничего в магазинах нет — все всё достают.

Все всё достают — все всем недовольны.

Все всем недовольны — все голосуют «за!»

На международном конгрессе женщин делегатки обсуждают, как бороться с изменами мужей.

Американка:

— Если муж изменит мне один раз, я напьюсь, если второй — напьюсь до беспамятства, если в третий — запью на неделю. Ну, а если он и дальше будет изменять, я разведусь: зачем мне муж, который хочет сделать из меня алкоголичку.

Француженка:

— Если муж изменит мне один раз, я ему изменю трижды; если второй, я изменю девять раз; если третий — двадцать семь. Ну, а если он и дальше будет изменять, я разведусь: зачем мне муж, который хочет из меня сделать проститутку.

Советская делегатка:

— Если муж изменит мне один раз, я напишу в цехком, если второй — в исполком, если в третий — в обком. Ну, а если он и дальше будет изменять, я разведусь: зачем мне муж, который не уважает нашу власть?

— Алло, это КГБ?

— Да.

— К вам мой попугай не залетал?

— Нет.

— Ну, если залетит, то скажите, что я его взглядов не разделяю.

Шпионы украли из СССР чертежи нового истребителя. На «Локхиде» по ним собрали машину — получился паровоз. Разобрали, еще раз просмотрели чертежи, снова собрали — опять паровоз... Вызвали на консультацию специалиста-перебежчика. Посмотрел:

— Ребята, все правильно, но вы не учли последующих изменений, дополнений и уточнений.

— Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза! Сегодня в 4 часа 55 минут утра группа китайских террористов-диверсантов пересекла государственную границу Союза ССР и напала на мирно пашущий советский трактор, на что наш трактор ответил залпом из 50-ти крупнокалиберных орудий и вышел на околоземную орбиту.

Полковник Иванов, директор совхоза «Красный лапоть», в интервью нашему корреспонденту заявил, что впредь провокационные попытки китайских экстремистов будут караться силами сельхозтехники...

Лежат два крокодила на берегу Нила и смотрят, как американцы строят военную базу. Один крокодил говорит другому:

— Хороша река Нил!

— Но Волга лучше, правда, товарищ полковник?

Великая Отечественная — это Великая битва за Малую землю.

Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей колючей проволоки.

Коммунист — это человек, изучавший труды основоположников; антикоммунист — человек, их понявший.

Социалистический реализм — это полное торжество идей марксизма-ленинизма над разумом.